КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6 (23)

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА

Гиз № 8322. Главлит № 26780. Москва. Напеч. 10.000 экз.

Госиздат. 1-я Образцовая типография. Москва, Пятницкая, 71.

Барсуки.

Леонид Леонов.

Жи-нли, бы-нли
Два брата родны-ие
О-одна мать их вспои-ила...
Ра-авным щастьем надели-ила:
Одного-о то бога-атством,
А-а другого нишшато-о-ой!
(Слепцы поют).

Часть первая.

I. Егор Иваныч Брыкин женихаться едет.

Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем — Егор Брыкин, званьем — торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки... Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки, — великими делами отметит себя Егорка на земле.

А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным жолобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разрощенье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудя с городским своим приятелем, Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой женихаться ехать.

... Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку, — четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика

щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Сускии не ночевать, сел пошире да поскладней на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику речисто и степенно:

— Правь.

Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой, топкой пылью. Куриные дома станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старо-знакомые виды Егоровой стороны.

Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедрята-село, и полянка резвая убегала, на которой в гостях у бедрягинского дядьки игрывал в лапту с ребятами Егорка.

Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попок в проплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст—навестить, новости выведать, хлебца откушать, не погорчал ли у подружки хлеб. И над ними, над всеми, буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.

Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти, когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь, — и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной, ржаной пыльцы. И теленочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь, отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!

... Взыграла Егорова душа.

— Как, не зажинали еще по волостям? не слышано?

— Куда ж еще зажинать! — смеется беззлобно ямщик. — Ведь рожь она как? она две недели выметывается, да две—цветет, да две—наливает... а тут она, глянь, еще и не побелела! вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят, — не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.

— Зубря-ат! — степенным гневом вспыхивает Егор.—Ровно татаре аль цыганы там твои Гусаки! И в самый светлый день—крути Махметка!..

Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная Назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День пременяется на вечер. Холодеют дали. Заоднообразились виды кругом. В тонкой пыли посерели лакированные жениховские сапожки.

Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. — Как приедет, так и пойдет он к Мите Барыкову в гости,

с гармоньей, на Выселки. И, как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров — как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои Мите в зависть и раздражение, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой женщиной на крышке, портсигар: „Не угодно ли пипиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..".

Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной славе твоей.

— Только б папенька не помер. Всем делам подгадит,—вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.

— Чего-о?.. — равнодушно тянет ямщик.

— Много ль осталось, спрашиваю,—грубо кричит Егор и косит злым взглядом на морщинистую, грязно-красную ямщикову шею и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.

— Да вот сам считай... От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Сускии десять. Вот тебе и выходит...

А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.

Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затекшие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила, кричит Егор Иваныч:

— Ой, никак ваше степенство капуски с сыренькой водичкой обхлебались?

Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. — Склоняется ямщик к кустам, — даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко — точно липового. У мальца губы запеклись, как в болезни, лицо — цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.

— Неужли клад отыскал? Чур пополам!—трескуче хохочет Егор Иваныч.

— Пополам и придется, — слышит Егор в ответ. — Ну-ко, примости его наперво да попридержи, как поедем... не выпал бы!

И не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит и бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.

— Эй, борода!—хорохорится тот и с негодованьем отстраняет лакированный сапожок от грязного мальцова лаптя.—Ты меня, кажись,

одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было!

Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением.—Ой, медведя, Егорка, не серди. Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке бесславно и безвестно.

Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые на стежках застрекотали ночную песню кузнечиные хоры. Опять бегут под колеса непрестанные сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.

Село Суския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового сего села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки,—светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.

Как приедет — спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармоньей, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово—ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо что пол, было бы вымыто.

Зато, как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели и шубы повылезли, ожидая зятя Григорью Бабинцову, Аннушке — мужа и хранителя. Катерина Тимофевна в жизни знает толк: толста, и слова у ней круглые... Закуралесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие,—ой, мирская смехота!

— Паренек-то родственничек тебе, аль как? — ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.

— Своих не признаешь. Знать дома давно не бывал?—кряхтит ямщик.—С коровами-то, слышал, беда вышла.

— Ан и не слыхивал... а какая?—У нас, говоришь, в Ворах, беда?

— Все бы нам подешевше, — раздумчиво укоряет ямщик, — а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?

— В пастухах который? ну! — торопит Егор.

— Заспал на солнышке, по старости... а пастушата — ведь вон экие, их самих пасти впору — дудки резали. Коровы — восемь ли, девять ли голов—спустились на поемку...

— Ой,—пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.

— Вот те и ой. Спустились да вёху и обожрались. Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский, Шебякин что ль?—пузя прокалывать наезжал.

— Выходили?—волнуется Егор, ерзая по сиденью.

— Да не известны мы...

Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.

— ... парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли?—спросил он вдруг у мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза.— Задичал. А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем...

Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова — месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не побаловаться. Еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался...

И тут же в память идет: и их, Егорку, да покойного Алешу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова, в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого вёха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из вёха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозванье было дадено: Егорка Тарары.

Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигался последний перелесок, за ним—Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.

— Да уж и то сказать! — рассудительно внушает Брыкин. —Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой текете, а завтра как хлобыснете по священному-то месту... Серость в вас...

— Да сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил?—в первый раз оборачивается ямщик. Из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.

— Ну-ну, уж не щерься... правь, правь!—рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село.—Ты знай свое дело, чеши бороду!..

Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.

— Ээк, вы... собачки зеленые!—с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.

Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.

Ночь.

II. Савелий пристроил ребяток.

Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор-Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру Егор. Играли свадебку в новом доме в сослуженьи родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.

А один из наезжих сродников, дикой невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:

— Ой, дедуньки... Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь кушай, хошь—слушай. А дом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы... Вот уж дом, так дом!—и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего.—Да и не одни дядья только...

Погуляв же месяцок—другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена,—и руки у ней мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода,—скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день — заметная убыль, каждый час—рубль. С молодой супругой своей совсем обносился и лицом, и карманом Егор Иваныч. И, покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.

Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками маша, прикланиваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было,—совсем его невозможность одолела.

— Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вёх! Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки... одно деревянное стволье!—Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью:—у-у, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!

Егор-Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и намарщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яишницу, посапывал и молчал.

И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок — не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство бедняет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно на зло, сдох.

— Нищаю... А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь, и набежит с кажного хоть по серебряному рублику в три месяца. Хлеба не едят, и то барыш!—жалобно прокричал Савелий и, в бессильи выпучив глаза, присел на лавку.

— Разве у нас там рубль—деньги?—пожал плечами и посклабился Егор Иваныч.—В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна во-время рублик поприжать! — Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызанный огурец.—Так вот. Ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих... И меня уж зараз отвезешь.

Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший Савельев. Ему, дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:

— Ну, Хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!

Шум поднялся в Рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:

— Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в пажеском-те корпусе служил... Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей. А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.

Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.

.. Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у Брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький, и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то, воображаемому, и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные Брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.

Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти, шарфом,—супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась и сама Егорова молодайка.

— Ну, прощай, жена,—сурово сказал Брыкин. И тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. —Жди гостинцев, Анна.

— Да хоть на народе-то не мни, мучитель! — отстранилась та.—Замял ты меня совсем.

— А что ж? Не убудет, а любо будет!—притворно засмеялся Брыкин.—Так, что ль, Савель Петрович?

Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.

— А что, Савель Петрович,—приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой своей ладони пухлой жениной руки,—меринко-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!

— Ге-э,—затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. — Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми. Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, ге-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует одним словом... Да ноги еще! а брюхо, это уж извини, это никакого влияния не оказывает...

И он подтягивал узду, бегал всемеро больше, чем того требовала минута, не переставая распевать с пьяным благодушием:

— А зубы у него все целехоньки. У меня, посмотри-кось... — он раскрывал темную дырку рта,—все растерял! А у него зубок к зубку, ровно у белки...

— Ну-у!—заскрипел недовольно Брыкин.—Зубами, что ль, он бегать-то будет?

Уже садясь в подводу и кутая соломой зябнущие ноги, в последний раз поучал Брыкин жену:

— Не плачь тут попусту. Не мокри дома. И баба должна иметь свое соображение. Полушалок я тебе с первой оказией пошлю. Что обещано, то у меня тверже горы стоит.

— Да я не беспокоюсь,—всхлипнула молодайка.—По мне, хоть и совсем не присылай...

Егор Иваныч достал папиросу, затянулся. Потом деловито тронул Савелья пальцем в плечо:

— Трогай... к поезду надо поспеть.

— Поспеем,—беспричинно захохотал Савелий.

Скрипнула на дорожной ямке ось. Еще раз, но громче, всхлипнула Аннушка: „полушалок-те с Барыковыми, как поедут, пошли"... Худящий, одряхлевший пес просунулся в плетень, потявкал для прилика. Потом избенки двинулись назад, а Савелий задергался от понуканий, требуя резвых рысей от престарелого своего Воронка.

Мимо дома проезжали, догнала их у колодца Анисья, мать. Задыхаясь от бега, сунула в колени ребяткам две горячих, с подгорелым творогом, лепешки и хотела говорить что-то, не имеющее явственных слов, а только одну боль материна расставанья... Тут вдарил Савелий

всем кнутовищем вдоль Воронка, и взыграл тот кривыми ногами и обвисшим брюхом. Егор Иваныч сунулся носом в Савельеву спину, чертыхнулся, сломал папироску и погрозил Анисье кулаком. Что-то кричала еще Анисья, а впереди уже начинался лес. Поднимался там снежный парок. Еще пуще здесь, чем в открытом поле, зудило ноздри морозцем. В зимний убор обряжался умирающий лес.

На первой развилине пути — правая шла в Гусаки—выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску:

— Бабы—бабы и есть! — с досадой отрубил он. — Ну, чего ей бегать, ровно бешеной. Ну-ко, двинься, малец, не грязни сапога.

— А как же!—охотно откликнулся Савелий.—Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо—это никакого влияния...

— Ладно, ладно... на пень наедешь! – оборвал его Брыкин.

Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы.

...и вот пременилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка. Девочкой была — насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может милей всех стану, может и детенычка спородите от убогого лупоглазого Егорки. А уж тогда и выявится власть его над большим твоим смутительным телом: и поцелуем, и полушалком, и кулаком...

...и вот стала Аннушка законной хозяйкой в Брыкинском дому. Будет теперь в город, к мужу, покорные письма слать. Летом — полевые тяготы на Брыкиных. Зимами — сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, в непрестанной тревоге, не завел ли другую,—ждать. И от любви московского магазинщика, Егора Брыкина, заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!

Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться Брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворешник, что̀ стоит привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворешник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семеновой памяти.

Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Домà—в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины—пожирательницы угля, извергающие с гамом и грохотом вещь из себя. Люди—хлопотливое, толкотливое племя, ищущее предела вещам, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.

III. Зарядье.

В Мокром переулке — потому что у Москвы-реки у самой—на углу большого Щукина желторозовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно,—тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были,—сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.

Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым — подпирает тощую, древнюю церквушку, осеняющую Мокрый. Не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. „Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит"—такое, кажется, говорит старый сей солдат притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.

Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народа, всех видов и ремесел: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.

По второму ярусу каменного сего солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещается тут трактир и постоялый двор и меблированные комнаты. Названье всему заведенью чохом — „Венеция", а принадлежит Секретову Петру.

Нетронутой, несуесловной стариной овеян Секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вкруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса — гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галлерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.

С фасада смотреть—пониже Секретовского второе висит железное уведомление,—на краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. „Бакалейная торговля Быхалова" —здесь теперь Савельевы ребятки. Помещенье это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже, как на сапогах, стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.

Глядят Секретовские окна весело: „слава-те, не гробами торгуем!". Быхаловские окна исподлобья глядят. Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные коробки. Летами мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним: жирных ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядьи сменяется на арбузный...

А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада,—запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями, из Дудинского подвального окошка, а Дудин—скорняк. А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.

Зарядская суетня—с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой—за проломом Китайских ворот—стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову—за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место. Стоял здесь дрянненький, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило,—остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.

Из тесноты и житейской маяты любо глядеть зарядцу в хрусткое, зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в Брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги...

А в переулках сине от снега и пара. Домики в них,—как курносенькие ребятки, как пропылившиеся ветхие старички, как пузатые купчины с ярлыками вывесок, который—чем богат.

...Чинно и молча, в прикуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел. А тут народ начинает приходить.

Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему — „рубца на пятачок, за две — огурец, да горчички, да семитку сдачи". Извозчик входит, синей тушей вгоняя холод в лавку: — „ухх-те, Зосим Васильич. Пеклеваннички есть?" Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.

— Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..

— Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз!—гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь.—И, право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.

— Ихх-вы какой!—приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками.—Не пить, так это бунт даже против государства... для нас и устроено,—звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол.—И потом как это вы сказали? Оре-ехи? — нездоровый Дудинский смех разом наполняет всю лавку: — Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой!

— Ну и козырь!—благодушно дивится Быхалов. — Ты шкурок-то моих, смотри, не пропей.

Все в лавке начинает подхихикивать. Карасьев, Быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.

— Ну, зачем пропивать,—смешно вертится Дудин.—Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе...

Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:

— Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третевось схоронил. Вот и прохлаждается на радостях, что ослобонился.

Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:

— У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки—очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По моему, так даже воспретить бы таким!..

Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Шубы влезают и кацавейки, и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовый

дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тесно. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки...

В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем—медный, морозом обожженный докрасна, пятак.

IV. У Катушина.

Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.

Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным—Ермолай Дудин, лукавым и тихим—Петр Секретов. На них, на трех глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные,—это город нашел в них разницу и подразделил их.

Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Степушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Галунова Степушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал... И сказало Зарядье Катушину: „будь шапошником, Степан". И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь, чуть ли не в той же самой ушаночке, в которой выбросила его деревня.

Он напоминал собою горошинку. Тоже и глаза, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая Галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы рассветного городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется: он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали, да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастья, небурного и умеренного, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.

За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново подшитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль Катушинской жизни в рублях.

В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали т книжки в обойных обертках, с пятнами чужих незаботливых рук. Бь книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с затейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческ бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг н ютились остальные неизвестные певцы не известных никому печал Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собствен Катушинские стишки.

Проходили внизу богатые похороны, видел Степан Леонтьич, отк дывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды в могиле будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стекла перв дождем—пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, солов запоют... а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневол ного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он стишках своих хоть раз.—Он-то и приютил Сеню в добром и тесн своем сердце.

Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на в сокий подчердачный Катушинский этаж, близко к зимнему небу. Се обучал Катушин грамоте. Вряд ли и было у Катушина за всю жиз большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня перв четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коле кам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, подносил ее к свету...

Сеня сидел тогда у окна, а за окном затихало Зарядье и пер мигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого во буждения бежали по его спине. Хотелось невозможных, убыстренн движений, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему н ясный и властный зов.

— Книжки теперь бери у меня, — сказал в тот вечер Катушин.- У меня книжки тоненькие, хорошие. Я толстых не читаю, голова (них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходиш Банька — слабость жизни моей.

Здесь встречал Сеня и Дудина, верного Катушинского друга, столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.

Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегушках. Паш хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими овладел.

— Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне ра гонишь, — сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая дл нравоучительности легкий подзатылок.—Ты мне товар вози. Хром, та ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.

Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка много невидное другому видел, и потому детство казалось ему глупой на рочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане бил Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крик

ли жалобы,—только прикрывал руками темя. Темя было самым боль-ым местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир гля-ел не просто — птичка летит, а облако плывет, а береза цветет — а ак, как отражены были все эти благости в темном озере его невыпла-анных, непоказанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, мир молчаньем отвечал ему.

Коровья беда докончила ковку человека в Пашке. Без детства, ез обычных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала го не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые аленцы, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по го-оду Быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовым и сугро-ам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.

...Зевал Пашка, сидя у Катушина. В этот день прибавилась еще дна обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, осылал его в аптеку купить на пятачек дёру и на гривенник дыму. Iашка не знал, бывают ли подобные товары, а аптекаря злы... И до их пор еще стыдом и болью горели Пашкины уши.

Рассказывал об этом Сеня торопливым, прерывающимся голосом, уть не плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, атушин — с грустью глядя в пол.

— ...главное дело, Иван-то и забыл, что послал Пашку. По мне, ак я бы... — у него задрожали губы и руки быстрей затеребили тонкий оломенковый поясок.

— А ты мягчи сердце, не копи обид. Поплачь, если плачется...— аговорил Катушин, ширкая ногтем по лавке, на которой сидел. — Iеловеку, если помнить про кажный день, сгореть от напрасной злобы.

— Вот я и горю, — резко вставил Дудин и засмеялся.

— И горишь... и сгоришь! сосчитана твоя сила, Ермолаша,— іасково отвечал Катушин. — Неустроенно ведешь жизнь, смиренья не риобрел, буянишь попусту... — вычитывал Катушин.

— Смиренья?.. — строго спросил Дудин. — Куда же мне больше мирятъся, Степушка! В трубочку свернуться, что ли?

— Ищи свое в жизни... запись помни! — указал Катушин.

— Это какую запись, Степан Леонтьич? — шумно вздохнул Сеня.

— А сто восьмого псальма запись, — уверенно и быстро сказал атушин.—За слезы да за неоплатные долги сто восьмой-то сторожем тоит, — и он мелко-мелко похлопал себя по коленке. — На полях у сто осьмого и ведется запись. Каждому жучку, а своя буква. И люди тираются, и книги стираются... города тают дымком, а запись неру-имо стоит, как стена! Ты в запись верь, Ермолаша, коли не во что уж...

Теперь Катушин не моргая глядел в газовую, накаленную добела етку, словно в слепительном свете ее и развернут был тот свиток со сякими земными печалями и жалобами.

— Ангел, что ль, у тебя заместо писаря? — съязвил Дудин и кашлял таким звуком, точно раздирали крепкую ткань.

— Ты бурен, Ермолаша... а я тих. Ты оставь мне по-моему жить. Перхаешь, а нет того, чтоб смириться... ищешь чего-то! Нетеряного не найдешь.

Дудин молчал, но только для того, чтоб с большей силой выговорить:

— Вот и я таким же пришел, как они,—зашептал он с болезненной страстностью.—Не хочу, чтоб и они вот также без жизни жили... Я для них, Степушка, ищу.

— Чудной ты... летучий какой-то. Всегда как бы за ребенка тебя почитаю,—засмеялся Дудинской горячности Катушин.—А ты, паренек,—обратился он к Пашке,—ты молчи. Вырастешь, сам всему цену узнаешь. Ищи, где тут основа. Нонешнего хозяина-то папаша, Гаврила Андреич, царство небесное!—продолжал он, понизив голос,—так он раз меня с лестницы спихнул... я тогда и сломал себе мизинчик, упамши. А койки наши рядком стояли. Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой да и думаю, чему на свете больше цена, мизинчику моему, либо его головешке. Толкал меня враг в головешку ему стукнуть...

В этом месте Пашка поднялся с табуретки.

— Я спать пойду,—внезапно сказал он и зевнул.

— А и ступай, паренек... я тебя не держу, привязу тебе нету,—услужливо кинул Катушин и продолжал после Пашкина ухода:—всю ночь вот и продумал этак-то. Нашел основу, уж светало в окнах. Жена-то его, вишь, с приказчиком связалась, а у приказчика-то язва во рту была...

— Какая язва?—испугался Сеня.

— Ступай и ты спать, милый друг,—как бы просыпаясь от сна, отвел Сеню в сторону Катушин.— А книжечку ты еще раз в бумажку обверни... да на мокрое-то не клади, завянет. Ну, покрой тебя господь. Деревянен братец твой, деревянен... мозги у него прямые какие-то.

Дудин, сосредоточенно бормоча себе под нос, вышел вместе с Сеней. Не обменявшись ни словом, они сошли вниз. Уже в воротах, под тусклым фонарем постоялого двора, Дудин внезапно схватил Сеню за руку.

— В святые Степушка лезет... а ты ему не поддавайся!—убежденно зашептал он, обминая в кулаке седую свою бороденку.—Не должен человек терпеть. Терпенье человеку в насмешку дадено... Воюй, не поддавайся! Человек солдатом родится, на то и зубы даны...

Над головами их мигал желтый фонарь постоялого двора. Шел легкий снежок. Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Сене было холодно в одной рубашке. Лицо Дудина, сведенное в точку бессильной настойчивости, совсем напугало его. Он вырвался из его руки и побежал по снегу.

— Остановись, мальчик!! остановись!!—умоляюще кричал ему вслед Дудин и шел по Сениным следам.

— Дяденька, ты — пьяный!... — так же, умоляюще, защищался Сеня, стуча изо всех сил в запертую дверь Быхаловского черного хода.

Уже входя в дверь, еще раз увидел Сеня: в синих, неуверенных сумерках двора длинная фигура Дудина, согнутая так, словно собирался прыгнуть к небесам. Дудин стоял так посреди двора и кашлял, весь сосредоточившись на чем-то, невидимом для Сени. Кашель Ермолая Дудина походил на ночной лай большой дворовой собаки.

V. Именины Зосима Быхалова.

Апрель был, — месяц буйных ручьев, первых цветений, веселый месяц, вскормленный снегами и солнцем. Но городская земля, загнанная под камень, напрасно силилась набухать зеленью. И некому было, кроме черноголовых грачей да великопостных колоколов, кричать о том, что нежная и робкая приходит в город весна.

Зосим Васильич, именинник, видел, возвращаясь от заутрени: на древних кремлевских стенах прозеленели ползучие мхи, а снег в углах протаял дырьями, а лед на реке набух и посинел, готовясь уползать от возрастающей теплыни... Скоро-скоро, не сегодня-завтра, вскроются реки по всей стране, и солнце взметнется в голубые высоты лета, дни удлинятся, подорожает картофь.

Сделало Зарядье Быхалова человеком неколеблемых смыслов, — в вещь глядел сурово, скукой и тоскою не болел, не удивлялся ничему. Но тут захватило ноги предательской слабостью, сжалось сердце непривычно широко и мучительно, загудело в ушах. — Закружила Зосима Васильича весна.

День мокрый стоял. Ветер брызгался влагой с реки. Воздух гудел многими тысячами убыстренных дыханий. Но разгадал Зосим Васильич, что тревожна звонкость ветра, поющего в столбах, голых деревьях, флюгерах, как ненадежна и всякая радость.

„Текут весны, проходят человеческие годы, садится пыль на людей. И пройдет еще тысяча весен, стремительных и нежных. Травки снова заспешат к солнцу, и знойким ветром обсушится первый смолистый листок. Останется от тебя, Зосим Быхалов, единая косточка. Будет ей и сыро и скучно и холодно в талой земле лежать. И если тысячная случится бурной, — яблони в феврале процветут, а льды полопаются с новогодья, — разроет буреподобный ветр землю до самой кости и спросит ветр: — „Чем ты, кость, прославлена? лежишь — не радуешься“. И кость ему не ответит. Сиротливо будет останку твоему, Зосим Быхалов, в ту последнюю, тысячную“...

Всякое положение принимал со строгой рассудительностью Быхалов, печалясь мало. А тут заболело под сердцем и захотелось зыкнуть, как на Пашку в лавке: остановись, весна! Но не останавливалась. Все вокруг спешило заполнять назначенные сроки.

Как будто утро было, но уже таилась в нем ночь. Остеклело небо, злился ветер, текла весна. Два ломовых, полубыки, били загнанную лошадь, напрягаясь докрасна, крича. Сани пристыли крепко к обнаженному камню. Коротконогий дворник, увенчанный медной бляхой, торопливо сколачивал с тротуара мягкий ледок, помогал весне спешить. Женщина, спотыкаясь, тащила санки с узлами шитья, — зарядская швея. Ее лицо огрубело и ожелтело оттого лишь, что проспешила всю жизнь. Били часы на башне, вызванивался трамвай на углу, ехали гурьбой извозчики, обнюхивались собаки.

У часовенки тощий бродяга с вербочками четверть часа уговаривал Матрену Симанну, Секретовскую приживалку:

— Убеждаю вас, тетенька, как истинный христьянин... за неделю еще боле запушатся! Овечки, чистые овечки станут... — голос у него был сиплый и злой.

— Не-ет, — покачивалась в толстой шали на ветру старуха. — Мы за пятак-то горбатимся-горбатимся... Скинь, скинь, касатик, для старушки. Я у тебя зато два пучка возьму...

— Так ведь тут дров одних на гривенник, грымза чортова, — кричал пустым гулким брюхом парень, замахиваясь всей охапкой товара.

Зосим Васильич шел мимо с омерзением. Придя домой — щелкнул Сеньку за недочищенный сапог, а дворника, пришедшего поздравить, выругал от всей полноты разгневанного сердца. На покупателя кричал.

Торговали в тот день до двенадцати, как в праздники, но только к закрытию набежал народ. Быхалов, несмотря на недомоганье, выпрямленный и торжественный, в чистом фартуке, тужился морщинистой шеей, щелкая на счетах, пробуя о мраморный осколок добротность приходящего серебра. Карасьев возился с сахаром и так успевал, как будто был четверорукий. Сеня размашисто работал хлебным ножом, когда дверь в лавку отворилась и вошел еще один.

Вошедший был человек не старый, но как бы изглоданный жестокой болезнью. Обтрепанное осеннее пальтецо, без пуговиц, с торчащей кое-где ватой, осело и приняло форму длинного худого тела: особенно остро выделялись плечи и карманы, набитые чем-то сверх меры. В левой руке гостя повис тощий белый узелок.

— Чего прикажете? — сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.

— Это я, папаша...—тихо сказало подобие человека голосом неуверенным и ждущим.—Сегодня, в половине одиннадцатого выпустили...

— В комнаты ступай. Сосчитаемся потом, — рывком бросил Быхалов и оглянулся, соображая, много ли понято чужими из того, что̀ произошло.

Как сквозь строй проходил через лавку Быхаловский сын, сутулясь и запинаясь. Он еще не прошел совсем, зацепившись полой за лопнув-

ший обруч бочки, когда услышал позади себя вопрос. Старик с опухшими глазами и в картузе, похожем на гнездо, спрашивал у Карасьева:

— Сынок, што ль, Зосиму-т Васильичу?..

— Не сынок, а сынище цельное, — поиграл статными плечами Карасьев. — Кончил курс своей науки... — он не договорил, остановленный злым хозяйским взглядом.

— Запирай, — кричит Быхалов.

Сеня гремит полдюжиной замков, бежит, пробует рукой и глазом, хорошо ли повисли на ставнях. Не успел Зосим Васильич поддевку снять, Карасьев, румяный соблазнитель, долу потупляя круглое играющее око, говорит ярославским напевом:

— Кушать подано, Зосим Васильич. Прикажите начинать...

— Не вертись ты, сатана, — шутливо огрызается хозяин. Приход сына и смутные надежды на какую-то решительную перемену в нем делают свое дело. — Успеешь баб своих полапать. Ишь, хохол-то зачесал!

— Для красоты - изящества, — отшаркивается Карасьев, поплевывая на ладошку и приглаживая поразительной кривизны кок на лбу. — Это мы, Зосим Васильич, чтоб девушки любили...

— Видал я девок твоих,—ворчит Быхалов, — худящие да мазаные. И не разберешь: живой человек, аль труп. Выбрал, нечего сказать.

— Это ничего-с, — вертит плечом, в меру обижаясь, Карасьев. — Я и труп могу полюбить. Любовь изнутри идет. Человек не может знать, куда его сердце прилипнет. Труп — это еще пустячки...

— Балда! — объявляет ему Быхалов, покачивая головой, к вящшему Карасьевскому удовольствию, и садится к столу. На нем замасленный пиджак, одетый пóверх снежно-белой рубашки. Он все еще улыбается: в Карасьеве не без удовольствия узнает он молодого себя. — Петр, есть иди!..

Притихший, с опущенными глазами выходит из соседней каморки Петр и садится на краешек табуретки.

— Лоб-то разучился крестить?.. — зорко кося на сына, ворчит отец.— Запрещают, что ль, у вас в тюрьме там?

Петр молчит, как не слышит. Карасьев с показным усердием машет себя истовым крестом.

— Ты, Петруша, не сердись...—кашляя, говорит отец. — Сам знаешь, за стойкой все стою... тридцать восемь лет стою. К минуетам вашим не приучен!

Петр тихо:

— Не надо, папаша. Устал я...

Миска постных щей быстро пустеет. Карасьев жадно набивает рот. Румяные его щеки дуются тугими барабанами. Сеня ест робко, Петр совсем не ест.

— Пашка где? — спрашивает Быхалов, так повышая голос, что Сеня уронил ложку. — Пошел вон из-за стола, если сидеть за столом

не умеешь,— резко приказывает Быхалов.— Иван, Пашку ты усла. Простужен он, напрасно ты его... Еще свалится где.

— Я его...— давится Карасьев и, не дожевав, с видимым отча нием глотает непрожеванный кусок,—...его с утра за уксусной кисл той направил. Очень нужда-с...

На столе пшенная каша, обильно политая маслом. Карасье ныряет ложкой в кашу, но останавливается на полпути ко рту, пуч глаза на хозяина.

— Ешь, ешь,— смеется Быхалов. Петру:— а ты почему не еш Аль тебе отцовская соль солоней острожной?— сухой, горький смешо

— У меня катарр, мне нельзя,— тихо говорит Петр.

— Ката-ар?.. Хрбж...— фыркает в колени Карасьев, подобостраст взирая на хозяина.

— Эй, холуй!— зло одергивает Быхалов.— Губой-то по пол возишь, аль наняли?

Все молчат. Глаза Петра темнеют, как окна в сумерки. Се стоит поодаль, грустно глядя, как Карасьев дожирает кашу.

...Сеня моет посуду на подоконнике, широком в ширину стены Обманная весна чертит окно тонкими царапинками мороза. И лето быстро темнеет у Быхалова, а зимами и совсем не бывает дня.

— Ну... рассказывай,— вздыхает Быхалов.— Мне-то про себ рассказывать нечего... Вот мать без тебя скувыркнулась. Ты б ей хот письмецо написал из тюрьмы-то, она тебя жалела.

— Я знаю,— неясно вторит Петр.

— То-то, знаешь. Плохо небось в тюрьме-то?

— Да как сказать?.. Неважно. Измотался весь,— глухо говори Петр.— В последние дни на рассветах все людей у нас увозили.— Сеня прислушивается и осторожней плещет кипятком.— Часов окол трех придут...— однообразно тянет Петр,—...уводят. А он и крикне на всю тюрьму: прощай, товарищи! Тут уж и начинается. Окна бьют двери колотят... У нас, в Таганке, тюрьма очень гулкая...

— Что ж, на выпуск, значит, увозили?— ворчливо спрашивает Бы халов-отец, соскабливая ногтем тонкую корочку обеденной гряз со стола.

— Не на выпуск, папаша, а на повешенье,— спокойно говори Петр и повертывает голову к окну.

Сенино лицо строго и бледно, сразу осунулось. Проскакивае воспоминанье: там, в деревне, в Бабашихином лесу, молодые ребят суку вешали. Она долго царапала лапами воздух, вся подгибаясь вверх Сеня стоял тогда в стороне от общего веселья и лицом повторял вс ее напрасные движенья.

— У нас вот тоже собаку вешали...— робко начинает он, глота обильную слюну.

— Хватит!!— Быхалов ударяет ладонью по столу, весь красный.— Эти побаски ты у меня в квартире оставь. Тут тебе хвастаться нечем

Ты мать свою съел и меня съесть хочешь? А я не дамся... не дамся, братец!

— Да ведь я и не хвастаюсь,—уныло усмехается Петр, в какой-то страшной судороге разглаживая себе лицо. — Чем тут хвастаться?.. Разве только тем, что двух моих... лучших... тово, нет больше.

— Сенька, заваривай чай! — Быхалов.

Заваривают густо. Шуршит в Петровых руках бумажка развертываемой карамельки. Маятник стучит. За окном какой-то шум. Отпирает Сеня. В раскрытую дверь городовик проталкивает Пашку багровой ладонью в плечо. Пашкино лицо неподвижно и серо, но он особенно тяжко приседает на хромую ногу. Руки свои, перебинтованные в ладонях, тяжелые и белые, прячет Пашка за спиной.

— Паша, что с тобой?..—испуганным полушопотом спрашивает Сеня.

— Руки обморозил вот...— отвечает холодно Пашка.

— Малец врет! — четко возглашает городовик. Часто вскидывая руку к овчинной тулье, он докладывает. — Вез малец две бутыли уксусной кислоты, вез и вез, под горку. А тут подвернулись похороны. Загляделся. Сани опрокинулись на тумбу. Упал и сам он, руками в разбитое стекло. И так испугался малец ваш, что хозяйское добро погибнет,— докладывал подробно городовик и, свидетельствуя степень мальцова испуга, ставил перстом точку на стриженную голову Пашки,— ...что прямо вот порезанными руками, без варежек, как был, сунулся в уксусную лужу. Перелить, вишь, хотел хоть горстку в отбитое днище — осклабился поощрительно городовик... — И только, как увидел кровь на руках, тут и закричал. Известно, нельзя человеку собственную кровь видать. Чужую — ничего, а свою — утруднительно,— так докончил городовик, поискал — куда отплюнуться, не нашел, на пол не решился и проглотил.

Хозяин медленно пошел к Пашке, не сводя взгляда с его рогообразного вихра. Пашка щурился и пятился к стене. На полпути Быхалов остановился.

— Спать иди,— броском сказал он. Губы его были презрительно поджаты.

Потом Зосим Васильич снял пиджак и полез на свою высокую кровать. Он вытянулся, наморщил лоб и вздохнул. И в будни не уставал так Зосим Васильич.

VI. Пашка Рахлеев уходит в жизнь.

Быхаловские окна не раскрывались ни разу за все тридцать восемь лет. А как украли шубу у покойницы, вделал в окна железные плетенки Быхалов. Сквозь них и тончайшей солнечной струйке было не пробраться, вору же ни во век.

За таким надежным укрытием от солнечных ветерков, обитали в плесенном кругу Быхаловских стен многообразные запахи: каждому

своя щель, свой час. Запахи — плотные, медленные, как откормленные зарядские коты, — старые жильцы, живут семейственно, не утесняя друг друга. Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофля, и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого ржаного хлеба. А досидит пришлец до вечера, поласкает его внезапный и непонятный аромат: как бы женская толстая голая рука просунется незримо к носу и погладит нос. Это из-под кровати,—целая кипа там цветных дешевых мыл. И между ними, четырьмя, ворочается главный хозяин — гниловатый привкус мокрой соли и отсыревших, крашеных масляной зеленью стен.

Огромная печь разгородила надвое темную Быхаловскую щель. В правой половине притулилась приножьем к печке, спрятана за ситцевой занавеской хозяйская кровать. У стены стол, над столом поясной Никола. Сумрачно смотрит он из-за обсиженного мухами стекла на чадную перед собой лампаду. Тридцать восемь лет назад и моложе и веселей был, всякому своя старость; тогда не обманывали еще угодников керосиновыми смесями. А за киотом торчит высохшая вербочка. Облетели барашки, и уже не весенняя благостынька с веселой, шустрой речки, а розга - розгой, недоумков стегать.

Правая половина — молодцовская. В сыром углу, у выхода в лавку сбиты из старых ящиков коечки для Савельевых ребят. Легкие сны, приятные не зарождаются в таких углах. Карасьев, зарядский красавец, имел свое обитание на полатях, где и теплей и благодатней. Сюда пробирались порой на сочное ярославское тело отощавшие на сухожильном Зосиме Васильиче клопы.

В стене, на которой Никола, проделана дырка-дверь, за нею — комнатушка - крохотка, комнатка - сундучок. Стоят такие сундучки под кроватями богаделенных старушек, открываются туго и поют в проржавелых петлях, по погоде меняя голоса... А таят они в себе молевых червячков, неношенную бабью рухлядь и запахи: прелый — ткани, кислый — железа, горклый — мыла, просфорный — от пыльного божественного сора. Запахи эти маленькие, телом юрки, бегают стайкой, мышатки. Здесь, на сундуке, умерла Быхалова - мать.

Петр пролежал с полчаса на высоком и твердом подобии кровати, тоскливо поглядывая на полку с недопитыми микстурами, на бескиотную Троеручицу, в паучином углу. Потом Петр поднялся и пошел к отцу. Отец не спал и, лежа на спине, глядел в потолок немигающими глазами.

— Папаша,— тихо сказал Петр.— Я поговорить хочу...

— Ах да потом, потом! — чуть не хныча, зашевелился отец.— Жалости в вас нету. Сходи вот лучше в подвал, ребята туда убежали. Не наделали бы чего над собой...

— Это в картофельный?..—покорно спросил Петр, отходя от отца.

— Да. Спать зови.

Дверь не сразу выводила в подвал. Сперва — сенцы, налево — ıход в лавку, направо четыре темных ступеньки. По ним, знакомоользким, прощупывая темноту недоверчивой ногой, спустился Петр. эследняя, подгнившая, треснула.

Петр зажег спичку и толкнул низкую дверцу ногой. Спичка похла, из подвального мрака тянуло плотным теплым ветерком: кар-фель. Петр вошел, дверца за ним запахнулась сама. Его обступил ıак, собственного пальца, поднятого почесать переносье, не увидел ːтр. Когда отворял дверь, откуда-то из глубины мрака услышал Петр ухой всхлип. Теперь стояло совершенное безмолвие.

— Ты кто? — как-то ломко прозвучал Сенин голос и прервался.— 'о вот Пашка тебя звал!..

Петр прислушался. Мрак молчал. Петр переступил с ноги на ногу, устнула раздавленная картофелина.

— Брось, Сенька. Ну, хочешь, я картофлиной в него запущу,— азала темнота простуженным Пашкиным голосом.

— Ну-да-же! — с горячей убедительностью заспешил Петр. — Что вами, мальчики? Ведь этого же, что вы подумали, не существует на ːте! Вам наговорили глупцы, которые сами ничего не знают. Ну, ıдите. Видите, кто я? — Он вспомнил про спички, достал коробок и жег последнюю. Так, с огнем в вытянутой руке, он сделал шаг еред. — Я, Петр Зосимыч, ваш товарищ, Петр. Я проведать вас ишел...

Спичка горела неровно, задыхаясь в подвальной духоте, тухла.

— Подсматривать пришел, не воруем ли... — резко поправила мнота.

— И совсем не подсматривать,— вспыхнул Петр.— Зачем ты сказал ıравду? Это нехорошо. Ты еще мальчик, я старше тебя.

— Хорош мальчик! Уж оброки за отца с матерью платим! — усмехıся мрак. — В Сибири уж плодятся такие, сам твой отец говорил.

Петру вдруг стало очень неловко. Уйти было неуместно, молчать — ıшком глупо, а говорить, стоя перед ними, сидящими, было всего ıдней.

— Мой отец грубый человек, я знаю,— неловко сознался Петр.— меня-то вы ведь впервые видите. Почему же ты хочешь уколоть ıя? Я такой же, как и вы...— Петр хотел добавить „несчастный", но ıенил „угнетенным", а когда нашел это слово, было уже поздно ıорить. Петр готов был заплакать в ту минуту от этого мучитель-'о недоверия тех, ради кого он шел в тюрьму.

— Ну, хорошо,— спокойно и неумолимо сказал мрак.— Ну-ко, ıвинься, Сенька. Откуда ж ты узнал, что мы тут сидим?

— Отец сказал,— откровенно сознался Петр.

— Ну вот! Ступай, укради тогда у отца...— в голосе Пашки зву-а насмешка.

— Что украсть? — недоуменно спросил Петр.

— Да хоть часы укради... и принеси сюда. Вот и посмотрим дружбу твою!

— Ну! — растерянно ждал Петр, ужасно краснея. А уж работала голова: он открыл полог, отец спит, в головах у него тикают часы. Он возьмет их, но отец проснулся.—„Чего тебе?"—„Хотел время посмотреть"... Значит, нужно будет перед тем остановить стенные часы и даже отвести стрелки немного назад, для правдивости. Вдруг Петр отчаянно встряхнулся. — Но позволь, мальчик, логика-то где же у тебя?.. — спросил он, сбрасывая с себя тяжкий дурман Пашкиных слов. Во рту у Петра вдруг стало мерзостно, словно заставляли его окурки жевать.— Я не понимаю, я совсем не понимаю тебя!..— торопливо затвердил Петр и еще шагнул вперед с вытянутыми руками.— Дайте-ка мне сесть рядом... и давайте, поговорим.

— Садись, – сухо произнес Пашка. По движенью воздуха Петр понял, что Пашка встал. – Пойдем, Сенька. И реветь довольно. А то еще хозяйская картошка загниет...

Молча, стороной, мальчики пошли из подвала. Хлопнула дверь. Петр все стоял, оторопев от удивления. Потом он услышал ширкающий звук задвигаемого засова. Петр кинулся к дверце и сильно толкнул ее. Дверца, глухая к его удару, как толстая чужая спина, не отмыкалась. Скользя на раздавленных картофелинах, Петр пошел в угол, где сидели мальчики. Там он нащупал полурассыпанный мешок картофеля и сел на него, закрыв лицо руками. Минуты через три он отвел руки, покачал головой и засмеялся. Смех его был добрый смех, зла в нем не было...

А Пашку и в самом деле трепала простуда. Еще в подвале мутилась голова, а по приходе оттуда тотчас же охватил его бредовой полусон. В ладонях длительно и неровно жгло. Сеня убежал к Катушину, а Пашка все стоял в своем углу, перед койкой. Он прилег, и тотчас же сознанье его потускнело: словно вылили из стаканчика, и стаканчик самый разбили. Дыханье захрипело, точно в грудь поместили большие, свирепые часы. Виделось, будто стены раздвинулись, потом лениво покачались, потом пошли на Пашку, грозя смять. Будто не стены идут, а две тысячи черных яловочных сапог, вразброд, гулко и шаркающе идут. И при каждом самом мелком приближеньи их больнее бился всем телом Пашка, пуще яря боль в руках.

...А вот уже и нет стен, а будто пойма. Сенокосят бабы, а Пашке всего восемь лет. День ладный, жаркий. Солнце висит над самым теменем. Небо сине до черноты. Восток грозит дождем. Рядами идут осоловелые бабы и бойкое гуторливое девье. Ребятишки — и Пашка вместе с ними — рыщут по стежкам, выискивая ягоды.

Разморило солнцем Марфушку - дурочку. Рваный белый платок на румяные щеки приспустив, глаза сощуря, заходила с опушки Кривоносова бора, шла — как играла. Мерно выдавались плечо и грудь на

змахе, мерно вздыхали травы, поникая под острым косьем. Тут Пашка еред ней, стоит и в траву смотрит.

Марфушка ему:

— Недоброй, отойди!

А Пашка и не слышит. Марфушке прозванье в Ворах — Дубовый Язык. Опять:

— Уходи-т я тебе тказала, аль нет? Вот я тебя котой!

Пашка в те годы задорен был:

— А не подкосишь!

— Ан и подкоту!

— А ну, подкоси!..

Марфушка взмахнула косой и зубом скрипнула. Пашкин крик ыл необычен, словно лошадь вздумала закричать. Выглянула из-под латка Марфушка: и впрямь подкосила паренька; из ноги его, повыше абки, красная ручьится кровь.

Лоскутьем рубахи перетягивали Пашке ногу, несли на рогожке омой. Сознанье Пашкино померкло. Потом ночь. Избяная духота ахла телятами. Мухи бились в потолок. Возле сидел Сеня и совал почернелый от муки Пашкин рот кислый квадратик карамельки, сво-ованный с недавних помин по деревенском богатее. Все забыл Пашка, се съедает, как ржа железо, тупая человеческая боль.

— Пашка...— говорит тихо Сеня, кладя руку на Пашкин лоб. Но Іашке тошно, Пашка молчит.

— Пашка! — грубее говорит Сеня и тычет перстом в увлажнен-ый испариной Пашкин лоб. Пашка сердится, глотает скудную слюну, ткрывает глаза.

Сеня в жилетке и с бородой, глаза злые. Бреда Пашкина сразу ак не бывало. Только непокорно слипаются глаза. Только руки: ловно на кусочки порублены, и каждый в отдельности горит. Не-онимающе, пристально смотрит Пашка в переодетого Сеньку и вдруг, огадавшись, испуганно отмахивается перевязанной рукой.

— Успеешь, говорю, выспаться,— говорит ему Быхалов.— Петр де? Я его за вами посылал.

Пашкина память просыпается лениво. Пашка морщит лоб, рот его огда открывается сам собой.

— В подвале он...

— В подва-але?.. — топырит губы Быхалов. Бровь у него бежит верх недоуменным смешком.— Что же ему там делать?..

Быхалов берет с полки прокопченую семилинейную лампчонку и творяет дверь в сенцы. Пашка слышит, как осторожно спускается озяин по ступенькам, потом отодвигает засов подвальной двери.

— Петр... Петруша!.. — кричит он в глубь подвала. — Ты десь? а?

Ответного голоса Пашка не слышит. Разгоряченное воображение Іашки подсказывает: Петр вышел из подвала, подслеповато щурится

на коптилку, протирает глаза длинными своими ладонями, улыбается молчит.

— Как попал сюда?..— отец. — Деньги, что ль, заперся выделывать Кто тебя запер?

— Да я сам... нечаянно,— смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.

— Дак ведь не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь!

— Наверно мальчики подшутили,— сознается Петр. — Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша!— И опять, слышно, Петр смеется.

Быхалов - старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:

— Ну, а если бы он тебя по морде хватил... ты тоже смеяться бы стал?

Близкая к Пашке дверь скрипит. „Ага, каменная стена приближается!“ Пашка в мучительный клубок сжимает свое четвероугольное тело и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову: темя. В рот ему попала выбившаяся пакля. Пашка отфыркивается в духоту кофты и ждет.

...Снова, вперемежку, дикой, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды, мухи, Сенька. Пашка тужится и преодолевает бредовую карусель. Звук шага совсем близок, замолкает рядом.

— Что ты хочешь с ним делать? — слышен Пашке тревожный вопрос Петра.

Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Пашка ворочается, но холодная, огрубелая рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровясь, хватает за ухо. Петр меняется в лице, глаза его расширены страхом за Пашку. Собственный язык раздражает его, как тошный кляп.

В то же мгновенье Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга неожиданностью, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце его мизинца повисает темная капелька крови.

Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные блестящие зубы, только что прокусившие хозяйский палец, ждут еще кусать... Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.

— А, вот как! — мычит Зосим Васильич и жует губами, обсасывая палец.— Ну, слезай. Стоять тебе там нечего.— Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник,— в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок.— Собирайся,— решительно командует он.

— Куда?.. Куда ты его гонишь? — вступает в разговор Петр. Лицо у Петра смятое, почти умоляющее, но Быхалову не до Петра.

Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволоку свой богий, проштопанный пожиток. При каждом движеньи его пере-интованных рук, тело его неуловимо содрогается.

— Да ведь ночь же!..— в отчаяньи за Пашку говорит Петр и елает неопределенное движенье рукой, поясняющее, как темна и не-эиютна весенняя ночь.

— Не мешай,— властно говорит старый Быхалов.— Тут не игрушки ебе... Тут жизнь!

Одновременно Пашка выступает вперед:

— Вы засуньте пачпорт-то в карман мне,— просит он сипло.— меня руки... не действуют...— и выставляется боком, где карман.

— Вот что, братец,— не сразу начинает Быхалов, меняя оттенок лоса. По губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, Зосим асильич как-то меркнет лицом.— Ведь ты, братец, этак-то и убивать эзможешь.— Слова Быхалова нетверды.— А в том, что поучить тебя отел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, эатец, по горбу бьют, тем больше горб и стоит... Причащался ведь нынче,— прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.

— Прощенья проси! — заплетаясь языком от волненья, шепчет етр.— Мальчик, проси прощенья... и все кончено, ну!

— Сам проси, коли охота напала,—весь дрожа говорит Пашка и изнеможеньи закрывает глаза.

— Ах, ты вот как!! — Быхалов-отец хватает себя за горло, как припадке удушья.— Вон пошел, злыдень... чорт! Вон...

Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел ой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:

— Там за вами еще полтора рубля оставалось... Сеньке отдайте.

— Постой, постой... Я тебе сразу выдам,—спешит Зосим Васильич.

Но Пашка уже ушел. Дверь притворена не плотно. К ногам ежит морозный холодок. За окном полная ночь.

...Попозже, через час, Петр перед тем, как ложиться спать, захо-іт к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, неми-ющий. В головах у него как-то особенно подмигивающе и нраво-ительно тикают часы.

— Пришел?..—жестко спрашивает отец.—Ну, посиди, посиди у еня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. шь проносились штиблеты-то твои, песок в них и то не удержится!— мечает он, глядя на свесившиеся, худые и длинные ноги Петра.— тнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока...

— Папаша,—мягко прерывает его Петр, обводя пальцем каждый адратик лоскутного отцовского одеяла.— Я вам сказать хотел, вре-ени вот только все не выходило... Меня не совсем еще выпустили. ерез две недели второе дело будет слушаться...

— А-а,—холодно внимает отец.—Тянет тебя в тюрьму, Петруша. рать, что ли, тебе на свободе нечего?

— Мне-то есть что,—с мягкой настойчивостью отвечает Петр.— Хотим, чтоб все, папаша, жрали...

Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.

— Папаша... я и позабыл вас этово, ну вот... с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!

— Нашел время, Емеля!—тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе Быхаловском—и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра. Петр уходит спать.

Еще через час—уже сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.

Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто—поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разных стороны...

VII. Девушка в гераневом окне.

Каждому цвету свой черед. Пришла пора и Сенина. К тому времени, как речь, Семеном стал звать Сеню Быхалов. С Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова—кольчиками: никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье. Иного взращивало в холе и с любовью: и цвел снаружи буйный цветок, а внизу черствели и удлинялись злые чертополошьи корни. У Сени, покуда, глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него в обрез налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел. Скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая Зарядская скудость.

За все то время пяти лет житья в бакалейных молодцах, не уставал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года, почти все книжки Катушинские перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Все обтертые, скользкие ступеньки Катушинской лестницы имели свое обличье и место в Сениной памяти. Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.

Так случилось и в наше воскресенье, после запора лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, сильным снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу, сорном от обрезков сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка,

даже зажмурился Степан Леонтьич: уже не выносили света слепнущие его глаза.

— Что-й-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли...

— Книжку вот принес,—говорит Сеня. Улыбка Сенина широка и свободна.

— Всю прочел?—жмурится Катушин.

— Всю-то, всю. Сочиненье хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.

Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.

— Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь...

— ...спасет,—докончил за Катушина Сеня.—Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь... я чита-ал...—протянул Сеня.—Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман цельного мира. Только, по-моему, все это враки,—со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.

— Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду!—хитровато посмеивается Катушин.—И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге...

Уже через три минуты Катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминанья. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.

— ...очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить,—сутулясь еще больше, рассказывает Катушин.—Меня тогда дьячок и приютил один из соседнего села. Я к нему и бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал. „Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!“ А дьячок меня и учил... Вот как кончилось обученье, он и говорит мне на последях, дьячок мой: ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плесть, хочешь—обучу... А дальше уж ступай как сам знаешь!

Сеня смотрит в окно. Ветерок прохладный задувает к нему в лицо и на колени, и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже—в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц, в гнилые рты. Сеня любит глядеть из Катушинского окна: видно много.

Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Ныне над крышами их свирепствовало предвечернее солнце, парило воздух, мягчило асфальт, как воск, дожелта накаляло тонкую Зарядскую пыль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял

небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семя скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому заря отведено в празднике свое особое место. Дудину — в сыром под чокаться с бутылкой и спрашивать ее о целях Дудинской жи Быхалову, вымытому до красноты и хмурому, сидеть над Киев патериком, услаждая скупые слезы умиленья сладким чаем. Карасьев все гулять по переулочкам, перемигиваться со встречными девушка преть в ватном пиджаке: высоко ставя земное свое благолепие, тол ватное уважает Карасьев.

На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вял любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядьи, по чет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста и, когда обмелеет, в чьих жизнях затеряется ее исток?—Внезапно ус шал Сеня как бы шуршанье бумаги. Катушин сидел теперь к н спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились старик ские лопатки.

— Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый?.. — кину к нему Сеня.

— Ничего... ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку тво Дьячка своего вот вспомнил. — Катушин уже улыбался, и лицо е разглаженное улыбкой, походило на страницу книги, обрызганн слезами. — Весь небось растворился в земельке, года немалые. К обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну, вот и я так же. Выходило, что не Сеня утешал старика, а, скорее, старик примир молодого с необходимостью смерти. — Не тревожься, паренек, бу крепонек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богадельн меня не примут... крови я не проливал, родины я не спасал. А глаз то — эвоны — мы, говорят, покоя хотим... Берешь иглу в руку, а и видишь иглы-то... и нитки не вижу! так, паренек милый, пустым мест по пустому и шью... Только вот рука не омманывает...

Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий пот лок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами маленьки желтый ноготок мизинца, — как провинившийся мальчик, разбивши то, что дарят человеку только однажды в жизни.

— ...за обеденкой стою даве, что-бысь, думаю, во рту неловко Пощупал, а зуба-то и нет. И всего-то у меня четыре было, приятели! — он усмехнулся сам над собой и усердней закусал свой ноготь. — Тр теперь осталось, непоровну даже. А много ли, дружок, утешения н три-то зуба?

Жара за окном как будто сменялась прохладкой, зато предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышащие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна Секретовского трактира запел трубными голосами орган. Сеня, задумавшись, неподвижно глядел в окно.

— ...все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!..—слышал Сеня совсем издалека.

В двухъэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кис йные занавески. За занавесками, было видно Сене, стояли по подоконнику пушистые, ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка—было Сене не различить.

Она поправила темный передничек, оперлась локотками о подоконник и стала глядеть вниз. Потом зевнула. Повернула голову влево, опять зевнула. Потом взглянула вверх, на крыши... Чем-то встревожась, раздвинула геранные горшки и высунулась из окна.

— Хрш-шш! да улетайте же, улетайте вы!—громко закричала она, беспомощно хлопая в ладоши и махая передничком. Вслед затем она увидела Сеню в окне.—Там... там, голуби...—закричала она, еще более высовываясь из окна.

— Голуби?.. Где голуби? На крыше?..—закричал ей Сеня через улицу и успокоительно помахал ей рукой.—Я счас... счас!

Ни слова не сказав Катушину, ошеломленному внезапным и бурным поведением питомца, Сеня метнулся в дверь. В несколько секунд он был уже на чердаке, а оттуда через разбитое чердачное окно вылетел на крышу, громыхая по железу тяжелыми своими сапогами.

Сенины опасения, что уже поздно, оправдались. Кот, белорыжий и толстый, сидя на самом краю крыши, держал голубя в зубах. Птица вздрагивала, из разорванной голубиной шейки струйкой текла на раскаленное железо кровь. Сам кот имел вид скучающий и вялый, словно показывая, что он совсем и не любит голубей, даже противны ему голуби, а просто поиграл и хочет спать.

Сеня так быстро очутился на краю, что кот не успел улепетнуть и в следующее же мгновенье жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке. Удивленный неожиданностью нападения, кот голубя не выпускал.

Сеня и сам не заметил, что произошло за это крохотное мгновенье. Огромный Сенин сапог скользнул вниз, и Сеня широко взмахнул руками вместе с котом, державшим голубя. В гераневом окне раздался одновременный вскрик. Если бы не водосточный жолоб, куда попала нога, игра Сенина была бы проиграна.

Теперь, еще пошатываясь, Сеня стоял на самом обрыве и силился овладеть покачнувшимся вместе с ним сознаньем. Сперва он ощутил опасность и невольно отодвинулся на полшага от края вверх по скату. Потом он различил, что девушка из окна кричит ему что-то. Смысла слов еще не улавливал он, но уже знал, что голос ее был низок, мягок и звучен, его приятно было слушать. Словно пробуждаясь, Сеня неосмысленно улыбнулся и отодвинулся еще на полшага.

Кот, извернувшись, царапал Сенину руку, но Сеня не слышал. „А ведь она сердится на меня. Тут что-то не так!“—подумал в сле-

дующую же минуту Сеня, различая в голосе девушки гневные нотки. Он вслушался, стараясь уловить причину ее гнева. Та, окончательно выйдя из себя, нетерпеливо барабанила ладонями по железу подоконника:

— Ах, да отпустите же кота... Это наш кот! Ах, какой глупый... он его задушит. Слышите вы? Отпустите кота, вам говорят!..

Сеня разжал руку. Кот мгновенно исчез, и уже откуда-то снизу угрожающе мяукнул. Голубя он так и оставил в водостоке. Кровь успела высохнуть и почернеть. „Ну вот, я выпустил. Теперь что?" — такой вопрос отображала вся Сенина фигура. Вместе с тем отказ от самого себя и какая-то необычная для него нежность были в этом вопросе. Холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Опять закружилась голова. Скажи она — лети и, может быть, полетел бы, отдавая себя без рассуждений на губительный полет — любви?

На него упадало вечереющее солнце. Расстегнутая у ворота белая рубашка казалась девушке из геранёвого окна сильным пятном оранжевого, тягучего света на большом куске черно-голубого, предгрозового неба. Он стоял теперь у гребня крыши, держась рукой за кирпичную кладку трубы. Девушка в окне, высунувшись еще более, укоризненно качала головой и смеялась:

— Ну, чего вы сюда глядите? Не глядите сюда! Слышите? не глядите...

А Сеня догадался, что она топала ногой, и улыбался ее гневу широко и восторженно. „Тонкая какая", — подумал Сеня и, сам того не ожидая, прокричал ей:

— Не вылазь, не вылазь... переломишься!..

Та сердито захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.

Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. „Вот здорово!"—сказал он вслух и засмеялся сам себе над внезапностью всего события. Солнце приятно щекотало ему лицо, и ветерок отдувал расстегнутый ворот рубашки. Он поднял руку застегнуть ворот и недовольно нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги. Они были тяжелы и неуклюжи, восхищавшая его когда-то крепость их теперь казалась вопиюще грубой несуразностью. „Бочки, а не сапоги. Капустой их осенью набивать, вот что!" — подумал он и, неудержимо покраснев, глянул исподлобья на противоположные окна. Ему вспомнились Карасьевские сапожки, тонкой кожи, лакированными бутылочками... Он огорченно покачал головой.

И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева.

— Ты чего ж тут балбесничаешь? Пшел домой! — рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить свой гнев. — Чего народ внизу

›бираешь! Я вот тебе задам, неслуху!..—и он взмахнул тросточкой, :ржа ее за нижний конец. Рукоятка изображала серебряную женщину, › от времени живот у ней протерся и стал медный.

Тут случилось совершенно непредвиденное Карасьевым. Сеня за- ıеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:

— А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину...

— Ну и дурак,—зло обиделся Карасьев, не решаясь выбраться ı крышу.—Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак- ? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!

— В поминанье пропиши,—весело кричал ему Сеня. Но тот уже чез с той же внезапностью, как и появился.

...Долго здесь сидел Сеня. Чуть не весь город лежал распростер- ıй внизу, как покоренный, у ног победителя. Огромной лиловой гой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широ- е и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за мные кремлевские башни, пики и купола, многообразно и величе- венно стерегущие древнюю нетронутость Москвы.

Взметенная дневной суетой оседала пыль, и уже жадней хватала ›нина грудь веянья холодеющего воздуха. А снизу источалась духота, ıр, томящая, расслабляющая скука. Небо потухало, все больше ходя на блеклую, выгоревшую на солнце синюю ткань. Все прини- ло лилово-синий отсвет ночного покоя, усугубляемый тучей, напол- зшей с востока, медлительной и страшной, как гора, вывернутая гром из своих скалистых лон. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал лниями иссушенный московский горизонт.

Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, там, далеко, главенствуя над сумерками, диким бронзовым румян- м пылал крест и купол Никиты-мученика, что на Швивой горе. льше, в туманно-пыльной дали, обманывался глаз. Там загорались ›ебряные точки в окнах, но очертанья самых окон размывала мгла.

Напрасно прождал Сеню весь тот вечер Катушин, приготовивший я него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел ›рху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную тор- ственность закатной Москвы. Победителем ее чувствовала себя раз- ıновавшаяся Сенина сила. Но сердце не хотело биться вместе ›атихающими разбродными шумами города. Оно стучало по своему, стро, четко и властно. Так несется в неизвестность мглы, ударяя кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной ›оге.

VIII. Петр Секретов.

У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые Зарядцы смертью обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот ›ому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку— му ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обхо-

дительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого Карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки козырями бывают: примером тому Секретов Петр.

Из дырявой полтинки Петр Филиппыч повелся, а помнит бородатая Зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух.

Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха. Но осенью однажды объявилась москательня в каменной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут — Петр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой, — шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.

Да раз пошла Быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой — Петром была покойница на сносях — на Москварецкую тащиться и у незнакомых покупать.

Бесусые ребята оженились, бородатых по кладбищам развезли. — Слух прошел по Зарядью: желторозовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь, какого-то хозяина бог на шею посадит. Вдруг Дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтоб не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы—Лопух. Очень тогда Секретова не взлюбили, что помимо Зарядья, окольной статью, в люди вышел. Впрочем Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.

Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым скромным образом предложил Петр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.

Купец только бороду почесал да усмехнулся:

— Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? прямо говори...

С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему, как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отде-

ıал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и ю всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.

...Как-то раз, в двунадесятый, на безденежьи, стало Дудину обидно ıа приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, ı пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, 'оловенку набок, улыбается с горьким умиленьем на Секретовское бла-'олепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико 'резв, даже слишком для Ермолая Дудина.

Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны :идела беременная жена, а с другой — шурин Платон.

— Ты что ж образ-то подобие корчишь?—поднял глаза Секретов, ›близывая творог с ватрушки. — Какая у тебя надобность?

— Ватрушечка-то небось вкусная?.. — согнулся Дудин в пояс-ıице.

— На, — сказал Секретов и протянул облизанную.

— Ноне-то и пузцом обзавелись... а ведь я Петькой помню вас, Іетр Филиппыч, — льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман ı там разминая ее в крошки от злобы. — Как, бывало, в ребятишках ıы с вами бегали, уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, ı не приведи бог! И гашничек у вас, извиняюсь, тоже всегда расстег-ıут был. Ах, какая смешная история! Я б и еще сказал, да вон их :тесняюсь, — он кивнул на Катерину Иванну, пугливо замершую с ıепрожеванной ватрушкой во рту.

Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, ıотискал он кнопку под столом, — вскочили в дверь дворники, взяли Ӏудина в охапку, унесли. Там, на заднем дворе, возле собашника, и ıостарались они, кто кого перехолопит в услужливости хозяину. Некому ›ыло Дудину жаловаться, а жена, сама хирея день ото дня, замечать :тала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай, после того, как :ходил в гости к другу сердца и давней юности.

...А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трак-'ирная посуда, и запел орган. Зарядье — место бойкое, в три быстрых :люча забилась в „Венеции" жизнь. Линии Секретовской жизни были рубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было ıравильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, ıе то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и ›прятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Кату-ıину. Проветриваемая смешком, не болела его душа ни тоской, ни жа-ıостью, ни изнурительной любовью.

Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Іванна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и :отя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина : слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Ѕсе же переползала от кровати к окну, бездельно сидела под окном, ıаблюдая чужую жизнь, жалко улыбалась, стыдясь самой себя.

Ее-то, так же, как и Сеня пятнадцать лет спустя, увидел Катушин, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Иванну, чужую в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.

Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Иванну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, к свадьбе ехала. Двигаться Катерина Иванна уже не могла, и все надобности за нее оправляла Матрена Симанна, новоявленная тетка Катерининой двоюродной сестры, из Можайска. Эта, толстая и злая, и креститься помогала хозяйке ее малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону тупое бормотанье хозяйкиных губ. Она же приходила на помощь и в остальном.

Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.

— Ты меня, Катерина, прости... за все гуртом прости! — сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.

Та лежала, неподвижная, страшная, белая.

— Слышь, жена, — прощенья прошу! — повторил терпеливо он, барабаня пальцами себя в лоб.

Она молчала, а Секретов, разойдясь, уже бил кулаками в притолоку:

— Да что ж ты, как башня, лежишь... не ворочаешься?.. — завопил он.

С той поры совсем он махнул рукой на Катерину.

Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то Секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой старенькой рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда — рассказывал слышанное и читанное, смешное, не получая никакого ответа да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.

Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год, возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:

— Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь.

В другой раз осмелился сказать Секретову:

— Что ж ты ее, Петр Филиппыч, просвирками-то моришь?.. Ты-бы ей щец дал!..

IX Настюша.

Настюша росла девочкой крепонькой, смуглой как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.

Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил. Кукла была с фокусом, плакала и моргала, как и всякий настоящий человек. Недолговечны детские утехи. Вечерком распорола Настюша кукле животик, чтоб узнать фокус куклиной жизни. Там оказалась только пружинка да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Настюша пружинку вынула и на другой день сделала из нее просто проволочку, а куклу облила чаем, чтоб скрыть преступленье, и линялую, обесчещенную, подкинула матери под кровать. Из-под материной кровати не выметали, чтоб не тревожить больную. Да и какой от больного сор? больной — не живой!..

Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. „Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и пожалуйста!" — таков был неписанный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали и воли, и глаза, и времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были. И боялся Секретов обидеть невниманьем вещь, чтоб не напакостила потом.

Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:

— Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?

— Ничего, папенька... матереем!—деликатно пищала восьмилетняя Настасья Петровна.

Матери Настюша боялась, как страшного сна. Когда приводила ее к матери Матрена Симанна, стояла Настя робко, говорила тоненько, с трепетом ожидая липкого материна поцелуя.

Потом одевала, волнуясь и спеша, оборванную засаленную шубку и дырявый шерстяной платок, — вихреподобно уносилась на улицу. Дом ее пугал: там были жирные, грузные пироги, непонятная мать, толстощекая Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для прохлажденья рта.—Тайком от самого баловалась Матрена Симанна винцом.

Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров. Бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой. Тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить... В городском училась—детскую мудрость срыву, по-мальчишечьи брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их и старит и к земле гнетет речной весенний ветр. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело...

Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снеж ного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженны фитилек. Дырку замазали снегом. — Всю ту ночь, думая об этом бе цельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный вете в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесн стало в весеннем небе облакам. Но на утро нашли в огоньково пещерке только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег поше лужицы затянулись. Так впервые изведала Настюша горечь всяко радости и грусть весны.

Жадно впитывала Настя все, что давало впечатленья. А раз мал чишки в угольный сарай ее затащили, мяли и учили гадостям,—кажды старался друг дружку в пакостном геройстве превзойти... А она уж знала, не удивлялась, не плакала и даже до крови растревожила но одному из них, самому настойчивому.

Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедн возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову ото всей пол ноты души:

— Паренька твоего видал. Хороший, ласковый...

— Законоучитель у них там сказал: ваш, говорит, сын перстом отмечен,—довольно пробурчал Быхалов.

— Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать какие жеребьи выпадут... Вдруг да посватаетесь? Негоже будет умному то мужу да глупую жену!—зубоскалил Петр Филиппыч.

— Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели?—пощу рился и Быхалов.—Только что ж ты ее ровно просвирню водишь Бабочка славная растет.

— Бабочка славная...—повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.

Сделали новую шубку Настюше,—здесь и кончилось детство. В новой не так возможно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион. В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.

— Ну, девка,—заговорил он, усаживая ее на колени,—смотри у меня!

— Я смотрю, сказала Настюша и поджала губы.

— Да не егозой расти, а яблочком... Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?..

— Да,—не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутыли, оставшиеся в углу от прошлого запоя.

— Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо дело, тем и кормимся...

— А у вас, папенька,—давясь смехом, спросила Настюша,—ухи ольшие, тоже для божьих слов?..—она не выдержала и рассмеялась, очно целая связка колокольчиков раздернулась и раскатилась по полу.

— Папенька, извините, у меня губы чешутся...—уходя, попросила Iастя.

...Тем временем названный жених Настин вступал в университет. Iасто, к вящшему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волоатыми приятелями, худел и бледнел. Казалось, не шла Петру впрок сидчивая его наука. А среди белых пансионских стен, намекавших а девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, апротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ченицу. Какой-то защелканный, многосемейный немец вслух перевоил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих еред ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель анцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; азалось, что мать его так в танце и родила.

На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоовления отец долго не пускал Настю в пансион, да тут еще негаданно росунулось шило из мешка. У знакомого Зарядского купца дочка, Катя, чившаяся вместе с Настей, забеременела от неизвестных причин. Под еизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского згляда сам Евграф Жмакин. Петр Филиппыч так был обрадован своеременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться ад купеческим позором.

Катя, хотя и была старше Насти на четыре года, была единственной Iастиной подругой. Когда прибежала к ней Настя, та сидела в том ке коричневом платье, вялая, с красными губами и бледным лицом... Iасте она сухо сказала, что ничего такого нет, а просто желудочное аболевание,—не то язва, не то менингит. Скоро она порозовела, стала рызть ногти, потом плача сообщила, что отец отправляет ее к тетке а юг, чтобы там поправилась на вольном воздухе... Дружбе девочек ыли причины: в Кате было непреодолимое влечение к Настиной чиготе и упругости, в Насте—жалость и стремление нарушить чем-то кучную обыденность дней.—Вскоре Катя уехала.

Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед рузьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении омашнего учителя. И тут как раз совпало: Петр после первого своего устякового ареста, понятого в Зарядье как недоразумение, проживал Зарядьи, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе тем и познакомиться с Петром Быхаловым ближе, если того и в саом деле угораздит посвататься, не представлялось. Петр согласился, роки начались почти тотчас же.

Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. I без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок угрюмился, для

внедрения в девочку уважения к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:

— Ну-с, приступим. Итак...

И всегда в тон ему, щуря глаза—привычка, перенятая у Кати,— как эхо, вторила Настя:

— ... приступим.

Она садилась на самый краешек, точно старалась скорей устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Настя, положив локотки на стол, подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движеньями вялого учительского рта, честно жевавшего науку.

Через десять минут Настя начинала жмуриться, глаза подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах,— однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра,—однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтобы не уснуть.

— Слушайте,—иногда спрашивала Настя ошеломленного Петра,— вот вы про Эдипа говорили... Он в рай или в ад попадет? Ведь он же не виноват ни капельки!

А однажды, на восьмом уроке, и совсем законфузила Петра.

— Петр Зосимыч!—досадливо сказала она,—в который раз у вас вижу... Дырка же у вас, вы б ее зашили!

— А? где дырка?.. какая?..—как ужаленный, вскочил тот и с ужасом оглядывал себя.

— Да вон там, на локте дырка,—указала Настя.—Давайте, уж я вам зашью... А вы мне лучше потом доскажете!

— Что ж, на-те... зашейте. Дырка—это правда... Ее зашить,—согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.

Настя, напевая, выискивала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.

— Вот что...—начала она, вдевая нитку в иголку:—правда это, что вы каторжник?

— То есть как это каторжник?..—опешил Петр.—Что за пустяки! Кто это вам сказал?—длинный нос Петра принял ярко розовый оттенок.

— Вы убили кого-нибудь?..—тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.

— А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел...—сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты по настоянию Петра Филиппыча была всегда раскрыта.

А Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный. Повинуясь ему, Петр тихо пояснял, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Вскоре он разо-

ıелся, загудел, а окурки совал прямо в горшок с пахучей геранью. lастя спешила, доканчивая починку.

— На-те, надевайте,—сказала она, обкусывая нитку. Потом встала отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти ıпрыгали.

— Что вы, Настя?..— испугался Петр, вдевая руку в невозможно ːсный рукав.

— Знаете что?.. знаете что?—задыхаясь от слез, объявила девочка, ıкидывая голову назад.—Так вы и знайте... Замуж я за вас не пойду! ы лучше и не сватайтесь!

— Да почему же?—глупо удивился Петр.

— У вас нос длинный,—раздувая ноздри, сказала Настя.—И потом вас с головы белая труха сыпется... Весь воротник в трухе! Покуда ıшивала, чуть с души не вырвало...

Настя ждала возражений, но Петр только топтался, собирая дроащими руками книги со стола, весь в багровых пятнах небывалого ıущенья.

— Вы... вы... у вас из ушей борода растет!! Как у дьячка...— ɔокричала Настя и, обливаясь слезами, выбежала вон.

Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А веːром решительно вошла в отцовскую спальню. В ожиданьи ужина етр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.

— Я за Петра Зосимыча твоего не пойду. Так и знай!—твердо ъявила она и встала боком к отцу.

— Да ну-у?..— захохотал Секретов, уставляясь руками в бока.— у и баба... На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!

Настя подошла ближе и вдруг, уткнувшись в отцову жилетку, плакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец адил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью. Так она заснула в тот вечер, на коленях у отца. А в столовой стыл ужин коптила лампа.

... А через два дня Петр снова уселся в тюрьму, и на этот раз долго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. ːкретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. ıа-то и увезла душегуба Петра в четыре царских стены.

Петр Филиппыч, человек мнительный, тогда же порешил поконть все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову лавку и сделал вид, что ненароком зашел.

— Здравствуй, сват,—прищурился Быхалов, зорко присматриваясь всем внутренним движеньям гостя.—Семен!—закричал он вглубь вки, скрывая непонятное волненье,—дай-кось стул хозяину... Да ул-то вытри наперед!

— А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, йду—взгляну, чем сосед бога славит...

— Ну, спасибо на добром слове,—упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в Секретовских словах.—Садись, садись... стоять нам с тобой не пристало.

— А и сяду,—закряхтел Секретов, садясь.—Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем зашел-то. Годы, годы, соседушко! Время-то не молодит. Эвон, как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..

Быхалов морщился недоброй улыбкой.

— Да ведь и ты, сватушка... тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!

— Фу-фу-фу! Скажет тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских трактиришко еще открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Владелица-т из дворянского сословья... ну, ей шляпки, тряпки там... Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя на два года, а я тебя годов на тридцать перепрыгаю!..

Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.

— Ванька, — глухо приказывает Быхалов новому мальчику: — налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!

— Насчет чаю не беспокойся, соседушко, — степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. — В чаю-то купаемся!

— Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри, не обожгись, горяч у меня чай-то!

На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.

— Ах да, вот зачем я пришел... Вспомнил! — приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. — Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это смехи да выдумки, а только ведь я Настюшки своей за сынка твоего не отдам... Не посетуй, согласись!

— А что? почище моего сыскали? Что-то не верится... — скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.

— Так ведь сам посуди, — поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. — Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше приду вот да в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет...

Оба молчат. Сеня очень громко щелкает на счетах: месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан. Стакан колеблется скользит и сразу опрокидывается к Секретову на колени.

В первое мгновенье Секретов неожиданно пищит, подобно мыши мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, смешки.

— Ой, да ты никак ошпарился?.. Вот какая беда...

Петр Филиппыч, наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахиет с колен дымящийся кипяток.

— Да, захватило немножко... чуть-чуть, совсем краешком, — колко фальшиво хохочет Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. — сынища своего, — вдруг прямится он, — на живодерню отошли, кошек рать!..

— И мы имеем сказать, да помолчим, — и Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.

— И правильно сделаете! А то к сынку в острог влетите... Под гарость-то и не гоже вашей роже!.. — выкрикивает Секретов. — А на явку мы вам еще накинем... вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!

Затем следовал неопределенный взмах всей Секретовской туши, Секретова больше нет. Любил Петр Филипыч, чтоб за ним оставалось последнее слово, — отсюда и легкое его порхание.

X. Павел навещает брата.

Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Павел служил Сене постоянным напоминанием о некой скорбной, всюсторонней черте человеческого существования: одна земная юдоль безо всяких небес. Крутая, всегда напряженная, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, — жизнь без Павла стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи Зарядской жизни. Теперь только расти, ждать случая, верным глазом укрепиться на намеченных целях.

Тем же летом, когда Катушин вспоминал о дьячке, накануне осени, воскресенье, вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий, к Устинскому. На подоконнике Быхаловского окна, как раз возле самой двери, сидел Павел. Зловеще-больно сжалось сердце Сени, — такое бывает, когда видишь во сне непереходимую пропасть. Павел был приодет. Черный картуз был налажен на коротко-остриженный Пашкин волос. Кроме того, приукрашали его непомерно длинные брюки и пиджак, цетый поверх черной ластиковой рубашки. Штиблеты, — огромные, точно с памятника, — сияли неотразимым радостным блеском. Все это было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, писал Пашка что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.

— Паша, ты?..

— А что, испугался? — спокойно обернулся Павел, пряча книжку карман брюк, и глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.

Надоедливо накрапывало. В водосточных жолобах стоял глухой шум, капало с крыш.

— Чему ж пугаться? — возразил Сеня, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.

С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее-было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.

— Ну, что ж под дождем то стоять?.. пойдем куда-нибудь, — сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.

— Да вот в трактир и зайдем. Деньги у меня есть, — сказал Павел.

Они стояли в воротах, продуваемых мокрым сквозняком осени. То-и-дело въезжали извозчики с поднятыми верхами. Братьев обдавало ветром и брызгами, если заскальзывало колесо пролетки в выщерблину асфальта, налитую проточной лужей.

— Деньги-то и у нас найдутся, — с готовностью похлопал себя по тощему карману Сеня, там звякнуло серебро.

Они поднялись с черного хода в трактир, второй этаж Секретовской каменной громады. Кривая скользкая лестница, освещенная трепетным газовым языком, вывела их в коридор, а коридор мрачно повел их в тусклую, длинную и шумливую коробку, сплошь заставленную столиками. Под низким потолком висели чад и гул. Все было занято. Серая Зарядская голь, обглоданная нищетой чуть не до костей, перемежалась с сине-кафтанной массой извозчиков и черными чуйками мелких торгашей. Это у них товару на пятак, а разговору на полтину. Несколько бродяг с сонным благодушием сидели тут же, огромные опухшие лица наклоняя в густой чайный пар. Осовев от крепкого чая, как от вина, они блаженно молчали, всем телом созерцая домовитую теплоту Секретовской „Венеции".

Торгаши, — те кричали больше всех, но лохматые отголоски споров их беспомощно барахтались в общем могучем гуле. Даже когда доходило до предела деловое оживленье их, и вспыхивало в чадной духоте короткое ругательство, снова срастался рассеченный матерным словом гул и оставался ненарушим.

Одни лишь извозчики, блестя черными и рыжими гладко-примасленными головами, потребляли чайную благодать в особо-сосредоточенном безмолвии. И не узнать в них было уличных льстивых, насмешливых крикунов. Спины их были выпрямлены, линия затылка не сломясь переходила в линию спины: прямая исконного русского торгового достоинства. Разрумянившись, они сидели парами и тройками, прея в вате, как в бане, обжигающим чаем радуя разопревающую кость. Самые их румянцы были густы, как неспитой цветочный чай.

Дневной свет, уже разбавленный осенней пасмурью, слабо пробивался сюда сквозь смутную табачную духоту. Пахло кислой помесью пережаренной селянки с крепким потом лошади, черной горечью кухонного чада и радужной сладостью размокающей карамели.

Сеня повел брата в темный уголок, где оставался незанятой столик ц картиной и постучал, в стол. Половой—такой белый и проворный, : зимний ветерок, мигом подлетел к ним, раздуваясь широкими шта- ии, с целой башней чашек, блюдец и чайников.

— Чево-с?..—тупо уставился он между двумя столиками.

— Да я не стучал,—рассудительно сказал соседний к Сене извоз- :, разгрызая сахар и держа дымящееся блюдце в отставленной руке.— уж если подошел, так нарежь, парень, колбаски покрупней да под- рь в меру. Горчички прихвати. А сверху поплюй этак перчиком!..

— Нам чайку, яишенку тоже, на двоих... Да кстати ситничка,— :азал Сеня и улыбнулся Павлу.—Ты ко мне в гости пришел, я и ющаю!

— Гуди, гуди!—засмеялся Павел.—Небось разбогател, а? За тыщу- перевалило?

— За десять!—подмигнул и Сеня, радуясь шутке брата, подска- завшей, что и весь разговор можно вести в шутливом тоне.

— Братана-то не забудь, как разбогатеешь!—опять пошутил вел.

— Да вот за прошлый месяц четыре рубля домой послал... А так— трешнице. Ни месяца не пропустил,—хвастнул Сеня.

— Смотри, сопьется совсем отец-то!—опередил Павел Сенино бячье хвастовство.

Павел, ворочая под столом хромую ногу, схлебывал с блюдца і. Лица его не зарумянило чайное тепло. Сеня осматривался. Впервые иходил он сюда, как равноправный посетитель. Совсем установились иерки, хотя стрелки круглых трактирных часов стояли только на :ырех. У дальней стены, рядом со входом в бильярдную, возвыша- :ь хозяйская стойка. Позади ее громоздился незастекленный шкап, :сную набитый дешевым чайным прибором. На прилавке отцветали :теклянных вазах дряблые бумажные цветы, но и теперь еще сохра- лось в них скрытое жеманство красок. С цветами в цвет важничали прилавку ярко-багровые колбасы, красные и желтые сыры, яркие ценцовые конфеты в низких стеклянных банках. Больше же всего ло тут яиц, может быть тысяча, сваренных вкрутую на дневной :ход.

— Что ж ты не спросишь, где я устроился... живу как?..—спросил вел, трогая вилкой шипящую яишницу.

— Что? что ты говоришь?..—откликнулся брат.

— На заводе, говорю, устроился,—рассказывал Павел.—Интересно і! Все пищит, скрипит, лезет... Там, брат, не то что колбасу от- :кать! Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал иотало, весь потолок в крови был!—сказал он размякшим голосом, эжащим от хвастовства своим заводом и всем, что в нем: кровь на голке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы, разо- :тая сталь—все сосредоточившееся глазами в одном куске железа,

которому сообщается жизнь.—Я вот, знаешь, очень полюбил смóтреть, как железо точут. Знаешь, Сеньк, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно... Стою и смотрю, по три часа простаивал сперва так-то, не мог отойти. Вот гляди, сам сделал...—и он, вытащив из кармана, протянул Сене небольшой шуруп, блестевший нарезкой. Сеня повертел его в руках и отдал Павлу без единого слова.—Книжки вот теперь читаю,—продолжал Павел полувраждебно.—Умные есть книжки про людей... Ах, да много всего накопилось...

— Книжки—это хорошо,—ответил Сеня, откидываясь головой к стене.

— Сперва-то трудно было... руки болели...—Павел, обиженный странным невниманьем брата, стал рассказывать тише, словно повторял только для самого себя, а Сеня продолжал скользить вялым взглядом по трактирной зале.

Немного поодаль от стойки, чтоб не глушить хозяйских ушей, раздвинулся во весь простенок трактирный орган. Ныне, молчащий, блестит он в сумерках длинными архангельскими трубами, тонкими пастушьими свирелями, толстыми скоморошьими дудами. Теперь в нем раздался вздох, потом скрип валов, потом пискнула, выскочив раньше времени, тонкая труба, и вдруг все трубы запели разом то тягучее и несогласное, что поют на ярманках слепцы. Орган был стар, некоторые глотки и полопались уже, а одну вот уже полгода употреблял трактирный кухарь, как воронку для жидкостей. Когда струя воздуха попадала на сломанный лад, беспомощно всхлипывало пустое место, и шипящий жалобный ветер пробегал по всем трубам враз... Но еще сильна была старческая грудь, и, когда подходила главная труба, дул в нее старик с удесятеренной силой. Со взрывами и трещаньем лилась жестяная песня, и вся „Венеция", как околдованная, внимала ей. Половые, заложив ногу нз ногу, привычно замерли у притолок... Пасмурное небо за окном совсем истощилось и не давало света. Был тот сумеречный час, когда сами вещи, странно преобразясь, излучают непонятный белесый свет.

Как будто раздвигались вещи и освобождали взгляду то, что было ими до сей поры заслонено. Великое поле, голубое с серым, с холмами и пологими скатами, лежало теперь перед Семеном. И Сеня ушел в него, бродил по нему, огромному полю своих дум, покуда изливался песней орган.

— Очень долго к ночной смене привыкнуть не мог... Один раз и меня чуть машина не утащила!—слышит Сеня издалека.—Да ты что, спишь, что ли?..

— Нет, нет... ты говори, я слушаю,—откликается Семен.

И опять раскидывается то, великого размаха, поле. И опять не слышит, но голос Павла, упругий и настойчивый, теперь все ближе:

— А уж этого нельзя, Сеня, простить!..

— Чего нельзя?.. О чем ты?—вникает Сеня.

— Да вот, как я в кислоту кинулся... из-за хозяйского добра-то!— ›лос Павла глух и дрожит сильным чувством.

— Кому, кому?..— недоумевает Сеня.— Что с тобой?

— Быхалову и всем им... Да и себя тоже,— тихо говорит Павел.— ляди вот!— И он показывает Сене свои ладони, на которых по ːотмываемой черноте бегут красные рубцы давних ожогов. Глаза авла темны, руки его, которые он все еще держит перед глазами ›ата, редко и четко вздрагивают. Снова Сеня чувствует свинцовую ›ру, надвигающуюся на него, волю Павла, и подымается с места тягучим чувством тоски и неприязни.

— Я пойду, колбаски подкуплю,— неискренне объявляет он.

— Да мне не хочется... Ты уж посиди со мной!— говорит Павел.

— Да я и сам поесть не прочь. Еще в полдень ведь обедали...— ːня фальшиво подмигивает брату и пробирается между столиками трактирной стойке. Орган все пел, теперь—звуками трудными и ›омоздкими: будто по каменной основе вышивают чугунные розаны, розаны живут, шевелятся, распускаются с хрустом и цветут.— бычно за стойкой стоял сам Секретов, неподвижный и надутый, как ıтургисающий архиерей.

Сеня подошел к стойке и указал на розово-багровую снедь, скру-ːнную кругами в виде больших, странного цвета баранок.

— Эта вот, почем за фунт берете?— спросил он, глядя вниз и ›ставая из кармана деньги.

— Эта тридцать копеек... а эта вот тридцать пять,— пересиливая ›ган, сказал женский голос.

Цена была высока. Ту же колбасу Быхалов отдавал за четвертак, ı еще с прибавкой горчицы для придания вкуса и ослабления лишних пахов. Сеня поднял глаза и готовое уже возражение замерло у него ı губах. Чувство, близкое к восхищению, наполнило его до самых краев.

Стояли полные сумерки, и в сумерках цвели бумажные цветы. елые вереницы блюдец перевернутых—чтоб сохли скорей—тоже похо-ıли на связки удивительных, самосветящихся цветов. А за стойкой ояла та самая крикунья из геранeвого окна... Облегало ее простое ıатьице из коричневого кашемира, благодаря ему еще резче выде-лась матовая желтоватость лица, обесцвеченного в ту минуту скукой. 'бы, того же цвета—яркого бумажного цветка, теперь зазмеились 'кавым смешком.

С глазами, раскрытыми на улыбающуюся трактирщицу, Сеня по-›шел ближе, забывая и брата, и первоначальную цель прихода. Пол-нка, приготовленная в ладони, скатилась на пол, но он не видел.

— А-а... это вы!..— сказал он почти с робостью.

— Как будто я... да,— она его узнала; иначе не смеялась бы. Ей ıл, видимо, приятен Сенин полуиспуг.

— Я не знал тогда, что это ваш кот,— виновато сказал он и опять ıустил глаза.— Я думал, вы за голубей боялись...

— Эй, малый, — смешливо окрикнула соседняя чуйка. — Что ж ты деньгами швыряешься? Как полтинку ни сей, рубля не вырастет!

Сеня нагнулся и поднял монету. В эту минуту орган хрустнул последней нотой и остановился. И вновь „Венецию“ наполнил обычный трактирный гам и плеск. Сеня все стоял с опущенной головой, высокий и сильный, но все более робевший от внезапности встречи.

— Не серчайте на меня... Ведь на коту-то отметки не было! — проговорил он еще.

— Чего-с? — переспросили с мужским смехом.

— Фунтик мне, — не соображая, сказал Сеня.

— Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик?

За стойкой стоял сам Секретов, грубый, сощуренный, постукивающий по прилавку ножом.

— Нет, мне вот этого, — сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.

— Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками, — сухо поправил Секретов.

— Мне десяток, да, — сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.

— Семнадцать копеек... Яйца замечательные. Извольте сдачу...

Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого. Ее уж не было. Сеня вытер рукавом запотевшее лицо и нелепо принялся обдергивать рубаху, сбившуюся на груди. Он был бы рад исчезнуть в эту минуту не только из трактира, но и совсем. Казалось, что весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, чтò еще выкинет этот глупый малый, набивающий карманы крутыми яйцами.

... Когда он добрался до своего столика, Павла уже не было. Он не дождался и ушел.

— Эй, земляк! — крикнул Сеня, не особенно огорчась уходом Павла. — А ну, получи с меня...

— Заплачено за этот стол, — мельком бросил половой, проносясь снежноподобным вихрем.

... Когда он выходил на черную лестницу, по которой и пришел, „Венеция“ зажигала огни, — здесь и там вспыхивали газовые рожки. Усложнялась вечерняя суетливость, прибывал народ. Снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а в припляс. Можно было даже удивиться, как это одно и то же дуновенье воздуха успевало проскочить по всем трубам сразу. Похоже было, будто развеселился на Сенину встречу старик и пошел на веселую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча...

XI. Сперва Настя смеется, а потом Сеня.

Словно воды под ударом ветра, разволновалась. Сенина душа. Вздыбил ветер воды, вскинулись воды рядами, — неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Пред-

чувствием любви заиграло Сенино воображенье. Крупное Сенино тело выросло и требовало любви.

Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут— закрытие лавки совпадало теперь как раз с приходом темноты,— наскоро накинув на себя тонкое пальтецо, выходил на осеннюю улицу, чтоб итти, куда поведут глаза и надежда когда-нибудь повстречать ее. Странно милы были ему головокружительное волненье, охватывавшее его, едва вспомнит о ней, и ядовитая сладость его бесцельных блужданий.

В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым как братьям одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом, тщились человека на земле до тла выжечь. И уже, постаравшись изо всех сил, много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые железные места, где и земля-то сама как воск таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад. Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не сумевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Петр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и целовал его в жесткую щеку, а отец сказал: „очистись, Петр". Многие уехали, и Зарядье обезмолвилось. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сени оставался только год, а он и не думал.

... Была суббота. В Зарядскую низину моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих Зарядских фонарей. Уже дремало в предпраздничном отдохновеньи Зарядье, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз сумел бы найти его в ряду других, таких же.

На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо было распахнуто, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, и это было приятно. Он уже прошел два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китай-городской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная, видимо, отходила,—уже спускались с паперти сутулые, невнятные подобия людей. Их тотчас же глощала ночная мга. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена,—Сеня вошел.

Пели уже „Славу в вышних"... Смутное освещение немногих свечей не выпихивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю. Он уже знал

ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По ее вдруг опустившимся бровям и смутному блеску зубов угадал Сеня ее улыбку.

Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел в холодный и еще более непроницаемый теперь для глаз мрак паперти. Тут бежал небольшой заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не успевали заметить его: тут была теневая сторона, ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры проходящих.

Двое, борода и без бороды:

— Будто Василья-то к митре представили...

— Это что ж, дяденька, вроде как бы Георгий у солдат?..

Тут несколько минут совсем пустых: только ветер. Потом старухи:

— Жена и напиши ему: Куда мне безрукий? Я себе и с руками найду...

— ... скажи-и, пожалуста!..

Сеня уже не слушал, но обрывки разговоров сами захлестывались в уши:

— Тот-то ему и говорит: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч глядит, а перед ним пролубь... Он и говорит: дак ведь это пролубь, говорит...

— А тот что?..

— А тот-то и смялся весь...

Внезапно Сеня насторожился: показалось, что приближающиеся голоса уже слышаны где-то.

— ... так ведь вы, Матрена Симанна, не видели!..

Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня подождал, пока они приблизились совсем. Тогда он вышел из своего прикрытия и пошел рядом. Старая—Матрена Симанна, конечно—посторонилась, давая пройти. А Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.

— Проходи, проходи, милый,—затрубила баском Матрена Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу.—Я вот людей кликну на тебя!—она даже оглянулась, но никого не было кругом. Из церкви Секретовы вышли последними.

Улица безмолвствовала. Побежал ветерок и затеребил бумажку, отклеившуюся от стенки. Место здесь глухое: кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек отстригает голову человеку же огромными ножницами.—Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.

— Настя!..—тихо позвал Сеня. Он и еще хотел говорить, но все слова, зарожденные предчувствием этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было сказано.

Настя молчала, может быть — смеясь.

— Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?..—загорячилась старая, ітаясь втолкнуться клином среди молодых.— Ишь какой напористый,— іхтела она, отпихивая Сеню боком. Кроме того, она отмахивала его, овно чурала, длиннющим рукавом салопа.

Сеня сперва как будто не замечал ее, а потом обронил кратко убеждающе:

— Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком ртишься?..

— В самом деле, вы ступайте, Матрена Симанна, позади. Троим г очень трудно итти, — сказала Настя и впервые близко взглянула Сеню. — Может, у него дело ко мне есть...

— Какое ж, матушка, дело у ночного мошенника? — пуще затактела старуха. — Может, он убить нас с тобой хочет!..

— А вот иди домой, так и не убьет, — приказала Настя. — А я тебе это... ну, одним словом, про склянницы твои рассказывать папеньке буду!

Старуха суетливо и мелко побежала сзади, заботливо озираясь, іб не заметил кто-нибудь ее потачку невозможной Настиной затее. Насте было и радостно, и чуть-чуть жутко. Она то-и-дело выниıа платочек из муфты, маленькой как черный котенок, и терла цевшие губы. Сеня шел теперь рядом с ней, плечи их почти соприалось. Сеня губил себя своим молчаньем.

— Ну, что же вам нужно от меня?.. — с опущенной головой начала стя.

— Мне?.. — испугался Сеня.—А мне этово... мне ничего не нужно,— ровенно сознался он и даже приотстал на полшага.

Настя подождала его. Игра казалась ей забавной.

— А... вот как! — и она закусила губку. — Может, вы к папеньке оловые хотите поступить?..

— Не-ет, — неуверенно отвечал Сеня. Совсем не зная слов для ного разговора, он потерялся и готов был вскочить в любую подотню, только бы избежать неминуемого срама.

Они уже прошли почти весь переулок, а еще ничего не было ıано из того, что думали они оба.

— Как вас зовут? — спросил вдруг он, всячески понукая себя к :нию разговора.

— Нас? Нас — Аниса Липатовна! — кинула Настя, вспомнив имя :менной дворниковой жены. Она обернулась и с неожиданным цражением сказала старухе:—Вы идите, тетя, домой. Скажите там, к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?

— Нас Парфением, — резко сказал Сеня, ощутив насмешку в ачительности Настиных слов. Этой незначительностью и удержи его Настя, как на цепочке.

— Ну, а что вы подумали, когда в трактире меня увидели?..— сила Настя, и Сеня снова ощутил то же нарочное подергиванье

цепочки. Прикосновенье насмешливых Настиных вопросов было Сене острым и неприятным удовольствием.

— Да я... я ничего не подумал,—угрюмясь, отвечал Сеня.

— А зачем же вам голова дадена?..

— Голова для понимания дадена,—из последних сил оборонялся он.

— Ну, и слава богу... А я думала, что орехи колоть.

Они остановились у ворот Настина дома. Нужно было расходиться. Упущенная возможность какого бы то ни было объяснения окончательно смутила Сеню.

— Спасибо вам за интересный разговор,—сказала Настя, готовясь отворить деревянную глухую калитку.

— Пожалуста... ничего, очень рад,—с отчаяньем сказал Сеня.

— Мой вам совет—поступайте в дьякона...—продолжала Настя.

— ... в дьякона,—эхом повторил Сеня, подымая брови. И вдруг снял картуз. Кольчики волос мигом распустились по ветру. Ярость раздразненного тела боролась с непонятной робостью.

— Ну, а теперь марш спать,—крикнула Настя.—Больше не подходите. Адью!..—она прихлопнула за собой калитку и исчезла.

Он все стоял, озадаченный и обозленный происшедшим. Непонятное слово хлестнуло его как кнут. Мускулы лица перебегали жалкой улыбкой. Потом он срыву нахлобучил картуз и ударом ноги распахнул тяжелую калитку. Настя медленно уходила в воротах,—так медленно, как будто ждала чего-то,—не оглядываясь. Он догнал ее почти при самом выходе и больно, по-хозяйски, заломил ей голову назад. В следующую минуту не было ни холодных Настиных губ, ни растрескавшихся губ Сени: слились губы в один темный цветок.

— Пусти меня...—запросила Настя, обессиленная борьбой, прижатая спиной к стене. Голос ее был низок и томителен.

Сенина рука, схватившая — словно хотела сломать, слабнула. Ярость и страсть уступали место нежности. Настя была гибка и хитра, она воспользовалась этим. Ловко извернувшись, она уже стояла в трех шагах от него, прямая и насмешливая по-прежнему, держа в руке сорванный с Сени картуз.

— Лови!..— крикнула она и швырнула картуз вдоль ворот. Тот, вертясь, описал дугу и звучно шлепнулся в лужу. Недоверчивыми, сощуренными глазами Сеня проследил его полет.

— Ничего-с, мы другой купим. На картуз найдутся!—сказал он осипшим голосом и обернулся.

Насти уже не было. В проволочной сетке, пыльный и жалкий, как озябшая птица, мерцал посаженный в закопченное стекло огонек. Сеня вышел из ворот с пылающими щеками, остановился смахнуть грязь с картуза и вдруг засмеялся. Ночное происшествие представлялось ему совсем по другому, чем за несколько минут перед тем.

... Настю, пришедшую домой, встретил отец.

— Богомолкой стала!..—подозрительно заметил он.— Старуха-то уж дома!

— Ботинок развязался в воротах,—сказала Настя.

Тут к тебе подруга приходила. Приезжая. Я оставлял ждать, е осталась. Минуты три назад вышла.

— Какая она?—встрепенулась Настя. Ее испугала догадка, что их ыло не двое, а трое там, в полуосвещенных воротах. Мелькнуло: не Катя ли?..

— Катя не Катя, а очень такая... играет,—неодобрительно заме-ил Секретов.

„Она видела все,—думала Настя.—Она могла стоять там за вы-тупом стены, возле кожевенного склада... Бежать, догонять?"

Она прошла к себе, поправила волосы перед зеркалом и тут аметила, каким неугасимым румянцем горели ее щеки. Оставшись аедине с собою, она подошла к окну и поочередно прижимала обе цеки к холодному потному стеклу.

XII. Катя.

... Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась ене, когда вошел он. Но за того, которого звало к себе в полусне зетенья девическое сердце, не боялась бы, что с крыши упадет, над м не смеялась бы. Существовали и многие другие неуловимые раз-ицы, но все это было так неточно и неокончательно, что Настя омолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях. Казалось, о для определения Настиных чувств нужно ужасно много слов, ісяча, или какое-нибудь одно, которого не существует.

Катя была единственной дочерью у Зарядского торговца разным мажным и железным хламом. Кате было двадцать три,—ясноглазую, ашноволосую и всю какую-то замедленную Матрена Симанна озвала клецкой. После Жмакинского происшествия Катя уехала к маловажной тетке на юг. Но теткина жизнь была тошная жизнь, фейная жижица. Катя шалила, приманивая провинциальныхноса-й: липли. Тетка уже смекала женихов, как вдруг скандал: на обеде гостях Катя отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на чтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображе-я. Напуганная тетка имела разговор с племянницей,—Катя даже не плакала. И вот, в осеннее утро, снова прикатила Катя к отцу.

Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, я шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами,— корительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. тя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.

— Ну да, я,— утвердительно кивнула она.— Здравствуй!— и про-нула руку.

Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.

— Ну-ну,— смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. Разве можно так! Всю пудру смахнула... Ну, веди меня к себе.

— Так пойдем же скорей,—с неуловимым смущеньем заторопила Настя.— Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю... не ушибись!

Она провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке уже горела у нее на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась. В самых неприметных пустячках и ненужностях лежала строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.

— Это все твое?.. — Катя казалась удивленной. Она указывала на все эти герани, розаны и кактусы, на всю комнату, напоминавшую коробочку из-под дешевых конфет, в которой поражало множество мелочей, имевших, впрочем, строгое согласование между собою. Точеный красный грибок и шкатулка со вздетой в скважинку ключа ленточкой, недочитанная книжка на кровати, заложенная шелковым лоскутком, удивительно соответствовали и пузатому, грушевой фанеры, комоду, и увеличенной фотографии дяди Платона, снятого в полном парадном облачении: волосы почти дыбом, руки на коленях, глаза расширены, сюртук мешком.

— Ну, я очень рада, что застала тебя.—Катя снимала шляпку с себя и пальто и клала на спинку стула.—Тут можно?

— Ты садись, садись... Я повешу все,—хлопотала Настя.

— Да ты не торопи... дай оглядеться.—В голосе Кати звучало знание своего превосходства. Она прошла по комнате, трогая каждую Настину вещицу: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати...— А-а и грибок! — сказала она с легким смешком и повертела его в руках.

— Он открывается, я туда пуговицы кладу... — торопливо объяснила Настя, словно боялась, что подруга осудит ее именно за этот грибок. Проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.

— Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот кстати и зеркало у тебя есть!— открыла она и подошла привычным взглядом скинуть себя в зеркале. Вместе с тем поправила волосы,— они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. — Вот теперь я сяду...

Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее крупное лицо.

— Однако! — заметила она.—Ты что, в монашки готовишься?

— Я люблю спать на твердом, привыкла...—засмеялась Настя, дясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо

— Ты что так глядишь?—улыбнулась Катя.

— Ты красивая стала,—отметила Настя робко.

— Да? — Катя глубоко вздохнула и еще раз окинула себя істрым взглядом, точно искала подтвержденья Настиным словам.— і ведь и ты... выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то...— ітя искала, что еще можно отметить в Настиной наружности, и не ходила. Мальчишеский задор Настина лица ей не нравился.—Нет, а і, вообще говоря, хорошенькая! — с внезапным хохотом открыла а.—Ты не красней... право же, такие им нравятся! Только вот тут у бя мало...—мельком указала она на грудь.—Знаешь, ты на Дианочку хожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!

— Ты не говори мне так,—тихо попросила Настя.—Мне стыдно твоих слов...

— А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?

— Я сама себе найду,—загоревшись, вскочила Настя.

— Вот какие дела! А может, уж и нашла... Какой-нибудь такой, —и подмигнула.

— Катя!—попросила Настя, присаживаясь рядом.—Закрой глаза...

— Да зачем? Чудная ты.

— Потом скажу... я спросить хочу. Ну, закрой...

— Ну вот, закрыла... ну?

— Нет, ты совсем закрой,—настаивала Настя.

— Ну!

— Ты вчера видела что-нибудь или нет?

— Нет, не видела. Я мимо прошла,—сказала просто Катя.—Это воротах-то? Нет, не видела.

— Ну, как же ты жила... рассказывай!—быстро прервала нача-й разговор Настя, неспокойно усаживаясь на стул и прикладывая ки к лицу.

— Да я, может, и не жила совсем,—поиграла круглым плечиком тя и вдруг расхохоталась.—Любовь! Ах, Настька, как это смешно...

— Что смешно?

— Да любовь эта самая... Ухаживал там поэт один, Василий дорыч, а волосищи—во! Глуп, понимаешь, как... Ну, вот, еще глупей ія. Все про какие-то медвяные руки да захарканные дали мне читал. сперва-то притихла, совести не хватало сказать... Чуть с души, вало, не рвет, а слушаю. Вот он однажды мне про полюсы мрака ал. А тут, на грех, собака выть стала. Я спрашиваю: у вас что, вот болит?

— А что это значит, полюсы мрака?..—спросила Настя.

— Да не знаю. Да он и сам не знает, я спрашивала... Я хохочу, он со мной вместе... Ужасно весело!

— Дурачок, что ли? — не понимая, спросила Настя.

— Дурачок?— всплеснула Катя руками.— Верблюд какой-то, от войны в писарях прячется. Я уж потом попривыкла. Как придет, я и прошу: про захарканные руки почитайте, пожалуста! Я-то, конечно, знала, чего ему хочется!—Катя блеснула глазами и поиграла кружевной оборкой рукава.

— Ну, дальше-то что же?

— ...гуляли раз, про кровяные кирпичи читал... А я уж и щеку, понимаешь, выбрала, по какой его огреть, если целоваться полезет. Прочел он мне и говорит: хочу, говорит, прикоснуться. Я отвечаю: попробуй!

— Ну-ну,—захлебывалась Настя смехом.

— Вот-те и ну! У меня рука хоть и медвяная, а громко вышло. Стихи, понимаешь, с тех пор бросил писать!..

Обе хохотали, белая комнатка повеселела. Даже и лампа стала гореть как-то ярче.

— А у тебя тут славно,— все еще смеясь, сказала Катя.—Ты в зеркало-то часто глядишься? Я перед сном люблю... ¿Нет, тебе непременно надо больше есть. Во глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь! Ну, не буду, не буду!—Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.

Вошла Матрена Симанна.

— Кушать, Настенька, иди,—сказала она.—Папенька сердится.

— Я потом. Я не хочу.

Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.

— Матрена Симанна,—крикнула Настя в догонку.—Вы чего хлопаете? Вон хочется?..

Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.

— Едят целый день, ровно в трубу валят,— сумрачно обронила Настя.

— Если ты и с мужчинами так, это хорошо!—деловито вставила Катя и, вдруг вздернув рукав, поглядела себе на руку. Там, повыше локтя, на внутренней стороне, виднелся лиловый овал.

— Что это?..—нагнулась Настя.

— Один был, курчавый... Укусил,— сухо объяснила Катя и со злобой опустила рукав.

— Зачем укусил?..—не понимала Настя.

— Горячий был!—повышенным тоном сказала Катя, кусая ногти. Потом встала и подошла к зеркалу, к Насте спиной.

— Значит у тебя жених есть?—догадалась Настя, заливаясь краской.

— Он уже женился...

Настя со смущеньем и жалостью поглядела на Катю. Та не знала, что Настя через зеркало видит ее лицо. На ровных, напудренных Катиных щеках вдруг обозначились две темные продольные полоски. Катин взгляд был грустен и пуст.

Через минуту она обернулась.

— Ну, прощай. У меня тоже папенька есть,—она зашуршала латьем и стала быстро одеваться.

— Ты бы посидела,—тихо сказала Настя, чувствуя себя старшей ту минуту.

— Нет, теперь ты приходи... Я по-прежнему в доме Грибова! Настя проводила подругу до дверей.

...Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, ыла полная ночь. Настя полежала минут десять, укрывшись с голоой и старательно закрывая глаза. Сон не приходил. Тогда она просто леглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в олове.

Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, ашарила там спички и зажгла свечу. Она подошла к зеркалу—поясое, в ореховой раме—и приспустила перемычки сорочки. Из зеркала янула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, свечей в одной руке, а другой придерживающая сорочку, чтоб не оскользнула на пол. Обе—и та, которая в зеркале, и та, которая еред ним—боялись взглянуть друг другу в глаза. Глаза у обеих были пущены.

Настя увидела, что у смотревшей на нее из зеркала грудь была аленькая, робко наклоненная вверх. Девушка в зеркале была спойна, стройна и строга. Настя подняла глаза на нее, и обеим сразу тало стыдно. Настя улыбнулась той, та ответила ей тем же, но вся алилась краской и состроила презрительную гримаску. Настя погорила... С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та гадала Настин порыв и протянула Насте свои губы. Настя еще не отела, но та уже поцеловала ее.

И тотчас же, вспугнутая соображением, что из противоположного ома могут подглядеть ее тайну, она быстро задула свечу и отскочила т окна. С минуту она стояла в темноте, посреди комнаты, и с бьюимся сердцем прислушивалась к шорохам позднего часа. Крупный ождь колотился в окно и звенело в ушах: больше звуков не было.

Она засмеялась, как смеялась девочкой лихой проделке. Зябко жась, она влезла под одеяло, и почти тотчас же захлестнуло ее сном. асыпая—все еще смеялась, тихо и непонятно.—Сокровеннее всех тайн ебесных—нетронутой девушки ночной смех.

XIII. Дудин кричит.

Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне есстрастно и ровно: поздняя осень.

Осенью закисало Зарядье,—так закисает в забытой плошке твоог. Просыревшие насквозь, соединялись запахи в тесные клубки, лодились и размножались, а все вместе пахли щенком, обсыхающим

у огня. В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул в таком топком месте городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он в корне Зарядской тишины.

Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового Зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семен с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове, пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравненьи с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие—сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.

...Снаружи—все по-прежнему. И никакой, кажется, непогоде не разбавить крепкого настоя Зарядской жизни. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало,—кит, на котором стояло Зарядское благополучие, закачался. Василий Андреич Бровкин, Быхаловский племянник, приехал с войны. Бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем. Губы Василью Андреичу отстрелило немецким осколком вместе с зубами и челюстью: осталась вместо рта дырочка для манной кашки. Так и не целовались на радостях. Потом еще один приехал, полные сроки родине отслужа, Серега Хренов, Зарядский хреновщик. Как и прежде—цельный весь, больших размеров человек, а только трястись стал—безостановочно и сильно. Его, входящего, встретила на пороге мать, старушоночка,—тоже тряслась, от старости.

— Сережечка...—зашамкала мать,—лебедочек моей жизни,—ну, как ты?

А сын урчит всей грудью да язык показывает:

— А-а... гы-и... бя-а...

Старуха и обиделась:

— Да что ж это ты собственную мать дразнишь, стервец?.. Я тебя девять месяцев в себе носила, собой кормила... Так-то, паскудень, матери плотишь!?—Но взглянула в глаза сыну и закричала так, словно пронзили ее железом...

...Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а ныне другой — высокий и егозливый встал. Всякая радость порохом стала отдавать. Кстати и винишко отменили, нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.

К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Уже не оставалось в скорняке прежнего пьяного обличья, но весь каким-то черным стал: и пиджачок

черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.

Даже посмеялся Быхалов:

— Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро ради будут!

— А и что ж! — заклохтал сиплым злым смехом Дудин. — Не все ль равно, в кого палять! В меня и стрелять-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру... и починки не потребую. Я сухой, без вони... Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!

— Ну-ну, я твоему пустословью не слушатель! - сердится Быхалов. — Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.

— Отчалю, будет время! — смиряется Дудин, и вдруг опять лезут из Дудина вместе с кашлем злые лохматые слова. — Ведь вот они взяли друг друга за ножку да и тянут... котора нога слабже окажется, тому и вянуть. Ну, а ежели вот я, Ермолай Дудин, не желаю своей ноги отдавать, а?.. Аль меня свинья рожала, а не матушка, что я голоса не могу иметь? Может, она, ножка-то, мне и самому нужна!.. Может, я свою ножку-то как дочь родную обожаю, а?.. Ну-ка, смекни, кто может, насчет Дудина Ермолая!..

Народ в лавке прислушивается, оборачиваясь к Дудину. Зосим Васильич беспокоится:

— Ну, ладно, ладно. Уж больно вертляв стал. Заберут еще с тобой, — и оглядывается, нет ли в лавке опасливых людей.

— Заберу-ут?.. — крикливо вспыхивает Дудин и ударяет себя во впалую свою грудь. — Не за то ль и заберут, что меня матушка рожала! Ну и заберут, так что поделают-то? На колбасу меня пустят? Так ведь у скорняка и мясо-то с тухлиной! Я ни червя, ни мухи не не боюсь, мне все нипочем, вот я какой!! А тюрьмы Дудин, вре-ешь, не страшится... Там и получше меня люди живут. Эвон, сынок-то твой... ты его оттолкнул, а я преклоняюсь! Может, ему и наплевать на меня, а я преклоняюсь. А почему я преклоняюсь? Он свою точку нашел! И я найду. Каб я с ним-то посидел, и я б ума нажил. А каб у меня ум-то был... — Дудин надрывно кричит и рвет на себе рубаху, — ...весь мир Дудин наискосок бы поставил!.. Ка-ак бы дернул за вожжу, — стой, становись по-моему! — И Дудин всем телом дергает за вожжу, за воображаемую.

Быхалов тревожно машет на него руками, а народ уже посмеивается, задорит, просовывает глаза, схожие с тестяными пузырями.

— И, конечно, что с бедным человеком поделать можно: он возьмет да на зло тебе и помрет! — говорит кто-то.

— Вали-вали, Дудин, стой за веру и отечество, не щади живота! — насмешливо кричит какой-то, прыщеватенький.

— Да у него и живота-то нет... на пустом месте штаны носит!..

— У-лю-лю-у-у...

— Ты намелешь! — негодует Быхалов. — На твоей мельнице и из полена мука выходит. Тебе помалкивать надо, на себя-то взгляни: помрешь скоро!

— Помру-у?..- почти воет Дудин. –Не хочу я, не хочу!.. Ничего не хочу!—он рывком хватает керосин и бежит из лавки. В дверях его долго и упорно треплет кашель. Когда перестает, — лицо у него измученное, маленькое, вызывающее на жалость.

При выходе столкнулся с молоденьким офицером, входившим в лавку.

— Господин Быхалов... вы?—вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.

— Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильев, действительно, мое имя,—вразумительно поправляет бакалейщик.

— Я от сына к вам... — прапорщик подтянулся, точно рапортовал...—У вас есть сын, Петр Зосимыч?..

— Не ранен ли? — лоб Зосима Васильича проборіздился морщинками.

— Как вам сказать,—замялся прапорщик.—Я бы попросил дозволения наедине с вами...

— Лавку запирать,—приказывает Быхалов.—А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупке живем, прошу прощения...

— Ничего-с, пожалуста, — с холодноватой вежливостью жмется прапорщик, идя за Быхаловым.

Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замусленную поддевку. Потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.

— Грязь у нас везде... сало,—пояснил он и спросил, усаживаясь напротив.—Ну, какие же вы мне новости привезли?..

Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.

— Видите, дело совсем просто. Две недели назад...

— Постой, постой... чтоб не забыть! — перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. — Петр тут в письме шахматную игру просил прислать да бельеца пары две... Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.

— Никак... нет, моя фамилья Немолякин, — торопливо поправил прапорщик.—Я с Иевлевым не знаком. Да я и с Петром Зосимычем тоже в особой дружбе не состоял... Я по другому делу, совсем наоборот!

— Иевлев-то, значит, не приедет?—тупо спросил Быхалов, выставляясь лбом.

— Да уж как вам сказать... пожалуй, и не приедет, — странно усмехнулся прапорщик и очень внимательно, несмотря на сумерки, осмотрел себе ногти...—Видите ли, он уже, вероятно, умер... Иевлев.— Так сказав, прапорщик издал горлом непонятный звук и четко хлопнул себя по коленям.

— Умер, а-а... Вишь, как люди теперь! Так может чайку со
юй попьете? Я прикажу заварить?..—угрюмо заворочался Быхалов.

— Нет, нет...—испугался гость, аккуратно выставляя ладони проти
ıхалова.—Я очень спешу... Видите, предполагалась операция, военная
ерация, вы понимаете? Мы с вольноопределяющимся, то-есть с сыном
шим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое. На-
анье, одним словом, Чортово поле... Солдаты так прозвали.. .Солдаты
к прозвали, а посреди—пик! Ползем на брюхе...—прапорщик потере-
л огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху.—
ıлезаем, проволока в три кола.—Голос прапорщика принял вдруг вы-
кий женский тон.—Это, кстати, очень интересно, когда проволока
мбинируется с фугасом...—он перешел на скороговорку.—Вот я вам
йчас чертежик нарисую, как это устраивается... Очень интересно!..

Быхалов не останавливал, а у прапорщика в руках уже белела
)аничка записной книжки. Гость чертил огрызком карандаша прямые
ıы, кривые линии, какие-то запятые, очень много запятых, накло-
ясь над книжкой и пряча лицо.

—...вот тут, извольте видеть, узел... узелок. А тут фугасное поле.
т это—пулеметное гнездо, вот это... видите?—сыпал прапорщик, ука-
вая на неразборчивый мохнатый клубок.—Вот тут мы и шли... то-
ь ползли.

— Погоди, я газ зажгу. Ничего мне тут у тебя не видно,—тихо
ановил Быхалов.

— Не зажигайте... не зажигайте, прошу вас!—встрепенулся пра-
)щик, и мгновенно спрятал книжку чуть ли не в рукав.—Мне право же
кать нужно!..

— А ты не спеши!—сурово окрикнул Быхалов, стоя на табурете.
овый свет буйно наполнил комнату.—Успеешь, и без того всякая
ıшка к смерти. И у меня сыновей не каждый день убивают. Уж по-
ıь старика лишней минуткой!

— Ничуть не бывало, ничуть не бывало!—закричал прапорщик
нущим голосом.—Я когда уезжал, Петр Зосимыч в полном покуда
ровьи был,—волновался прапорщик.—Ну, и так дальше!.. Я и говорю
щику: ползи, говорю, вперед, с телефоном...

— Постой, ты что-то врешь,—резко дыша, перебил Быхалов.—
ь сам же сказал, что вас всего двое было!

— Я не говорил, виноват... я не говорил!—оторопело сказал пра-
щик и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости.—
могу, не могу, виноват!..—почти простонал он.

— Чего не можешь?

— Врать не могу-с!—жилы на прапорщиковом лбу надулись как
звки.—Полковой командир с меня слово взял, что сообщу... Он
л, чтоб я и чертежик вам сделал для очевидности... А я не могу-с!—
жал плечами и строил жалкие гримасы, прося снисхождения к своей
аланности.—Вот наврал, а как дальше—не умею! Вы только не

расстраивайтесь, прошу вас. Он, может, еще в окружной попадет, а не в военно-полевой. Дело у него, видите, двойное... Против войны высказывался солдатам. Я его, поверьте мне, даже отговаривал, а он все высказывался!..

— Так что ж ты меня за нос то водишь... как тебе не совестно!— тяжело встал с места Быхалов. — Тебя за делом послали, ты и делай дело! Ты за меня не бойся. Ты мальчишка, щенок, а я в гроб гляжу! У меня сын... а ты мне чертежики!.. Злой ты человек...

Прапорщик, утеряв всякую военную выправку, сидел сутуло и грыз конец наплечного ремня. Быхалов сидел плотно, глядя гостю между колен, на сапоги. Сапоги были новые, ногу обхватывали стройно и гладко.

— Не жмут?.. — с кривой улыбкой спросил Быхалов и сильно выдохнул.

— Чего вам?., — почти с ужасом вскинулся тот.

— А ничего-с. Иевлев-то с ним, значит, был?

— С ним да. Вы уж меня извините, не сумел, моя вина... — растерянно шептал прапорщик и в сотый раз подымал плечи. — Бесталанен, не отрицаю, бесталанен! Вот хоть бы чертежик! Командир сам мне показывал, а я и забыл... Пулеметное гнездо нужно было влево отнести, а не вправо!.. А я вправо отнес... Тут я и спутался, потому что влево! — и он тоскливо водил пальцем по страничке записной книжке, вновь появившейся в руках.

— Может, чайку со мной попьешь?.. — брюзгливо спросил Быхалов, — Как-никак, — лестно героя чайком попоить! Попей уж со мной!

— Нет, нет... не могу, простите! Вы только уж извините меня!..

— Да ведь я тебя не укоряю. — Быхалов встал и странно погудел грудью. — Вот ты мне сказал, и словно полоски по мне сразу пошли... — Он, жалко кривя лицо, повертел в руках приготовленную посылку. — Ну, беги, пожалуй. Небось и девчоночка есть?.. Смотри, не бунтуй. Девчоночка плакать будет...

— Я когда уезжал, он еще жив был, — грустным шопотом подал последнюю надежду прапорщик. — Под арестом сидел, в ожидании...

— Куда ж мне теперь игрушку-то девать? — задумчиво и наружно-спокойно вертел в руках посылку Зосим Васильич. — На, хоть ты, играй там... За услугу тебе. — И он пошел проводить гостя, сжавшегося и цеплявшегося шашкой за кадушки, чаны и бочки. Гость уходил на цыпочках, не смея надеть папахи на голову.

Когда гость ушел, начался ужин. После ужина, оставшись один, Зосим Васильич подошел к масляной проплесневелой стене и стал снимать с нее несуществующие пушинки.

— ... эх, Петруша, Петруша... — вслух сказал он, и вдруг лицо его сморщилось.

XIV. Один вечер у Кати.

Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истеченьи торгового я.

Первой приходила Настя. Стыд и девическая робость делали ее приступной для смешливой Катиной любознательности. Катя и без го знала все, но с трудом отказывалась от удовольствия покопаться чувствах Зарядской „Дианочки". Вместе с тем, чтоб не стеснять другу, она старалась не замечать ее. Пока Настя сидела как на олках, Катя ходила по комнате, бренчала на гитаре, читала книжки, же переодевалась не однажды при Насте. И Настя с осуждением и пугом сравнивала по памяти свое тонкое длинное тело с телом други, предчувствуя в нем как бы угрозу себе.

Катина комната была неряшливо наполнена душными запахами, тыми подушками, множеством дешевой дрянной позолоты, куплен- й в разное время на Толкучем, как лом: рамы, часы с амурами, онзовые же фигуры самых неожиданных по бездарности форм. Сене ановилось тесно и неприятно среди этого ошеломляющего засилия щей. Он делался застенчив, груб и неуклюж, сидел в углу, говорил видимым трудом.

Один раз он даже пришел с чужой гармоньей, в надежде, что можно заменить разговоры. Впрочем, играть он не умел, она так провисела у него целый вечер за плечом. Настя, боясь за него, оим поведением выдавала себя с головой: дергала бахрому поду- к, листала глупые Катины книжки, неестественно краснела, гово- ла невпопад. В такие минуты Катя наклонялась к уху подруги и жествующе спрашивала:

— Настюша, хочешь, я уйду?.. Я за орехами схожу. Только ты отри тут без меня...

Настины глаза расширялись испугом, а рука судорожно сжимала гины пальцы.

Потом все это как-то обошлось. Прирученный Сеня научился ворить, а Настя слушать без смущенья. Однажды Сеня стал даже ссказывать. Рассказывал он самое давнее событие, которое помнил, смысл его рассказа был таков:

Про 1905 год.

...Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три му- ка с подводами остатние в уезде именья дожигать.

Ночевало из них шестеро в Савельевом дому, главари. Ночь на- олет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бун- ои. Боролись в них страх и ненависть. Речи их скользки.

— На что ему земля! — сказал один, с грустными глазами. — Он, небось, и сам-то не знает, куда ее, землю-ту, потреблять. Лепешки из ей месят, а либо во щи кладут...

Другой отзывался, глядя в пол:

— Конечное дело, друзья мои! Мы народ смирный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему б дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся!

Третий сверкал искренними, золотушными глазами:

— Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..

Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не слыхали продолженья разговора. Много ли их сна было — не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.

Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:

— Хомка... не корябай.

И опять сидели. Потом худой мужик, полузинец, голова котлом, ноги дугами, встал и сказал тихо, но пронзительно:

— ...что ж, мужички? Самое время!

На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор — рубить, мешок — нести... Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбужденья озноб забил, — так бывает на Пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.

...С буйным веселым треском горел на горе Свинулинский дом. Дыма и не было совсем. Тяжело лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно и грязно. Просвечивало серое солнце. Воздух был настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.

На полпути к Свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вкруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно. Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал.

Из ворот усадьбы, огромный и рыжий, вырвался племенной Свинулинский бык. Напрасно поводя выколотыми глазами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, — к запруде, где стояла когда-то Сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Воды у запруды были не мелки и кипели. Бурное, величественное мычание донеслось до оцепенелых ребят. Потом бучило поглотило быка...

...А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами. Откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтоб памятовали накрепко незыблемость помещичья добра. Молча, с опущенными головами, стояли вкруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы. Но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.

...И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал переплатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу... Кому ж тогда как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..

— С того-то отец мой Савелий и внищать стал, и к вину ударился.— Так заключил Сеня свой рассказ и, стеснясь, вдруг опустил понуро голову.

— Я таких вот люблю,— вслух сказала Катя подруге. — Лихого ты себе выбрала, смотри — с лихими горя изведать!..

— Любить не люби, а почаще взглядывай,— возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.

— Зачем ты ногти грызешь?..— резко спросила Настя у Кати.

— А тебе какое дело?..— насмешливо возразила та.

— Есть, значит, дело. Ты вот...— и, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.

— А как я на него глядела?.. Что с тобой?— громко спросила Катя.

— Ну, не надо вслух!— Настя пугливо оглянулась.

— Да нет, я не понимаю... украла я, что ли, у тебя?

— Пойдем, Настя, я тебя провожу,— сказал Сеня и встал.

Они вышли, и оба торопились.

— Мне гадко у нее стало, она нехорошая...— говорила Настя уже на лестнице.— И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься...

— Почем знать. Ноне времена не такие. День против дня выступает,— неопределенно отвечал Сеня. — А вот насчет театра... Это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!..

— Я тебя и целовать не хочу сегодня. У тебя глаза были красные,— сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.

— Всегда глаза красны, коли правду видят!— крикнул ей Сеня вдогонку. Потом подошел к стене и смаху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. „Вот она!“ —

вслух сказал Сеня, глядя на руку. Вспомнился Дудин. Ярость, разбуженная Настей, медленно утихала, но все еще шумела кровь в ушах.

Это случилось в пятницу...

... а в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок.—Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, длинные и короткие, но всегда маловнятные. Среди них вплетались хитроумно четыре строчки стихов, вычитанных когда-то из Катушинской книжки.

Сеня подписывал итог, когда вдруг забыл первую строчку. Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строку. Он и восстановил, но получилось как-то совсем иначе. Он записал ее, и вместе с тем выпала из памяти вторая строка. Так, строку за строкой он придумал все стихотворенье сызнова.

Теперь, холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Он кинул взгляд на хозяина, и ему показалось, что хозяин уже знает. Сеня вспыхнул и стал еще раз перечитывать. Самому ему особенно нравилась четвертая строка: „покой ангелы пусть твой хранят!"...

XV. Катушин тоже закричал.

... совсем забыл Сеня Катушина.

Настя была для Сени — жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин — уныние, безволие жизни, недвижность, тишина. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.

В обед он поднялся наверх и вдруг в коридорчике споткнулся. За то время, пока проводил время с Настей, трещину в каменном полу забили несуразной доской. Споткнувшись, Сеня остановился, внутренно смутясь за цель своего прихода: прочесть Катушину стихи. Он тихо отворил Катушинскую дверь и осмотрелся с порога.

Коечка старикова была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сонливо вязала толстый чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.

— Тебе что?..— спросила она враждебным полушопотом.

— Мне Степана Леонтьича...— просительно сказал Сеня и подошел ближе.

— Дверь-то закрой сперва,— сказала баба.— Если по делу, так вот он тут лежит,— она кивнула на койку, закрытую пологом.— Уж какие дела к мертвому!— досадливо поворчала она.

В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Глаза его, необычные для Сени, потому что без очков, — голубовато-запустевшие, глядели равнодушно в низкий прокопченный потолок. Когда Катушин перевел глаза на Сеню, Сеня поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенно-располэшемся лице не было никакого оживляющего блеска, — может быть, из-за отсутствия очков?..

— Здорово, Степан Леонтьич, — сказал Сеня и попробовал улыбнуться.

— Кто? — жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин, не взглядывая на пришедшего, словно уж не доверял глазам.

— Это я, Семен. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?.. — Сене стало стыдно, что он — здоровый, а Катушин — больной. Он забегал глазами по комнате, чтоб привыкнуть к странной опустелости ее.

— А-а, — невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом. — Садись, гость будешь.

Сеня заискал глазами табуретку, табуретки не было видно.

— Ты, паренек, посидишь тут? — спросила баба, залезая спицей к себе за ворот. — Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! — жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под Катушинской кровати корзиночку.

— Что ты, дура, мелешь... кого обряжать? — озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.

Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Порвалась какая-то нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.

— На табуретку сядь... не тревожь, — сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. — Руки гудут все! — в голосе его не было жалобы, да и слова, произносимые им, были неразборчивы, как отраженье звука в большой зале.

Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.

— Что-то я не признаю тебя, — ворчливо заговорил сам Катушин. — Плохо стал людей различать... Все мне лица одинаки стали.

— Я Семен... от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.

— Помню, — без выражения сказал Катушин и упорно добавил про себя: — так ведь тот маленький был!

— Я вырос, Степан Леонтьич, — извиняющимся тоном произнес Сеня и сконфуженно стал стирать пятно с пола носком сапога.

— Не ширкай, не ширкай... — остановил Катушин и кашлянул ровно один раз.

Прежнего задушевного разговора не выходило.

— ... по картузу в день — считай, сколько я их за всю жизнь наделал! — снова начал Катушин и лицо его на короткое мгновенье отразило боль и тоску. Он прокашлял три раза. — Картузы сносились, вот и я сносился... — Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. — Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню... Я все помню! — что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в Катушинских губах.

— Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? — неловко пошевелился Сеня.

— ... я тебе тут бельишко оставлю... Ты не отказывайся. Подшить, так и поносишь! — продолжал вести свою мысль Катушин.

— Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано, — заторопился Сеня. — Это баба чулочная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу, — право, турнул бы!..

— Бабу не тронь... она за мной ходит, баба... — поправил Катушин.

Сеня встал и отошел к окну. Он вытер запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Гераневое окно потускнело, запотевшие окна не пропускали чужого взгляда вовнутрь. „Настя... она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты..."

— Паренек, — заворочался Катушин, стараясь поднять голову с тощей, пролежанной подушки. — Дакось водицы мне... на окошке стоит.

Старик пил воду, чавкая, точно жевал. Отпив глоток, он ворочал недоуменно глазами, потом опять пил.

— ... четвертого дня просыпаюсь ночью... — Катушин кашлянул, — ... а он и стоит в уголку, смутительный... дожидает, — сказал Катушин, откидываясь назад.

— Кто в уголку?.. — нахмурился Сеня и невольно оглянулся в угол.

— Да Никита-т Акинфич, дьячок-то мой... приходил. Я ему: ты подожди, говорю, хочь деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, догоняй, подожду. — Степан Леонтьич, видимо, посмеивался, но смех его был уже неживой смех.

— Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься... — сказал Сеня. — Ты не верь. Этого не бывает на самом деле. Это истома твоя...

— Никита-т — истома?.. — строго переспросил Катушин. — Не-ет, Никита не истома. Не говори про Никиту так!..

Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный стишок и вопросительно поглядел на старика, точно тот мог догадаться о Сенином намерении.

— Я тут стишок написал. Вот, прочесть его тебе хочу. Ты послушай, — и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.

Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку. Читал он неумело и неровно, то срываясь до шопота, то поднимался до трескучего напора. Длинно и плохо было Сенино творение, но светилась в нем подлинная сила молодости: она наполнила всю комнату, гнала смерть, упрашивала, грозила. — Вот так же было, когда стоял на краю крыши, искушаемый лукавством жизни: кинься, Семен, и любовь спасет тебя!.. — Сеня кончил и выжидающе безмолвствовал.

А в угасающих глазах старика был только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим. В своем волнении не видел Сеня поражающей немоты Катушинского лица.

— Ну, как... попытать можно? — настойчиво спросил, дрогнув, Сеня.

Старик шарил под подушкой и вдруг протянул что-то Сене на высохшей ладошке.

— На ... возьми, — зло и резко сказал он.

— Что это?.. — насторожился Сеня.

— Зуб... — грубо, как в безпамятстве, ответил Катушин.

— Чей зуб?..

— А мой! Утром ноне... — глаза Катушина, укоряющие и обиженные, похожи были на зверков, загнанных напором бури в глубокие норки. — На, возьми... на! — настойчиво повторил Степан Леонтьич, и Сеня уже видел, что неминуемы слезы.

— Я пойду лучше... — потерянно сказал Сеня и встал. — Прощай, покуда.

Сеня так заспешил, словно боялся, что старик его остановит и задержит возле себя на всю ночь. С порога Сеня обернулся, чувствуя большую непонятную смуту внутри себя, — в тот момент и поймал его остановившийся мутный взгляд старика. Степан Леонтьич что-то говорил еще, но это было не громче переворачиваемой страницы. И Сеня понял, что страница эта последняя в дочитанной книге. По лестнице вниз он почти бежал, точно от погони...

... Как раз в тот вечер Матрена Симанна занесла в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню притти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.

— Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? — тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. — Чему бы вам радоваться?..

Быхалова в лавке не было. Сеня подошел к старухе вплотную. Он был гораздо выше ее, и взгляд его приходился как раз на старухино темя, укрытое шерстяным платком.

— Да что, голубчик, какая у старушки радость! — храбро проскрипела Матрена Симанна. — Старушечья радость скучная!.. А свадебке как не радоваться... все на платье подарят. Мне бы хоть и черненького. Белое-то уж и не к лицу!

... Неслись в сумерки Зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня, как встал ногами в лужу, так и стоял у Насти-

ных ворот, ничего не замечая. Фонарь в этот час почему-то не горел.. Вода проникла в сапог сквозь разношенную подошву. Сеня присел на тумбу. Потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед. Потом прислонился спиной к воротам. — Все не шла.

„Заболела? — Тогда не звала бы. — Помер кто-нибудь? — Тогда к чему я ей?" — так метались мысли. Вспомнив про зловещий намек старухи, Сеня снова быстро заходил по тротуару.

У ворот стоял лихач, — его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачевой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно...

— Разлюбезненькую поджидаешь? — спросил с величественным добродушием он и поворочался, как на оси, на ватном заду.

— Нет, барина твоего убивать пришел, — озлился Сеня.

— Занозистый! — определил лихач. — А разлюбезненькая-то не придет, — зубоскалил тот певучей скороговоркой. — Я ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!

— Это ты мать свою видал, — съязвил Сеня, отходя от ворот.

В ту минуту скрипнула дверца ворот.

— Ты давно тут?

Она смотрела на него с неуловимым холодком из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.

— Куда пойдем... к Катьке, что ли? — шопотом спросил Семен.

— Я не хочу к ней. Пойдем туда... — она указала глазами в темноту улиц. — Ты знаешь... это его лихач!..

Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились, и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.

— Настя, — горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе, — неужто в самом деле выходишь?..—и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.

— Погоди... дай людям пройти, — быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. — Потом!..

Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал: „эге". Еще не дождавшись, пока пройдут, Сеня губами нашарил ее губы, темные под платком. Они были неожиданно солоны, холодны и влажны.

— Ты плачешь?.. — догадался он.

— Лихача-то видел? — вместо ответа сказала она.

— А ты что? — в упор спросил Сеня.

— Папенька просил... Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла... — неизвестно, случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.

Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел себя по волосам.

— Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! — размашисто сказал он. — Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете... — и он постучал пальцем в стену, точно надобность приспичила узнать, не фальшивая ли.

— Он меня в театре увидал... Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала, — рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. — Ну, иди же!

— Ты мне так не говори. Я тебе себя самого прислал бы, каб знато было... — Сенин голос дрожал.

— Куда пойдем-то?..

И опять она указала на свистящее темное пространство, за арку Китайских ворот. Теперь они шли по набережной, вдоль самой реки. Здесь дул ветер, и снежинки летели не одиночно, а слипшимися роями. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла теченье черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески спускались вглубь ее отражения береговых фонарей.

Они оперлись на железный парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.

— На свадьбу-то хоть позови... хоть за холуенка, а? Калошки там снять понадобится... тарелочку помыть!

— Мне холодно, — зябко ответила Настя.

Снег усиливался. Сильней пометало ветром. Снежные кучки собирались в углы, и скважины в кладке гранитных камней побелели. Они стояли спиной к реке, лицом на Китайскую стену. Облетелые кустики сорных трав и хилых березовых кустков, выросших на ней прихотью ветра, томно клонились вдоль стены.

— Фирму Желтковых знаешь?.. Вот... оттуда, — сказала Настя и повернулась к нему спиной.

— В лесу бы мне с ним один-на-один встретиться! — ответил Сеня.

— Что ж, убил бы, что ли? — недоверчиво повернулась Настя.

— Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет — пускай живет собачья отрава!..

— Ну вот! — эхом сказала Настя, — а я девочкой на Петю Быханова рассердилась, что никого не убил... — она кусала губы. — Тебя на войну-то не возьмут?

— А тебе-то что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь!..

— А право, не знаю... Чудно как-то, — созналась Настя.

XVI. Степушка Катушин кончил земные сроки.

Утром узнали, шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.

Сеня не пошел к Катушину в это утро, как и в последующее. Он боялся встретить там, вверху, чулочную бабу, которая непременно

протянет ему Катушинское наследство и скажет: „Два раза тебя звал. Первый-то раз — громко так, а потом уж с томленьем"... Боязливое раскаяние в том, что не исполнил последнего долга перед стариком, сделало его медлительным, полубольным, несоображающим. Он не видался в этот день с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему казалось, что и еда, и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус, — его тошнило от еды.

Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому, и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова.

— ...а я к тебе шла! — Настин голос был решителен и тверд. — Хоть и навсегда шла... Все равно, не могу больше!

— Ходить, что ль, не можешь? — усмехаясь, спросил он.

— Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда...

— Возьми да выброси, — равнодушно посоветовал Семен.

— Помолвка завтра... — еле слышно прибавила она.

Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.

— Ты не надо так! — резким низким шопотом заговорила она, догнав его у начала Катушинской лестницы. Губы ее тряслись. — Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать!..

Опять снежинки крутились в потемках двора. Где-то в глубине его лениво ругались извозчики из-за места.

— Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому...

— На мне женись, — быстро решила Настя.

— Не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя, — тихо сказал Семен. — Ну, пусти... Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.

— Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?.. — она оборвалась.

По лестнице, как ни противился Семен, они поднимались рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее.

— Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят...

— Пускай! — так же грубо, как и Семен, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.

Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита Зарядским старичьем: пришли в последний раз посетить уходящего в век... Служба только что началась. Высокий кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью, — не трудно мертвому блюсти человеческое достоинство, — шамкал псалтирь неизвестный лысый старик. Когда переступал он с ноги на ногу, скрипели его сапоги — скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для

себя да для Катушина, изредка взглядывал на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.

На носу у псалтирного старика сидели Катушинские очки. Сеня догадался: „Пришел, а очки забыл... Ему и сказали: вот Степановы, — надень". Сеня увидел еще: серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало Катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три больших свечи, наряженных в банты из Катушинской сарпинки.

Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтоб все ее увидели. Это и было замечено, — дьячок, гнуся очередную молитву, повернул свою гусиную шею назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать про Секретовскую дочку доставило ему немалое удовлетворение.

— Дозвольте... я вам огонька предложу, — шопотом сказал он, протягивая Насте свою свечу, горящую. — Как папашино-то здоровье?

— Вы мне на платье капаете... — сухо заметила Настя.

— Ну и слава богу, слава... — не расслышал или только сделал вид такой дьячок и отбежал подсыпать ладану в кадило.

От свечей посветлело. Лица людей, освещенные снизу, бородатые — мужские и морщинистые, — бабьи, имели отпечаток какой-то тупой, несоображающей мудрости. Они не печалились горю и не дивились смерти, они знали: жизнь — не луг со цветами, жить — не цветы с луга рвать. Среди них домовито суетились двое: чулочная баба и Ермолай Дудин, черный, подтянутый, заметно подъедаемый чахоткой. Он или распоряжался острым приказывающим взглядом, или, любовно, как женщина, бросался поправить подушку или картонные бахилки умершему другу, или оправлял фитиль большой свечи, помогая ей гореть торжественней.

Сосредоточенно, точно говорил с самим Катушиным, стоял Семен, — с глазами, опущенными в пол. Что-то белело у него под ногами. Он пошевелил белое ногой и узнал: то была аптечная коробка из-под ладана. Ему еще больше стало тогда не по себе, и еще глубже проложилась складка у его переносья. „Съел тебя город, Степан Леонтьич, — подумал Семен, — и ладан твой съел. Будь и того и другого вдвое больше, и тогда не осталось бы..." Семен кинул взгляд на Катушина. Тот сделался теперь как будто еще меньше, потому что, казалось, был напуган всем этим шумом, происходившим ради него. Сеня не отводил глаз, и вдруг заметил в поле своего зрения тонкий профиль Насти, нежно мерцавший светом свечи. Он перевел глаза на нее.

Она почувствовала, в похудевшем лице ее скользнуло движение улыбки.

— ...обрати внимание, — шепнула она, касаясь дыханьем его лица. — Свечи в руках... Точно под венцом стоим!..

— Молодой человек! — сказал в самое ухо Сене дьячок и сунул вертлявую голову среди них.

— Ну?.. — слишком громко, потому что не рассчитал гол отозвался Сеня.

— Свечи собирают... Кончилось, молодой человек! — ядов сказал дьячок и подмигнул Сене пакостно и стыдно.

Перешептываясь, выходили по-двое Катушинские гости. В раск тую дверь входил кислый холодный воздух, но все еще стойко жался запах тлеющего фитиля. Кривошеий поп снимал ризу и нароч подробно расспрашивал чернобородого Галунова о Катушинском ко Галунов усердно топырил грудь, а тот кивал головой и склады обносившуюся ризу конвертом, заворачивая ей углы. Псалтирный ста сморкался в красный платок. Свечи гасли. Темнело.

Сеня уходил почти последним. И опять обернулся он с порог вспомнил: с того самого места, у окна, где стоял с Настей, он впер и увидел ее. Но теперь за окном было черно и пусто. Следуя укл мыслей, он взглянул на свои сапоги: сапоги теперь были красив хромовые, приятно глядеть. Все переменяется...

Коечка в углу уже была разобрана, — угол был пуст и ждал вого постояльца. Только небольшая кучка пыльного сора указывала, на этом месте обитал безвестный человек, — он и насорил.

XVII. Разные события следующего дня.

...как во сне.

Утром Быхалов сам, идя из города, прочел приказ о дополните ном призыве Сенина года. Сеня встретил сообщение о солдатчине поч равнодушно, — солдатчина сулила даже ему какой-то выход из по жения. Не дослушав, побежал на Катушинские похороны.

Весь обряд похорон показался Сене подчеркнуто-обидны Бумажным пояском закрыли Катушинский лоб, едва расправившийся морщин. Поливали елеем, посыпали песком. Возница, длинный и су лый верзила в черном, похожий на огромную отмычку для столь огромного замка, взлез на козлы, и похоронные дроги тронули в путь. Встречные снимали шапки. Над домами кружили голуби. П дал снег и тут же таял. Дальше, когда потянулась чужая Моск наняли провожатые извозчика. А провожатых было всего двое: Се и Дудин. Чулочную бабу видел Сеня только на квартире, утром, — о возилась над Катушинским сундучком.

Тут-то и показали тощие клячи всю свою непохоронную прыт Длиннющими, как жерди, ногами они захватывали большие куски м стовой и неслись, словно боялись людского глаза, словно обрадовали легкому грузу. За всю жизнь никогда и никуда не спешил так Катуши Дудинский извозчик, чахлый парень с красными выпуклыми весну

ıми, не отставал, — словно на свадьбу мчались. Мразь с неба усили-ıсь и уже не успевала таять. Подняли верх.

Однако за заставой, когда мимо бежали домишки, измельчавшие › последней жалости, Дудинский извозчик стал закуривать и поот-'ал. Извозчик спросил:

— Нет ли спичечки?..

Дудин сказал:

— Чорт!.. — и протянул спички.

Тут Сеня с тоской заметил, что Дудин уже раздобылся где-то ıном.

Могилка проморозилась за ночь, но низина давала себя знать: ı дне стояла лужица. Кладбищенский батюшка, олицетворение земного ıыния, с пресным лицом, рассыпаясь на верхних нотках, изобразил дгробное рыдание и помахал потухшим кадилом. Сеня наклонился скинул вниз первую горсть вязкой холодной земли. Она так и упала мом. Кладбищенский человек, коротконогий и веселый, усердно кидывал заступом розовый Катушинский гробок и все порывался заго-рить. Наконец, он не выдержал:

— Как хотите, конешно, это на чей вкус... А по нашему, так какого ада нет! Я вот, одиннадцать лет, копаю, все думаю: где же , ад?.. Негде ему быть! А второе дело: сколько ж лесу-то уйдет его опить? Я вот и за истопника тут, знаю дело... Не-ет, тут что-то дру-е есть, а только они скрывают! — и он, кивнув вслед уходящему тюшке, громко высморкался в сторону. Борода у него была круглая, ıжая, разбойничья, жесткая.

— Пьешь?.. — коротко и с презреньем спросил Дудин.

— Пьем... — сознался могильщик. — А что?

— Ничего, ступай! — отвечал Дудин.

Когда никого не оставалось кругом, Дудин взволнованно и вдруг овел себя рукой по невообразимому, непокорному ершу волос и дохнул так глубоко, словно собирался сказать последнее слово пред сячной толпой, собравшейся почтить покойного. Он даже выкинул ку в сторону и открыл глаза. Движенье его можно было счесть и судорогу. — Кричали вороны, в высоких кладбищенских березах. ıхло прелым листом. Видна была дорога до самой заставы, и на всем отяжении ее — никого.

— Здесь чайнуха одна есть, с секретом, — сказал неожиданно Дудин. ня старался не глядеть на его подергиванья. — Вроде поминок зака-м... по бестелесном человеке! — он подмигнул, а Сене стало тревожно холодно.

— Пойдем, а?..

Но тут с Дудиным что-то случилось. Он припал к свежему Кату-ıнскому холму и весь затрясся. Плакал он всухую, без слез. Острые сти, сотрясаемые в Дудине рыданьем, двигались так, словно хотели орваться из черного его пиджака. Звук был очень непонятный, — всхли-

пыванье походило — будто в котле клокочет черный и густой сапожı вар. Его прощанье кончилось так же внезапно. Он встал и надел голову свалившийся картуз.

— Эх, в трясине живем!.. — крикнул он и, не оглядываясь, забы стряхнуть с колен приставшую землю, пошел с кладбища. Сеня дог его почти у выхода.

...Чайнуха, набитая воровской мелочью и мастеровой голью, п тулилась в кривом, с крыльцом, домике, — сзади к нему примы пустырь. Уже свечерело, когда они пришли туда. Под черным пот ком висела лампа с грязным железным абажуром набекрень. Керо уже истощился, и напрасно иссохший фитиль обсасывал пустое дн стрелял красными языками, давая знать о себе.

Они подсели к столику, за которым уже сидел один, — разгляд его лицо было невозможно. Сеня впервые за всю жизнь пил жгучую п тивную смесь, откашливаясь и брызгаясь, не справляясь с отвращень

Неизвестный, сидевший вместе с ними, глядел внимательно и груст

— Что ж ты парнишку-то спаиваешь? — спросил он тихо у Дуди прихлебывая чай из толстого стакана.

— А ты не злись... не подбавляй горечи! — вскочил Дудин.— На-выпей за упокой человека...

— За свой, что ль, упокой пьешь? — неодобрительно спрос человек.

— А и за мой выпей, какая разница! — клохчущим своим смех зашелся Дудин. — Из каких сам-то, — мастеровщинка, что ли?

— Нет... на заводе тут, по металлу работаем,— неохотно отве тот.

— Снарядики точите? А-а!.. Подлецкое ваше дело!..— колко заı рошился Дудин, подливая в стаканы.

— Не-ет, мы не отсюда...— неопределенно отвечал человек.

— А, ну-ну! — почему - то принял без вопроса Дудин сообщеı незнакомого. — А мы вот человечка схоронили. Предобрый старикаı Ну, скажи, восемнадцать раз я инструмент свой пропивал... приду к неı грязный, пьяный, тень человека. „Ваше преподобие, скажу. Одол: три рубля на продолжение жизни!“ — „Спустил?“ спросит. „Спуст ваше преподобие!“ Он и даст. Я его преподобием-то, чтоб не т совестно было! Так красненькая и ходила промеж нас всю жизı Бестеле-есный!.. — протянул мечтательно Дудин.

— Что ж за заслуга... что пьянству-то помогал?— усмехнулся ı знакомый, свертывая папироску и смачивая край бумажки языком... Жил-был и помер. Жалеть его не за что. В тихом житии не велика : слуга. Хоть брыкнулся бы!..

Дудин даже отодвинулся, заметно оскорбившись замечанием незı комого. Зрачки у Дудина потемнели и как-то сжались.

— Ко-онешно! — передразнил он, выбрасывая руки вверх. — Зачı жи-ил! А кто ему судья? Ты ему судья? Кто меня судить может, кı

іе я сам? Ну, говори, говори мне!.. А-а, ты молчишь, судья неправедный! А почему ты молчишь?.. А потому, что и сам не знаешь, зачем каждый день сапоги надеваешь!

— Я-то знаю...— засмеялся незнакомый.

— Что же ты знаешь? Ну, отвечай мне, если ты можешь!..

Ответа не последовало, да его и не понял бы, может быть, захмелевший Дудин. Кто-то забежал к ним за перегородку и крикнул об облаве. Незнакомый поднялся первым и первым же побежал к черному ходу. Дудин и Сеня побежали, почему-то, за ним. Дом еще не был оцеплен. Черный ход вывел их на пустырь, так щедро изрытый канавами, как будто нарочно для поломки чужих ног. Люди разбегались во все стороны. Сеня потерял Дудина. Он позвал его один раз и, не получив отклика, двинулся наугад, к тихой и длинной улочке, скудно освещенной десятком кривых фонарей. Черная глушь окраины обступала и странно возбуждала Сеню. Голова горела от Дудинского угощенья, стучала кровь в напрягшемся кулаке. Мысли были неуловимы, но все исходили от одной: вот он идет пьяный и осмеянный, а в Зарядьи, за толстой стеной, пропивают Настю...

...Лавку еще не закрывали, когда Сеня вернулся в Зарядье.

— Где это тебя, экого, таскало? По книжкам хоть бы сходил получить! Месяц на исходе...— ворчал Быхалов, когда Сеня нарочито твердой походкой проходил мимо.

— По книжкам?..— непонимающе переспросил Сеня, останавливая свое внимание на хозяйской руке, опущенной в выручку. Никогда раньше не замечал Сеня Быхаловской длиннорукости.

Он прошел к конторке, подмигивая внезапному своему решенью, и выбрал книжку, по которой забирал товары Секретов. Завязка вечера распутывалась сама собой.— Да куда же ты пойдешь в таком-то виде?..— смутился Быхалов.—Спать бы шел.

— Вы думаете, я пьян?..— подошел Сеня к прилавку.— Нет, я не пьян...

...Мимо знакомого лихача и нескольких извозчиков, стоявших у ворот, Сеня прошел прямо на Секретовскую квартиру, зловеще глядя только перед собою... Поднялся по лестнице и постучал в дверь. За дверью слышны были голоса и вскрики, Зарядские помолвки —шумные. Сеня постучал еще раз и, не сдержав злости, сильно ударил сапогом в дверь.

— Кто там?..—спросил из-за двери испуганный старушечий голос.

— Отвори, Матрена Симанна. По книжке пришел получить!

— Через часок приди! Вот женихи уедут...— вразумляюще шепнула она, отворяя дверь.

— Велено ждать,— твердо сказал Сеня, почти насильно входя в прихожую.— Вот я тут в уголышке примощусь.

Старуха, боясь затронуть пьяного, металась по прихожей, загораживая одновременно дверь в столовую. А Сеня смирно сидел под

шубами, держа книжку на отлете, в руке.. Кажется, он задремал, времени не заметил. Он открыл глаза, когда прихожая наполнилась вдруг шумными возгласами.

Купцы прощались в дверях столовой, посмеиваясь, причмокивая и разводя руками.

— Ну и спасибо, сват, — спокойно говорил один, очень большой вместительности человек.

Другой, похожий на начетчика, одетый поневзрачней, со впалыми висками и с карей проседью в бородке, потирал руки и очень мягко говорил:

— Втроем теперь будем огород городить... С песенкой.

— Честь малому человеку делаете,—чванился Секретов.—А втроем, это мы, действительно, шарахнем!..

— Шарахать-то с толком нужно, — осторожно заметил жениховдядя, невзрачный.

— А мы и с толком. Затрудненья нет! — заметно смутился Секретов, оправляя круглую бороду.

Жениха сразу нашел Сеня. То был мелкого сложенья человек, поджарый и напомаженый. Когда смеялся, вся его чистенькая мордочка завязывалась узелком вокруг восторженно выпученного рта. Он много, мелко и безо всякой причины смеялся Насте, стоявшей рядом с ним. Настя кусала губы. Петр Филиппыч, разговаривая с гостями, поглядывал на нее просящими быстрыми глазами.

Петр Филиппыч сразу заметил, как залилась румянцем Настя, и, только тут, переведя глаза, увидел Семена. Семен стоял возле шуб и напряженно низал Настю неморгающим взглядом, точно хотел, чтоб еще больше безумела краска Настиных щек.

— Зачем пришел, а? — коротко и мягко спросил Секретов Сеню и, подойдя ближе, зачем-то понюхал воздух.

— Вот! — туповато ответил Семен и щелкнул ладонью по книжке.

— Что это у тебя? — осторожно осведомился Петр Филиппыч.

— По книжке велено получить, — осипшим голосом произнес Сеня.

— По книжке? Ну-ну!—догадался по своему Секретов и тут же пояснил будущему свату, покачивавшемуся на растопыренных чурбаках ног:—вот народ у нас! Тут я с лавочником в контрах. Так вот он и догадался в такой час потрафить, пьяного прислал. Извините уж, гости дорогие!..

— Да сколь хочешь, пожалуста,—чванно отмахнулся толстый.

— Ты подожди, парень, вот только гостей провожу... и рассчитаюсь с тобой! — сказал Секретов.

Но он уже не отходил от Сени, заметив Настино беспокойство. Жених тоже учуял беду и неприметно оглянулся на отцов.

— А я вот что придумал,—вдруг обрадовался Секретов внезапной мысли.—Поступай-ка ты, парень, ко мне в службу. Я тебе и жалованья больше положу... Не век же тебе в мальчишках слоняться.

— Художественно! — захохотал толстый. — Вот уж хитер ты, Петр Филиппыч! Ну что, парень, согласен? — обратился он к Сене.

— Покорно благодарим!—вырвалось у Сени само собой. Почему-то ему в ту минуту представилось, что за ним наблюдает Пашка и улыбается. Он так глубоко вздохнул, словно хотел поглотить в себя свое неожиданное согласье.

— Ну, вот и чудодейственно. Смеху-то на все Зарядье станет!— успокоился Секретов, отходя к покинутому свату.—А пока подержи вот шубу женишку... Может, и на чай отвалит, коли не скуп! — и он хвастливо подмигнул приглядывавшемуся ко всему с лисьей осторожностью невзрачному.

Сеня взял шубу из рук жениха и растянул ее в руках, придерживая... Настя окаменело глядела на него, настрого сдвинув брови. Держа кашнэ в зубах, жених полез руками в рукава, но тут-то и случилось событие, повернувшее всю торжественность помолвки в один непристойный для купеческого дома ералаш...

XVIII. Катина родинка.

Сене отперла сама Катя.

— А Насти у нас нет!..—сказала она, удивившись позднему его приходу. Впрочем, тотчас же тень какой-то догадки скользнула у нее в губах.—Да что же вы на пороге-то стоите... входите!..—она делала вид, что не замечает странной Сениной скомканности. Глаза у него были красны, веки падали вниз,—стоило большого труда удержать их.

Сеня все так же, без объясненья своего прихода, вошел в переднюю. Судя по тому, как он оглядывался, можно было предположить, что тут только он сообразил, куда завлек его хмель.

— Она обещала притти? Вы разве не знаете, мы с ней немножко рассорились! Из-за вас вышло...— добавила она тихо.

Катина блузка была смята, а волосы растрепаны,—очевидно, дремала, когда раздался резкий Сенин звонок. Она размахивала книжкой, значит с книжкой и дремала.

— Ну... не в передней же стоять! Пойдемте ко мне, что ли?..— объявила Катя и непринужденно потянулась.— Где это вы так?..— она искала слово, идя сзади Сени и все время копошась с блузкой.— Какой-то вы чудной... Я напугалась даже.

Сеня заговорил не раньше, чем вошел в комнату и сел на стул. Но сел уже не робко, как прежде, а всем телом, в развалку.

— Ты что, спала, что ли?—грубо спросил Сеня, не справляясь с косящим взглядом.

— Нет, нет... ты сиди, сиди!—тоже на ты перешла Катя.—Я ведь все одна сижу!..

— Жениха сейчас обидел,—жестко сказал Сеня и сделал неопределенное движение рукой.

— Настина жениха?—заинтересовалась Катя. Она расположилась-было поудобней на смятых подушках, но тут с любопытством приподнялась. — Как же ты его... так что-ли? — она наотмашь махнула рукой.

— Не...—нехотя отвечал тот, встал и скинул на пол плохонькое свое пальтецо.—Жарко!—сказал он и оттянул ворот рубашки, впившийся в смуглую, раскрасневшуюся мякоть шеи. Потом он взял попавшийся ему на глаза Катин гребень и запустил его себе в волоса, но завитки спутались и не давали гребню прохода.

— Положи... сломаешь!—вскользь заметила Катя.—Так ты, значит, на квартиру к ним приходил?

— Дай воды сперва попить...

— Вон там в графине, на подоконнике, возьми... Ну и как?

Сеня не спеша налил стакан. Рука его дрожала и расплескивала воду. Он выпил весь его в два глотка и опять сел, тупо уставляясь перед собою.

— Настькин отец говорит: „подержи шубу", — начал рассказывать он.

— Кому?—воззрилась, замирая от любопытства, Катя.

— Жениху, конечно! А я его поднял вот этак!.. не тяжеле мешка, да ка-ак брошу, с шубой вместе. Уж больно я на себя озлился, что шубу ему стал подавать...—опять попался на глаза гребень, и опять стал расчесывать Сеня волосы, но гребень хрустнул, и кусок его, выскользнув из волос, упал на пол.

— Ну, вот, видишь? Я говорила, что сломаешь!—объявила безо всякой досады Катя.

— ... я за нее по кусочку бы себя отдал тогда...—продолжал Сеня, и по всем мускулам его пробежала некая смятенная волна.—Зачем она отцу в глаза не вцепилась?..

— А Настя что?—допрашивала Катя, закладывая руки за голову.

— Она меня выгнала... как щенка пихнула!

— А ты и ушел?..

— Ушел, а тебе что?

— Хорош, нечего сказать!—Катя тихо засмеялась. Смех ее был ровный, щекочущий, осторожный как кошачья походка. — Значит, Настьку-то с руками этому воробью отдал! Ребят-то не нанимали няньчить?..—и Катя насмешливо поиграла острым, как язык, кончиком ботинка.

— Не дразнись, — сказал он, опуская голову. — Зачем меня дразнишь?

Катя лежала с закинутыми руками, головой на подушке, вышитой тяжкими шерстяными розанами.

— А, может, я тебя утешить хочу?..—и опять смешок ее, обжигающий Сенино самолюбие, прозвучал коротко и смолк.—Ты вот злишься, а, может, я слезы тебе хочу утереть... Я ведь добрая!

— Говорят тебе, не дразни,—повторил с еще бóльшим упрямством Семен.

Они помолчали минуту, как бы давая друг другу обдумать ходы начавшейся игры.

— Сними-ка вот...

— Что снять?—прищурился он.

— Ботинок сними вот этот, — однообразно воркотала Катя. — Левый... Жмет очень!

— Может, и еще что снять?.. — и Сеня грубо захохотал.

— Дурак!—отчетливо сказала Катя, не меняя положения.

— Дурак, так я уйду!—и встал.

— Куда? К Настьке пойдешь? Там тебя отец собаками затравит. Тебя и затравить-то, так простят. Много ли стоишь?! Кисельное блюдо!..

— А я тебе сказал в третий раз... не трожь меня!—Сеня угрожающе подошел к Катину диванчику и глядел на нее немигающими глазами.— Смотри, мое слово коротко!..

— А мое длинно!—дразнила Катя.—Ты сильный... Ты вон какой, а тебя девчонка выгнала, так ты и реветь готов.

У Кати в комнате горела лампа с узорчатым абажуром. Катино лицо лежало вне круга света и само мерцало смутными блесками.

— Ты не гляди на меня так,—смешливо заговорила она.—Я ведь одна дома. Ты смотри, не испугай меня...—вдруг Катино лицо разжалось, распустилось.—Садись вот тут,—приказала она и подвинулась к стенке, чтоб дать место Семену.—Шаль-то скинь на стул и садись!

Тот молчал, побеждаемый в поединке. Голову обволакивал какой-то чугунный хмель. Вдруг ему представилось, что все вещи стали звенеть, каждая по своему,—звон дурманил.

— Что ж, я и сяду!—сказал Семен и нескладно присел на стул.

— Нет, вот сюда садись,—и указала место рядом.

— Ладно,—и сел туда, куда указывала.

Катины, с обгрызанными ногтями, пальцы играючи бегали по блузке.

— Смотри,—сказала Катя, распахивая верх блузки.—Видишь?

— Ну, вижу. Ну!

— Родинку видишь?.. Нравится?..

— Ничего себе. Махонькая...—определил Сеня, тяжело уставляясь на Катю. Немного вверх, над грудью, где кожа припухла странной мерцающей голубизной, томилось в безвестности маленькое темное пятнышко, ласковое и жалкое, темный глазок греха.

— Настьку хочешь обидеть...—сказал Семен, глядя в глаза Кате. Ему стало невыносимо душно в Катиной комнате, насыщенной чуждыми запахами, заставленной сотнями мелких и глупых вещей. В пальцах кровь билась так, словно сердце захлебывалось кровью и пальцы двигались сами собою.

— ... Сейчас отец придет,—вслух думала Катя, все еще с раскры той блузкой.—В десятом собирался вернуться...

— Настьку хочешь обидеть,—с упрямством повторил Семен

Они уже не глядели в глаза друг другу. Задичавшие взгляды их ползали по комнате, не различая вещей... Пухлые, с обгрызанными ногтями, Катины пальцы, раздражающе царапали обивку диванчика... Сеня и видел ее, и не видел. В висках клокотала разгоряченная кровь Душе было гадко, а тело безумело и начинало качаться как маятник Все вещи дразнили, точно хотелось им, чтоб хватили их о пол и расхрустнули каблуком. Семен наклонил над Катей опухшее лицо,— Катя двинула плечом, потушила глаза и затихла. Так было недолго.

Вдруг Семен поднялся и резко засмеялся:

— Время-то течет, как по жолобу!—сказал он, обводя усталыми глазами комнату.—Набедокурили мы с тобой! Эх, Катька, Катька...

Катя непонимающе поглядела на него и рывком запахнула блузку. В следующее мгновенье она убежала из комнаты с неправдоподобной живостью. Она вернулась через минуту.

— Уходи скорей,—зашептала она, не глядя на Семена.—Я на часы хотела взглянуть... они у него в спальне. Он уж пришел... Молится тем! Ступай,—комкала слова Катя и все еще оправляла давно уже застегнутую на все кнопки, какие были, блузку.

Сеня шел за ней в переднюю намеренно-громким шагом. Уже уходя, он попридержал дверь ногой:

— Стыдно тебе небось, а? А ведь замуж-то я тебя все равно не возьму!..

— Мужик вахлатый!..—не сдержалась Катя и захлопнула дверь.

Щелкнул крючок, и Сеня остался один в темноте лестницы. Он сошел вниз и поднялся по улице вверх из низины. Нежилым, каменным духом повеяла на него Варварка. Он шел мимо нижних рядов. В провалах глубоких ворот, на ящиках дремали в тулупах сторожа. Шел он совсем бесцельно... В глухих переулках, соединяющих низ и верх, он пробродил большую часть ночи. К рассвету усталые ноги вывели его на Красную площадь, затянутую робким нетронутым снежком. И здесь никого из прохожих, только всюду, в каменных нишах, крепко спали овчинные тулупы. Так же медленно он спустился опять в Зарядье. В смятой памяти растерзанными кусками проходили события минувшего дня: сухонький лобик Катушина—Дудинский картуз, валяющийся в грязи—чайная кружка с мутным, тошным ядом—выпученные глаза жениха, сжатые, зачужавшие губы Насти—губы Кати, взбухшие, как нарыв...

Он стоял как раз перед гераневым окном. Оно, занавешенное белым, смотрело в него глухо и безответно. Предрассветный холод проникал всюду и укреплял сон. Во рту у Сени было горько, а внутри совсем пусто. Город начинал гудеть, и в гуле его казалось: хохочет над Сеней Катина родинка, чтоб обидней стало Насте и грешней ему самому.

XIX. Конец Зарядья.

Сеня перед отъездом заходил к Дудину проститься. Дудинский подвал был темен и дышал всеми раскрытыми кадушками зловонно, как большой гнилой рот. Увидя Семена в солдатском, похудевшего и подтянутого, еще больше захлопотал Дудин по своей мастерской.

— Сноп-то научился колоть? -- резко кинул Дудин и почесал щепкой, которую держал в руке, седой свой затылок.— Ты смотри, человек не сноп! Уж там не промахивайся... Ну-ну! Воюй, воюй... добывай военное отличье: медаль на брюхо... деревяшку к ноге!..

— Прощай, Ермолай Дудин,—сказал Сеня, с тоской глядя на Дудинское мутное оконце. Сеня так и звал его в разговоре: Ермолай Дудин.

Потом Сеня камнем канул в черную пропасть забвенья и войны...

Зарядье к тому времени уже теряло свое прежнее обличье. Ход махового колеса замедлялся. Смрад войны проникнул и сюда. Как-то и дома стали ниже, и люди темней, а орган в Секретовской „Венеции", забравшись на высокий плясовой верх, сломался однажды зимой.

После Сенина отъезда еще унылей стала Настина жизнь. Свадьба ее расстроилась. Комнатка ее слиняла, вещи обернулись глупой своей, ненужной сутью. Настя поднимает с пола недочитанную книжку, пробует читать. Строчки прыгают, меняются местами буквы, не хотят, чтоб их читали. Настя захлопывает книжку и подходит к окну. Небо серо. На улицах снег. На снегу ворошатся воробьи.

Когда после смерти матери убирали угловую комнатушку, нашла Настя под материной кроватью старую свою, обезображенную куклу. Целый день просидела над ней Настя, навила ей целую охапку пегих кудрей, но прежнего очарованья, давней молодости уже не вернуть было кукле. Грустная, с ноющей спиной, Настя подошла к окну: стыли в вечернем морозце апрельские лужи. В доме напротив кто-то переезжал. У ворот стоял воз, нагруженный доверху.

Матрену Симанну оставил Петр Филиппыч до времени жить у себя, в той же угловой комнатушке. Настя идет в угловую. Матрена Симанна сидит на полосатом матрасе,— все, что осталось от материной кровати,— и при входе Насти торопливо прячет что-то за кровать. Возле нее лежат только что купленные вербы.

— Ты не прячь, я видела, — говорит Настя.— Печки надо бы протопить. Сыро у нас. Знобит...

— У папеньки уж затопил Григорий, — приглушенно отвечает Матрена Симанна и, решившись, вынимает из-за кровати черную бутылку.— Мамашенькино место навестить пришла, умница?—робко меняет она разговор.

Настя берет какой-то темный пузырек, оставшийся на столике, вертит его в руках и вдруг, почти кинув его обратно, на столик, трет руки о передничек.

— Что у тебя там?—почти сердито спрашивает она.

— Где, умница?

— В бутылке...

— Мадерка в бутылке,—с унылым страхом сообщает старуха.

— Налей мне!..

Настя отпивает мелкими глотками и оглядывает комнату. Как неузнаваемо переменилась эта комнатушка! Когда девочкой приходила сюда, казалась она покоем непонятной мрачности, усугубленной цветным горением лампад. Полудневной свет, бесстыдно ворвавшийся сюда теперь, обнажил всю ее убогость: оборванные отопревшие от стены обои, нелепый гардероб в углу, похожий на двуспальную кровать, поставленную дыбом.

— Моли у нас много!—жалуется Матрена Симанна, прихлопывая одну в руках.—Вот все морильщика жду, не зайдет ли...

Настя уходит. Мысли приятно кружатся. Она накидывает шерстяной платок и бежит на улицу. Ее путь к Кате.

— ... Можно к тебе?

— Можно, будем чай вместе пить,—с холодком отвечает Катя.

— Нет... Я так посижу, не раздеваясь! — говорит Настя.

— Вот тут тебе письмо Семен прислал... чуть не забыла! Вторую неделю лежит. Он и тебе, и мне по письму прислал...—намекающе смеется Катя, и Настя это замечает.

Настя берет письмо и вскоре уходит.

— Какая ты толстая стала,—говорит она уже в дверях.—Знаешь, ты, если и похудеешь, все равно толстой останешься!..

... Все сильней покрывались будни Зарядья какой-то прочернью. И раньше была в них чернота, но пряталась глубоко, а тут проступила вдруг всюду, словно пятна на зараженном теле. Где-то там, на краю, напрягались последние силы. С багровым лицом, с глазами, расширенными от ужаса и боли в ранах, Россия предстояла врагу. Все еще гудели поля, но уже железная сукровица смерти из незаживляемой раны текла... Только Настя да Дудин ощущали близкий конец. Третий, в ком могла бы столь же неугасимо полыхать тревога, был слишком поглощен собственными печалями.

... метался Зосим Васильич. И как-то, еще летом, надумал искать последнего приюта в монастыре. Даже справки наводил стороной: можно ли, если все семнадцать тысяч, сумму всего Быхаловского жизненного подвига, единовременным вкладом внести, иметь себе пожизненную келью для отдохновенья от жизни, скорби и труда. Но согласиться отдать все семнадцать, значило признаться в своей давнишней, первоначальной ошибке. Сделать это сразу Зосим Васильич не решался...

Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые, ангелы и хряки. Но у всех равно были замедленные, осторожные движенья и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные — мылом,

иные — смесью меди и селедки. Семья Быхаловских запахов в испуге расступалась перед монашьими запахами, неслыханными гостями в Быхаловской щели.

Однажды, в конце октября, сам монастырский казначей пришел, сопровождаемый двумя, меньшими. Был казначей внушителен, как колокол, а шелковая ряса, сама собой пела об радостях горних миров, а руки были пухлы и мягки—гладить по душам пасомых. Весь тот день намеревался провести Зосим Васильич в тихих беседословиях о семнадцати заветных тысячах и о человеческой душе. Спрашивал казначей, обдумал ли Быхалов свое отреченье от тлена. Интересовался также — в бумагах ли у Быхалова все семнадцать или просто так, бумажками... Грозил погибелью низкий казначейский баритон, журчал описаньями покойного райского места.

Гладя себя по волосам, повествовал казначей не слышанное ни разу Быхаловым преданье о Вавиле. Жил Вавило и ел Вавилу блуд. Ушел в обитель, но и туда вошли. Тогда в самом себе, молчащем, заперся Вавило и замкнулся засовом необычайного подвига. Но и туда просочились, и там обгладывали. И вот в одно утро бессонный и очумелый ринулся Вавило на беса и откусил ему хвост. А то не хвост был, а собственный уд...

... и распалилась Быхаловская душа. И уже примерял в воображеньи рясу на себя Зосим Васильич, и уже гулял в ней по монастырскому саду, где клубятся черемухи в девственное небо всеблагой монастырской весны. Там забыть о напрасной жизни, забыть о сыне, сгоревшем от буйственных помыслов, там утихомириться возрастающему бунту Быхаловского сердца.

Было даже удивительно, как неиссякаемо струится из казначея эта сладкая густая скорбь... Как вдруг икнул казначей. Зосим Васильич вздрогнул и украдкой огляделся. Один из меньших монашков зевал, а другой вяло почесывал у себя под ряской, уныло глядя в окно.

— Что... аль блошка завелась? — резко поворотился к нему Быхалов.

— Новичок еще у нас... на послушаньи, — быстро сообразил казначей, строгим взглядом укоряя монашка, покрасневшего до корней волос.—Из таких вот и куем столпы веры!..

— Ну, брат, как тебя ни куй, все равно мощей не выйдет! — сказал резко Быхалов и встал, прислушиваясь.

В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. Настя видела из окна: кошка сидела в подворотне и нюхала старый башмак, лежавший уже три дня в бездействии. Кошка улизнула, а Настя, отбегая от окна, еще успела заметить, как выскочил из ворот ошалелый Дудин, крича что-то, с руками, поднятыми вверх. Она видела: он перебежал переулок и скрылся за углом.

Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. Только у Пролом-

ных ворот наскочил Дудин на какого-то, бежавшего куда-то с креслом от ужаса приходящих времен.

— ... кто? Кто паляет!? — возопил Дудин, пугая кресло какой-то особенно восторженной решимостью лица.

— Ленин к Москве подступил... — прокричало кресло, отшатываясь от Дудина.

— Палят-то отколь?.. — всей грудью закричал Дудин, стараясь перереветь небо.

— ... со Вшивой горы... От Никиты-Мученика! По Кремлю разят...— проверещало кресло и побежало по кривым переулкам вглубь Зарядья, держась стены.

Дудин проскочил в Проломные ворота. По набережной мимо него прошли быстрым и точным шагом юнкера в погонах. А он бежал прямо по мостовой, спотыкаясь и кашляя, прямо туда, за Устьинский, где пушки. Щеки его зашлись от бега синим румянцем, но горели глаза как у побеждающего солдата... Никто его не останавливал, потому что и некому было его остановить.

Вдруг кровь сильно прилила к голове, и в глазах у Дудина помутилось. Он остановился и присел отдышаться на тумбу. Швивая горка стреляла как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой как цепочкой нечастым постукиваньем пулеметов. Начинался Октябрь...

Весь в холодном поту от бега Дудин посмотрел вверх и почему-то вспомнил незнакомца в чайнухе, год назад. Вдруг в груди заклокотало и запершило в горле. Он отхаркнулся и плюнул перед собой. Мокрота показалась ему необычного цвета. Он отплюнул себе в ладонь и, притихнув, напуганно глядел на большие кровяные сгустки, плававшие в мокроте. Глядел он долго и как-то чересчур внимательно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Аннушка Брыкина изменила.

Над огромным, немеряным полем снежное безмолвие висит. Пришел тот вечерний час, когда останавливаются ветры дуть, не находя себе пути в потемках. И впрямь: три леса, плотных и черных, вышли на углы поля, три одинаких, неприступных, как три скалы. Зимние ветры, — сколько их, больших и малых, заплутало безвестно в густых мраках этих лесов, сколько порассеялось снежным прахом, сколько их в мелкие, вьюжные вьюны извелось!

А в сумерки эти ныне падал снег. Не крутясь, не волнисто, а медленно и прямо упадала каждая снежина, будто длинное, снежное протягивалось с неба волокно. На опушке стоять, спиной к ели,—

каждому дано услышать легкое шурстенье проползающей зимы. И, хоть несла каждая снежина кусочек света с собой,—было их много,— густели сумерки, одолевала ночь.

Приглядевшись к темноте, вдруг зашевелился ветер, а уж пошевелясь, разошелся во-всю. Он и над тремя лесами кружит, он и по дороге бежит,—малоезженной, закругленной, словно прочеркнулась взмахом откинутой руки. Да он и без дорог: ветру везде путь. Будет время, будет лето, встанет звонкая рожь по месту снежного безмолвия, — никому и в ум не придет вспомнить, как свирепствовал здесь, в снежной глуши, ветер, хозяин ночного поля. А у хозяина в подслужьи и волк, и мороз, и обманная метельная морока, а порой и самая человеческая суть. Ими правит хозяин, хлещет, как ямщик коней... Они-то и влекут за собой событие ночного зимнего поля.

Аннушка Брыкина Сергея Остифеича Половинкина из Гусаков домой везла. Путь длинный и скучный. Считали бабы от Гусаков двадцать одну версту до села Воры. Бабья верста хоть и не длинная, да по времени и казенной версты длинней: мороз закрепчал, ветер озлился... Колко и резко стало Аннушке глядеть в острую путаницу расходившегося снегового самопляса.

Тут месяц скачливый, непрестанно поспешающий куда-то, прошмыгнул в дымных облаках. Он и глянул мимоходом на ночное поле, о котором речь. Дорога на мгновенье прояснела.

Стали видны Аннушкины сани-ошевни, широкие, полны сеном: спать в нем. Так и есть, — под овчиной и толстой затверделой дерюгой полеживал в сене, укрывшись с головой, сам уполномоченный по хлебным делам четырех волостей, Половинкин. Ему тепло и мягко, укачали ухабы плотное тело Сергея Остифеича, а запахи согретой овчины и сена приятно щекочут ноздри. Они-то и склонили Половинкина в пушистый, овчинный сон.

Мнится Половинкину жаркая сплошная несуразица: не то сенокосная луговина, не то страдное поле. И на поле том — огромной широты — движется баб неисчислимое количество. А зачем они не косами машут, а серпами траву берут, невдомек подумать Половинкину. Да и не до дум тут: влажные запахи повянувших трав совсем с ума свели Сергей-Остифеичеву кровь. Да и сознанье необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: „Каждой травине счет! Каждой травине...“. Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич... Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля.

А, в конце концов, будто и нет совсем баб, а просто ходит по лугу целая тысяча бабьих, безголовых, истовых задов.—Сам Половинкин в соку мужик. Он немолод, да и не стар, и не толст, и не тонок: во всех статьях у него мужская мера соблюдена. Волос у Сереги мягкий, играющий, каштанового цвета, бабий ленок. Лицо хоть и с припухло-

стями, зато взгляд победительный, взмах кнута в нем. Сколько бабь сердец потаяло напрасной мечтой о Сереге!

В своем овчинном сну подкрался Серега к одной да и щипну просто из удовольствия: „Не виляй, мол, баба... Бери траву весел Каждой травине счет!". Баба же обернулась да тырк Серегу в нс Даже и обидеться не успев, чихнул Серега и очнулся.

Сенный стебелек, в нос заскользнув, определил окончанье Пол винкинского сна. Но, не успев еще сообразить толком эту причин вторично чихнул Сергей Остифеич и окончательно спугнул сладку истому дремоты. Потянулся Серега и, овчину пооткинув с лица, выгл нул и вспомнил.

Ночь и сон. Вьюга с присвистом сигает через подорожные кусты Ах да! В Гусаках ссыпной пункт ездил устраивать. Ночь и сон. Ах д Несется в самоплясе снег, а жаркая овчина славно хранит надыша ное тепло. Вздремнул. Холодает, холодает к ночи... Экая темь! Но и сон.

Половинкин ворочает головой. Ветер ударяет в него целой пригорш ней крупных снежин. Они тают и текут по припухшим от сна щека Память работает отчетливей. Теперь путь в Воры... готовиться к лет уламывать мужика, уговаривать, что де и городу нужен хлеб, грозить. А мужик недвижим, что пень, — какое на него уговорное слов сыщешь?

Серега кряхтит от многих неприятных воспоминаний, но преод левает тяготы яви теплое благодушие сна. Ах да, и везет его в Вор Анна Брыкина, та самая, у которой муж затерялся в смертоносн полях. Та самая, у которой и бровь играет, и ноздря играет, и сам вся смехами переливается, как радуга.—Закидывает глаза кверху Сере за собственный лоб. И тут продолженье недавнего жаркого сна. За Аннушки, немилосердно утолщенный полушубком, на мешке, над с мой Серегиной головой сидит. Серега смотрит секунду и кашляет непоколебимой суровостью: вот так же он и по хлебным делам муж ков уговаривает, так же и с начальством говорит.

Только Аннушке и невдомек уполномоченская строгость: свои голова забита. Она дергает вожжи, понукает и чмокает, боясь заснут и вывалиться в рыхлый, разбесившийся снег. А руки стынут и в в режках, а голова склоняется все ниже, пока не коснется подбородо жесткой, промерзлой овчины. И опять помахнет кнутовищем, разгоня застоявшуюся кровь, и опять рванет ошевни рослая Брыкинская к была, не спешащая в нескончаемую, вертящуюся мглу.

— Уж и спать устал! Расчихался...—обернулась Аннушка, хлопа варежками по коленям.

— Едем где?..—вопрошает Сергей Остифеич и глубже нахлобучи вает кожаный картуз. „Вот тоже, в этаком картузе все уши обмор зишь! Не по климату такой. А без него нельзя, боятся картуза!"—О петово-то проехали?

— Да нет, я вѐрхом поехала... Вѐрхом верней. Я там дороги не знаю.

— Верст, небось, десять еще осталось!—хмурится Половинкин.

— Да мы шестнадцать считаем...—смеется Аннушка.

„Э, чорт! Ну и должность. Мотайся тут, ровно дерьмо в проруби!..“—раздумывает Половинкин и пробует забыться.—Ночь и сон. Но сон уже не приходит. Выбирает наощупь соломину и обгрызает ее зубами. Зубы у Половинкина белые, смелые, но двух передних недоставать стало после одного военного дня. Когда гневается Серега, резко свистят через зубную отдушину уполномоченские слова.

— Что же ты теперь, вдова аль как?..—приступает к делу Сергей Остифеич, выплевывая соломину в проползающий снег.

— Не вдова, не девица, не замужняя жена...—Аннушка сердится и резко дергает вожжу.

— Что же это ты так! Ведь этак даже как будто и нехорошо,—выражает сочувствие Сергей Остифеич.

— Совести в нем нету...—говорит Аннушка как бы про себя.—Только и наезжал четыре раза за все года! Зачем и жениться было! А полушалки да платья... К шуту ли они мне! С полушалками, что ли, я жить буду?!

— Только четыре раза?..—просветляется Половинкин.—Вот голова! Меня б коснулось, так я как лист прилип бы да и не отлипал во век!

Аннушка сидит спиной к Сереге, и не видно, хмурится ли, рада ли Серегиной шутке.

— Ой ли?—насмешливо роняет она.

— Ан и в самом деле! Да коснись меня...—Половинкин так вздыхает, что кобыла прядает ушами и покорно убыстряет шаг.

Снова наблюдает Сергей Остифеич, как ползет дорога из-под ошевень. А тут в лесок въехали,—здесь поутих ветер, не хлещет через край. Здесь ходко лошадь бежит, и звуков прибавилось: скрипят полоза, да еще селезенка бьется в лошадином брюхе, да еще осыпается снег с запорошенных ветвей, задеваемых дугою.

Целые охапки снега падают на Аннушку,—не замечает, полна обидой на пропавшего мужа. „Муж! А уж она ли его в думах и в письмах хоть на неделю не призывала! Врала даже, что в брюхе понесла... Хоть на ребеночка льстилась вызвать. Все некогда. Деревянному мужу дороже жены рубль. Ай, много ли ты, Егор Иваныч, в банке накопил?“ Аннушка круто поводит плечом, а кнут свистит злей и пронзительней.

— ...а скучно небось без мужа-то? Молодая, не жила совсем,—зудит Сергей Остифеич, метя как раз в Аннушкину печаль.

— Не тревожь,—обороняется по-бабьи Анна.—Зачем бередишь? Что тебе деревенская далась! У себя, в городу, дюжинками, небось, считаешь.

Чуть не с колыбели знает все прямые и кривые ходы к бабьему сердцу Серега. И уже напрямки идет, нещадно перекручивая ус:

— В городу! Рази у нас в городу такое добро пропадает! У нас строгий учет всему. Каждой травине счет, а уж баба никак не затеряется. Например — я, я б тебя моментально под номер, да и выдал бы герою бы, вот! Рази ж это путно — такой молодке пропадать!?.

Аннушка молчит, дорога длится нескончаемо, Серега продолжает:

— У меня вот тоже знакомая бабочка была, тоже Анна. Мужа у ней убили, высохла вся... Так доска-доской и ходила!..

— Где убили?..—вздрагивает Аннушка, сторожко прислушиваясь.

— Да вот на этой, на царской... Царь покажет, а тысяча мужиков поляжет. Да что—убитому-то хорошо, отвонял и не думается. А вот бабам маята. Я к тому, что ведь и твой, кажется, на войну ушел?

— Взяли... — не своим голосом отвечает Анна. — Может, уж сгнил где!

— И очень возможно,— играет Половинкин. — Ежли, к примеру, летом, так ведь они быстро изводятся. Опять же муха его сосет...

— Зачем ты меня горячишь?.. Я тебе не жена,— смутно лепечет Аннушка.— Спи-лежи, скоро Воры будут.

— Да я разве сказал что? Я молчу, — пожимает плечами Половинкин.— Я только тебя пожалел.

И опять снега идут, снеговой самопляс и путаница. Балуется ветер снегом, пересчитывает, обсушивает каждую снежину, словно готовит впрок.

— Слушь-ко, Анна... отечество-то забыл. Холодно тебе, давай я поправлю. А ты на мое место, грейся!..

— Ну-к ладно...— не сразу соглашается Анна, а голос ее сам собою просит жалости.

Она передает вожжи и меняется местом со своим седоком. Целых три минуты наполнены скрипом снега, оглобель да вязким хлюпаньем лошадиных ног. Снова в лесу, но дорога совпала с путем ветра. Метет и морозит, ночь и сон. Аннушка, залезшая под овчину, вдруг видит: Серега привязал вожжи на боковой тычок ошевень, подтыкает разлохматившееся сено.

— Куда тебе?..— приподнялась Анна.

— Пусти... замерз весь,— отвечал Сергей Остифеич.

На них снег шел. Тянулось поле, а лошадь сама, без понуканий, шла. Были Анна и Серега как будто одной и той же рукой выкованы друг для друга,— оба рослые и сильные. Но вырасти б на Аннушкиной совести черному пятну греха, если бы на рассвете, когда убаюкала их овчина дружным любовным сном, не случилась смешная беда.— На крутых поворотах всегда передуванье снега. Прикатался поворот и на раскате доходил до сажня. На нем покачнулись ошевни и стали на ребро. Небывалое дело: вылетели при этом оба спящих в глубокий снег. И, когда охватило холодом сонную их разгоряченность, засмеялась Аннушка, засмеялся вслед за ней и Половинкин. А там, где смех веселый и беспорочный, там нет греха, а только биенье ключа жизни.

— Что ж ты меня, баба, вытряхнула!— скалил дырку в передних зубах Половинкин.

— Сам, грешник, виноват!— смеялась Аннушка и заботливей укрывала Серегины ноги дерюжкой...

Не чуяла Анна греха в том, что променяла кволого, может, и мертвого, на живого и здорового мужика. Любовь их на лад шла, даже как-то слишком скоро свыклась Анна с положением невенчанной жены чужого мужа. А уж село стало примечать, что зацвела второй любовью Анна. Но в глаза соседкам смотрела Анна без робости, не скрывала от осудительного взгляда растущего своего живота. Заметили также, что, и не потакая вредным стремленьям мужика к утайке хлеба, стал Сергей Остифеич к Брыкинскому дому ласковей. Он и в дом к Брыкиным заходил. А однажды обозвал Аннушкину свекровь „мамашей". Ничего та не ответила, только пуще загрохала ухватами, доставая кашу из печи.

Но по мере того, как возрастал Аннин живот и уходила зима, все больше угрюмилась Анна. Весна борола зиму, и уже выглядывал из Брыкинской скворешни домовитый черноголовый скворец, днем — носивший к себе разный пушистый сор, вечерами — свиристевший о многих веселых разностях: о весне, о тающем снеге и о прочей птичьей ерунде.

Весенними вечерами сидела Аннушка на крыльце, неживым, запавшим взглядом глядела на раннюю прозелень деревенского лужка, на крылечный облупившийся столбец, на многие окрестные места, окутанные вешним паром, на безымянную букашку, проснувшуюся для ползанья по земле. И лицо у Аннушки было такое, какое на иконах матерям пишут: грустное, полное тайны, суровое.

Воздухи, сырые, густые, тяжелые, были полны неумолчного гуденья от прорастающих трав в тот день, когда всплакнула Аннушка, сидя на крыльце. Уехал в объезд по волостям Сергей Остифеич, а разве дано невенчанной право не пускать любимого в дальние пути? Да тут еще ребенок придет, немоленый, незваный. Да тут еще муж придет, убитый, из сердца выгнанный давно. Аннушке ли, в которой упрямая Бабинцовская кровь, нелюбимого мужа умаливать, чтоб приблудного ребенка за своего признал?..

Свекровь в дверь вышла, поправила повойник, рябенький как курочка, жгучим взглядом заглянула в Аннино лицо. Увидела, как растерянными пальцами перебирает Анна бахромку сносившейся ватной кофты, догадалась, и усмешка явилась на ее неумолимые сухие губы:

— Иди... Ужинать пора.

Промолчала Анна.

— На котором времени ходишь-то? — шопотом спросила свекровь.

— Пятым.

Аннушка встала и вдруг потянуло ее к зевоте. Она зевнула во всю широту своей здоровой груди, во всю сласть приходящей весны, и за себя, и за ребенка. Устало от постоянной печали сильное Аннушкино тело.

II. Возвращение в Воры.

...Не горячие ли Аннушкины слезы послужили причиной безвременного таянья снегов? Все зимнее заспешило уходить. И была одна расхлябанная пора: плакала земля ручьями, а дороги плыли вешними водами.

Уже тетерева играли по утрам, но вдруг переменилась погода. На Гарасима-грачовника мокрым дрянным снежком помело, а к утру приударило морозцем. Одно лихо другого злей: озимь, жалостно вымокавшую в низинках, заволокло в ту ночь хрусткой ледянкой. Стало скучно глядеть на озими, на желтые проплешины в синих бархатах вымокающих полей.

Начал ветер разгонять хляби, но все еще не умело солнце пробраться к земле. Земля всходила как на дрожжах и рассыпалась на ладони душистыми теплыми комьями. Пошел обильный пар. Он-то и завесил небо быстрым рваным облачьем. А тут еще дождички четыре дня шли. После них дикие сквозняки ринулись, сломя голову, обсушивать поля,—весна.

В один такой неласковый, тягостный день пришел к Ворам по обсохшей дороге простой, неизвестный солдат. Совсем у него глаза провалились во внутрь и были таковы, как будто видит ими страшное, бессменно—день и ночь. Болталась за спиной у него пустая солдатская сума, а на голове сидела собачья шапка, похожая на вымокшего зябнущего зверка.

Видно было, что незамеченным хотел пройти. На виду у прохожих прикидывался хромым, подшибленным, а ночевал по-бродяжьи, где попало: на убогом задворке у крайне-деревенца, в развалившейся риге, сколоченной из одних щелей. А попадался по дороге случайный сена зарод—и там путешествующему солдату место. Приходил незваным гостем, не сказывался, уходил — некого было благодарить.

В Сускии пришлось ему хлебца под окошком просить, — глаз закрыл повязкой, а лицо скривил без милости, чтоб не признали земляка. Так он и шел, стыдясь и имени своего, и званья, воровским обычаем, голодный и пустой, как сума его.

Вот он свернул с дороги, прошел мимо полуразрушенных барских служб, через вырубленную рощицу и еще лесок, обтянутый как бы зеленой кисеей, и вышел на опушку. Здесь был обрыв. Он зарос можжухой, а за ним распространялась уже знакомая солдату ширь. Стоял он тут долго, прежде чем догадался присесть на разостланную суму. Он снял с себя шапку, обнажая холодному дыханью апреля

стриженую свою голову. Дрожь охватила его, и зазнобило ноги. Он вобрал в себя воздуху, вязкого и тучного как сама земля, и стал глядеть.

Родимого села обширное поле лежало под ним на виду. В далеком низу, окаймленном отовсюду сине-бурыми полосками лесов, поднялось нагорье, главенствуя над всеми окружными местами. И нагорье это облепили избенки, как пчелки пенек, выдавшийся из полой воды. Они карабкались по склонам нагорья, чудесным образом повисая на скатах, они отбегали почти к самой речке, круто сломленной здесь пологим мысом холма. Дымки шли, свидетельствуя о жизни, а солдату показалось даже, что и воздух отливал этим горьким домовитым дымком. То и были Воры — село, давшее жизнь солдату, самая родная точка на земле.

„Ах, Воры-Воры, мать, воровская милая земля! Все, что было, все прах и сон, а ты единственная явь, незыблемо стоящая от века. Приедаются видно твои, необъемлемые умом, пространства, — выехал из тебя твой сын в городскую тесноту. На Толкучем ларь купил, и на том квадратном аршине пробесновался целые годы, силу свою выбесновал в круглую золотую выгоду. Было время—наезжал Егор Иваныч с бубенцами и тем чванливо хвастался, что мать свою накрепко забыл! А вот исчезла выгода, а рубли, как в забытой сказке, бараньими орешками обернулись вдруг. Обжевал тебя город, нутро вынул, трухой доложил, дал за верное подслужье тебе старую, вшивого цвета шинель:—гуляй в ней, Егор, позабывший о матери!.. А мать не оттолкнет. Мать примет сына, каким бы ни вернулся: множься, Егорушко, нет на тебе против матери твоей греха!..“

Долго глядел с такими думами Егор Брыкин на родные места. Вдруг слезы нахлынули, хотел бороться с ними и не совладал. Он вывернул карман, надеясь закурить. Ничего в кармане не было, кроме мелкого махорочного сора, смешанного с хлебными крохами. Он вытряс карманный сор на ладошку и швырнул на ветер. Ветер подхватил и понес вниз. Егор проследил полет их, и вдруг жадная зависть охватила его. Отщипнув былинку молодого щавеля, стал жевать.

Мужики с сохами копошились на всей широте поля. Било их босые ноги апрельским сквозняком, а домотканные порты, раздутые ветром, стояли как бревна. Много ли оставалось до одуванчикова цвета, а там и сеять. Надо было, чтоб скорей расцветилась зеленями мужицкая полоса, ныне густого цвета березовой губы,— темная.

По стародавней привычке, попахав вдосталь, собирались мужики на межах потолковать и покурить, покуда обсушивал ветер взопревших лошадей. Они присаживались на что попало, наслаждаясь буйностью первовесеннего месяца, стряхивая с себя оцепененье долгих и душных зимних ночей.

В ту минуту, когда Егор Иваныч с горы спускался, отдыхали трое на ближней стежке,— двое — балуясь махорочным дымком, третий—

просто так отдыхал. Он-то, Савелий Поротый, и заметил прежде других неизвестного солдата.

— Человек идет! — возгласил он, на самом любопытном месте обрывая рассказ о былой своей службе.

Гарасим - шорник, чернобородый и нестареющий — напоминанье о ловком цыгане, проезжавшем через Воры сорок семь лет назад, — поплевал на черные свои пальцы, обжигаемые тлеющим окурком и воззрился на бредущего к ним солдата.

— Да,— в который уже раз рассказывал Савелий.— Как в девяносто первом году чествовали нас в Варшаве обедом... и я тогда в Пажеском корпусе состоял, в денщиках...

— Не велико званье,— заметил Евграф Петрович Подпрятов.

— Не в звании дело! — взмахнул Савелий рукой и вновь откинул ее за спину. — Званье — это никакого влиянья не оказывает! А лестно при человеке состоять. У него, по-нашему сказать, почетница ровно барыня шумит, а он ее почем зря кроет, явственный факт! Вино вот у них можно сказать что слабительное, не крепкое одним словом, но надпись не по-нашему...

— Ну, а насчет обеда-то как же? — вывел Савелья на прямую дорогу рассказа Гарасим, сидевший на земле.

— Обед? Вот-те и обед. Одной посуды что перебили! Там у нас один князь с Кавказа был, очень такой... ну, одним словом, Носоватова моего он потом и прихлопнул. Так он, как блюдо, скажем, отъест, сейчас хлобысь тарелку о пол... Высокий человек!

— Ох-ты, мать твоя курица, — захохотал Евграф Подпрятов, человек богомольный, со словом осторожный, восхитясь Савельевым рассказом. Даже кривой глаз его усмехнулся.

— Да-а... — продолжал Савелий. — Вот мой Носоватов-князь подходит и говорит мне полным голосом: выпьем говорит, за меньшую братию...

Тут как раз и подошел неизвестный солдат.

— Здорово, мужички, — сказал он, глядя исподлобья.

Гарасим косым взглядом обмерил солдатские отрепья, словно в памяти своей подобие такому же отыскивал. Не нашел и сказал:

— Здорово, сума. Правь мимо!

— Как же ты, дядя Гарасим, — оскорбленно спросил солдат, — ужли не признаешь? А на свадьбе за моим столом одного вина, небось, рубля на три выхлестал... Да еще и взаймы брал!

— Не признаю. Голос знакомый, а признать не могу, — прогудел недовольно Гарасим и поглядел на лица собеседников, точно в них надеялся прочесть солдатово имя.

— Егор Иваныч! — визгнул вдруг Савелий и с чрезвычайной поспешностью протянул солдату руку. — Отколе ходишь? Вот уж и не думали, что вернешься! Аннушка-те... — он сорвался и беспомощно почмокал губами.

— А что Аннушка?..—насторожился Брыкин.

— Да все ничего... Одним словом поживает!—в каком-то оцепененьи выпалил Савелий.

— Издалека идем!—торжественно начал Брыкин.—Денику отражал, да. А вот надоело.—Брыкин воровато подмигнул Гарасиму, но тот не ответил.—Как вам сказать, друзьишки, на двух фронтах помирал! Да ведь солдатскую заслугу разве кто в теперичное время оценит? Как переганивали нас в теплушках, разнылось у меня внутри... Что ж это такое, думаю, людей на мочало лущат! Не могу, да и вся тут. Не хватает моих сил!

— На что не хватает?..—тихонько спросил Евграф Подпрятов.

— Жить по чужим указкам не могу,—прошипел Брыкин в ответ.— Не живой я разве, чтоб на мне землю пахать! В нонечное время покойнику втрое больше почета, чем живому...— Егор Иваныч махал руками и кричал.

Гарасим, в ответ на это, только кашлянул и пошел, не оборачиваясь, к сохе.

— Ты б уж лучше назад шел, а?—сухо намекнул Подпрятов, почесывая здоровый глаз.—Сказывано, строгости будут...

— Насчет чего строгости?—встрепенулся, как угорь, Егор Брыкин.

— Это он говорит, насчет дезертиров у нас плохо,—неожиданно тонким голосом объяснил Савелий.—Эвон, Барыков-те с братом тоже недозволен-но вернулись. Зашпыняли их совсем свои же, зачем не убит, не поранен воротился. Уходи, говорят, из-за тебя и нам влетит! Ноне в лесах весь ихний выводок...

— Ты мне не накручивай,—мрачно оборвал Егор Иваныч, но все лицо его померкло.—Ты уж не меня ли за недозволенного принял? Да у меня, может, такой мандат есть, что вот съем всех вас и безо всяких объяснений!—и Брыкин тяжело и фальшиво захохотал.—Вон она, пуля-то... в себе ношу!—и со странной быстротой, задрав до локтя рукав шинели, протянул грязную правую руку Савелью.

— На... щупай!

Савелий, опешив, боязливо коснулся пальцем того места, куда указывал Брыкин.

— Да,—поспешно согласился он.—Явственный факт... сидит!

— То-то и оно!—взорвался Брыкин.—Я грудью Денику отшибал! На, гляди...—он распахнул шинель, сидевшую прямо на голом теле.—А пулька-то, вон она!!—и с лихорадочной горячностью он хлопнул себя уже не по правой, а по левой руке.

Савелий заметил и опустил голову. Начинался дождик.

— Ну, пойду, пожалуй! Застоялась кобылка-те,—решился вдруг Савелий, кивая на западный угол неба, откуда ветер и где кружила большая черная птица.

— Дома-то все благополучно у нас?..—остановил его Брыкин. Недавнего оживленья его как не бывало.

— Дом стоит... ничего себе... дом...—отвечал Савелий. — Дом как дом. Большой дом большого хозяина требует. Тимофевна сказывала, венец подгнил да крыша стала течь. А так дом как дом. Придешь — починишь.

— Я про жену спрашиваю...—терпеливо ждал Егор.

— Вот ты говоришь, жена-а! А кто чужой жене судья? Рази ты можешь мою жену судить? А я, может, не хочу, чтоб ты мою жену судил. Я сам моей жене хозяин! — и Савелий торопливо пошел прочь.

Брыкин тоже пошел дальше. Но чем ближе подходил к селу, тем более слабела воля, такая сильная, когда из теплушки ускользал. Он ускорил шаг, на последнем заулке чуть не сбил с ног Фетинью, бабу злую, разговорчивую. Пес у Брыкинского дома не полаял. „Сдох", решил про него Егор Иваныч. Всходя на крыльцо, вздрогнул, когда половица скрипнула под ним. На крыльце остановился и окинул все привычно хозяйским взглядом.

Большой упадок проступал отовсюду наружу. Грязно было. И лавка, собственноручно крашеная Брыкиным в цвет небесной лазури, была сильно порублена. „Корм свиньям рубили. Эк, бесхозяйственно!"— осудил Егор Иваныч, скользя угрюмым взором дальше. Показалось, что нарочно кто-то, злонравный, надругался над красотою Брыкинского крыльца. В хвастливых, синих и розовых завитках резьбы не доставало целых кусков, местами облупилась краска...

Егор Иваныч перегнулся в палисадник и увидел в луже большой осколок резьбы, совсем уже почернелый, выбитый, быть может, год назад. Озлясь, закусив губу, в порыве хозяйственной заботливости, он обежал крыльцо, вынул осколок из воды и торопливо стал прилаживать его в выбоину. Уже не боялся, что кто-нибудь увидит его. Кусок разбух от воды и не входил в гнездо.

Брыкин скинул суму свою на крыльцо и так увлекся делом, что когда не достало ему молотка, он своеобычно вбежал в сени... Здесь он и встретил Аннушку. Большая и усталая, как-то привычно-страдальчески выпятив живот, она шла с подойником в руках прямо на мужа. Увидев, она выставила руки вперед и так стояла, расширя обесцвеченные беременностью глаза.

— Молоток-то где у нас?—нетерпеливо спросил Брыкин и вдруг заметил какую-то незнакомую доселе несуразность в Анниной фигуре.

Они стояли молча друг перед другом, — она — пахнущая теплым, коровьим,— он—оглушенный, блуждающий среди догадок, одна другой злее.

— Вот как! — сказал с открытым ртом Егор Иваныч и как-то зловеще снял с себя шапку. — Ну-к, в избу тогда пойдем. Там и разговор будет...

Она пошла впереди, незащищенная с тыла ничем, покорная и сжавшаяся. Войдя, она поставила подойник на лавку и так же, не оборачиваясь, сделала четыре шага вперед. Там она прислонилась к печке и закрыла руками лицо, так что выглядывал сквозь пальцы только один круглый ее глаз, — готовая ко всему.

— Мать где?.. — спросил Егор Иваныч, стоя у двери и блуждая сощуренными глазами, точно выбирал что-то, пригодное руке. Вдруг он быстро пригнулся и выхватил из-под лавки круглое, тонкое полено и опять стоял, неподвижный, маленький, сухоростый, вымеривающий время женину брюху.

— Приступленье закона! — звонко сказал он и, словно толкнуло его, сделал шаг вперед, отводя полено за спину.

Аннушка все молчала, приковавшись взором к полену в мужниной руке. Когда полено скрылось за спиной, она точно сразу на голову выросла и лицо ее как бы распахнулось под сильным порывом ветра.

— Не дамся!!. — глухо, со стиснутыми зубами закричала она. — Не дамся тебе! Это ты сам неплодный, холощеный... Меня корил, что у бабы брюхо пустует. А я вон какая! Гляди, вон я какая!! Ребеночка теперь рожу... На!.. — и наступала на него, брюхом вперед, смеясь, беснуясь и плача, большая и страшная.

— ... ну-ну, утихни! — бормотал оторопелый Брыкин. — Что ты кричишь! Ну, зачем ты кричишь?

Он в замешательстве сел на лавку, губы его дрожали, и сам он весь дрожал, и полено дрожало у него в руке. Он был несравнимо жалок своим голым телом, видневшимся из-под шинели. Возражений на Аннушкин выпад в нем не находилось.

— Люди-то знают? — спросил он, кусая ноготь и глядя на косяк стола.

— Брюхо-те? — со злобой откликнулась Анна. — А как же не видать. Ты меня брал — барыней обещал сделать!.. Хороша барыня! Кобыла — и та барыня! Батрачкой меня сделал... Как же людям не видать, ведь не слепые. Весь день на глазах у них!.. — она всхлипывала в промежутках крика и слез не вытирала. — Зачем ты меня заманил, зачем? Ну, показывай, что принес... чего наслужил там, показывай!

Но Егор Иваныч уже отступал по всей линии. Все его рассужденья о жизни, о незыблемом счастьи, о семье и человеческом достоинстве были смяты Аннушкиным гневом раз и навсегда.

— Ну, что же, — вздохнул он, потерянно вдавливая пальцы в щеки себе. — Все, значит, напрасно... Сам себя обворовывал, а так Егоркой Тарары и остался... Тарары! — засмеялся он. — Все в тарары и просыпалось!..

— Шинель-то хоть сыми... — нечаянно пожалела его Аннушка.

Но он повернулся и вышел на крыльцо. Здесь он постоял с полминуты, осунувшийся до потери сходства с самим собою. Потом подошел в угол крыльца и смаху, коротким, злым ударом сапога ударил

в деревянную резьбу крылечной стенки. Кусок резьбы, слабо хрустнув, вылетел наружу. Егор Иваныч перегнулся через край и с яростным удовлетворением смотрел, как, упав в лужу, заволакивалась резная завитушка серой, взбаламученной грязью.

— Ух-ты! — пуще взъярился Егор Иваныч и, уже не помня себя, бил тем же березовым поленом по резьбе. — А-а, розовая?.. — сквернословил он и остервенело уничтожал то, на что когда-то ушел целиком весь восторг небольшой его души.

Может быть, и от всего дома оставил бы Егор Брыкин только кучку деревянной трухи, самому себе на посмеянье, если б не остановила его новая встреча. Мать бежала к крыльцу по глубоким деревенским грязям, спотыкаясь и скользя.

— Чего-ты, мошенник, чужое-те крыльцо сапожищами лупишь! — кричала издали мать. Он повернулся к ней, но все еще она его не узнавала. — Я-т тебе, вшивому... — она не докричала, пораженная бессмысленно-стеклянным взором сына. — Егорушка, голубеночек, ужли-ж ты жив?..

— ...и березу подрубят, так она жива... — надрывно вырвалось у Егора, стоявшего перед матерью с голой грудью.

— Поесть-то нашел себе, голубеночек?..

И, повинуясь властной материной ласке, Егор Иваныч заплакал, тут же, сидя с ней вместе на ступеньке крыльца, обо всем, что было в молодости пущено прахом. Мать тоже плакала, о том, что до лихой солдатской ямки докатилось сыновнее яблочко. Об Аннушке они не сказали ни слова, но оба думали о ней...

Пасмурный день тот гудел. Трепались в ветровом потоке голые сучья, оседал снег. На галерейке Сигнибедовского амбара, свесив босые ноги вниз, сидела Марфуша-Дубовый-Язык, известная на всю волостную округу полудурка, и пела негромко и тягуче, в тон ветру. Всю свою дурью жизнь провела Марфуша в глупых мечтаньях о несбыточном женихе. Ее и дразнили и гнали за это, а она сама слагала ему песни, неразборчивые и темные как глухонемая речь. Она и пела их нескончаемо, на ветер, приткнувшись где-нибудь на юру. — Так и теперь: высоко подоткнув грязный подол холстинной, грубой юбки, сорокалетняя и растрепанная, она болтала ногами и гнусила что-то, понятное ей одной.

— Мешок-те твой, что ли? — тихо спросила мать, подбирая со ступенек Егорову суму.

— Мой... — Егор Иваныч с тоской выглянул на Сигнибедовский амбар, где Марфушка. — Что-й-то гнусит-то она, ровно отпевает кого... — пожаловался Егор Иваныч.

— Да ведь как!.. — вздохнула мать и морщинистой ладонью вытерла себе лицо. — Глупому всегда песня...

III. История Зинкина луга.

Завязался узел спора накрепко, и ни острая чиновная башка, ни тупая урядницкая шашка не могли его одолеть. Шли от узла толстые, витые, перепутанные корешки. Шли в спокойную глубь давнего времени, в людей, в кровь их, в слово их, в обычай их, в каждую травину, из-за которой спор.

Давно, в то смешное, леновое время, когда еще и второй Александр на Россию не садился, обитал, богатейший помещик в этом краю, Иван Андреич Свинулин. Был Иван Андреич этакий огурец с усами, сердитый и внушительный. Было в его лице по немногу ото всех зверей.

Владал он наследственно и безответственно обширными угодьями‹ лесами, прудами, лугами, деревнями и пустошами и всем тем, что водилось в них: и зайцами и волками, и комарами и мужиками, и водяными блохами. Жил Свинулин сытно, привольно и громко; зайцев и волков собаками травил, комарей просто руками, до водяных блох никакого оброчного дела ему не было, мужики же ему пахали землю.

С самой юности бороли барина Свинулина страсти. После женитьбы выводил тюльпаны самых неестественных, кудрявых сортов. После смерти жены, стареющему, приспичили бабы и голуби. И долго рассказывали деды внукам, как, на крыше, в одном белье сидя, видный на всю округу, махал Иван Андреич шестом с навязанной на него бабьей новиной... Под конец жизни приступила к Ивану Андреичу страсть редкостная и пагубная—гусиные бои.

В начале зим созывал гостей со своего уезда Свинулин, и приезжали гости с домочадцами, собачками, попугаями, дурами, гайдуками и, конечно, гусаками, потому что и на соседей перекинулась гусиная зараза. В Николин день рассаживалась гостиная публика по сторонам большого деревянного круга, сделанного наподобие обыкновенного сита, с тою только разницей, что были стенки сита простеганы ватой и обшиты красным бархатом. Гусак птица нервная, твердого места при бое не выносит, от твердого места рассеивается и теряет злость, вследствие чего и получается меньшая красота боя. До этого путем собственного ума и долгого опыта дошел Свинулин.

Как-то раз приехал на Никольские бои соседний помещик, человечек, похожий как бы на лемура, с той еще особенностью, что чудилось, будто у него под подбородком дырка, и оттуда борода круглым торчком — человечек некрупный, но занозистый, одним словом — Эпафродит Иваныч Титкин. Друг дружку не взлюбили с первого взгляда Свинулин и Титкин, но вида не показывали. — Шел бой своим чередом. Всех приезжих гусаков вот уже три года побивал, играючи, на первом же круге, хозяйнов знаменитый гусак, наполитанский боец, Нерон. Птица — замечательная, почти вся голая, плоскоголовая, чистоклювная, в весе не уступала и тулузскому, а по красоте шейного выгиба только

с лебедем и сравнить. Глаз у Нерона был особенной бирюзовой яркости, а если принять во вниманье, что количество злостности в гусаке определяют знатоки как раз по голубизне глаза, легко догадаться, что был Нерон пылок, как целый батальон становых.

В самом конце боя привстал тихонько Эпафродит Иваныч и сказал посреди всеобщей тишины:

— Виноват. Не дозволите ли вы теперь, Иван Андреич, моего гусачка к вашему подпустить. Гусачек мой имеет китайскую породу бойцовую. Богдыханы таких выводят трудами всей жизни, чем и прославлены. Очень любопытно, как Нерон с ним расправится.

Иван Андреич подусники себе расправил и одобрительно засмеялся. Особенностью Ивана Андреича было говорить одними согласными:

— Пжалст, — говорит. — Сделт эдлжение, Пфродит Ванч! Как вшему щлкперу прзванье?

— А прозванье моему щелкоперу Сифунли... пушистенький, в первый год два фунта перьев одних дал, да пуху полфунта...

— Что ж ты его, щипваешь? — загудел Свинулин. — Пдушки нбиваешь?

— Нет... а это я только так, из интересу к породе!

На другой день, после ранней обеденки, и увидели гости китайца Сифунли. Тоже полу-лебедь, светлосерый с прочернью, — темно-бурые полоски украшали ему тыльную часть. Голос имел Сифунли грубый, — мяса на Сифунли не так уж значительно, зато на носу черная шишка размером небольшого яблока. В яблоке этом и находилось средоточие гусиной ярости. Но, что сразу же отметили все присутствующие, позвоночник у Сифунли были еле приметно искривлен, в виде буквы S. Эпафродит Иваныч гусаковых качеств не утаивал и с веселой готовностью сообщил, что это нарочно так богдыханы делают, чтоб придать разнообразие бойцовскому удару, — один в упор, а другой как бы и плашмя.

Нерон, выпущенный к Сифунли, очень ерепенился, глядел на урода с насмешкой, — по крайней мере одна мелкопоместная утверждала, якобы видела, как усмешка пробежала поперек гусиного лица. Китайский же противник его даже как будто зевал со всей китайской спесью, выражая этим неохоту свою состязаться со Свинулинским франтом. Бой начался. Оба огромные, они сходились как две тучи. Целых два часа, считая перерывы, длился бой. Китаец сердился, а Нерон с ним шутил, клевал его и справа и слева, и даже, перескочив на другую сторону, клюнул ему в совсем непредвиденное место.

На такое глядя, гости замолкли. Только Свинулин и Титкин, сидя рядом, синели от приступов хохота, подъелдыкивая друг друга.

— Что эт-ты крхтишь, Пфродит Ванч?

— А это я кашель, извините, задерживаю!..

В это самое время Сифунли налез на Нерона вплотную на средине сита и ударил его семью мелкими ударами. Нерон упал замертво. Его унесли чуть всего не переломанного, негодного даже к столу. На могиле его впоследствии посажен был тюльпан Свинулинской выводки, очень похожий на покойного Нерона.

Иван Андреич стал страдать от тоски по Нероне и однажды унизился до того, что собственнолично поехал к Титкину за Мочиловку, на его непутные бугры. Там он предложил купить китайского гусака, хотя бы и за большие деньги, хотя бы и серебром.

— Стрдаю...— вздохнул Свинулин.

— Живот пучит?..— ехидно переспросил Титкин.

— Нет, от Нерона. Прдай китайца!

Титкин засуетился:

— Для соседа — в сражение готов итти! — вскричал он и помахал ладонью.— А гусачек у самого у меня гвоздем в сердце сидит... Глазунью из китайских яиц могу сделать, очень, знаете, стихийно выйдет, то-есть вкусно! А продать не могу...

— Прдай, Пфродит,— молил Свинулин.

— Не могу-с. А вот оборотец один могу предложить!

— Гври,— просипел Свинулин.

Титкин погладил Свинулинское колено.

— Голикову пустошь нужно мне заселить, а мужичков у меня нету. Не дадите ли мне сотенку на вывод, а я вам за это Сифунли с тремя Сифунлихами на собственных руках предоставлю! Пользуйтесь тогда хоть пареным, хоть жареным, хоть живьем...

Свинулин только посвистел, но уже за порог не мог выступить без Сифунли. Кстати: у Свинулина мужик водился в тысячах, зажиточный и плодовитый. При подобной игре сердца сотня мужиков была Свинулину не расчет. Завтра же разделил Иван Андреич село Архангел пополам и половину, разоренную, ревущую, послал к барину Титкину заселять Голикову пустошь.

Иван Андреич, будучи человеком высочайших чувств, чтил Сифунли как живого человека, содержа в гусиной роскоши. Через год, на Никольские же бои, привезла та, мелкопоместная, простого арзамасского гусачка-белячка, с обыкновенными оранжевыми плюснами. Захватила с собой барыня не сильного, но и не слабого, чтоб вдоволь поиздевался над ним Сифунли, прежде чем лишить жизни. Этим хотела она подольститься к Свинулину, через посредство обширных связей которого положила она устроить карьеру сына своего, Петюши. На второй день боев выступил Сифунли против захудалого арзамасца и поплыл на него, стоящего в недоумении, как огромный, затейливый корабль. Сифунли зашипел, расправил крылья, а Свинулин даже пошутил:

— Меня, дрнь, пердрзнивает!..

Только когда уж некуда стало арзамасцу отступать, взъершился арзамасец, выкинул шею вперед, да клювом попридержав китайца за

шишку, хватил его наотмашь и всторчь тяжелым своим крылом. Барыня, владелица арзамасца, закричала и повалилась на пол, подражая в этом Сифунли, убитому наповал. Свинулин стал после того чахнуть и умер в одногодье.

Особых вредов от его смерти никому не случилось, а сынок на отцовских похоронах даже потирал руки и прищелкивал языком. Поминки по отце справлял он Сифунлихами. Но не в Свинулине и не в Сифунлихах тут дело.

Титкинские земли, а следовательно, и Голикова пустошь примыкали с востока к владеньям Свинулина, именно — к огромному Свинулинскому лугу, назывался луг — Зинкин луг. Граница между владеньями шла по Мочиловке реке. После шестьдесят первого года весь тот луг отошел к селу Архангел, ибо было такое стремление — наделять мужиков из помещичьих земель. Проданные же Титкину получили и Титкинские земли: кувырки да бугры да овраги, перелесицы да жидкие, нежилые места. От Зинкина же луга не получили Титкинские ни вершка, хоть и лежал луг всего в полуторых верстах от их села, прямо под окнами. Выходила явная несправедливость, потуже затянулся Свинулинский узелок.

Тут как-то, лет через десять после освобожденья, послали Титкинские мужики к бывшим Свинулинским людей с ходатайством: не отдадут ли миро́м хотя бы третинку заветного луга, хотя бы и не даром. На Свинулинских даже смехота напала:

— Нет, — говорят, — не дадим. Вы — Титкинские. На Титкинских землях. Не видать вам Зинкина луга!

Посланные люди говорили сперва со смирением:

— Нехорошо, землячки. Из одного села, из Архангела, повелись мы с вами. Не наша воля, а злая барская, что выкинули нас на комариные пустоша. Уступите хоть пустяковинку. От нас всего полторы версты, а от вас пятнадцать цельных! У вас земельных статей уйма, а мы на Титкинских ровно на пятаке живем.

Свинулинцы свое ладили:

— Не просите, не дадим. Нам чужого добра не нужно, а свое крепко держим. И слез не лейте. Ваша слеза тонкая, нашего крепкого слова не подмоет. Мы и сами, эвона, лесами-то что бородой обросли. Ишь лезут! — и махнули рукой на леса. — Там, на лугу, и теперь-то всего триста пятьдесят десятин, укос самый незначительный. А лет через двадцать и совсем будет кажному едоку по три раза косой махнуть.

Обиделись посланцы:

— Что ж вы нас покосов наших лишаете. Все равно что воровское ваше дело. Мы вас ворами будем звать. Воры вы и есть!

А тем хоть бы что:

— А вы — гусаки. Вас барин на гусака выменял. Гусаки вы, хр-бр-гр...

Так разделился Архангел на Гусаков и Воров. А тут перепись подошла, закрепились прозванья сел в больших царских книгах, привыкли и смирились мужики, стали: одни — Гусаки, другие — Воры. На прозванья смирились, но не в луговой тяжбе. Возник спор, и спор родил злобу, а из злобы и увечья и смертные случаи вытекали, потому что и до кос неоднократно доходило дело.

А был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид: небо. Обтекала его Мочиловка, непересыхающая, родниковая, питающаяся из дальних, за Ворами, болот. Место поемное, а над ним солнце ходит знойкое и неистовое. Отсюда в покосы бывает на Зинкином лугу дикая от цветов пестрота, слабому глазу глядеть нестерпимо. Мутит голову парное цветочное дыханье, слабого может даже и убить. А на том берегу, на высоком Мочиловском бугру, сидели Гусаки и зарились на уворованную землю.

Стали судиться Гусаки, послали несчетно бумаг. Да терялись где-то в зеленом сукне слезные Гусаковские прошенья. Воры же, едва про Гусаковские бумаги проведали, тотчас наняли прохожего сутягу, и тот им настряпал целую кучу таких же. Их и послали в противовес. Врут-де Гусаки, нет в Зинкином лугу пятисот пятидесяти, а всего триста пятьдесят. А это черная зависть их 350 до 550 возвела. Даже приложена была просьба, чтоб наказали господа судьи непокорных Гусаков за злость и ябеду и за беспричинное тормошенье высших властей.

Нырнула Воровская бумага в зеленое сукно, там и заглохла. А уж время прошло. Деды, которые дело затеяли, уж и померли, и травка на их могилках извелась вся. А писали Гусаки и Воры каждый год по бумаге. Не было выхода из тяжбы, как из горящего дома. Стало от бумаг припухать зеленое сукно... Кстати подошло: в те времена, когда третий Александр государил, выискался человек незанятый. Он бумаги вынул, дело обмозговал и рассудил так: послать на Зинкин луг двух землемеров из губернии, чтоб обмерили и дознались, которая сторона врет.

Приехали землемеры, поставили вехи и приборы свои по линиям Зинкина луга, стали записывать. Записав, принялись клинья рулеткой обмеривать и колышки забивать. Маленькие Гусаковские ребятишки, четверо, в Мочиловке купались. Один, самый голопузый, заглянул в трубу — понравилось, потому что все вверх ногами стоит. Насмотревшись, спросил у землемера, который ему в трубу дал глядеть:

— А это что?..

— А это рулетка называется.

— А она долго у тебя, дяденька?..

— Рулетка-то? — засмеялся землемер. — Надолго, малец, надолго.

— А до Таисина дома хватит? — спросил мальчишка, обсасывая палец.

— И до Таисина хватит... — рассеянно согласился землемер, записывая в книжку.

Помчались шустрые ребятишки, как четыре развых ветра, наперегонки, рассказать матерям, какая у дяденек длинная железная веревка, — они ею луг меряют, и еще труба, в которой все наоборот стоит. Матери сказали отцам-Гусакам, а Гусаки тут же порешили не допускать обмера.

— Не допустим! — кричал слепой старый дед Шафран, стуча костылем оземь. Звали его Шафраном за медовый цвет плеши. — Земля не ситец, ее мерять нечего. Они, может, тыщу намеряют, а на нас штраф за враку наложат. А намерят меньше, так и совсем ничего нам не останется, кроме как речка — утопиться нам в ней с горя. Не дадим!..

Не успели землемеры третьего колышка забить, как увидели: бегут на них Гусаки с косьем да с вилами. Землемерские ноги длинные, как циркуля; ими только и спаслись землемеры от смерти, но приборы свои оставили, потому что дороже всякого прибора собственная голова.

Отсюда новое дело началось, об оскорблении должностного лица в неурочное для того время. Новую бумагу захлестнуло зеленое сукно, и опять все затихло до поры. Но долго еще служила немалой забавой мальчику Акиму Грохотову трубка от землемерского прибора. Всем желающим увидеть баб и девок в опрокинутом состоянии, давал он смотреть в трубку, а плату Аким принимал всяко: бабками, яблоками, гвоздями и почему-то галчиными яйцами, которые копил для неизвестных целей. Под конец бабы и девки, завидев проклятую трубку, стали придерживать подолы во избежание срама, но приток мзды от этого не уменьшался...

Вдруг, на тринадцатом году жизни, умер мальчик Аким от черной оспы. Трубка пришла по наследству от Акима к Петьке. Петька же зародился неудачливым игроком,—променял трубку, уже облупившуюся до неузнаваемости, соседнему Пиньке на четыре гнезда бабок. Пинька был туп как свая в воде. Он стеклышки из трубки повыковырял гвоздем, трубку же насадил на палку. Палку эту отобрал у него отец его Василий, прозванный Щерба, и употреблял ее, когда отправлялся ходатаем по мирским делам.

Пинька уже поженился, как и младший брат его. А Василий облунел весь, а дед Шафран помер, сказав в свой последний час: „стерегите землю, ребятки!"—не двинулся ни на вершок спор о Зинкином луге. Все по-прежнему закашивали Гусаки Воровские покосы и напускали на них скотину. Воры ловили скотину, приводили во дворы, требовали выкупа за потравы. Один раз тридцать голов изловили Воры и постановили взять по рублю с головы.

А те говорят:

— Мы на рубль-те пуд хлеба купим.

А Воры говорят:

— А мы продадим скотину вашу, гуси адовы.

А Гусаки:

— А мы вас пожгем, блохастых. И рожь вам сожгем.

А Воры:

— А мы вас кровью зальем!..

Кончилось потравное дело боем, при чем и бабы и мелкие ребята приняли участие, — а Воровские бабы драчливы, как куры. Пришлось Ворам отпустить скотину запусто, так что напрасно окривел в драке Евграф Подпрятов, богомол и грамотей,—напрасно потерял ребро вороватый мужик Лука Бегунов.

...В военный год порешили Гусаки на большом весеннем сходе в последний раз спосылать ходоков к Ворам, не продадут ли хоть четвертинку проклятого луга. Выбран был за главного Василий Щерба,— у него и голос и рост длинны и остры как шилья, хоть хомуты Васильем шей. Дали в придачу Василью пятерых мужиков: двух братьев Тимофеевых — за покойность и невредность в рассуждениях, да еще Ивана Иваныча, хромого мужа косой жены, первого горлана на весь уезд, чем и гордился, да еще для подкрепления на случай обиды Петю Грохотова, племянника Щербы, и Никиту шорника, человека русого и медвежьей силы.

Совпало, что и в Ворах и Гусаках по шорнику было, оба быковаты, оба невозможного размаха, только Гарасим—черный, а Никита— белый. В остальном же как будто передразнить хотел один другого своим обличьем. Едва завидели Воры враждебное посольство, обиделись:

— Эк, королей наслали! Да у нас и самих такие-те водятся. Шорником надумали удивить... Шантрапа ваш Никита, во что!

Да и попали Гусаки не во благовременьи. Воры на молебствие от мочливой весны собрались. Поп Иван Магнитов вышел на озимое вымокающее поле в сопровожденьи мужиков и уже разложил на походном налое священно-обиходные предметы, приставив к изгороди богородицу и животворящий крест, как вдруг заметил: по бездорожному полю люди идут гуськом.

Гусаки подошли и покрестились для порядка, хоть и слыли за богототступников, а Щерба разгладил седоватую бороду и выступил вперед:

— Здорово, мужички. Богу молясь!

Молчат Воры, уставились кто куда — в чужую спину, в лужу под ногами, в богородицыно, небесного цвета плечо. Не ведает смущенья Василий:

— Дозвольте, мужички, напредь разговор душевный с вами иметь. А там уж вместе помолимся. Мы вам и петь подтянем!

Тут от Воров Евграф Петрович вышел коротким шажком.

— Нам с Гусаками разговору нет,—сказал он, кривым взглядом окидывая тусклое небо, несущееся в неизвестность весны.—Какой нам с вами разговор? Мы гусиного языка и понимать не можем!..

— А почему бы это и нет? Запрещено, что ли? Аль долгогривый вам наговорил? — пихнул Щерба словом как шилом прямо в Ивана Магнитова, торопливо стаскивавшего с себя ризу. И еще крепче оперся Щерба на клюку свою с землемерской трубкой вместо ручки.

— Нет, запрета нам не дадено,— Подпрятов отвечал.— А долгогривого нам не скверни. Мы за долгогривого и постоять можем. А лучше уходите, пока живы, на собственных ногах. Не вводите нас во грех перед Пречистой! Мы, когда рассердимся... очень может неприятность выйти!

— Какой ты фырдыбак стал, Евграф Подпрятов! Мужик ведь! — вступил в речь Иван Иваныч, Гусак.—Али пороли тебя мало по пятому-те году? Ох жаль, я тебе второго глаза не вычкнул, бесу блохастому...

Евграф при этом вздохнул поглубже и обернулся ко всему миру, ища защиты и поддержки, и уже засучивал рукава. Гарасим шорник, ни слова не говоря, схватился за кол и, выдернув его из земли легко, как перышко, сделал из него себе подпорку на всякий случай. Братья Тимофеевы на этот раз дело спасли.

Выкатились братья, зажурчали, как два тихих, ровных ручейка:

— Не серчайте... — взвились жаворонками братья, — вы не серчайте на Ивана Иваныча, мужички! Он у нас с грехом, одним словом игра природы!.. А мы к вам с добрыми речами пришли, поглядите, эвона, нет у нас за пазухой ножей. Очень мы народ-то тиховатый, главное—простой, как мы понимаем все как есть участвующие дела...— пели братья согласным хором, завидя улыбки на угрюмых лицах Воров.— Коне-ешно, Зинкин луг!.. Зинаида Петровна была, баринова угодница... с кучером они здесь пороты, конешное дело, а потом и утопли тута от безвременной любви. Мы вам не перечим... одним словом, молчим. Владайте Зинкиным лугом бесперечь!..

— Да мы и владаем!—сумрачно заметил Гарасим, перенося подпорку свою из правой руки в левую. Петя Грохотов при этом только носом задвигал, дожидаясь своего череда. Никита широко и добродушно улыбнулся.

— Погоди, погоди, Гарася,—пели хитрые братья.— Не мешай яблочку цвести, чужому глупому разуму высказаться! У кажного, миленок, разума свое слово есть, а без слова — тогда чурка простая выйдет! Мы вам и говорим: владайте... потомственно владайте, косите, сушите, наше вам почтение!.. А только вот,—тут братья разом переступили с ноги на ногу и разом поправили одинакие картузы,—земли-то у вас, эвона! Моря и реки!—и братья дружно взмахнули на вымокающее поле рукавами зипунов.—А у нас делянка-те—бороне узко, не пройти! Мы и хотим любовно с вами!.. И винца выставим, будьте покойны... кажной собачке по чарочке!.. У нас теперь самогон гонят очень замечательный, без запаху. А с медком так ровно мадерца!

— Кончай, юла, бормотню свою! Мир дедова не отдаст,—крикнул резко Лука Бегунов, мужик с правым веком ниже левого. Сам косноязычный, он злился на невиданное красноречие братьев Тимофеевых.

— На мясо вас продать, дак и то таких денег не насбираешь, сколько наш луг стоит,—съехидил старый Барыков, протирая рубахой глаз.

— Мадерцу-то мы и сами тово, тинтиль-винтиль. Вашей не уважит,—поворочал губами степенный Прохор Стафеев, сельский староста, доныне молчавший потому лишь, что держал на руках Николая-чудотворца.

День тот был пустой и склизкий. Низкие облака дымились. Падали скоса на Богородицыно плечо крупные капли обманного дождя. Ветер охальничал, залезал мужикам в порты, попу под рясу, бабам под подолы. Знойко было в поле...

— Ну, только ведь вот вопрос,— повысил голос Щерба.— Вы уж лучше б продали, клейно бы вышло! Мы ведь вот уж неделю, как скотинку на лужок выгнали!..

— Уж как ни верти, один кандибобер выходит... — похохотал на высоких нотах Иван Иваныч.

— Да как же это так?..—визгнула баба бабам.—Как же это так выгнали?!

— Кнутиками выгнали, касатка... кнутиками! как обнакновенно!— А вы как, оглобельками, что ли?—язвил Иван Иваныч, попрыгивая на месте.—Кнутиком подстегнешь, она и бежит, скотинка-те...

Гарасим шорник молча вышагнул из толпы.

— Так, что ли, вы ее подгоняете?..— спросил он и бешено взмахнул колом.

Ивана Иваныча как не бывало, а на его месте стоял, спокойно посмеиваясь, Гусаковский шорник.

— Брось кол-те! А давай так, на любака!—сказал Никита, налету выхватывая у Гарасима кол. Он бросил кол в сторону и полновесно ударил несогласного своего тезку по ремеслу в грудь. Тот шатнулся, тряхнулся и быком пошел вперед.

Они сцепились намертво, обвившись руками, и покачивались, грузно обнимая взмокшую, взбухшую землю. Они кряхтели, точно лез из земли необычный четырехногий гриб. Сплетенье их стало так плотно, а круженье так быстро, что возможно было их различить только по цвету рубах, не вынесших напряжения тел и ползших клочьями по плечам.

— Друзьишки, стой прямо... Не выдавайте!—взревел поросячьим визгом Иван Иваныч, скача вокруг неподвижного Щербы.

Друзьишки и без того не дремали. Стороны сходились для свирепого, неравного боя, числом шестеро на тридцатерых, зуб к зубу, грудь на грудь, как волки из-за волчихи. А земля, черная, вздувшаяся комьем, покорная, требующая семени в себя, томилась и млела под оловянным небом запоздалой весны.

Отец Иван, устрашась, наскоро сматывал с себя епитрахиль и вытряхивал остатки ладона из кадила, когда подбежал к нему дьякон с засученными рукавами и с шестериной в руке.

— Дозволь, батя... позозиться с ними, а!..—выпалил он, ворочая покрасневшими глазными яблоками.

... Вместе с дьяконом у дерущихся остались и иконы. Ими тотчас же завладели Гусаки и пустили их в ход. Этим разъярились Воры. Они лезли плотным скопом на Гусаков, загнанных в крохотную лощинку и все еще отступающих, кричали, грозились, взмывали к небу толстые и тонкие кулаки.

Те, напротив, отбивались молча. Никита все еще не устал ломать Гарасима, а Гарасиму приятно было размять сгустевшую за зиму кровь. Василью Щербе очень по руке пришелся посох его с землемерской ручкой, работал он им как цепом. А Петя Грохотов, хмельной и статный, вдохновенно и легко и часто невпопад поигрывал костяными кулачищами, смехом скаля ровные свои и уже разбитые в кровь зубы. Братья Тимофеевы, наоборот, работали мелко, всегда впопад, пустого тычка не было, не смеялись, а журчали как два весенних ручейка. Недаром весенние-то—и камушки в себе влекут!—Бой все расходился.

Так они до сосняка дрались. Потом, перейдя дорогу, березняк идет,—а они и там дрались. Иван Иваныч, завладев богородицей, высоко держал ее в руках, стоя на пригорочке с очумелым лицом. И как полез на него Григорий Бабинцов, размахивая крестом, он и хватил Григорья богородицей по темени. Богородиц в том лапотном краю на лафетинах пишут, а лафетина—сосновая доска, полуторный квадрат двухвершковой толщины, вес—по погоде. Григорий Бабинцов высунул язык, постоял и рухнул замертво.—Тут лишь отпустили Гусаков...

Григорий Бабинцов так и не оправился, зато вскоре разрешился извечный спор.

Стукнуло второй революцией, полетели дедовы лады вверх тормашками. Распалось зеленое сукно, и обнажились горы мужиковской бумаги. Новый человек, хмурый, подошел к столу, посмотрел в бумагу, и пало на сердце ему сказать так: „Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком".

... Даже и сами Гусаки смутились такому скорому окончанью вековой тяжбы. Был послан ходоком в уездный совет улаживать беду Василий Щерба. Надел Щерба кафтан порваней, взял посох с трубкой и пошел.

— Как же вы это так, товарищи,—сказал он в уезде,—с маху рубите! У нас дело кровное, ему скоро век станет. Вы уж пообсудите его как следует, по закону!..

— Так ведь закон-то кто?—засмеялся в уезде.—Вы сами да я в придачу, вот и закон! Мы и отдали вам весь луг. Ведь нужен же вам Зинкин луг?

— Это уж как есть,— грустно почесался Щерба.— Нам без луга такая точка зрения подошла, что хоть ложись да помирай!

— Так в чем же дело?—спросил товарищ, вытирая слезы, проступившие от смеха.—О чем же хлопочешь-то?

— Да как же,— обиделся за весь мир Щерба.— Сто лет спорим, сколько голов пробили... А ты пришел да тяп одним почерком пера. Умные люди, смотри-тка, осудят. Мы-то молчим, мы что!.. А вот что Воры скажут... Ты уж отруби, товарищ, Ворам-то десятин хоть с полсотенки, чтоб не обижались!..

Товарищ думал быстро. Он покачал смешливо головой и приписал в уголке бумаги: „Селу Воры выдать из Зинкина луга двадцать пять десятин обрезков".

... Тогда-то, подобная нарыву на старой ране, и взросла обида у Воров:

— Это они нам милостыньку выдали!—кричал на сходе Прохор Стафеев и топотал сапогами.—Адова родня! Да если нас, тинтиль-винтиль, со всеми нашими животами похоронить, так и то двадцати-те пяти не хватит... Это нарочно Гусаки клювоносые подстроили. Бросим-де кость собакам, пускай грызутся!.. Ничего, смиримся, мужички... В карман не спрячут, останется!..

Отсюда идет последняя распря. Одно село горой стояло за новую власть и через уезд проникло к власти, другое караулило возможность отместить за отнятые покосы. Об этом не говорили, но этого не забывали ни на час. Даже перестали устраивать рождественные стенки на Мочиловке, куда нарочно ездили биться с Гусаками, не щадя живота и кафтана. К тому времени, где мы, нет Гусаку ворога злей Вора, нет злей вору ворога, чем Гусак.

... В довершение всего были присланы на Святой уполномоченные по разверстке: Серега Половинкин и Петя Грохотов. Оба—исконные Гусаки, друг на друга похожи как братья, оба в кожаных тужурках, рослые, победительные. С ними полдюжины солдат наехало. Затихли Воры, покосились на винтовки, лукаво перемигнулись с окрестными деревнями...

Как-то раз пошутил Афанас Чигунов Сереге Половинкину, уполномоченному:

— Здорово, товарищ, в половину намоченный. Смотри, как бы тебе совсем у нас не вымокнуть!..

Сощурился Серега на Афанаса и пощупал наган.—Кстати сказать, правда: имел Сергей Остифеич, кроме баб и хорошей одежи, не малое пристрастие к винишку.

(Окончание следует.)

Большевики.

Дмитрий Стонов.

Глава первая.

Мертвый хватает живого.

Исполком по-вашему что? Что по-вашему Исполком? — Кружит снег, воет и несет, холодной, серебряной пылью засыпает глаза— — — и дышать так трудно, и дышать так радостно, и дышать так страшно! Выйдешь горбатым переулком к площади — со всех сторон обхватит тебя снежный ветер, начнет метать, целовать холодными вьюжными поцелуями — и невольно остановишься, задержишься на миг, шире глаза раскроешь — в даль, в даль — — там огонь одинокий — огонь — не глаз ли кровавый?

А снег все смелее, Октябрьский ветер заметает дороги — русский ветер, большевистский ветер. — — Где дорога? — Дороги нет, кругом кружит и несет. — Где дорога? — Эй, держись, кто там скачет? — Дорога где? — — Нет дороги! — На огонь держи свою линию, товарищ! Напрямик валяй, по снегам, по снегам — на огонь держи свой путь!— — —

Исполком по-вашему что? — Товарищ Комлев, запри кабинет, дело секретное, срочное. — Товарищи, граждане, не напирайте, тут очереди никакой не может быть для военных большевиков. — Как так не может? — Да вот, говорю вам! Товарищ Комлев, запри дверь. — Сокирько снимает баранью шапку, стряхивает крупу, двумя пальцами — большим и указательным — срывает сосульки с усов, заодно опорожняет нос. — Мне по секрету. — И глазами в сторону, к диванчику. — У меня секретная штучка. — Ничего, это наш, при нем можно. — Головы склоняются над депешей, читают, молчат. — Ну что, ну что, видали мы виды и не такие. Моя часть всегда готова, отдохнули и — айда. Разговоры у моих ребят маленькие — только и всего. — Кто стучится там, чего надо? Сейчас, сейчас! — В снегах советских, большевистских — найдешь ли дорогу? Дороги нет, на площади один огонь — огонь — не глаз ли кровавый?— валяй на свет, в Исполкоме круглые сутки дежурства. — Ну что, друзья, что это вы так поздно? — Да вот, товарищ Комлев, к вам. — Люди дышат свинцом, они черны от свинца

и в крови, в легких — свинец. — Номер сверстан? — Без этого нельзя! — Чего же вам? — Тут выступает маленький, горбатый — у всех горбатых бледные лица, у всех горбатых грустные, иерусалимские глаза. — Товарищ Комлев, вы знаете нашу работу, вы знаете — мы ведь в подполье помогали вам, никогда не отказывались. — Короче, друзья! — Товарищ Комлев, с пайком-то как? Без жиров пропадать нам, сами знаете. — И все: сами знаете, сами знаете — Сокирько задерживается, трубит носом. — Да... А я вам — слушайте — расскажу, как мы Воронеж брали без жиров! — Да это мы знаем. — И без хлеба! — Знаем. — И без сапог! — Понимаем. Мы разве что? Товарищ Комлев знает нашу работу, мы и в подполье... И без шинелей! — Что? — Насчет Воронежа я. И без шинелей. Мои ребята — что? Мои ребята — в огонь! Вот что! — Да это мы очень даже хорошо сочувствуем и вообще конечно. — Да говорят вам нельзя! — Помилуйте, гражданин служитель, я с самого, можно сказать, утра, к гражданину, можно сказать, товарищу Комлеву. — В чем дело? — Черная свеча приближается. Низкий поклон. — В чем дело товарищ... гражданин? — Я пришел покорнейше просить... — Короче, гражданин! — За черной рясой нехорошая кипит злоба — евреи, проклятые, пропал весь мир, антихристы — — — Я хотел покорнейше просить о разрешении... — Короче! — Просить о разрешении на три бутылки церковного вина для нужд прихода. — — —

В русских снегах — найдешь ли дорогу? В большевистском холоде найдешь ли минуту — только одну минуту, — чтоб губы целовать, горькие, как рябина, засохшие от ожиданий губы?

— Я вас слушаю, алло! — Это ты, Костя? — Я! — Уже десять. — Знаю! — Ты... — и в трубке слышно, замирает голос на горьких, как рябина, засохших губах — ты... придешь?.. — Нет, сегодня дежурю, ночую в исполкоме. — Опять? — Да, опять. — Вот что, Костя (другим голосом), к тебе заглянет мама... — Мама? Зачем? — Она принесет тебе... Я испекла лепешки, правда — из ржаной муки, но они вкусные... И она хочет с тобой поговорить. — О чем? — Я не знаю... — — — —

> Нельзя, нельзя, сказано вам — не напирайте, гражданка, товарищ Комлев не принимает. — Как не принимает? Он же по телефону сказал... — Да говорят вам! — Кто там? Да, да, впустите, впустите, это лично ко мне.

И вот — и вот — в наш Советский стиль, в темп Интернационала (быстрые крепкие звуки пронеслись по всей Руси — пронеслись — — — и — кисельная Рассеюшка подтянулась, скрепилась, налилась волей: — Сунься, господин хороший!) — в темп Интернационала влезает девятнадцатый век. Девятнадцатый век медленно садится. У девятнадцатого века живот круглый, живот колышет — как ветер занавеску — сатиновую юбку, живот вздыхает громко, прибавляет, шепчет — господи, бог мой! — и молчит, молчит, медленно молчит. — И вот — и вот — ползет прелый век. Слышно, как за дверью сторож надевает железный колпак на „Ундервуд", зевает — ох-хо-хо — ставит скамейку, шарит

рукой, находит ключ, заводит часы. - Кто это у вас такие вкусные лепешки печет? — Лиза.—Лиза? А я не знал, что она умеет. — Научилась. Нужда всему научит. — Нужда? Какая нужда? —

Со всех сторон прет старое. Слезы — к слезам в Исполкоме привыкли, там знают, как к ним относиться. Но это особые слезы. Девятнадцатое столетие выдавливает их из припухших век, катит по дряблым, как вареное мясо, щекам, по многоэтажным подбородкам и горошинами сыплет на подвижной, резиновый живот. К слезам в Исполкоме привыкли, там знают, как к ним относиться. Но сейчас товарищ Комлев говорит: — Перестаньте, мама, расскажите — в чем дело? — Тогда девятнадцатый век кладет на стол носовой платок, вздыхает глубоко, глубоко, опять берет платок, лицо у прелого века красное — точно ученый, для какого-то опыта, содрал с носа и щек кожу и — — — начинает — — — начинает с отдаленных времен. — Ковыляет жизнь — такая вялая, холодная, что хочется толкнуть ее коленом в заднее место. — Муж, муж заболевает, муж умирает, жизнь без мужа — — — Лизочка, вторая дочь— Берта — почти зубной врач — учится на зубную врачиху и очень даже успевает. — И тут же упрек — если бы ты не занялся этим, то окончил бы уже университет, а теперь — что? — Но это не главное. Главное — к главному отошедшее ползет медленно, отвлекаясь, сбиваясь — — — главное — — Но ты же сам знаешь, ты же сам подписал, мне говорили — твоя подпись на объявлении тоже есть. — Ну, и что же? — Как — что же?! — Отдать последние юбки, оставить себе три рубашки? Ты же сам знаешь — все мое несчастное имущество в этих несчастных тряпках — приданом Берточки, разве это мыслимо? — — —

К слезам в Исполкоме привыкли, там знают, как к ним относиться, но — — — Товарищ Комлев неровно шагает по комнате. Старый быт ползет со всех сторон. — За окном — если прижаться лицом к мерзлому стеклу, зажмурить глаза и затем широко открыть их — сонно и задумчиво падают мертвые, как нафталин, снежинки, — улеглась буря? — в коридоре упраздненному богу служитель шепчет молитву, тяжелым маятником медленно считают время часы — — — вот — скрипнет дверь, высоко подняв плечи войдет — последний из последних — Антон Павлович Чехов, сядет в кресло, сухими руками достанет носовой платок, вытрет пенснэ, сухо кашлянет в ладонь и начнет жаловаться тихо, и нудно, и медленно, что дальше жить в нетопленой квартире он не может никак — — —

К слезам в Исполкоме привыкли. — — — Но — в снегах российских, в сугробах Октябрьских — всегда ли найдешь дорогу? — Мама, я не раз говорил вам — лучше ко мне не обращаться, я никак не могу, я... я... — И как печатники, просившие о пайке — немного смущенно, немного виновато — сами знаете, сами знаете — — — Старый быт, как застоявшееся тесто, размяк в кресле, старый быт стучит фарфоровыми зубами по стакану, кусает стекло, расплескивает воду. — Штурмуется

Бастилия. В предсмертной тоске усталые руки цепляются за последнюю видимость прошлого. Тряпки, тряпки, если заберут тряпки, то — —

Исполком по-вашему что? — А вот что. В большом кабинете Комлева...—

хорошо прокуренные махоркой, и Месаксуди, и Стамболи стены могут перелистать не одну тысячу прекраснейших страниц о наших неповторимых днях... — Здесь оплывали свечи и головы, не знавшие по месяцам подушек, а по годам — женщин — трезво записывали — творили — историю. — Здесь за четыре часа до прихода белых коллективно составлялась последняя передовая для последнего номера „Известий“ — „Мы еще придем“. — И здесь же, синим, как денатурат, утром, генерал снял очки, зажмурил глаза и еще раз безразличным, скучным голосом спросил: — Значит вы не хотите мне сообщить? — И еще, и еще раз он услышал — Подлец! — Так, так. — Генерал потрогал пальцами перо, увидел, как спеша, торопясь падают со свечи белые слезы, как застывают они хребтом, вспомнил — — Уральский хребет состоит из кристаллических пород, прикрытых отложениями силурийской, девонской, каменноугольной эпох — — — и мелким, мелким бисером написал — расстрелять! — — —

в большом кабинете Комлева пахнет валерианкой, чадящая лампа прикрыта листом бумаги, на диване распластанной тушей лежит девятнадцатый век, на голове у него мокрое полотенце, девятнадцатый век открывает глаза. — Ты и теперь мне откажешь? — Но, мама! — Нет, ты и теперь мне откажешь? — — — Товарищ Комлев машет рукой, пальцами растирает виски, достает блок-нот и грубо отточенным фабером к бесчисленным рядам только ему одному понятных букв прибавляет еще пять: Псроб.

Это значит —

— Переговорить с Ривенко относительно барахла.

Первой главе рассказа — точка.

Глава вторая.

Партсобрание.

Из снега, из метели, из тьмы, — дверь, не переставая, тяжело и глухо случит, визжит—попадают в коридор, где свернутая, дрожащая проволочка желтым пятном освещает каменный пол, стены. Сегодня по распоряжению завкоммунхозом электрическая станция будет работать до трех ночи. Дверь бахает, скрипит не переставая. Многие приходят сюда из фабрик, заводов, приносят с собой смешанный запах табака, машинной мази, железной пыли. У вторых дверей задерживаются не надолго, бросают стриженой девушке номер билета, фамилию, идут дальше. В буфете толкотня, к беременной женщине, разливающей, продающей

чай — очередь. — Только по одному стакану, товарищи, сахару нет. Хлеба тоже по куску только. — Сидят по три, по четыре у столиков, мешают оловянной ложечкой мутный морковный чай, жуют хлеб.— Ты нам новости расскажи, послушаем.— Курчавоволосый поправляет пенснэ. — Вот вам завтрашний номер, читайте сами. — Да ты расскажи своими словами, тут у тебя две колбасы о Ллойд-Джордже, телеграмм не найдешь, расскажи. — Подходит плоская, как грифельная доска, девушка, толкает одного в плечо. — Двигайся, дай сяду. — А, профсоюз, здравствуй! — Здравствуй, собез. Буржуев раздеваешь? — Да, разденешь их, когда все вы, понимаешь какая штука — саботируете, не приходите мне на помощь! — А нам на помощь приходят? Много вы интересуетесь профработой? Сколько партийцев в губсовпрофе? — Нет, ты это брось, сегодня я об этом серьезно поговорю, вопрос, понимаешь, поставлен.— Какой вопрос? — Этот самый! — Пока все коммунисты — я, понимаешь, на этом буду настаивать — не придут мне на помощь, — ничего не выйдет. Нужно вам понять. Необходимо ваших беспартийных ребят из профсоюзов также привлечь к делу. — Брось агитировать. Понимаю. Вот какая история. — Девушка достает из френча записную книжку, перелистывает страницы. — Вот какая история, товарищ Ривенко. Тут у нас есть член союза Никитченко, его петлюровцы дочиста ограбили, пять душ детей. Надо им белье выдать. Вот я тебе адрес дам. — Ладно! Это обязательно!

— Товарищ Ривенко! — А, исполком явился, скоро, значит, начало заседания. — Правда — говорят, у тебя французская газета — что там брешут, ты бы всем вслух перевел! — Курчавоволосый поднимает со стакана теплое, распаренное лицо. — Это свинство! У тебя иностранная газета, и ты до сих пор ее держишь, не дал в редакцию для использования. — Брось ерепениться, ты свои стекловицы и так напишешь.— Наши интеллигенты ругаются. — Товарищ Ривенко, тебя можно на минуту? — Ривенко и Комлев отходят в сторону. Комлев только сейчас замечает, что Ривенко всегда в одной и той же ситцевой — синей с белыми звездочками — косоворотке. Комлеву неловко, он отводит глаза, молчит. Ривенко ждет.

— — — В снегах российских, в сугробах Октябрьских — всегда ли найдешь дорогу? — — — Тряпки, тряпки, если у девятнадцатого века отнять тряпки, то — — — Ты и теперь мне откажешь? — Но мама! — Нет, ты и теперь мне откажешь? — — —

Комлев берет Ривенко за белую пуговку косоворотки, глаза Комлева на бороде Маркса, на пенснэ Троцкого, на гладко выбритых щеках Раковского — — — У меня к тебе просьба. — Какая? — Видишь ли, тут старуха, мамаша жены моей, больная старуха, понимаешь? — Товарищ Комлев останавливается, ждет, еще раз спрашивает — понимаешь? — Так в детстве было — — сейчас закрыть бы глаза и быстро, быстро сказать —

и с закрытыми глазами ждать ответа — — — Ну, и что же? — У нее дочь, зубной врач, то-есть, собственно, не зубной врач, а слушательница... Одним словом — ты понимаешь?.. Тут у нее остались вещи, так, чепуха одна, тряпки... Вещи у старухи, у матери... — Ну, и что же? — Так ты, пожалуйста, старуху не тревожь, понимаешь?

— — — С этих губ давно уже не срывались слова, эти губы давно не дрожали — — — В детстве тоже было так — закрыть бы глаза — — — напречь слух — сейчас ответит, должен ответить — — —

Звонок. Звонок льется горячей струей. Товарищ Ривенко поднимает голову, гребенкой расставленными пальцами отбрасывает назад волосы. — Собрание начинается, мое слово сейчас, это, видишь какое дело, общий вопрос, его, понимаешь ли, нельзя разобрать индивидуально.—У Ривенко голос глухой, у Ривенко глаза потускнели, он отворачивается, быстро уходит. Возможно—помещение плохо отапливается — у Комлева френч, но ему все-таки холодно. Он ежится, сутулится. — Пристают со всякими глупостями! Газета! Очень ему нужна эта французская газета! Так вот его отрывают от работы, заставляют нервничать — — —

> Святая месть, святая кровь — — Кто был в подполье — тот знает, тот чувствует, тому стоит только закрыть глаза — и — — дикт с надписью: — Собакам — собачья смерть — трупы на вокзальной площади, запах медка — запах человечины... Мимо ушей — Видишь ли в чем дело... Вот, понимаешь, какое дело — мимо, мимо — — — Бейся, сердце; лейся, зрелая месть! — — —

— Правильно! Правильно! Надо же в конце концов дать почувствовать местной буржуазии, что ее сладкие деньки минули! Надо же одеть, обуть рабочих, которых раздели бандиты и грабители, наемники капитала! — — — Лейся, зрелая месть. Зрей справедливость в закопченных, но горячих сердцах. Наболело,—ох, как наболело! — На сцене девушка из губсовпрофа, грифельная доска. — Ого, она сейчас скажет! — Комсомольцы улыбаются. В их ушах еще звучит ее голос — голос укротительницы зверей, как ее прозвали. — Мальчишки! Девчонки! Вы хотите быть сменой? Комиссарствовать? А профессиональное движение для вас — чепуха? Отрываетесь от рабочих? Учрежденцы? Книжечки? Но мы книжки по ночам читали, да, да, дорогие товарищи! Будьте добры связаться хорошенько с предприятиями, а потом будете лезть в учреждения! Что вы на это скажете? — — — Ого, она сейчас скажет! Да, она сейчас скажет! О ней никто ничего не может сказать! — Будьте в этом уверены — — —

Грифельная доска вынимает из кармана книжечку, отмечает пунктик. — Товарищи! Товарищ Ривенко открыл только одну ранку. Мы сейчас дома, в своей семье, и мы можем позволить себе роскошь и

признаться хоть здесь, что нами для рабочих ничего, решительно ничего не сделано. Возьмем жилищный вопрос. Я не хочу заглядывать в книжки и в ордера товарища Медведя — я человек, сами знаете, малограмотный и у меня от этих книг и цифр всегда кружится голова. Но я знаю. На деле буржуи остались в своих квартирах, распоряжаются обстановкой, а рабочие ютятся чорт знает где! Что делает жилищный отдел? Не мешайте мне, товарищ Медведь, вы потом скажете. Что делает, я спрашиваю, жилищный отдел? А чорт его знает, что он делает! Пишутся ордера, ходят агенты —буржуйчики в манжетиках, а воз и поныне там, как написано в стихах Пушкина! Не мешайте мне, пожалуйста, говорить. Тут ничего смешного нет! Рабочие знают, что хлеба нет — они не требуют лишнего, они терпят. Но квартиры мы можем им дать.

Грифельная доска останавливается. — Тише, товарищи! — Секретарь поднимает руку — сейчас, сейчас! Товарищи, просят не курить!—И к грифельной доске — вы кончили? — Нет, я и не думала кончать! — Хохот. — Нет, вы не говорите, она знает, что говорит! Уж ее не переспоришь! — Права она, тысячу раз права! — Завела свою машину истеричка! — Вовсе не истеричка, правду говорит! — Прошу слова! — Тише, товарищи! — Прошу слова! — Просите слова записками! — Ах, оставьте, пожалуйста! — Хорошо вам сидеть в кабинете и бумажки подписывать, побывали бы среди рабочих, послушали, что они говорят! — Не горячитесь, друзья!

— Товарищи, я продолжаю! — Грифельная доска опять смотрит в книжечку. — Да. Это раз. Дальше. То, что говорил нам Ривенко. Мы знаем, что рабочие раздеты и разуты. Нет дома, где бы не побывали петлюровцы и не забрали бы все, до последней рубашки. У буржуазии же есть все. Вы издали приказ, но разве он поможет? В собез приносят старые, рваные тряпки, а лучшие —прячут. Что же, — мы должны церемониться?—Конечно, нет! Излишки должны быть отобраны и, конечно не собезу со своими саботажниками справиться с этой задачей. За дело должны взяться все мы. Нужно устроить обыски, привлечь, как правильно отметил товарищ Ривенко, к этому делу беспартийных членов профсоюзов... — Вы кончили? — Грифельная доска смотрит в книжку. — Пока — да! Для начала хватит! И я уверена, товарищи, что все вы со мной согласитесь. — — —

— Прошу слова! — Просите слова записками! — Я послал записку! — Получено семнадцать записок! — Сейчас, сейчас, товарищи, сохраните спокойствие! —Но русская революция — это горячая кровь, бьющая гейзером, это горячие слова, это лихорадочные глаза, головы, не знавшие по месяцам подушек, а по годам — женщин. — Конечно, наши комиссары оторвались от широких масс, они не знают, чем болеют массы, что их интересует, но партия — не бюрократический аппарат, партия

должна учесть! — — — Конечно — рабочие идейно с нами, но социальная революция — это не только красивые слова! — Пока хоть один буржуй будет владеть своей квартирой, своим шелковым бельем — мы не можем, не должны успокоиться! — Товарищи, вы не на беспартийном собрании, пусть каждый, кто хочет высказаться — берет слово — — —

На сцене товарищ Комлев. Он спокойно смотрит пред собой, не видит красных, возбужденных лиц, не чувствует созревшей справедливости в закопченных, но горячих сердцах. Есть еще неприятный осадок... Да! Газета! Очень им нужна эта французская газета. И еще — эти глупые ходатайства. Чорт знает что такое! Этак омещанишься вконец. Синяя блуза с белыми звездочками... Да разве это не глупый аскетизм? Наконец — это просто не гигиенично... Ах, какая чепуха лезет в голову — — — Товарищ Комлев вертит двумя пальцами обручальное кольцо на правой руке, нижней губой прикрывает верхнюю и — — — начинает. Он говорит быстро, выбрасывает в минуту сто коротеньких, холодных слов. — С ним иногда случается такое. Даже выигрышные места не вызывают улыбок. — Предыдущий оратор (это — о грифельной доске) хочет спасти рабочий класс, немедленно установить рай на земле. Этот рай в представлении товарища весьма прост. Надо только каждому рабочему и работнице подарить по паре шелковых, кружевных панталон. — — — Это очень дешевый прием, товарищ Комлев! Это демагогия! Правильно! Тише! Товарищи, не мешайте оратору! — — — Товарищ Комлев спокойно ждет. — Да, товарищи, именно, это очень дешевый прием. Махаевщина. Вместо того, чтобы заниматься делом, чтобы заставить рабочих с интересом следить за событиями на фронтах, вместо того, чтобы лечить раны — а их, товарищи, не мало — нам предлагают здесь отвлечь внимание трудящихся совсем в другую сторону. У нас, видите ли, все обстоит благополучно и сейчас нам нужно только одно, только: всем нам — и членам партии, и беспартийным, и даже комсомолу — заняться изъятием излишков у буржуазии. — — — Товарищи! Я уверен, что вы отнесетесь спокойно к предложению, сумеете разобраться в выдвинутом вопросе и отбросить — — —

Товарищ Ривенко еще ниже нагнул голову. Карандаш скрипит, непривычная к письму рука отмечает пункт за пунктом — материал для заключительного слова — — Нужно отбросить все личное, нужно всегда быть выше этого. Конечно, он никогда не сомневался в порядочности товарища Комлева, конечно—Комлев свой парень, но — — —

— — — Тут старуха, мамаша жены моей, больная старуха, понимаешь? — Ну, и что же? — У нее дочь, зубной врач, то - есть, собственно — не зубной врач, а слушательница... Одним словом — ты понимаешь?.. Тут у нее остались вещи, так, чепуха одна, тряпки... Вещи у старухи, у матери... Ну,

и что же? — Так ты, пожалуйста, старуху не тревожь, понимаешь? — — —

Не умные люди делают революцию — горячие, вдохнувшие сладкий запах медка, прочитавшие дикт: — Собакам — собачья смерть — — — Равнодушный взгляд — — — взгляд должен быть равнодушным, кругом враги, кругом — предательство, круг — смерть — — — скользит по серым камням мостовых, задерживается на жухлом листочке, кружащемся, как бабочка, на тумбе с жирной надписью — Гала представление — — — и тогда последняя капля, самая нужная капля падает на сердце — — — и это уже навеки, на всю жизнь — — — это горькая большевистская Правда, последняя Правда капнула на сердце — — — то, что никто, никто не победит, никто — ни в ратном поле, ни из-за угла, ни в уютных кабинетах. — — —

Товарищи, тише, спокойствие! — — — Каутский в своей книге — — — прошу слова — — — знать — — — на фабрике — — — Когда я был в армии — — — брали Воронеж — — — на заседании губсовпрофа — — — Типичнейший меньшевизм — — — учесть — — — тише — — — необходимо — — — сознательная часть — — — в порядке — — — партийная дисциплина — — — сознательная часть пролетариата — — — Тише-е — — — Товарищи — — — Я вынужден буду принять меры — — — Товарищи-и-и!..

И вот — последняя капля — — —

— — — Прошу мне слово. — Слово просят записками! — Товарищ Каминский, вы же знаете, я безграмотная. — Говорите! — Несколько часов тому назад эти глаза наполовину прикрытые уныло смотрели на беременный живот, на валенки, сапоги, на заплеванный ковер. И если поднимались — то — чтобы увидеть, хорошо ли заварила морковный чай. Сейчас глаза тончайшими, как спицы, штыками пронизывают сотни лиц и дальше, дальше — через стены, через завируху — к жухлому листочку, к тумбе с жирной надписью, к горке трупов, к дикту — — — Товарищи-и! — Последние — щи-и — по-бабьи истерично, по-бабьи — беременно-истерично. — Товарищи-и! Вот я хочу вам сказать. Выслушайте меня немножечко. Вы знаете, как погиб Самуил... товарищ Самуил, мой муж... Он три дня лежал около вокзала вместе с другими, и я даже не могла поплакать над ним... товарищ Ривенко знает... Ничего, мне воды не нужно, я совсем спокойна, только так... Вот что я хочу сказать... Вы знаете — в этом животе у меня казацкий белогвардеец растет... я хочу сказать... вы же знаете... И вот я прихожу вечером домой — я жила там, где теперь живу, в подвальной квартире... Я это не говорю для того, чтобы мне дали квартиру, не дай бог... Мне ничего не нужно... вот я имею жалованье от буфета — спасибо комитету партии... Так вы не подумайте только... Так я прихожу вечером домой, да... Танечку они с собой увели, Самуил убит, у меня это... все-таки это нехорошо, товарищи, правда?.. Прихожу... сяду... потом к окну

подойду... нехорошо очень... А над моей головой — танцы — ногами по голове мне и рояль па-деспань играет... Конечно — какое им дело... Зайти к женщине в беде... Так разве от них это можно требовать?.. Так, товарищи, теперь то же самое... Гуляют во-всю, танцуют, шаркают по полу... я... вы только не подумайте плохого... Но зачем они должны жить в такой квартире, а не рабочие... Вы только не подумайте, что раз Самуила убили, то я хочу... Я знаю, за что Самуил умер... я кончила уже, товарищи!.. — — —

Товарищи, тише, я голосую! — — Прошу сохранить спокойствие! — — Кто за — — прошу поднять руку. — — Подавляющее большинство. — — Кто против? Раз, два, три... семь! Семь против. — — Кто воздержался? — — Таковых нет — — Значит вопрос в деталях будет разработан членами Губкома. — — Возражений нет? — — Таковых нет. — — Собрание закрывается. Предлагаю спеть Интернационал. — — —

Сквозь изумрудные окна, сквозь мерзлые стены — кружит, кружит снег, воет, воет ветер! — стройные несутся звуки. Сонный обыватель трет заспанные глаза, старается укрыть голову одеялом — все равно эти звуки настигнут, проникнут через пропотевшую вату одеяла, все равно, все равно — —

Глава третья.

От слов — к делу!

О вас, о вас, жены большевиков, должны быть написаны лучшие в мире книги. Ваша боль, и тоска, и страданье, и героизм войдут в Историю Обновленного Человечества и над вашей судьбой будут лить слезы — слезы умиленья и восторга — новые девушки, для которых жизнь ваша будет только историей. — — —

После скудного ужина — за ужином жены, матери, сестры, дочери сидели молча, грели в сердцах важную такую надежду: может быть сегодня, может быть эту ночь удастся провести под одной крышей... — после скудного ужина были разбиты хрупкие вазы — нежная романтика всегда цветет в женском сердце! Руки полезли в карманы тужурок, пошарили в ящиках столов, достали револьверы, начали нагружать барабаны желтыми, тяжелыми желудями — пулями.

И вот какое маленькое иногда бывает счастье:

Под зеленым абажуром — совсем, совсем, как в старину! — золотой горит свет, на окнах плотные занавески — кому какое дело, что за окном несказанная несется буря, что снег и ветер орут новую песню? — Девятнадцатый век — это можно увидеть на любой олеографии — вяжет чулок, поблескивает спицами, тихо и мирно улыбается.

У ее ног — кошка. Конечно, кошка играет клубком. — Большевик, председатель исполкома — это одно. Есть еще — муж жены — — —

И еще: — есть муж. Это для него черное платье с большим вырезом. И для него же — третий вальс Шопена. Бегут, бегут пальцы по желтым и черным клавишам, плетут, плетут чудную сказку о том, что было давно, что уж никогда — никогда! — не вернется.

И вот — разговор.

Лиза *(повернув обнаженную шею, голову — пальцы все еще на клавишах, Шопен все еще плетет свою нездешнюю сказку).* — Ты, может быть, что-нибудь прочтешь нам вслух?

Девятнадцатый век *(молчит, старчески-хитро улыбается: — молодость берет свое, молодое сердце расцветает и зимой — — —).*

Товарищ Комлев *(быстро, искусственно задумчиво смотрит на часы).* Видишь ли — — — я должен уйти — — —

Лиза *(Шопен начал фальшивить, нарушил старый такт, запутался).* — Но ты ведь сказал, что сегодня не дежуришь — — —

Комлев *(задумчиво, рассеянно).* — Да, не дежурю — — —

Лиза *(Шопен явно пьян!).* — Куда же ты? Ах!.. *(это — вообще и к несносному Шопену — в частности).* Не уходи...

Девятнадцатый век *(молчит, угрожающе поблескивая спицами. Кошку ногой в бок: чтоб не путалась зря).*

Комлев. — Совершенно необходимо, — — — За мной зайдут сейчас. Вернусь утром — — —

Все. Шопен делает прыжок в неизвестность и, забормотав однообразную чушь — си - до - ре - до - ми - до - фа - до — замолкает.

Все. Маленькое счастье — какое счастье может быть маленьким в девятнадцатом? — рушится, как сахар в горячем чае. В темп тургеневского благополучия влезает лихорадочный стиль Интернационала. За окном метель, за окном кружит и несет, холодной, серебряной пылью засыпает глаза, — — — и дышать так трудно, и дышать так радостно, и дышать так страшно! Крупными шагами — то тут, то там раздаются звуки его сапог — ходит по комнате товарищ Комлев. В смежной комнате Комлев (как быстро, как незаметно он очутился там) стучит ящиками, хлопает дверцами. — Лиза! — Тишина. — Интернационал — Тургенев. — Лиза! Вот что, Лиза — — Ах, если бы, как в детстве, закрыть глаза и с закрытыми глазами — сказать, потом долго не открывать их — — Вот что, Лиза... Только это между нами, никому, никому... Видишь ли — ночью произойдут... ночью мы устраиваем обыски во всем городе... Будем отбирать излишки. Ты не беспокойся, Лизочка... Может быть, придут к соседям, будут стучать, мама испугается... Так ты скажи ей, что обыск только у соседей... Одним словом — ты понимаешь — — —

И все. Лиза опускает голову, руки — тонкие, изящные, голые. Молча, не поднимая головы — идет она к желтым и черным клавишам.

Нет, маленькое счастье разрушено, Шопен исчез. Лиза поднимает руку и одним пальцем — так, что слышно, как ноготь ударяет по клавишам — — Чижик, чижик, где ты был? — На Фонтанке водку пил — — — Это все. — — — Уплывайте, уплывайте, тени прошлого, не мне, не мне жалеть о вас! — — —

Сейчас неудивительно. По мерзлому стеклу громко барабанят. Женщины вскрикивают. — Товарищ Фришман? — За окном заснеженная фигура кивает головой. — Наборщики оставлены? — Фигура опять кивает головой. — Сейчас иду, обождите!

Ну — и буря разыгралась, ну и снег разметался, ну и кружит и метет! — Дорога где? — Нет дороги! — На огонь держи свою линию, товарищ! — —Надо! Знаете ли вы, что значит у большевиков — надо?— — — И еще: знаете ли вы, что значит у большевиков такое маленькое и жесткое такое, как скамья четвертого класса, слово — партдисциплина? — Предлагается вам с получением сего — — — Все! Довольно! Пусть в истерике бьется жена, мать, сестра — надо! Большевистское надо. Большевистское коротенькое такое и жесткое, как скамья четвертого класса, слово — партдисциплина.

И вот — партдисциплина —

Наборщики с верстатками в руках, прокопченные свинцовой копотью, голодные, окружают товарища Комлева. — Вы передовую дадите? — Непременно! — Взяли что-то? — Возьмут! Сегодня возьмут! — Как? — Увидите, ребята. Только — конспирация! Никому ни слова! Наберете, проверите корректуру и — молчок! А завтра вместе с другими прочтете. Идет? — — —

И вот — партдисциплина —

— Из передовой статьи „Известий“:

— Пусть знает буржуазия! —

— — — Этой ночью члены партии и сознательная часть беспартийных рабочих организованным образом провели ночь бедноты. У местной буржуазии были отобраны излишки, было отобрано то, что добыто руками трудящихся, что по праву Революции принадлежит только трудовому народу — — —

— — — Мы знаем, как буржуазия встретит это наше мероприятие, какие гнусные контр-революционные слухи будут распространяться по этому поводу — — —

— — — Пусть же помнит буржуазия, кто стоит у власти, пусть знает буржуазия, что ее золотые дни ушли безвозвратно, что рабочий класс, перестраивающий своей мозолистой рукой весь мир, не остановится ни перед чем — — —

— — — Да здравствует Советская власть, защитница рабочего класса! да здравствует Третий Коммунистический Интернационал—организатор победы трудящихся во всем мире — —

И — подпись—

К. Комлев. — — —

Все это — партдисциплина. А вот — другое —

Сначала стучит товарищ Комлев — стучит двумя согнутыми пальцами с передышкой, прислушиваясь. За тяжелой, мертвой дверью— тишина. Вьюга, мороз, снег, ночь — все это спуталось, все это ревет, свистит, мечется. За тяжелой мертвой дверью — только на улице чувствуешь, какое дедовское, старинное тепло в доме!—за тяжелой дверью тишина. Мороз длинными прутьями стегает по телам. — Эх, мать вашу так!—Красноармейцы прикладами стучат по двери. — Чортова кукла, отворяй! — — —

И вот—чортова кукла. — Кто такие (голос тонкий, явно истеричный)—Откройте, пожалуйста!—Кто так-ие?—Из чека!—Молчание.— У вас есть ордер? — Есть! (Красноармейцы — бррр... мать твою!.. этак околеть можно... Открывай, мамаша!.. Мать твою!.. (—Ключ недоволен, упрямо поворачивается — дверь хрустит, вздыхает — двери всегда хрустят, вздыхают в неурочное время, в стужу — цепочка, лязгая, натягивается, в отверстии — голая рука. — Покажите ордер. — Тишина.— — — Войдите. — — —

И бывают же такие необитаемые острова. — Добрые, ласковые боги в углу — так, хорошая фамилия за чаем в полном сборе — усатые тараканы шныряют по стенам, генерал в красной раме, беременная кошка на столе доедает холодную яичницу, часы считают длинные — длиннее быть не может — секунды — ей богу, революцию большевики выдумали! Не было никакой и быть не могло!—Какие вещи? Что за вещи? Что вы, что вы, разве можно? Мне, знаете, не даром все досталось!— И быстро, быстро, съедая окончания—Берит, берит, все берит, и жизнь берит! — — И вот, сейчас только видит товарищ Комлев (красноармейцы в коридоре) худенькую, в закрытой, ночной—до пят—рубашке старенькую такую и седую генеральшу с белыми, бескровными, испуганными губами. Должно быть на шее у нее, на золотой цепочке, вместе с крестом — ключик от шкафа — — — и старые там истлевшие письма и ордена давно умершего мужа и засушенная роза — — — — И вот — сейчас только видит, слышит товарищ Комлев: старенькая генеральша с в-е-л-и-к-о-ю надеждой смотрит в угол, где ласковые боги, где хорошая фамилия за чаем в полном сборе — — — и губы ее (ах, какие белые, какие бескровные, испуганные губы!) шепчут ясно — Господи! Пошли смерть этим большевикам! Господи! — И руки в молитвенном экстазе (у меня нет менее банального, избитого слова) сложены — — — И действительно, разве так уж невозможно маленькое, земное счастье в девятнадцатом? — — — Дорогу где найти в снегах прекрасного, всем человечеством благословенного Октября? — Нет дороги! — — — И чудо — разве добрые боги не могут творить чудеса? — — —Перестаньте... болтать глупости... (в голове: — Эту старую идиотку могут услышать красноармейцы). Я не могу... я не хочу рыться в ваших вещах... Отдайте нам сами излишки, и мы уйдем, оставим вас в покое — — — Товарищи!—Красноармейцы входят. — У этой гражданки

мы берем лишний... мы берем крест — — — В акте: итого — один нательный золотой крест с золотой же цепочкой. — Подписи: — К. Комлев.— Иван Сидоров. — Сидор Михайлов. — И безграмотный, вечный русский понятой, сотни лет ставящий на бумагах + + +

— — — Финалом третьей главы о великой, зрелой, большевистской справедливости, о дороге верной, смелой, открытой — — — На огонь держи свою линию, товарищ! Напрямик валяй, по снегам, по снегам — на огонь держи свой путь — — — да будет вот что:

— Вы должно быть не туда попали! — Как — не туда? — На плечах турецкая шаль и с вечера — черное, с вырезом — для него — платье. — Тургенев—Интернационал.—Понимаете... эту квартиру занимает председатель Исполкома, товарищ Комлев. — Всю квартиру? — Нет, тут живу я с мамой, сестра, она в Харькове учится — и мой муж — товарищ Комлев. — Товарищ Ривенко нагибает красную голову — — —

— — — Тут старуха, мамаша жены моей, больная старуха понимаешь? — — — Тут у нее остались вещи, так, чепуха одна, тряпки... Вещи у старухи, у матери...Так ты, пожалуйста, старуху не тревожь, понимаешь? — — —

— — — Великая Большевистская Правда всегда подскажет, что делать, как поступить. Нужно отбросить все личное, нужно поступить так, как должен Большевик и в снегах метельных найти верную дорогу, единственную — — — Видишь какое дело. Я не буду осматривать комнату товарища Комлева, личные его вещи, но все остальное я обязан осмотреть.—Но я ведь вам сказала, что вся квартира числится за председателем Исполкома...—У меня, товарищ, определенные инструкции и мой революционный долг, понимаешь какое дело! — Но мама испугается, она нездорова... — Я обязан, товарищ! — Хорошо... Как ваша фамилия... Я вынуждена буду передать товарищу Комлеву, когда он вернется... По-моему это недопустимо... Безобразие... — Ривенко мне фамилия, так и можете передать товарищу Комлеву — Ривенко. А к осмотру вещей я приступлю сейчас же! — — —

Глава четвертая.

Люди-человеки.

В снегах Октябрьских, в завирухе, в метели — всегда ли найдешь единственный огонь, всегда ли сумеешь пройти по снегам, по глубоким — по колено — снегам? — Где дорога? — Дороги нет, кругом кружит и несет. — Где дорога? — Дороги нет, напрямик валяй, по снегам, по снегам — на огонь держи свой путь! — — — Удивляться ли нужно, что иногда — невольно задержавшись на миг, невольно сбившись с пути — ты теряешь новый темп жизни — темп Интернационала — — и тогда — тогда — кисельная Рассеюшка, переваливаясь с ноги на ногу,

шевеля тухлыми жирами, лениво почесывая затылок, лезет медленно — и тогда — тогда люди делаются человеками — — тогда начинается предпоследняя — четвертая — глава рассказа о большевиках.

Нужно. Нужно отбросить все личное, нужно всегда быть выше этого. Но — — —

Товарищ Комлев смотрит на часы. — Думаю, товарищи, что оставшиеся вопросы не столь важны, их можно отложить до следующего заседания. — И вот уже товарищ Сокирько отодвигает стул, предчека говорит соседу по столу — Нам, лахудра, по дороге, секретарь зевает, закрывает папку. — — — Ривенко поднимает рыжую свою голову. — Товарищ Комлев, вот какое дело, почему ты не ставишь на повестку мой вопрос? — Думаю, товарищ Ривенко, что это не так срочно. — Понимаешь какая штука? почему не срочно? Я внес это неделю тому назад, три заседания было. — У нас есть более срочные вопросы. — Я настаиваю, понимаете? Что это в самом деле? Член я исполкома? — У Комлева мелко, едва заметно, дрожат руки, шевелятся, скользят углы губ. — Товарищи, в такой обстановке я совершенно отказываюсь работать, это невозможно! У товарища Ривенко, видно, слишком много свободного времени, и он каждый раз выдумывает все новые проекты. Конечно — кто станет отрицать, — проекты — вещь хорошая, почему не забавляться? Но надо же все-таки знать всему меру, надо все-таки уметь обуздать свою фантазию, а главное — просто понимать, что является главным и что — второстепенным. — Товарищи, понимаете какое дело? Я не умею красиво говорить, но настаиваю на своем и совершенно официально прошу поставить вопрос на сегодняшнем собрании. — Заседание продолжается. — Может быть, товарищ Ривенко сам изложит свое предложение? — Могу! Дело вот в чем, товарищи. Мое предложение является как бы... ну, одним словом, вытекает из всего того, что нами проделано за последнее время. Товарищи, если человек приезжает к нам из Ресефесера, то удивляется и спрашивает — какая здесь власть? Не то Петлюра, не то гетман! В самом деле. Вывески висят, в лавочках продают пудру. Вот тебе и Советская власть! Что это, товарищи? Как это называется? Это, понимаешь какая штука, разгильдяйство называется и больше нет ничего. Мы должны, товарищи, привести город в надлежащий вид, чтобы каждый с первого же взгляда мог понять, в каком он государстве. Вот и весь мой сказ! — Комлев берет слово. — Товарищи, я взял слово только для того, чтобы раз навсегда покончить с этой демагогией. Надо в конце концов серьезно относиться к делу. Если бы товарищ Ривенко серьезно относился к своим обязанностям, то, конечно, не думал бы о таких пустяках. — При чем тут отношения к своим обязанностям? — Товарищи, прошу меня не перебивать, я отвечаю за каждое свое слово! Я именно утверждаю, что у товарища Ривенко нет серьезного отношения к делу. Отсюда — все эти смехотворные проекты. Конечно, каждый из нас в первую очередь доверяет самому себе. Из этого,

однако, не следует, что все должно базироваться на одной личности. Нужно уметь общественно ставить работу. У товарища же Ривенко такая постановка работы отсутствует. Взять хоть бы распределение вещей. На что это похоже? Насколько мне известно — вещи в собезе распределяются следующим образом. Приходит проситель в собез и обращается непосредственно к товарищу Ривенко. И вот товарищ Ривенко тут же решает вопрос. Одному выдает, другому отказывает. Почему? На каком основании? Это известно одному товарищу Ривенко! Никакого обследования, никакого учета, никакого контроля. Так, товарищи, работать нельзя! — Товарищи, мне тут, понимаете какая вещь, бросили тяжелое обвинение, и раз речь зашла, то я должен сказать. Товарищи, какие у меня работники? Одни буржуйчики и больше ничего! Стал я посылать этих супчиков на обследование и получилось горе. Настоящему нуждающемуся пролетарию они ничего не дают, а как попадут к своему брату, то напишут все, что угодно. Что я мог сделать? А тут еще с записочками стали ходить, товарищ Комлев тоже, кажется, не с одной запиской ко мне прислал — выдай тому, выдай другому! Так я устроил такой порядок. Я здешний человек. Работал здесь в подполье. Почти всех знаю. Я выдавал только тем, кого лично знаю, кто действительно нуждается и пострадал во время петлюровщины. С другими я так поступаю. После занятий, сколько это, понимаешь какая вещь, возможно, я сам произвожу обследования. Как хотите, товарищи, я нашел, что только так вещи могут быть по справедливости распределены. За каждую выданную вещь я отвечаю перед партией и всеми вами, вот какое дело! — Товарищи, я это не могу так оставить. Товарищ Ривенко только что бросил мне обвинение в том, что я кому-то выдавал какие-то записки. Я прошу, я требую огласить эти записки! — Товарищ Комлев, понимаешь какая вещь, не будем лучше об этом говорить. — Товарищи, бросьте друг друга грызть, давайте — вернемся к делу. — — —

Когда теряешь темп Интернационала — — тогда прет со всех сторон прелая Рассеюшка — — тогда женские слезы, к которым в Исполкоме привыкли, тогда женские тряпки — дороже восстания в Индии — — тогда люди делаются человеками, мелкими, как вши — — тогда на сцене появляется то, что в Советском лексиконе названо склокой — — тогда нет единого молота и цели нет единой — прекраснейшей во всем мире цели — — тогда — — —

— — — тогда в кабинете секретаря парткома сидят долго, курят, нервно шагают, карандашами пачкают чистые листы бумаги. Всем неловко и неудобно, как бывает, должно быть, неловко и неудобно летчикам на деревянных, скрипящих тротуарах.

Говорит Комлев: — Товарищи, я все-таки настаиваю на том, что Ривенко не в состоянии справиться с собезом. Никто, конечно, не будет спорить — Ривенко очень хороший и преданный большевик. В этом никто не сомневается. Я только говорю, что Ривенко слишком

долго был среди партизан и партизанские приемы старается ввести в Советскую систему! — Шевелятся, скользят углы губ, рука чертит все время карандашем, глаз не видать — их нет сейчас. — Послушай, Комлев, все это так. Нам все же нужны конкретные данные. — Товарищи, я указывал — — —

И не может, не может быть забыта невиданная картина — —

— - — Я не буду осматривать комнату товарища Комлева, личные его вещи, но все остальное я обязан осмотреть. У меня, товарищ, определенные инструкции и мой революционный долг — — —

И еще —

— — — Тряпки, тряпки, если у девятнадцатого века отнять тряпки, то — — — Ты и теперь мне откажешь? — Но, мама. — Нет, ты и теперь мне откажешь? — — —

— — — В снегах российских, в сугробах Октябрьских, — всегда ли найдешь дорогу? — — Я все-таки, товарищ Комлев, остаюсь при своем мнении! — И я! — И я! — Но, товарищи, я ведь вам заявил, что дальше так продолжаться не может. Или я — или он. — Так ставить вопрос нельзя! Можешь ли ты определенно говорить о каких-либо злоупотреблениях со стороны Ривенко? Конкретно и определенно! — Глаз Комлева не видать — их нет сейчас. — По гнилым и скрипящим тротуарам ходят летчики. Секунды и минуты, незаметные обычно в кабинете секретаря парткома, пухнут сейчас, останавливаются, замирают. — Я так вопрос не ставил... Указать на определенные злоупотребления я не могу. Я утверждал и утверждаю, что дела в собезе запутаны, запущены, что там господствует партизанщина, что Ривенко совершенно не в состоянии справиться с возложенной на него задачей и что на место заведующего собезом должен быть назначен более энергичный, более опытный товарищ, — вот о чем я говорю — — —

Когда — сбившись с пути — ты теряешь единственный огонь — — напрямик валяй, на огонь держи свой путь! — — теряешь темп Интернационала и женские тряпки — невольно совсем — становятся дороже восстания в Индии — — — тогда возможен такой разговор:

Тургеневская женщина: — Я все-таки не понимаю... Ведь ты у них высшее лицо, ну, главный комиссар, не так ли? Как же это тебе не подчиняются? — Лиза, это не совсем так... Но дело в том, что мы, по всей вероятности, его отзовем... — Но ты должен сразу его удалить. — Девятнадцатый век: — Ты мне, Константин, скажи прямо, я вашу политику не понимаю. Ты мне скажи прямо — отдадут мне мои вещи? Долго мы еще будем мучиться? — Мама, я ведь вам говорил — вы все вещи получите, я вам ручаюсь! — Когда? Когда? Я это, слава богу, слышу тысячу раз! Ты скажи мне всю правду! — Мама, я говорил — — —

Когда нет единого молота и цели нет единой — — тогда КАПЕ не дно слово, не одна мысль, не одна воля — — тогда товарищ Комзв — всегда, во всем — голосует против предложений товарища Ризнко, товарищ Ривенко — против предложений товарища Комлева — :егда, во всем, везде — — — тогда — если справа сидит Ривенко — іева сядет Комлев — — тогда с ненужным, злым смешком говорит омлев — наше рабочее крыло. — — — Тогда люди делаются человеами — — человеками мелкими, как вши — — и сразу блекнут, теряют ысл лучшие, нужнейшие в мире слова — — тогда — тупик — — — и огда — жива Революция, жив всемирный Октябрь, блещет, блещет цинственный огонь! — тогда на смену горькой этой главе идет новая, эследняя, пятая — — —

Глава пятая.

Большевики.

Товарищ! Гляди
В оба!
А. Блок.

Черным, тихим ночам — можно ли верить? Есть ли ночи такие в звятнадцатом? Вот лопнет, разорвется тишина — ночи в девятнадцам начинены мятежом, ночи в девятнадцатом изменчивы, ночи в звятнадцатом лихорадочны — — нет тиши, минула тихая погода — — — ря разбудила ветер — — —

Но ночь черна, как сажа и тиха ночь и спит все. — — — Кто не ит в такую ночь? — Не спят провода, глухо бормочут что-то свое, ухо бормочут провода — можно ли верить, можно ли?

Медное, с дырочками, колесо разворачивает белую бумажную нту, сухо капают стальные слезы та-та́-та, та-та́-та. — Когда никаго нет всемирного Октября — не было, нет, не будет — когда кровь кипит, как вода в Днепре — — — тогда очень это грустненько и — оже мой, как безысходно сидеть телеграфисту у железного, высокого скелета, слушать, как бурчит в пустом животе, красными глами смотреть на мигающий огонь, думать — до семнадцатого жилось ачительно лучше, думать — все сошли с ума, думать — не надо, каких не надо революций — — господи, какая была жирная ветчина тридцать — т-р-и-д-ц-а-т-ь! — фунт — — —

Когда никакого нет всемирного Октября — — — тогда, боже мой, чего не стоит спрыгнуть с крохотного ума, тогда в сердечке маленья такая затаенная злобишка, тогда спать так хочется, так хочется, все надоело, надоело — — только бы заснуть — — — Ночь черна, ка, спать хочется даже устало мигающей лампе — а-а-а-х — — — Но не ит железное, высоконогое чудище — можно ли тихим ночам верить? —

Капают стальные слезы — — а-а-а-х, чорт бы их драл, даже ночью не могут успокоиться, днем жрут ветчину и спят, а по ночам телеграммами тешатся — а-а-а-х! — —

Та-та́-та — та-та́-та — — срочно — та-та — Партком — та-та́ — 395-679-233-371-13 — Чортов шифр — делать им нечего — сволочьё — та-та — 321-913-29-111 — аааа-х — спать как хочется — та-та́-та — 197 — та — 39 — та — никогда это не кончится — 757 — черти — та — Андрей... Андрей... Вставай, Андрей! В большевистский комитет депешку отнеси. — Андрей! — та-та́-та, та-та́-та — Мелко, незаметно — — может — кажется только? — — дрожит железный, высоконогий скелет. — Капают сухо стальные слезы — — вот так — цифрами — рассказывают свою историю — та-та — 291-101 — та-та — — —

Ночь черна и тиха ночь, идет тулуп, в кармане — бланк телеграфный, на бланке свежим клеем — хорошо пахнет клей холодными зимними ночами! — приклеены белые, ровные ленточки, на ленточках — цифры, цифры рассказывают что-то свое — 395-679-293-371 — — —

Пока — ночь черна, как сажа, и тиха ночь, и спит все. Но — черным ночам можно ли верить? Есть ли ночи такие в девятнадцатом? — Стриженая девушка — дежурная в парткоме — рукой расправляет бланк, вместо цифр появляются буквы — буквы вырастают в слова — слова начинены динамитом, как ночи в девятнадцатом — мятежом — — — Кто спит в эту ночь? Кто может спать? - Слова начинены динамитом, слова не хотят лежать на бланке — — — За окном метель — где черная, тихая ночь? — за окном несказанная несется буря — и дышать так трудно, и дышать так страшно — и секунды растягиваются, как резина, и каждую секунду можно делить на шестьдесят минут. — Что за саботаж — дайте мне секретаря парткома товарища — — Товарищ? Это я! Получена телеграмма. Шифр. Я вам — вы слушаете? — я вам читаю содержание. Что? Сейчас приедете? Пока звонить ко всем, у кого телефоны имеются? Слушаю! — — —

— — — Большевики — не верьте тихим черным ночам девятнадцатого! Алло! — Так! — С винтовкой? — Так. — Немедленно? — Так! — По дороге передать близ живущим? — Так! — — —

— — — Большевики — тихим черным ночам девятнадцатого — не верьте. Большевики, уловившие темп музыки этой страшной, — большевики — слышите вы звуки зовущих фанфар? — Пусть в истерике бьется жена — надо, большевистское надо! — Можно ли верить тихим черным ночам, начиненным динамитом? — Большевики — революция в опасности — большевики — винтовку на плечо — большевики — в партком, в штаб Революции!

Слышут, слышут ли укрывающиеся теплым одеялом — верную эту поступь? — Видят, видят ли жаждавшие в крови — в рабочей крови — затопить революцию — видят ли они лица эти? — Большевики — нога в ногу — рука к руке — плечо к плечу — — лопнула динамитом начиненная ночь — — позвала — — вдруг, случайно, в ночь, в метель — — плечо

к плечу—рука к руке—нога в ногу—одна воля—одно желание—слышите вы звуки зовущих фанфар?———

——— Большевики—нога в ногу—рука к руке—плечо к плечу—одна воля—одно желание———слышите вы звуки зовущих фанфар?——— Ночь лопнула, воронка выскочила и—мясной лавиной двинулись большевики—мясной лавиной—чтоб заткнуть телами своими дыру———Слышит ли, видит ли мир, знает ли теплым, ватным одеялом укрывшееся человечество?———

——— Большевики—нога в ногу—рука к руке—плечо к плечу———кто прорвет эту цепь, эту живую, из стали, из живой стали—цепь?———Вейте ветры, неситесь снега, путайте дорогу, взрывайтесь динамитом начиненные ночи———все равно, все равно———Революция горит в сердцах миллионов, она оправдана, оправдана———и когда английского рабочего поведут на смертную казнь—он вспомнит никогда не виданную кирпичную, зубчатую стену и услышит, услышит сквозь метель и бурю——— Товарищ Ривенко?———Товарищ Комлев?——— И в темноте рука находит руку и в тесном пожатии встречаются руки——— Это было, товарищ Ривенко, чорт знает что... Позор был... Сейчас все кончено———Понимаешь какое дело, товарищ Комлев—даже вспомнить стыдно———

———. Слышит ли мир, знает ли?—Нога в ногу—рука к руке—плечо к плечу———Революция в опасности!———Одна воля—одно желание—слышите вы звуки зовущих фанфар, слышите ли?———

---

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? ведь каждый странник
Пройдет—зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит коноплянник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль.
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком,
Скажите так, что роща золотая
Отговорила милым языком.

Сергей Есенин.

Стружка.

Вьются кудри. Вьется стружка,
Завивается в кольцо...
Я была в селе пастушкой,
А теперь стою с резцом.
Не грустить мне в луговинах,
Не ронять сиротских слез,
Слышу говор голубиный
В ровном рокоте колес.
Заревой весенней речкой
Пролились девичьи дни...
Ой, станки—мои овечки!
Гуси-лебеди—ремни!
Я сегодня острой стружкой
От каленого резца
Невзначай и не в игрушку
Зацепила молодца.
Упадет коса на плечи,
Отдохнет мой самоход,
Раззвенится синий вечер
У фабричных у ворот.
И я встречусь у опушки,
Вешней новью весела,
С тем, кому я острой стружкой
Шибко сердце обожгла.

Ив. Мукосеев.

Урал.

Там, где сошлись восток и запад,
Ты псом сторожевым лежишь;
Раскинув каменные лапы
Оберегаешь рубежи.

И часто, берега раздвинув,
Тяжелый сотрясая стан,
Пургой в простуженную спину
Бьёт Ледовитый океан.

Но бросив дальние отроги,
В песок сыпучий, видишь ты,
Как дремлют древние дороги,
Которыми прошел Батый.

И как над сонною пустыней,
Такой же первобытный страж,
На солнце бархатную спину
Саянский выгибает кряж.

Н. Кауричев.

Милиционер Люкша.

Поэма.

На площади, за церковью старинной
Кирпичные торговые ряды.
Торгуют всем: и шелком, и овчиной,
И золотом, и ситцем, и холстиной,
И в снег, и в дождь, на метры и пуды.

Соборный крест под облако закинут,
Подкрашен он, и снова пущен в ход.
Последний поп с бородкой хворостинной
Опять вершит где свадьбу, где крестины,
За медный грош заливисто поет!

Торгует поп опять кадильным дымом:
Товар доходный, покупатель глуп.
И колокол в помёте голубином
Свой медный вздор по липовым вершинам
Бросает с медных потемневших губ.

Звон пò-ветру, как медная солома,
Летит на зелень богомольных спин.
А на углу, как раз у Исполкома,
Под медный ропот, перезвон знакомый,
Зевает сладко милицейский чин.

Не раз он был и сам в грехе замечен,
Не раз бывало: вот раздался звон,
И пятерня, припомнивши обычай,
Вдруг поднялась, перекрестила плечи,
А голова отвесила поклон!

Как власть — он строг, как человек — любезен,
В больших усах — махорки вечный дым.
Он весь в сукне, и в коже, и в железе,
На случай драки он не бесполезен
И для порядка он необходим.

Весь город знает ус его завитый,
Под красным бантом выпячена грудь.
Ночной порой веселые бандиты
От крепких рук и от свистков сердитых
Стараются недаром улизнуть!

Одна беда: состарился некстати.
Годов ему всего-то пятьдесят.
А вот поди же: в комиссариате
В досужий час его меньшие братья
Над старостью подтрунить норовят.

— А ну, Люкша̀, кто на углу с торговки
Два яблока себе в подарок взял? —
Конечно, тут Люкша̀ шел на уловки,
И все свои увертки и сноровки
В словесной схватке ловко применял.

Ребята ржут, как будто катят бочку.
Люкша̀ вспотел и вынул красный плат.
— А кто вчера крестил у Прова дочку? —
И ржут опять. Опять попали в точку:
Ведь так и есть, и тут он виноват.

Совсем старик замазался в причудах.
По службе грех, и голова в чаду.
Как будто бес на гуслях-самогудах,
Аль злые девки на крещенских блюдах
Наворожили склоку да беду!

Вчера Люкша̀ был вновь к стене придушен:
Был под хмельком, по правде — еле жив...
В базарных лавках долго бил баклуши,
Набрал, шутя, полны карманы груши
И помидор, и семячек, и слив.

Пришел в себя, когда уж было поздно:
С угла начальник глянул из очков, —
И площадь вся, как бы в бреду тифозном,
Вдруг завертелась, загудела грозно
И запрокинулась мильёнами подков!

Не спал всю ночь. На утро кличут хором
К начальнику — в знакомый кабинет,
Где сам Люкша̀ со старческим задором
Пыхтел не раз над письменным прибором
И натирал портянкою паркет.

Был разговор тут краток и понятен:
Люкша стоял, держа под козырек,
А сам начальник, весь из красных пятен,
Гремел, как гром из мировых громадин,
Где молнии — и вдоль, и поперек.

Да разве он, как человек служивый,
Повинен в том, что глупая рука
Вдруг по привычке, самому на диво,
Аль в яблоко, аль в решето со сливой
Меж разговором вцепится слегка!

Был во хмелю: ахти беда большая,
Коль в добрый час приятель и сосед
Сам пригласит Люкшу на чашку чая
Да и попросит, дружбой попрекая,
Окстить мальца, рожденного на свет!

Не знал Люкша: бросаться в ноги, в спор ли,
Околыш красный в картузе поблёк.
Люкшу, ахти, совсем к стене приперли.
Мигает глаз, а слово жмется в горле,
И ростом стал он ниже на вершок.

Одно понятно старому служаке:
Начальник зол, и горе, если он,
Люкша, в гражданской отличившись драке,
Теперь хоть раз, как торгашишко всякий,
В делах корыстных будет уличен.

Капут ему. Околыш красный спорют.
Сорвут, наверно, красный воротник.
А ведь хорош он, этот красный ворот,
Видать его на весь губернский город,
Хоть с виду он уж и не так велик!

Стал с этих пор седой Люкша моложе,
Вдвойне блюдет порядок и закон...
Движенье улиц взвешивает строже,
И уж теперь торговок песьи рожи
Не прошмыгнут, чтоб не заметил он.

В уме плывут догадки, точно птицы:
Перед начальством не ударить в грязь.
Где только можно, — надо отличиться,
Искать—к чему и как бы прицепиться,
Ни черных пуль, ни смерти не боясь!

И вот однажды видит он под вечер,
Когда витрины вспыхнули кругом,
Идет стеной, как раз ему навстречу,
С корзиной тень, — старушья аль девичья, —
Не разобрать в чаду вечеровом.

Пришла и стала возле фонаришки.
— Вот яблочков-то, яблочков кому! —
Люкша подкрался, хвать ее под-мышки.
— Ага, попалась! — гаркнули мальчишки
И разлетелись в уличную тьму.

Люкша едва справляется с добычей.
Не баба — чорт, вот только нет хвоста.
Завыла в голос, голос будто птичий,
Но зад широк, и как подушки — плечи,
И грудью, право, до греха толста.

— Да што ты, леший... не узнал ты, — што ли? —
Уперлась баба. Поглядел Люкша:
Жена Федорка в клетчатом камзоле
С расшитым петухом на выцветшем подоле, —
Широкой рожей больно хороша.

Костит Люкшу на все четыре корки...
— Аль окосел, жену в участок прёшь? —
Глаза Люкши еще светлы и зорки,
Но сделал вид, что не узнал Федорки,
И пригрозил отсидкой за дебош.

Жена Люкши и сам Люкша в участке:
Разбитый нос, и рожа вся в слезах.
Бывает явь чуднее всякой сказки, —
Начальник в кресле хохотал до тряски,
Тряслась вся служба хохотом в дверях.

А утром вновь Люкша наш в кабинете.
— Ну, как уволишь эту простоту? —
Вновь улица дрожит в фонарном свете,
И вновь Люкша и в снег, и в дождь, и в ветер
Стоит, как прежде, на своем посту.

Жена Федорка, как и прежде, плечи
И грудь свою закутывает в шаль,
Об аресте уж не заводит речи,
И яблока хорошего при встрече
Для мужа ей нисколечко не жаль!

Петр Орешин.

В наши годы.

М. Голодному.

В наши годы сердце не остудишь,
Мысль резва, как на ветру листва.
Говорят, что скоро выйдем в люди
И, как все, мы, и, как всё, забудем
Годы шалостей и озорства.

Месяца, мелькнувшие стрелою,
Выстрелом промчавшиеся дни;
Опьяненные лихой борьбою,
Радостей шумливые прибои,
Грусти молчаливые огни.

Говорят, — затихнет понемногу
Кровь, не устающая бурлить.
А потом расчетливо и строго,
Как коня в далекую дорогу,
Жизнь мы перестанем торопить;

Перестанем горячить друг друга
С безудержной хваткой сорванцов...
Будет шаг спокойным и упругим,
Потускнеет глаз горящий уголь,
И не вспыхнет знаменем лицо.

Говорят... Но как тому поверю?..
Может быть... Ах, нет, не может быть!..
Эй, постойте! Вы ошиблись дверью.
Эй, не смейте больше говорить!

Ну, так что же, что законы солнца
Не из Кодекса СССР?!
Ну, так что ж,
Что завтра комсомольцем
Будет тот, кто нынче пионер.

И любой из нас, кто так неистов,
В ком вкреплен грядущего размах,—
Будет в „клубе старых коммунистов"
Вспоминать
О пережитых днях?!.

Все равно, в любом: и в том, и в этом,
Даже в тех, кто в скорый срок умрет,—
Как заря, неугасимым светом,
Как моря, лазурно-бурным цветом,
Молодость бессмертием цветет!

Наши годы не сковать покоем.
В наши годы только бурям петь.
В наших годах что-то есть такое,
Вечное,
Великое,
Живое,—
Что никак не может умереть!..

Выйдем мы, но по иному в люди.
К нам в глаза попристальней взгляни:
В них — огни, огни, огни, огни!..
В наши годы сердце не остудишь.
Юность не погасишь в наши дни!

Александр Жаров.

Из тарантаса.

... За будкой тает сизый дым
С последним вздохом паровоза...
Я снова кланяюсь родным
Полям, зажухлым от мороза.

И с теплой радостью у глаз,
Забывши блеск и шум столицы,
Сажусь в плетеный тарантас
Простого сельского возницы.

Пузатый мерин и дуга...
Как это мне давно знакомо!
Но по особому в ногах
Хрустит немятая солома...

И по особому в дали
В молочно-розовом тумане
По шпалам рельсы потекли
От станционных красных зданий.

И все — и небо, и земля,
И холод блеклого рассвета
Во мне сегодня шевелят
Невольно русского поэта.

И как-то кажется давно,
А может быть совсем недавно
Мне было просто все равно
Качаться в тарантасе плавно.

И пыль проселочных дорог,
И удивленный вид избенок
Я безучастно встретить мог,
Как занятый собой ребенок.

Но вот сейчас, но в этот час
С такою благостью и грустью
Я словно встретил первый раз
Свое родное захолустье!

И при одном лишь виде пня,
Кривого кустика березы
За глотку цапают меня
Все искупающие слезы...

И я, чужой, залетный гость,
Не нагляжусь на это поле,
И словно острый-острый гвоздь
Живая радость душу колет.

Не нагляжусь—не разберусь
В своем запутанном вниманье,
И только сердцем чую, Русь,
Твое огромное дыханье.

И в крепкой жухлости полей,
И в детском облике природы
Под клик осенних журавлей
Мне снятся золотые всходы...

И оттого-то в этот час
Сквозь окна сереньких домишек
Я с теплой радостью у глаз
Смотрю на баб и ребятишек...

И оттого-то мужикам
С такою гордостью при встрече
Моя мужицкая рука
Ломает шапку из-далече...

Павел Дружинин.

Волчьи ворота.

В ущельи, где не водой—река
Бурливая брызжет жолчью,
Встают ворота издалека:
Утесы—серые—волчьи.

Раздвинувшись, тяжелея, висят
Над теменем водокачки.
Ключи протекают хвостами крысят,
Спадают орешные пачки.

Да коршун в небо шмыгнет.—За то
Все дни, вечера и ночи
Бормочет неугомонный мотор
И бодрствует рабочий.

Он день и ночь стоит на посту
У дышащей грузно машины,
А сосны выше утесов растут,
Раскачивая вершины.

Но с мглистым лицом человек привык
Уверенным ухом слушать,
Как шлепает мерно ремнем маховик,
Как пышет железная туша.

В тот вечер берег был слишком покат,
Песок галунами измызган,
Дыханьем душным пропах закат,
Сверкая по хлестким брызгам,—

На повороте проезд горбат—
С раскатистого откоса
Скрипела нагруженная арба
И всхлипывали колеса.

Сгрудились тучи. Пахло грозой.
Упружились шеи бычьи.
Ветер вперед летел борзой,
Вынюхивая добычу.

Испуганно лопотал лопух,
Широкий и неуклюжий.
Поток почернел, зашипел, распух,
Тяжелым громом напружен.

Слабеет ярмо, лозина свистит.
Ворота все уже сжаты.
Ослепших волов к скале не свести—
С обрыва—арба, вожатый...

Расплескивающаяся мгла,
Крик, смытый с губ, щепы—
Все видел остекленелый глаз...
Но пламень крепчает свирепый,

Стекает черной слезой нефть,
Насос упорней бормочет—
С масленкой в пальцах, окаменев,
Стоит напряженный рабочий:

Не дрогнет жилистая рука,
И сам он не дрогнет, молча,
В ущельи, где бешеная река
И где ворота—волчьи!

Александр Гербстман.

Льны.

Мой край любимый в льны наряжен,
Не помнит он себя в былом.
Любовь и дружбу льнами вяжут
Поселки ткацкие с селом.

Пьянее сердце стало биться,
Прислушиваться каждый день,
Как ветры о весенних ситцах
Поют, хватаясь за плетень.

Как вечер, сунувшись за полем,
Дрожит от заводских гудков,
Чтоб я готов был с хлебом-солью
Встречать железных батраков.

Федор Федоров.

Ирбит.

Лунной водою облитый
Вспыхнул осиновый лог
За горностайным Ирбитом
Много оленьих дорог.

Лесом и тундрой горбатой
Скачет курган на курган—
Иди задушит сохатый,
Или убьет партизан.

Ярмарка, ситцевый сварень,
Снегом закружит пути.
Думает старый татарин
Счастье купцово найти.

Кажется жидкой и клейкой
Эта пустынная высь.
Звезд золотые копейки
К синему скату неслись.

Лиственный воздух на склоне
Не захлестнет синевой,
Пьяные рыжие кони
Ночью догнали его.

Кто это медленно грабил,
Вспыхивал лунный пожар,
И разноцветною рябью
Проколыхался товар.

Сколько ты прожил на свете,
Мудрость татарская где?
Кровь на зеленом бешмете
Слезы зарыл в бороде.

Карканьем черной вороны
Падают звоны копыт.
Маленький твой татарченок
Не позабудет Ирбит.

Пьяное дикое ржанье
В ярмарочном дыму,
Дряхлые своды Казани
Снились наверно ему.

Лесом и тундрой горбатой
Скачет курган на курган—
Или задушит сохатый,
Или убьет партизан.

Джек Алтаузен.

Воспоминания о Владимире Ильиче.

В. Розанов.

Раннее утро. Меня подняли с постели, сказавши, что нужно ехать в Кремль на консультацию к Председателю Народных Комиссаров, Влад. Ил. Ленину, которого ранили вечером и которому стало теперь хуже. Ехал с каким-то напряженным чувством той громадной ответственности, которую на тебя возлагают этим участием в консультации у Ленина, того Ленина, который возглавляет всю нашу революцию, направляет и углубляет ее. Сложное это было чувство; за давностью времени кое-что уже стерлось, но, кроме этой напряженности, очевидно, здесь была и доля любопытства — поглядеть поближе на вождя народа, может быть, некоторое чувство робости...

Небольшая комната, еще полумрак. Обычная картина, которую видишь всегда, когда беда с больным случилась внезапно, вдруг: растерянные, обеспокоенные лица родных и близких — около самого больного, подальше стоят и тихо шепчутся тоже взволнованные люди, но, очевидно, уж не столь близкие к больному. Группой с одной стороны около постели раненого — врачи: Вл. Мих. Минц, Б. С. Вейсброд, Вл. А. Обух, Н. А. Семашко—все знакомые. Минц и Обух идут ко мне навстречу, немного отводят в сторону и шопотом коротко начинают рассказывать о происшествии и о положении раненого; сообщают, что перебито левое плечо одной пулей, что другая пуля пробила верхушку левого легкого, пробила шею слева направо и засела около правого грудно-ключичного сочленения. Рассказывали что Вл. Ил. после ранения, привезенный домой на автомобиле, сам поднялся на 3-й этаж и здесь уже в передней упал на стул. За эти несколько часов после ранения произошло ухудшение как в смысле пульса, так и дыхания, слабость нарастающая. Рассказавши это, предложили осмотреть больного.

Сильный, крепкий, плотного сложения мужчина; бросалась в глаза резкая бледность, цианотичность губ, очень поверхностное дыхание. Беру Владимира Ильича за правую руку, хочу пощупать пульс, Владимир Ильич слабо жмет мою руку, очевидно, здороваясь, и говорит довольно отчетливым голосом: «да, ничего, они зря беспокоятся». Я ему на это: «молчите, молчите, не надо говорить». Ищу пульса и к своему ужасу не нахожу его, порой он попадается, как нитевидный. А Вл. Ильич опять что-то говорит, я на-

стоятельно прошу его молчать, на что он улыбается и как-то неопределенно машет рукой. Слушаю сердце, которое сдвинуто резко вправо,— тоны отчетливые, но слабоватые. Делаю скоро легкое выстукивание груди,— вся левая половина груди дает тупой звук. Очевидно, громадное кровоизлияние в левую плевральную полость, которое и сместило так далеко сердце вправо. Легко отмечается перелом левой плечевой кости, приблизительно на границе верхней трети ее с средней. Это исследование, хотя и самое осторожное, безусловно очень болезненное, вызывает у Вл. Ил. только легкое помарщивание, ни малейшего крика или намека на стоны. О результатах своего осмотра быстро сообщаю Вл. А. Обуху, который стоит здесь рядом со мной, нагнувшись над раненым. Вл. А. Обух, соглашаясь со всеми находимыми мною данными об'ективного исследования, все время шопотом говорил: «Да, да», и мы оба настойчиво просим Вл. Ил. не шевелиться и не разговаривать. Вл. Ил. в ответ на наши слова молчит, но улыбается. Идем в другую комнату на консультацию, по дороге в коридорчике меня останавливает Надежда Константиновна и двое из незнакомых мне — кто, не помню — и тихо спрашивают: «ну, что?». Я мог ответить только: «тяжелое ранение, очень тяжелое, но он сильный». На консультации мне, как вновь прибывшему врачу, пришлось говорить первому. Я отметил, что здесь шок пульса от быстрого смещения сердца вправо кровоизлиянием в плевру из пробитой верхушки левого легкого и центр нашего внимания, конечно, не сломанная рука, а этот так наз. гэматоторакс. Приходилось учитывать и своеобразный, счастливый ход пули, которая, пройдя шею слева направо, сейчас же непосредственно впереди позвоночника, между ним и глоткой, не поранила больших сосудов шеи. Уклонись эта пуля на один миллиметр в ту или другую сторону, Владимира Ильича, конечно, уже не было бы в живых. Военный опыт после годов войны у нас, у хирургов, был очень большой, и было ясно, что если только больной справится с шоком, то непосредственная опасность миновала, но оставалась другая опасность, это опасность инфекции, которая всегда могла быть внесена в организм пулей. Эту опасность предотвратить мы уже не могли, мы могли ее только предполагать и бояться, так как она была бы грозной: страшно было и за плевральную полость и за пулевой канал на шее, который пронизал, очевидно, в нескольких местах шейную клетчатку, да еще такую клетчатку, как заглоточную. Все эти тревоги и опасения были высказаны мною, равно как и другими врачами. Соответственные мероприятия были выработаны очень легко: абсолютный покой, все внимание на сердечную деятельность, руку временно приходилось забыть, для нее только легкая контентивная повязка, чтобы трущиеся при невольном движении отломки костей не доставляли раненому ненужных страданий. Я с удовольствием согласился и поддерживал предложение Вл. А. Обуха пригласить вечером на новую консультацию д-ра Николая Николаевича Мамонова, большого терапевта, талантливого и удивительного мастера в подходе к больному. Такой врач нам, хирургам, был нужен, чтобы детальнее следить за изменениями в плевре и в легком. Вопрос о том, нужно или нет вынимать засевшие пули, без малейших колебаний был сразу решен от-

рицательно. После консультации длинное и долгое обсуждение официального бюллетеня о состоянии здоровья Вл. Ил. Приходилось тщательно и очень внимательно обдумывать каждое слово, каждую запятую: ведь нужно было опубликовать перед народом и миром горькую правду, исход был неизвестен, но это нужно было сказать так, чтобы осталась надежда.

После этого опять пошли к Вл. Ил. Около него сидела Надежда Константиновна. Вл. Ил. лежал спокойно, снова наша настойчивая просьба не шевелиться, не разговаривать. На это — улыбка и слова: «ничего, ничего, хорошо, со всяким революционером это может случиться». А пульса все нет и нет. Вечером снова консультация и так каждый день, утром и вечером, пока дело не наладилось, т.-е. 4—5 недель.

Пульс восстановился только через 2-е суток, т.-е. стал таковым, что его можно было назвать удовлетворительным. Через четыре дня общее состояние настолько улучшилось, что позволительно было подумать о том, чтобы приняться за правильное лечение перебитой руки.

Опасность инфекции как будто миновала, и могучая натура Вл. Ил. стала быстро справляться с громадным кровоизлиянием в плевру. Выпот быстро всасывался, сердце возвращалось к нормальному положению, дышать больному становилось все легче и легче, а нам, врачам, становилось все труднее и труднее: дело в том, что как только Вл. Ил. стал чувствовать себя лучше, как только у него поокреп голос, заставить его быть спокойным, заставить его не шевелиться, не разговаривать, заставить его поверить нам, что опасность еще не миновала,—представлялось совершенно невозможным: он хотел и работать, и быть в курсе всех дел. На наши приставания: всегда улыбка, всегда очень милая, но совершенно откровенная, т.-е. «я вам верю, верю, что вы говорите по совести, но»... Вот это-то «но» и заставляло нас быть благодарными переломанной руке. Рука была повешена на вытяжение и тем самым волей-неволей приковывала Вл. Ил. к постели. Сращение руки шло прекрасно, и недели через 3 появилась уже настолько хорошая спайка, что удерживать Вл. Ил. в постели не представлялось нужным, так как вытягивающий груз можно было хорошо приспособить и при вертикальном положении больного.

Вл. Ильич нас, врачей, меня в частности, всегда встречал очень радушно и приветливо, хотя неоднократно высказывал свое неудовольствие, очень искренно и горячо, что нас заставляют навещать его 2 раза в день, отрывая нас от других больных. Я ему на это всегда отвечал: «Вл. Ил., ведь вы тоже больной и больной серьезный, со всех сторон». Раз он мне за это «со всех сторон» и ответил довольно сердито: «а разве от «этих сторон» болезнь течет иначе? все ведь это товарищи пристают». Я ему на это: «обязательно, Вл. Ил., иначе, все равно, как у врачей: до 7-го колена болезни текут всегда как-то шиворот навыворот». Вл. Ил. рассмеялся и, сказавши: «Вас не переспоришь», со смехом стал снимать сорочку, чтобы проделать скучную процедуру выстукивания и выслушивания легкого.

Выражаясь нашим врачебным языком, можно сказать, что случай протек изумительно гладко: выпот в плевру рассосался бесследно, легкое рас-

правилось совершенно. Я не помню, чтобы тогда мы отмечали что-либо особенное в смысле склероза, склероз был соответственный возрасту. Спайка руки шла прекрасно, были только небольшие боли по тракту лучевого нерва, небольшие, очевидно, зависящие от ушиба этого нерва одним из отломков сломанной кости. На руку был сделан протезным заводом легкий, с'емный кожаный протез с шинками, с'емный, чтобы можно было сделать массаж, и Вл. Ил., по настоянию всех врачей, уехал на несколько недель в деревню. Уехать было необходимо, так как здесь, в Кремле, Вл. Ил. все-таки занимался, а отдохнуть и набраться сил после тяжелейшего ранения было нужно. В конце сентября Вл. Ил. приехал показаться нам, лечащим врачам, т.-е. В. М. Минцу, Н. Н. Мамонову и мне. Вл. Ил. выглядел прекрасно: бодрый, свежий, со стороны легких и сердца — полная норма, рука срослась прекрасно, так что протез свободно можно было бросить; жалоба только одна: неприятные, порой болевые ощущения в большом и указательном пальцах больной руки — результат указанного выше ушиба лучевого нерва. На этой консультации было решено, что д-ру Мамонову делать больше нечего, а мы, хирурги, увидимся еще раз недели через 1½ — 2. Вл. Ил. во время этой консультации долго болтал с нами, расспрашивал меня про нашу больницу, обеспокоился тем, что у нас уже начались затруднения с отоплением корпусов, что-то записал себе на бумажке, при этом долго смеялся тому, что нигде у себя в комнате не мог найти какой-либо бумажки, говоря: «вот, что значит быть председателем». На мой вопрос: беспокоят ли его пули, из которых одна на шее прощупывалась очень легко и отчетливо, он ответил отрицательно и при этом, смеясь, сказал: «а вынимать мы с вами их будем в 1920 году, когда с Вильсоном справимся».

На последней консультации, когда мы распрощались с Вл. Ил., произошел один маленький эпизод, который хорошо выявляет удивительную деликатность и чуткость Вл. Ил. От Ц. К. ко мне несколько раз обращались с вопросом о гонораре за лечение Вл. Ил. Говорил об этом и Вл. А. Обух, которого я очень просил, чтобы этот вопрос о деньгах не поднимался.

Я эти разговоры передал, конечно, коллегам Минцу и Мамонову; нам казалось совершенно невозможным представлять какой-то счет Вл. Ил., выздоровление которого мы буквально сами переболели.

Вл. Ил. решил этот вопрос сам деликатно и великолепно. На последней консультации были только я и В. М. Минц. Осмотрели, побеседовали немного, попросили его некоторое время массировать руку, указывали ему на необходимость беречься и позаботиться о том, чтобы в квартире было потеплее. Здесь Вл. Ил. нас насмешил и сам посмеялся: «Вы говорите — потеплее, велел себе электрическую печку поставить, — поставили, а оказывается это против декрета; вот как быть? — придется все-таки оставить... по предписанию врачей». Хотим проститься (я не помню, кто с нами здесь еще был, кажется Мария Ильинична),—Вл. Ил. встает как-то немного смущенный, и говорит: «на минутку», зовет в спальню. Протягивает одной рукой конверт В. М. Минцу, а другой — мне. И, буквально конфузясь, говорит: «Это—за лечение, я глубоко вам благодарен, вы так много на меня тра-

тили времени». Мы с Минцем оба смешались на несколько секунд и держались за конверты, которые оставались в руках у Вл. Ил. Выйдя из этого замешательства, я, наконец, сказал: «Владимир Ильич, может быть, можно без этого,—поверьте, мы рады, что вы выздоровели, искренно рады и благодарны за то, что вы выздоровели». Минц, тоже волнуясь, сказал что-то в этом роде. Вл. Ил. немного прищурился на меня, поглядел как-то пристально, бросил конверты, кажется, на постель, подошел почти вплотную, крепко, крепко пожал руку, взял меня рукой за плечо и, волнуясь очень заметно, произнес: «Бросим это, спасибо, еще раз благодарю». Сказал он это так хорошо и искренно, что мне тоже хорошо стало. Он проводил нас до двери, еще раз пожал мне не руку, а плечо и сказал: «если что-либо нужно будет — скажите». Приехавши домой, я сейчас же позвонил Вл. А. Обуху, о том, что у меня гора с плеч свалилась, рассказал ему всю сценку и сказал, что теперь вопрос о гонораре, мне кажется, ликвидирован окончательно. Больше никакого разговора ни с кем о гонораре не было.

Нам, работникам Солдатенковской больницы, которая стоит за 2 версты от заставы, зима 1918 и 1919 г.г. была очень трудна—и холодно, и голодно. Рядом с больницей расположен был так называемый Петровский огород. Получить этот огород для нужд коллектива служащих было крайне желательно, так как он был бы большим подспорьем, особенно, в смысле снабжения картофелем. Начались хлопоты, т.-е. бесконечное хождение наших представителей по различным учреждениям, но все без толку.

Наконец, я совместно с представителями нашей больницы и Октябрьской—написал прошение Вл. Ил., которое и передал ему через Надежду Константиновну д-р Ф. А. Гетье (лечивший в это время Над. Конст. и часто бывавший у Лениных). Вл. Ил. не только быстро помог нам получить этот огород в наше общее пользование, но и потом не забывал про него все годы, звонил ко мне по телефону, спрашивал как идут дела, не нужно ли чего еще, и много раз присылал самокатчиков с коротенькими записочками, вроде такой: «тов. Розанов, как дела на огороде, что нужно?»; или так: «тов. Розанов, будет ли урожай. сколько придется на каждого? Привет». Мы все, Солдатенковские, были ему бесконечно благодарны за эту заботу. Приходилось только удивляться, как он среди груды работы умудрялся не забывать такой песчинки, как наш огород.

Когда я оперировал т. Сталина, который лежал у меня в больнице. Вл. Ил. ежедневно два раза, утром и вечером, звонил ко мне по телефону и не только справлялся о его здоровье, а требовал самого тщательного и обстоятельного доклада. Операция тов. Сталину была очень тяжелая: помимо удаления аппендикса пришлось сделать широкую резекцию слепой кишки и за исход ручаться было трудно. Вл. Ил. видно очень беспокоился и сказал мне: «Если что, звоните мне во всякое время дня и ночи». Когда на 4-й или 5-й день после операции всякая опасность миновала и я сказал ему об этом, у него видно от души вырвалось: «Вот спасибо-то, но я все-таки каждый день буду звонить к вам». Навещая тов. Сталина у него, уже на квартире, я как-то встретил там Вл. Ил. Встретил он меня самым приветли-

вым образом, отозвал в сторону, опять расспросил, что было со Сталиным; я сказал, что его необходимо отправить куда-нибудь отдохнуть и поправиться после тяжелой операции, на это он: «вот и я говорю то же самое, а он упирается, ну, да я устрою, только не в санаторию, сейчас только говорят, что они хороши, а еще ничего хорошего нет». Я говорю: «Да пусть едет прямо в родные горы». Вл. Ил.: «Вот и правильно, да подальше, чтобы никто к нему не приставал, надо об этом позаботиться». А сам бледный, желтый, усталый. «Вл. Ил., вам бы самим-то отдохнуть не мешало».—«Нет, нет, я совсем здоров, — засмеялся, пожал руку и почти убежал, а на пороге обернулся и сказал, — правда, правда, здоров, скоро по тетеревам».

Помню хорошо еще одну встречу с Вл. Ил. Лежал у меня в больнице Гр. Як. Сокольников. Доставили его ко мне в довольно тяжелом состоянии, боли в правой почке и правой ноге, повышенная температура. Приходилось делать довольно сложные исследования. Тов. Сокольников налаживался медленно, был слаб; через несколько дней он обращается ко мне с просьбой разрешить ему принять комиссию, которая приедет к нему сегодня, чтобы переговорить о каких-то важных государственных делах. Я запротестовал, но он настаивал, говоря, что это необходимо, что приедет и Вл. Ил. Пришлось уступить. Вл. Ил. скоро приехал, с ним еще несколько человек. Я встретил Вл. Ил. и сказал ему, что боюсь за Сокольникова, что эта комиссия принесет ему вред. Вл. Ил. на это: «да уж очень нужно срочно, а он хорошо знает Туркестан», при этом он приложил палец к губам. «Давайте Вл. Ил. по часам — 30 минут, а потом я к вам приду». Устроил я их для беседы в лаборатории. Ровно через ½ часа вошел я к ним; смотрю, Г. Я. Сокольников сидит совершенно бледный. Вл. Ил. вынул часы, положил их перед собой и сказал: «точно через 5 минут». И действительно ровно через 5 минут беседа была закончена. Вл. Ил. отвел меня в сторону, подробно расспросил про болезнь Сокольникова, потом спросил, как у нас идет работа в больнице, и на прощанье сказал: «Ну, а огород-то как?» — «Кряхтит», ответил я. «Почему так?» — «Да хозяев уж очень много, все совещаемся». Вл. Ил. улыбнулся и сказал: «У нас все еще так, много совещаемся; ну, если нужно, позвоните. А у вас здесь очень чисто и хорошо, как-то и на больницу не похоже. Ну, простите, я, небось, оторвал вас от работы, ведь опять резать пойдете? Идите, идите, не провожайте, до свидания». Пошел, потом сейчас же вернулся и спросил: «А Сокольникова-то скоро выпустите?». Я ответил, что и сам не знаю.

После этого я и Вл. Ил. увидались 21 апреля 1922 года. Накануне вечером мне позвонил Ник. Ал. Семашко и сказал, что он просит меня завтра поехать к Вл. Ильичу: приезжает проф. Борхардт из Берлина для консультации, так как нужно удалить пули у Вл. Ил. Я ужасно удивился этому и спросил: «почему?». Ник. Ал. рассказал мне, что Вл. Ил. последнее время стал страдать головными болями, была консультация с проф. Клемперером (большой германский профессор, терапевт). Клемперер высказал предположение и, очевидно, довольно определенно, что эти боли зависят от оставшихся в организме Вл. Ил. пуль, якобы вызывающих своим свинцом отравле-

ние. Мысль эта мне, как хирургу, перевидавшему тысячи раненых, показалась прямо странной, что я и сказал Николаю Александровичу. Ник. Ал. со мной соглашался, но все-таки на консультацию нужно было ехать.

Консультация была интересная. Я заехал за Борхардтом, и мы вместе с ним поехали в Кремль. С нами поехала еще женщина-врач, фамилии не помню, на которую была возложена обязанность быть переводчицей. Нас провели прямо в кабинет Вл. Ил., который сейчас же вышел к нам, поздоровался, переводчице сказал, что она нам не нужна: «сами сговоримся», и пригласил нас к себе на квартиру. Здесь кратко, но очень обстоятельно он рассказал нам о своих головных болях и о консультации с Клемперером. Когда Вл. Ил. сказал, что Клемперер посоветовал удалить пули, так как они своим свинцом вызывают отравление, вызывают головные боли, Борхардт сначала сделал удивленные глаза и у него вырвалось unmöglich (невозможно), но потом, как бы спохватившись, вероятно, для того, чтобы не уронить авторитета своего берлинского коллеги, стал говорить о каких-то новых исследованиях в этом направлении. Я определенно сказал, что эти пули абсолютно не повинны в головных болях, что это невозможно, так как пули обросли плотной соединительной тканью, через которую в организм ничего не проникает. Пуля, лежавшая на шее, над правым грудино-ключичным сочленением, прощупывалась легко, удаление ее представлялось делом не трудным и против удаления ее я не возражал, но категорически восстал против удаления пули из области левого плеча: пуля эта лежала глубоко, поиски ее были бы затруднительны; она так же, как и первая, совершенно не беспокоила Вл. Ил., и эта операция доставила бы совершенно ненужную боль. Вл. Ил. согласился с этим и сказал: «ну, одну-то давайте удалим, чтобы ко мне не приставали и чтобы никому не думалось». Сговорились на другой день проверить положение пуль по Рентгену в Институте акад. Лазарева. При рентгеноскопии пули были видны прекрасно, они немного сместились, сравнительно с тем, что мы видели на рентгенограммах после ранения. Сделали рентгеновские снимки в различных направлениях. После этого Вл. Ил. пошел с П. П. Лазаревым осматривать Физический Институт, но осмотр этот не удался, так как Вл. Ил., дойдя до комнаты, где у П. П. Лазарева были собраны материалы по Курской аномалии, заставил П. П. познакомить его с этими материалами самым подробным образом. Вл. Ил. слушал очень внимательно, о многом переспрашивал, видно, что он углубился в вопрос. Уезжая, Вл. Ил. сказал, чтобы П. П. Лазарев продолжал держать его в курсе дела. Об операции было условлено делать ее у меня завтра 23 апреля и что Вл. Ил. приедет в 12 часов. Я предложил Борхардту приехать ко мне в больницу к 11 часам, думая показать ему до операции хирургические отделения, но проф. Борхардт просил разрешения приехать в 10½ час. Я, конечно, не возражал, думая, что он хочет поподробнее посмотреть нашу больницу. Борхардт приехал и притащил с собой громаднейший, тяжелый чемодан со всякими инструментами, чем премного удивил и меня, и всех моих ассистентов. Инструментов для операции требовалось самый пустяк: несколько кровеостанавливающих зажимов, пинцет, зонд, ножницы, да скальпель, — вот и все, а он притащил их целую

гору. Я успокоил его, что у нас есть все, все приготовлено, готов и раствор новокаина, есть и перчатки, и так как до приезда Вл. Ил. оставалось еще 1½ часа, предложил ему познакомиться с хирургическим корпусом. Он видно волновался и сказал, что хочет начать готовиться к операции. После этого Борхардт стал говорить, чтобы оперировал я, а он будет ассистировать, я ему на это ответил, что оперировать должен он, а я с удовольствием ему поассистирую. Борхардт еще несколько раз повторил это свое предложение, что он будет помогать при операции. Так я и до сих пор не знаю, зачем он это говорил,—думаю, из галантности. О самой операции Владимир Ильич потом как-то на перевязке сказал мне и д-ру Очкину: «я думал, что вся эта процедура будет гораздо скорее; я бы сдавил так — да и разрезал, пуля и выскочила бы; а то это все для парада было». Пришлось невольно рассмеяться и почти согласиться с ним. Вл. Ил. приехал точно в 12 час., с ним тов. Беленький и еще кто-то из охраны. Приехал и Н. А. Семашко. В операционную вошел, конечно, только Ник. Ал., который спросил меня «кто же будет оперировать?». Я ему ответил: «немец, конечно, для чего же он приехал?». Ник. Ал. согласился с этим. Операция прошла вполне благополучно, Вл. Ил. видно совершенно не волновался, во время самой операции только чуть-чуть морщился. Я был уверен, что операция будет амбулаторная и Вл. Ил. через ½ часа, после операции, пойдет домой. Борхардт категорически запротестовал против этого и потребовал, чтобы больной остался в больнице, хотя бы на сутки. Я не возражал против этого, конечно, так как стационарное наблюдение всегда гораздо покойнее. Но куда мне было положить такого пациента, как Владимир Ильич? Отделение было переполнено, но — кем? Я знал, чем каждый из них болен, но совершенно не представлял себе, что может быть на уме у моих больных. Посоветовавшись с главным доктором Вл. Ил. Соколовым, мы решили положить Вл. Ил. в 44-ю палату на женское отделение; палата было отдельная, изолятор, лежавшую там больную легко можно было перевести в общую палату. Вл. Ил. сначала очень запротестовал и не хотел оставаться в больнице «из-за пустяков». Пришлось уговаривать, указывать, что после кокаина может появиться и тошнота, и рвота, может быть головная боль и нам удобнее будет его наблюдать. Вл. Ил. долго не соглашался на наши уговоры, последней каплей, кажется, были мои слова: «я даже для вас, Вл. Ил., палату на женском отделении приготовил». Вл. Ил. рассмеялся, сказал «ну вас» и остался.

Это неожиданное помещение в больницу, конечно, наделало много хлопот не нам, больничным, а, главным образом, охране и обеспокоило Надежду Константиновну и Марию Ильиничну, которые и звонили ко мне и потом приехали. Мар. Ил. беспокоилась, накормят ли Вл. Ил. Я успокоил, сказавши, что и позаботимся со всех сторон, и покормим, и напоим.

Вл. Ил., как всякий больной, поступающий в больницу, был проведен по всем бумагам, была написана история болезни, которую заполнил Вл. Ив. Соколов, главный доктор. Вл. Ил. беспрекословно подчинился больничным порядкам, очень любезно принял д-ра Соколова, отвечал на все его вопросы, дал себя выслушать и выстукать. Из этой истории болезни позволю

отметить только последние строчки: «Со стороны нервной системы — общая нервозность, иногда плохой сон, головные боли. Специалистами констатирована неврастения на почве переутомления». Часов в 7 вечера мой сынишка сильно порезал себе ногу, пришлось пойти с ним в корпус и наложить на рану швы и повязку. Я зашел к Вл. Ил., рассказал ему об этом случае, и потом он каждый день спрашивал у меня, как нога моего сына, пока у него не зажило. Эта внимательность к другим — одна из черточек характера Вл. Ил. Вл. Ил. чувствовал себя прекрасно, на вопрос мой, не нужно ли чего, ответил, показывая на тов. Беленького, который стоял в дверях: «Скажите ему, чтобы они не очень волновались и больных бы не стесняли». Часов в 11 вечера, когда я зашел вновь в корпус, Вл. Ил. уже спал. На другой день утром приехал Борхардт, сделали перевязку и в 1 часу Вл. Ил. уехал домой. С Борхардтом вместе сделали еще одну перевязку, он уехал, и рану повели уже я с моим помощником д-ром А. Дм. Очкиным, с нами всегда ездила и моя операционная фельдшерица К. М. Горшнова. Заживление ранки, которое велось на тампоне, длилось недели 2½, ранка заживала совершенно гладко; несколько дней из-за этой ранки Вл. Ил. пробыл в Кремле и потом приезжал на перевязки из Горок. Каждый раз Вл. Ил. пенял на то, что нам приходится из-за этих перевязок много терять времени, и все хотел ездить на перевязки в больницу. Приходилось уверять, что мы это делаем с полной готовностью и что для нас будет гораздо спокойнее перевязывать его здесь, а не в больнице. Несколько раз Вл. Ил. оставлял нас пить чай, радушно угощал, беседуя на самые различные темы. Рана уже зажила, была под корочкой; чтобы снять совсем повязку, нужно было посмотреть через день, через 2 — так и договорились.

Через 2 дня меня вызывают часа в 3 с конференции в больнице к телефону. У телефона Вл. Ил.: «Вы что делаете?»—спрашивает он. «Сижу на заседании, потом пойду домой». — «А скоро ли?» — «Минут через 15—20».— «Хорошо, минут через 20 я к вам приеду». Я хотел было запротестовать, но он положил трубку.

Действительно, минут через 20, Вл. Ил. приехал и прошел прямо ко мне в кабинет. Я стал было ему говорить, зачем он беспокоился, ведь я бы к нему приехал. «Я, Владимир Николаевич, сейчас ровно ничего не делал, а вы работали; нечего об этом толковать». Снял я коллобийную повязку и сказал, что можно оставаться без повязки. «Ну, вот и хорошо, а то вся эта ерунда мне очень надоела». Потом Вл. Ил. стал спрашивать меня, как бы ему поблагодарить мою фельдшерицу и не нужно ли чего д-ру Очкину. Я сказал, что фельдшерица моя очень издергалась нервами, у нее есть девочка-воспитанница, которая перенесла только-что какую-то детскую инфекцию, и было бы очень хорошо им поехать в Крым, в санаторию. Вл. Ил. записал себе это в книжку и сказал, что он об этом скажет Семашко. Про д-ра Очкина я ничего не мог сказать, сказал только, что у него жена хворает. Я стал спрашивать Вл. Ил., как он вообще себя чувствует. Вл. Ил. ответил, что в общем ничего, только вот головные боли по временам, иногда сон неважный, настроение плохое. Я стал убеждать Вл. Ил., что ему необхо-

димо хорошенько поотдохнуть, бросить на время всякие дела, пожить просто растительной жизнью. А он на это мне в ответ: «вам, тов. Розанов, самим-то надо отдохнуть, вид у вас тоже скверный, поезжайте за границу, я вам это устрою». Я поблагодарил его, но сказал, что в Германию ехать—не отдохнешь, так как невольно побежишь по клиникам, да по больницам, если ехать отдыхать, то разве только на рижское взморье». — «Ну, и поезжайте» (Вл. Ил., действительно, дал возможность мне отдохнуть в Риге, а моя фельдшерица с'ездила в Крым). Я сказал спасибо Вл. Ил. и опять к нему с уговорами. Вл. Ил. тепло поблагодарил меня за лечение и сказал, что он о себе «все-таки» думает и старается отдыхать, что за этим особенно смотрит Мария Ильинична; сказал, что его беспокоит больше не свое здоровье, а здоровье Надежды Константиновны, которая, кажется, стала мало слушаться Федора Александровича (д-ра Гетье), и просил сказать Гетье, чтобы он с ней был понастойчивее, а то она всегда говорит, что «ей хорошо». А я в ответ: «так же, как вы». Он засмеялся и, пожимая руку, проговорил: «работать, работать нужно».

Расстался Вл. Ил. со мной в полном благополучии и поехал в Горки, а недели через 3, 25 мая утром, часов в 10, звонит ко мне по телефону Мария Ильинична и с тревогой в голосе просит поскорее к ним приехать, говоря, что «Володе что-то плохо, какие-то боли в животе, рвота». Скоро подали автомобиль, заехали в Кремль, а оттуда уже на двух машинах отправились в Горки, забравши из аптеки все необходимое и для ин'екций и различные медикаменты. Поехали Н. А. Семашко, д-р Л. Г. Левин, брат Вл. Ил. Дмитрий Ильич, тов. Беленький и еще кто-то.

Вл. Ил. в это время жил в маленьком домике наверху; большой дом еще отделывался. Раньше нас из Химок приехал уже Федор Ал. Гетье и осмотрел Вл. Ил.; сначала, по словам окружающих, можно было подумать, что заболевание просто гастрическое, хотели связать его с рыбой, якобы не совсем свежей, которую Вл. Ил. с'ел накануне, хотя все другие ели, но ни с кем ничего не случилось. Ночью Вл. Ил. спал плохо, долго сидел в саду, гулял. Фед. Ал. передал, что у Вл. Ил. рвота уже кончилась, болит голова, но скверно то, что у него имеются явления пареза правых конечностей и некоторые непорядки со стороны органа речи. Было назначено соответствующее лечение, главным образом, покой. Решено было вызвать на консультацию невропатолога, насколько помню, проф. В. В. Крамера. И так, в этот день грозный призрак тяжкой болезни впервые выявился, впервые смерть определенно погрозила своим пальцем. Все это, конечно, поняли; близкие почувствовали, а мы, врачи, осознали. Одно дело разобраться в точной диагностике, поставить топическую диагностику, определить природу, причину страдания, другое дело — сразу схватить, что дело грозное, и вряд ли одолимое — это всегда тяжело врачу. Я не невропатолог, но опыт в мозговой хирургии большой; невольно мысль заработала в определенном, хирургическом направлении, все-таки порой наиболее верном при терапии некоторых мозговых страданий. Но какие диагностики я ни прикидывал, хирургии не было места для вмешательства, а это было грустно, не потому, конечно, что я хирург,

а оттого, что я знал: борьба у невропатологов будет успешна только в том случае, если имеется специфическое заболевание. Рассчитывать же на это не было никаких оснований. У меня давнишняя привычка спрашивать каждого больного про то, были ли у него какие-либо специфические заболевания, или нет. Леча Влад. Ил. я, конечно, его тоже об этом спрашивал. Влад. Ил. всегда относился ко мне с полным доверием, тем более у него не могло быть мысли, что я нарушу это доверие. Болезнь могла длиться недели, дни, годы, но грядущее рисовалось далеко не радостное. Конечно, могло быть что-либо наследственное, или перенесенное незаметно, но это было мало вероятно.

10 марта 1923 г. вечером ко мне позвонил Вл. А. Обух и сказал, что меня просят принять участие в постоянных дежурствах у Владимира Ильича, которому плохо; на другой день мне о том же позвонил т. Сталин и сказал, что он и его товарищи, зная, что Вл. Ил. ко мне относится очень хорошо, просят, чтобы я уделял этому дежурству возможно больше времени.

Я увидел Влад. Ильича 11 числа и нашел его в очень тяжелом состоянии: высокая температура, полный паралич правых конечностей, афазии. Несмотря на затемненное сознание, Вл. Ил. узнал меня, он не только несколько раз пожал мне руку своей здоровой рукой, но, видно довольный моим приходом, стал гладить мою руку. Начался длительный, трудный уход за тяжелым больным.

Тяжесть ухода усиливалась тем, что Вл. Ил. не говорил. Весь лексикон его был только несколько слов. Иногда совершенно неожиданно выскакивали слова: «Ллойд-Джордж», «конференция», «невозможность» и некоторые другие. Этим своим обиходным словам Вл. Ил. старался дать тот или другой смысл, помогал жестами, интонацией. Жестикуляция порой бывала очень энергичная, настойчивая, но понимали Вл. Ил. далеко не всегда, и это доставляло ему не только большие огорчения, но и вызывало порой, особенно в первые 3—4 месяца, припадки возбуждения. Вл. Ил. гнал от себя тогда всех врачей, сестер и санитаров. В такие периоды психика Вл. Ил. была, конечно, резко затемнена, и эти периоды были бесконечно тяжелыми и для Надежды Константиновны, и для Марии Ильиничны, и для всех нас. Вся забота о внешнем уходе лежала на Марии Ильиничне и, когда она спала, никому не известно. Кроме Над. Конст., Марии Ил., дежурящих врачей и ухаживающего персонала, к которому должен быть причислен и Петр Петрович Покалл, к Влад. Ильичу никого не допускали. Влад. Ильич видимо постоянно тяготился консультациями и всегда после них был далеко не в духе, особенно когда консультанты были иностранцы. Из иностранцев Вл. Ил. хорошо принимал проф. Ферстера, который, надо отдать справедливость, сам относился всегда к Влад. Ил. с большой сердечностью. Но с осени Вл. Ил. и Ферстера перестал принимать, сильно раздражаясь, если даже случайно увидит его, так что проф. Ферстеру, в конце концов, пришлось принимать участие в лечении, руководствуясь только сведениями от окружающих Влад. Ильича лиц.

Свежий воздух, уход, хорошее питание делали свое дело, и Вл. Ил. эстепенно поправлялся, полнел. Явилась возможность учиться речи. Гуляли, эльзовались каждым днем, когда можно было поехать в сад, в парк. Сознае полное. Влад. Ил. усмехался на шутки. Искали грибы, что Влад. Ил. деал с большим удовольствием, много смеялся над моим неуменьем искать ибы, подтрунивал надо мной, когда я проходил мимо грибов, которые он м видел далеко издали.

Дело шло хорошо, уроки речи давали некоторые определенные результы, нога крепла и настолько, что можно было надеть легкий фиксирующий гопу аппарат. Вл. Ил., чувствуя себя окрепшим, все больше стеснялся луг ухаживающих, сводя их до минимума. Он настоятельно захотел обеть и ужинать со всеми, иногда протестовал против диэтного стола и всегда отестовал против всяких лекарств, охотно принимая только хинин, при м всегда смеялся, когда мы говорили ему, как это он так спокойно проатывает такую горечь, даже не морщась.

Дело, повторяю, шло настолько хорошо, что я с спокойной совестью хал на август месяц в отпуск. В середине августа от Марии Ильиничны олучил письмо, тоже совершенно успокоительное, где она писала, что деурства врачей уже не нужны, что идут усиленные занятия по упражнению речи, от которых Влад. Ил. приходилось даже удерживать. В сентябре ришлось прекратить и дежурства сестер милосердия, которых Влад. Ил. идимо просто стал стесняться.

Упражнения в речи, а потом и в письме легли всецело на Надежду онстантиновну, которая с громадным терпением и любовью вся отдалась тому делу, и это ученье происходило всегда в полном уединении. Врачи, спеиально приглашенные для этого, не пользовались вниманием Вл. Ил.; он этом просто не допускал их до себя, приходя в сильное раздражение, так что ни руководили этими занятиями, давая специальные указания Над. Конст. Все ак-будто шло хорошо, так что против всякой врачебной логики у меня неольно закрадывалась обывательская мысль: а вдруг все наладится и Вл. Ил. оть и не в полном об'еме, а станет все-таки работником.

Вернувшись из отпуска, я несколько раз навещал Вл. Ил., приезжал д-ром Н. Н. Пригоровым и сапожником-ортопедистом, чтобы наладить му ортопедическую обувь, сначала обычную, а потом и для зимы. Влад. Ил. сегда приветливо встречал нас, охотно давал примерять обувь, учился со ной ходить, ходил даже почти без помощи с палкой. Ужиная с нами, гощал нас, и сидел подолгу, участвуя в разговоре своим немногосложным апасом слов, который, в конце концов, мы в значительной степени научиись понимать. Во все эти посещения при мне он всегда был весел.

И вдруг смерть, всегда неожиданная, как ни жди ее. Тяжелое, даже для рачей, вскрытие. Колоссальный склероз мозговых сосудов, и только клероз. Приходилось дивиться не тому, что мысль у него работала таком измененном склерозом мозгу, а тому, что он так долго мог жить таким мозгом.

А. Ф. Керенский.

(Опыт политической биографии).

Дм. Сверчков.

Бурные события, через которые прошла Россия в 1917 и последующих годах, вынесли на поверхность и сделали известным почти во всех государствах мира имя адвоката Александра Федоровича Керенского.

В последние годы, правда, это имя вновь погружается в область забвения и только изредка в газетах появляются «сенсационные» сообщения вроде об'явленного, например, французским премьер-министром Эррио желания прежде признанія Союза Советских Социалистических Республик посоветоваться о формах и способе этого признания с отдельными «компетентными» в русских делах лицами и, в первую очередь, с... А. Ф. Керенским. Такие сообщения вызывают ныне только смех.

Не то было в 1917 году. Тогда фигура Керенского представлялась многому множеству российских обывателей, на которых неожиданно свалилась революция, героической, тогда перед Керенским млели в восторге все те, кто привык смотреть на исторические события, как на пьесу, разыгрываемую отдельным лицом или руководимую одним «героем», кто не замечал единственного героя революционной борьбы — рабочего класса, а сосредоточивал свое внимание на выносимых на верх волнами отдельных личностях, забывая о том, что в бурю выше всего поднимается ветром и всякий сор...

Грянула Октябрьская революция, сорвавшая величавую тогу «диктатора» с прикрывшегося ею фигляра. Керенский позорно бежал с исторической арены для того, чтобы никогда на нее не возвратиться. Но славно было еще его имя. Те, кто бывал в 1918 и 1919 годах на азиатских рынках, на ближне-восточных биржах Турции, Румынии и т. д., кто вращался среди спекулянтов и проходимцев, «делавших деньги» на гражданской войне, рассказывали, как популярны были там два имени: Керенский и Романов, вылетавшие тысячи раз в день из осипших от непрерывного крика глоток биржевых маклеров, перекупщиков валюты и им подобных. Там спекулировали на «керенках» и «романовках», в ожидании успехов Деникинского наступления и в уверенности, что «восстановленная» Россия оплатит эти векселя звонкою монетою.

Что же представлял собою адвокат, заблиставший такой яркой звездой на русском небосклоне в течение нескольких месяцев 1917 года.

I. Революционер с... шестилетнего возраста.

Александр Федорович Керенский родился 22 апреля 1881 г. в г. Симирске. Услужливые газетчики писали в 1917 году, что «первый вздох Александра Федоровича почти совпал с последним вздохом великих народоольцев Софьи Перовской, Андрея Желябова, Тимофея Михайлова, Кибальича и Рысакова, задушенных по приказанию Александра III на Семеновской лощади». Нужно быть газетным лакеем, чтобы не краснеть за такое сопотавление. Казнь героев народовольцев произошла 3 апреля, и если их можно равнивать хотя в чем-нибудь с Керенским, то разве в том, что он, не имея ени скромности, величия и стремления к самопожертвованию, какими отлиались первые четверо из великих пионеров революции, кончил предательтвом, запятнавшим память пятого из них...

Отец А. Ф. Керенского был директором Симбирской гимназии.

Сам А. Ф. Керенский, рассказывая в апогее своей славы о своем деттве, указывал на очень сильное впечатление, которое произвело на него, мевшего тогда отроду всего 6 лет (!), известие о казни Александра Ильича 'льянова (брата В. И. Ленина), по делу 1 марта 1887 г. (покушение на Алесандра III). Впечатление от этой казни, как он говорил, предопределило с шестилетнего возраста!) будущий склад его характера и убеждений...

В 1889 году отец А. Ф. Керенского был переведен из Симбирска в Ташент. В 1899 году А. Ф. Керенский окончил Ташкентскую гимназию и оступил на юридический факультет Петербургского университета, который лагополучно окончил в 1904 году, ничем не участвуя в широко развившемся эту эпоху студенческом движении, переживавшем в эти годы лучший период воего под'ема.

В анналы департамента полиции имя А. Ф. Керенского попадает впервые связи с коллективным заявлением-протестом, поданным общественными деяелями Петербурга министру внутренних дел по поводу ареста депутации с 1. Горьким во главе, бывшей у министра накануне расстрела рабочих 9 января 905 года. Среди 217 подписей под этим заявлением департамент полиции тметил подпись «А. Керенский» и открыл на это имя «текущий счет».

Революция 1905 года совсем не захватила Керенского. Участники обытий этого времени не могут припомнить его имени даже в связи с безбидными выступлениями либералов на организуемых ими банкетах. Однако 3 декабря 1905 года Керенского арестуют, при чем департамент полиции бвиняет его в принадлежности к боевым дружинам партии социалистовеволюционеров на том основании, что у него по обыску обнаружено «знаительное количество переписки и воззваний преступного содержания, аряженный револьвер, рукописи и переписка о «Союзе союзов» (либеральом об'единении буржуазных союзов, организовавшемся в 1905 году и не мевшем ничего общего с революционными партиями).

Пред'явленное к Керенскому на этих основаниях обвинение, конечно, не могло иметь особо неприятных для него последствий, и 5 апреля 1906 г. он был освобожден из-под стражи.

В июне 1906 г. Керенский вновь был обыскан и привлечен к делу вследствие полученных департаментом полиции сведений о сношениях его с членом боевого комитета (?) партии социал-революционеров С. Г. Клитчоглу. По обыску у Керенского было обнаружено: 1) кожаный портфель с гектографированными воззваниями от имени центрального комитета организации «Вооруженное восстание» и экземпляры прокламаций к интеллигенции от имени той же организации (организация «Вооруженное восстание» явилась созданием кучки интеллигенции, настроенной революционно, но не примыкавшей ни к одной из партий. Организация эта ставила целью вызвать вооруженное восстание, не имея никаких других программ и задач. Она погибла естественной смертью, не успевши расцвесть, в том же 1906 году, вызвав недоумение своим возникновением и забытая даже по имени через несколько дней после исчезновения. *Д. С.*), разные другие воззвания, многочисленные рукописи и заметки, 2) картонная коробка с бумагой для гектографа (?), 3) 8 экземпляров программ партии социалистов-революционеров, 4) разные нелегальные издания, 5) тетрадь со стихотворениями преступного содержания и разные записки, относящиеся к критике разных правительственных мероприятий, и 6) револьвер с патронами. Эти «улики» повлекли за собой опять прекращение дела о Керенском 21 сентября 1906 г.

Дальше все сведения о Керенском по данным департамента полиции прекращаются до 1912 года, когда он был выбран депутатом 4-й Государственной Думы.

Период до 1912 г. Керенский занят был адвокатской практикой, выступая иногда защитником по политическим процессам.

II. Керенский—депутат IV Государственной Думы.

Партия социалистов-революционеров бойкотировала выборы в Государственную Думу, но не запрещала отдельным членам партии проходить на их собственный риск на выборах. На этом основании центральный комитет «трудовой группы», ставивший своей задачей об'единение всех народнических течений, решил на-ряду с трудовиками проводить в Думу и отдельных социалистов-революционеров при условии вхождения их в Думе в фракцию трудовиков [1]).

Керенский прошел выборщиком в Думу по г. Вольску Саратовской губернии и, благодаря сложившимся обстоятельствам (как говорит центральный комитет трудовой группы), был выбран депутатом от Саратовской губернии.

В Думе Керенский стал лидером трудовой группы и в течение всех 5 лет старался об'единить все народнические течения — от правых до левых—

---

[1]) «А. Ф. Керенский», изд. Ц. К. трудовой группы, 1917 г., стр. 7.

целях борьбы с самодержавием. Нечего говорить, что такое об'единение ıеизбежно понижало размах этой борьбы в уступку правым элементам.

Отчеты Думы полны речами Керенского, произносившимися всегда под'емом, красивыми по форме, но всегда очень неглубокими по содержанию. Перерывы между сессиями Думы Керенский использовывал для об'ездов ıровинции с рядом лекций на жгучие темы политической жизни того ремени.

Останавливаться на его речах в Думе значило бы заполнять целые траницы настоящего очерка без особой надобности. Приведу выдержки лишь з некоторых его выступлений, характеризующих, как понимал революцию тот прославленный член партии социалистов-революционеров даже тогда, огда революция стояла на пороге Государственной Думы и уже стучалась ее двери.

16 декабря 1916 года — за два с половиной месяца до переворота — ι. Ф. Керенский выступил в Государственной Думе и сказал:

«Господа, теперь вы сами видите, что все слова, которые можно сказать о власти, которыми можно заклеймить власть, преступную перед госуарством, все сказаны. Мы слышали здесь из уст не левых людей, не русских ибералов, а из уст октябристов и консерваторов заявление, что «власть убит страну», что «она является предательской», что «дальнейшее ее сущетвование грозит крахом государству». Но какие же выводы сделаны из этих лов? Если сегодня представитель октябристов С. И. Шидловский говорил ам: «я не революционер, я отрицаю революционный метод», то, ведь, господа, Шидловский сегодня уподобился тому герою Мольера, который с недоумением один прекрасный день узнал, что он «говорит прозой». В е д ь п р о ц е с с, к о т о р о м у ч а с т в у е т С. И. Ш и д л о в с к и й, э т о и е с т ь р е в о ю ц и о н н ы й... Вы, господа, до сих пор под словом «революция» понимаете акие-то действия антигосударственные, разрушающие государство, когда вся ировая история говорит, что революция была методом и единственным средтвом спасения государства. Это и есть напряженнейший момент борьбы правительством, губящим страну. Революционный процесс — об'ективный роцесс... И раз навсегда догадайтесь, господа герои из Мольера, что вы частвуете в таком процессе истории России, который называется процессом еволюционным...» [1]).

Гр. В. В—й, написавший невыносимо льстивый панегирик Керенскому, ıриводит в своей брошюрке эти слова из его речи с целью доказать, каким лестящим пониманием смысла надвигающейся революции был полон Керенкий еще за два с лишним месяца до ее наступления. Но он не заметил, то нельзя было привести более убийственной характеристики Керенского, ак либерала, не понимающего ни аза в революции, чем цитированное место з его речи. В самом деле, что в ней говорится?

Только что в Думе произнесли резкие речи против распутинской истемы управления Россией даже представители октябристов (партии Гуч-

---

[1]) В. В—й, «А. Ф. Керенский», Петроград 1917 г., стр. 17.

кова и крупных промышленников). В чем был смысл их пожеланий? Они хотели видеть правительство, составленное из заслуживающих доверия Государственной Думы лиц, они хотели, чтобы министрами были не ставленники Распутина, а представители партии октябристов — может быть, с прибавкой одного-двух «кадетов» правого милюковского толка. И вот Керенский поднимается на трибуну и начинает убеждать их, что в этом и состоит революция!.. что, пред'являя правительству — даже не требование! — а пожелания о вручении министерских портфелей представителям помещичьей Думы, избранной на основании Столыпинского закона 3 июня 1907 г., устранившего почти совсем от участия в Думе рабочих и крестьян и отдавшего Думу в руки черносотенных помещиков и промышленников, — они являются революционерами!.. Интересное понятие о революции у члена партии социалистов-революционеров!..

«Если власть пользуется законным аппаратом государственного управления только для того, чтобы насиловать страну, чтобы вести ее к гибели,— говорил дальше Керенский, — обязанность граждан этому закону не подчиняться»...

Чистейшая тактика «пассивного сопротивления», служившая всегда основой как будто не для партии социалистов-революционеров, а для профессора П. Н. Милюкова и его кадетской свиты...

15 февраля 1917 года Керенский вновь говорит в Государственной Думе:

«...Хаос (в стране) налицо перед вами, и я спрашиваю вас, есть ли у вас сознание и чувство политической ответственности в этот исторический момент подчинить свои личные и классовые социальные интересы единству, единым интересам государства? Я вам скажу, этого сознания у вас еще нет»...

У Керенского, наоборот, была, как видно, уже тогда готовность подчинить интересы трудового населения, которое он, по его убеждению, представлял, интересам тогдашнего «государства», т.-е., другими словами, буржуазии.

Если хотя бегло проследить политическую деятельность Керенского за время его депутатства, то в ней нельзя обнаружить ровно никаких отличительных признаков от деятельности Милюкова, Родичева и других кадетов.

6 сентября 1914 г. Керенский устраивает в Петербургском Вольно-Экономическом обществе собрание, прошедшее под его председательством. На собрании решено организовать «союз беспартийной радикальной интеллигенции».

Осенью того же 1914 г. Керенский предпринимает целый ряд поездок по провинции с целью создания об'единения всех левых элементов, независимо от принадлежности к той или иной партии «для противодействия начавшемуся тогда под влиянием военных событий поправению общества».

В апреле 1915 г. в Москве Керенским был сделан доклад о необходимости организации русской интеллигенции во внепартийный союз. Идея организации, по словам Керенского, — освобождение от политического гнета.

Такая идея может об'единить различные круги интеллигенции на основе общих для всех них формул.

Летом 1915 г. Керенский пробует провести план об'единения всех народнических течений и отстаивает мысль о необходимости созыва общего Всероссийского С'езда социалистов-революционеров, трудовиков и народных социалистов, для чего об'езжает юг России и Поволжье.

В течение всего 1915 и первой половины 1916 г.г. Керенский ездит с докладами и пропагандирует эту мысль в разных городах всей России, при чем справки о его деятельности широкой волной льются в департамент полиции. Они опубликованы в 1917 г. центральным комитетом трудовой группы без опровержений, так что их можно считать правильными.

Был или не был Керенский до 1917 года членом партии социалистов-революционеров?

Я думаю, что социалисты-революционеры зачислили его в свою партию в 1917 году очень далеким задним числом, на самом же деле он, может быть, оказывал им кое-какие услуги, но в партии не состоял.

Департамент полиции, обеспокоенный агитацией Керенского, рассылает 16 января 1915 г. следующий секретный циркуляр за № 165377 начальникам губернских, областных и городских жандармских управлений, отделений по охранению общественной безопасности и порядка, г.г. офицерам отдельного корпуса жандармов, ведающим розыском, отмечая принадлежность Керенского к трудовикам, а не к партии с.-р.

«По поступившим в департамент полиции агентурным сведениям, в деятельности членов трудовой группы Государственной Думы наблюдается в последнее время зарождение нового течения, выражающегося в стремлении к об'единению всего левого элемента, независимо от принадлежности к той или иной партии, в целях противодействия имеющемуся в связи с настоящей войной поправению населения.

«По тем же сведениям, одним из наиболее ярких выразителей такого течения является член трудовой группы Государственной Думы присяжный поверенный Александр Федорович Керенский.

«Означенный Керенский, совершая частые поездки по России и имея во время этих поездок свидания с известными ему политически неблагонадежными лицами разных интеллигентских профессий, в конфиденциальных собеседованиях с ними высказывается о необходимости энергичной работы в целях сплочения левых элементов страны, каковая работа должна вестись на широких началах как легально путем использования всякого рода кооперативов и благотворительно-просветительных обществ и в частности общественных организаций, вызванных войной, так и нелегально.

«В целях достижения наибольшего успеха в деле такого об'единения левых элементов населения, в Петрограде, по словам Керенского, имеет быть организован руководящий комитет, дающий директивы местным комитетам, долженствующим быть созданными на местах в больших губернских городах.

«Сообщая об изложенном, департамент полиции просит вас принять меры к освещению отмеченной деятельности по об'единению левого элемента

населения и могущих создаться в вверенном вашему наблюдению районе для руководства таким об'единением вышеуказанных организаций, с возбуждением против изобличенных в такой деятельности лиц формальных дознаний или переписок, в порядке охраны, а при обнаружении депутата Керенского на жительстве во вверенной вашему наблюдению местности установить за деятельностью его и сношениями совершенно секретное и наружное наблюдение и о переездах его уведомлять подлежащие розыскные органы.

«О полученных по сему результатах департамент полиции просит уведомить.

Директор *Брюн де Сент Ипполит.*
Заведующий делопроизводством *М. Броецкий».*

III. Керенский в феврале 1917 г.

Указом от 25 февраля 1917 г. Государственная Дума была распущена. На заседании совета старейшин 27 февраля Керенскому пришлось горячо убеждать Шидловского и других «революционеров» не подчиняться этому указу и не расходиться. А в 1 час дня того же 27 февраля в Думу уже явились представители 25.000 восставших солдат, а за ними Таврический дворец был переполнен уже организовавшимися отрядами революционной армии и вооруженного народа.

В тот же день под давлением событий был организован «Временный Комитет Государственной Думы» под председательством тоже «революционера» — М. В. Родзянко, — «для поддержания порядка в Петрограде и для сношения с различными учреждениями и лицами». В числе 12 членов Комитета избирается Керенский.

Вечером того же дня организуется Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, товарищем председателя которого избирается А. Ф. Керенский.

Временный Комитет Государственной Думы организовал Временное Правительство под председательством князя Львова.

Члены Временного Комитета Государственной Думы, равно как вся без исключения «кадетская» партия во главе с Милюковым, были чрезвычайно озабочены сохранением «преемственности власти». Во всех без исключения мемуарах, записках, воспоминаниях, статьях и рассуждениях, которыми наводнена заграничная белая русская литература после Октябрьской революции, г.г. Милюков, Набоков, Шидловский и многое множество подобных им лиц, к сонму которых примкнул в этом отношении и считавшийся когда-то даже большевиком б. министр юстиции П. Н. Малянтович, ставят во главу угла свои заботы в течение всего 1917 года о том, чтобы новая появившаяся после революции власть явилась бы вполне «законным и правомерным» преемником низверженного Николая II. Многое множество страниц посвящено ими рассуждениям о том, что Временное Правительство явилось действительно «законной» властью потому, что... Николай II своим указом, под-

писанным до отречения от престола, назначил князя Г. Е. Львова председателем совета министров! Многое множество бумаги истрачено на то, чтобы доказать, в какое ужасное положение поставил Николай II господ Родзянко, Милюкова, Гучкова и компанию тем, что отказался от престола не только за себя, но и за своего сына, что он делать этого не имел никакого права, что он этим выбил все карты из рук почтенных буржуа, готовившихся без шума и беспорядка, а главное — без потери своих привилегий, капиталов и земли — стать во главе власти при регентстве Михаила, как опекуна несовершеннолетнего Алексея... Милюков чуть ли не этому одному приписывает крушение монархии!!!

Нам чрезвычайно трудно понять такую удивительную точку зрения. Если и после революции государственная власть путем преемственных «законных» распоряжений царя должна перейти к новым группировкам, если считать, что любое революционное временное правительство «законно» только в том случае, если оно назначено свергнутой властью, то в чем же заключается революция и чем она отличается тогда от любой смены министерства в рамках того же режима?

А между тем все эти «юридически мыслящие личности» обрушились и на Октябрьскую революцию, и на переход власти к Советам прежде всего потому, что тов. Ленин не получил «законных» и «преемственных» прав на власть от А. Ф. Керенского, тогда как последний потому был свят и неприкосновенен, что его помазал на премьерство князь Львов, получивший, в свою очередь, таковое же помазание от Николая II. Одним словом, Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иосифа и т. д., — только при соблюдении этого «планомерного» хода преемственности г.г. Милюковы, а с ними и «светила» юридической мысли готовы признавать любую власть, каковой бы она по существу ни являлась.

Исписывая целые книги рассуждениями на эту тему, основанными на «совершенно непреложных» юридических истинах, эти ревнители преемственности совершенно почему-то не затрогивают вопроса о том, кто «помазал» на «верховное правительство» Россией Колчака, Деникина и прочих генералов, захвативших с оружием в руках совершенно без всякой преемственности власть в многочисленных областях России в 1918—1920 годах? А ведь среди самых пунктуальных поклонников юриспруденции и всех относящихся к ней наук не возникло даже мысли о неподчинении по этой причине симпатичным им генералам...

Власть царя низвергнута. 26—28 февраля войска Петрограда перешли на сторону революции. Что делал в эти дни Керенский?

По всем материалам, написанным об этих днях, он метался между Думой и своей квартирой и отовсюду собирал сведения о происходящем на улицах столицы. А Родзянко, Гучков, Милюков и компания, к которой присоединился даже Шульгин, действовали. Путем непрерывных телеграфных сношений с командующими армиями они принимали все меры к тому, чтобы Николай отказался от престола в пользу Алексея, регентом при котором должен был состоять Михаил, и чтобы государственная власть была орга-

низована исключительно из помещичье-либеральных представителей в Государственной Думе.

Однако с самого начала они хотели завербовать в свой состав «представителей демократии», конечно, из наиболее приемлемых для них самих. Предложение войти во Временный Комитет Государственной Думы было сделано Керенскому и Чхеидзе. Последний отказался, предпочитая председательство в организующемся Совете Рабочих Депутатов. Керенский согласился.

Без всякого ведома организовавшегося Временного Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов Родзянко снарядил в ставку к Николаю II экспедицию из Гучкова и Шульгина с целью вырвать у царя отречение в пользу сына. Экспедиция, как я уже говорил, увенчалась неполным успехом: Николай II отрекся не только за себя, но и за сына и передал престол Михаилу Александровичу. Правда, через несколько часов после подписания манифеста об этом он спохватился и написал новый, восстановляющий права на престол для его сына, Алексея (об этом говорит генерал Деникин в своей книге «Очерки русской смуты»), но было уже поздно; первый манифест уже был опубликован, и отменяющий его документ генерал Алексеев, которому Николай II отдал его для отправки по телеграфу, положил в карман себе на память...

Гучков и Шульгин, ликуя от выполненной миссии и от роли, которую им пришлось играть, вернулись в Петроград, при чем Гучков прямо из вагона пришел на митинг рабочих Варшавских ж.-д. мастерских Северо-Западной дороги и прочитал манифест, пригласив рабочих воскликнуть «ура» в честь его императорского величества нового государя Михаила Александровича. Это его приглашение повлекло за собой немедленный арест его рабочими и единодушное требование их расстрелять Гучкова тут же у мастерских... Кто-то выручил незадачливого оратора, который из этого эпизода понял, что дело с монархией обстоит не так просто, как ему казалось сначала...

До поездки Гучкова и Шульгина к Николаю II Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов отказал Родзянко в предоставлении ему поезда для поездки в Псков по приглашению царя для переговоров. Родзянко вынужден был обратиться к Исполнительному Комитету с просьбой о поезде после того, как железнодорожники категорически отказались пропустить его без разрешения Исп. Комитета.

Роль, которую играл при этом эпизоде Керенский, чрезвычайно характерна. Вот как рассказывает о ней Н. Суханов («Записки о революции», т. I, стр. 245 и след., изд. 1922 г.):

«Вопрос о поезде Родзянки был решен очень быстро одним дружным натиском... Я говорил: Родзянку пускать к царю нельзя. Намерений руководящих групп буржуазии, «прогрессивного блока», думского комитета, мы еще не знаем и ручаться за них никто не может... Если на стороне царя есть какая-либо сила, то «революционная» Государственная Дума, «ставшая на сторону народа», непременно станет на сторону царя против революции. Что Дума и проч. этого *жаждут*, в этом не может быть сомнения.

Весь вопрос в *возможности* этого. И нельзя создавать эту возможность образования контр-революционной силы под видом об'единения царя с народом в лице «народного правительства»... И что было не под силу одному царю, то он легко может сделать при помощи Думы и Родзянки: собрать и двинуть силы для водворения «порядка» в Петербурге...».

Насколько справедливы и правильны были такие мысли, подтверждает ныне проф. П. Н. Милюков, который в своем 1-м томе «История второй русской революции» (стр. 54, изд. София 1921 г.) приводит свою речь уже после отречения Николая II во время переговоров с Михаилом Александровичем:

«... К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя»...

Возвращаюсь к изложению Суханова.

«Было постановлено в поезде Родзянко отказать... Мы обратились к очередным делам... В это время в комнату влетел бледный, уже совершенно истрепанный Керенский. На его лице было отчаяние, как будто произошло что-то ужасное.

« — Что вы сделали? Как вы могли? — заговорил он прерывающимся трагическим шопотом. — Вы не дали поезда... Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это!! Вы сыграли на руку монархии, Романовым! Ответственность будет лежать на вас...

«Керенский задыхался и, смертельно бледный, в обмороке или полуобмороке упал в кресло. Побежали за водой, расстегнули ему воротник. Положили его на подставленные стулья, прыскали, тормошили, всячески приводили в чувство.

«...Керенский на второй день революции уже явился из правого крыла в левое прямым, хотя и бессознательным, *орудием и рупором* Милюкова и Родзянко...» (курсив Н. Суханова).

«Очнувшись, Керенский произнес тут же длинную и бестолковую речь—не столько о поезде и об отречении, сколько о долге каждого перед революцией и о необходимости контакта между правым и левым крыльями Таврического дворца. Он говорил нудно и раздраженно, подчеркивая не раз, что он, Керенский, пребывает в правом крыле для защиты интересов демократии, что он уследит за ними и обеспечит их, что он достаточная гарантия, что при таких условиях недоверие к думскому комитету есть недоверие к нему, Керенскому, что оно при таких условиях неуместно, опасно, преступно и т. д.».

Как характерен этот мелкий эпизод для Керенского и не кажется ли и теперь, когда эпопея этого человечишки прошла целиком у нас перед глазами, определяющим всю его личность, всю его фигуру?

IV. Керенский министр.

Вечером 1 марта Исполнительный Комитет Совета обсуждал вопрос о вхождении его представителей во Временное Правительство. Большинством 13 голосов против 7 или 8 постановили: в министерство Милю-

кова представителей демократии не посылать и участия в нем не требовать.

Ночью того же дня состоялось совместное заседание Комитета Государственной Думы и Исполнительного Комитета Совета по вопросу об организации власти. Меньшевистско-эсэровский Исполнительный Комитет договорился в общем о декларации, которую должно будет выпустить Временное Правительство. Разногласие вышло только с Милюковым, который ожесточенно отстаивал необходимость об'явить Россию конституционной монархией с великим князем Михаилом во главе. Интересно, что потом тот же Милюков обрушивался все время на представителей левых партий и даже на Керенского за то, что они осмеливались — до решения Учредительного Собрания — говорить о России, как о республике.

Передаю слово опять Н. Суханову:

«Было около 4 часов утра, когда мы оставили комнату Думского Комитета... Из комнаты, где мы заседали, вышел Керенский и сообщил нам, что ему предлагают портфель министра юстиции. Не только предлагают, но убеждают и просят принять... Керенский спрашивал, как поступить...» Н. Суханов ответил, что следует категорически отказаться... «Но это не удовлетворило его... Его вопрос сводился не к тому, быть ему или не быть министром. Он хотел не совета. Цель его разговора была—узнать, поддержит ли его Совет в лице его руководителей, признает ли его своим, когда он будет министром. Он хотел поддержки... Он хотел быть и советским человеком, и министром, но... больше министром...».

Керенский обращался с этим вопросом не к одному Суханову. Вот что говорит по этому поводу С. Мстиславский в своей книжке «Пять дней» (стр. 60, изд. Берлин 1922 г.):

«Под вечер, проходя нижним правым коридором (Таврического) дворца, я встретил Керенского. Мы обменялись несколькими незначительными фразами, и я протянул уже руку для прощания, когда Керенский, словно вдруг внезапно решившись, оттянул меня в сторону, к самой стене, и сказал вполголоса быстро:

« — Мне предлагают войти в кабинет, который формирует Львов, министром юстиции. Больше социалистов в кабинете нет. Как по-вашему: итти или не итти?

«Я пожал плечами. «Разве при таких решениях можно советовать... и советоваться?»

«Керенский дернулся всем телом и выпрямился.

« — Значит, и вы не знаете? — резко ударяя на «вы» проговорил он сквозь зубы и, стукнув дверью, вошел в кабинет «Временного Правительства».

С таким же вопросом Керенский обращался и к офицеру, члену партии с.-р. В. Б. Станкевичу, который пишет («Воспоминания 1914 — 1919», стр. 70, Берлин 1920):

«...В один из первых дней, когда еще велись переговоры относительно составления правительства, Керенский, увидя меня около кабинета Родзянки, подошел ко мне и заявил: «Знаете ли, мне предлагают портфель министра

юстиции. Брать или не брать?». Вопрос был в той плоскости, что демократические партии вообще отказались от участия в правительстве, и Керенскому приходилось итти против настроений своих друзей.

«— Все равно, — ответил я, — возьмете или нет — все пропало.

«— Как все пропало? Ведь все идет превосходно.

«— Армия разлагается... Но, быть может, вы еще спасете. Конечно, брать.

«И я поцеловал его».

Об этом же Керенский спрашивал прис. поверенного Демьянова, инж. Макарова и других.

Исполнительный Комитет Совета на запрос об этом же Керенского ответил ему категорическим отказом. Тем не менее 2 марта Керенский дал согласие Милюкову на принятие портфеля министра юстиции.

2 марта вечером состоялось заседание Совета Рабочих Депутатов. Во время прений, связанных с организацией Временного Правительства (Исполнительный Комитет докладывал Совету о принятых накануне решениях и состоявшихся переговорах с Думским Комитетом), в заседание Совета явился Керенский и попросил слова для внеочередного заявления. Слово было ему дано, и он произнес следующую истерическую речь, которой нельзя не отказать в чрезвычайной ловкости:

« — Товарищи! Я должен сделать вам сообщение чрезвычайной важности. Товарищи, доверяете ли вы мне? (Возгласы: «Доверяем, доверяем!».) Я говорю, товарищи, от всей глубины моего сердца, я готов умереть, если это будет нужно... (В зале волнение. Керенского приветствуют рукоплесканиями, превращающимися в овацию.) Товарищи, в настоящий момент образовалось Временное Правительство, в котором я занял пост министра. Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не имел возможности получить ваш мандат до решения моего о вступлении в состав Временного Правительства.

«Товарищи, в моих руках находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук. (Бурные аплодисменты. Возгласы: «Правильно!».) Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного Правительства в качестве министра юстиции. Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей депутатов членов социал-демократической фракции четвертой Думы и депутатов второй Думы. (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.) Освобождаются все политические заключенные, не исключая и террористов. Я занял пост министра юстиции до созыва Учредительного Собрания, которое должно будет, выражая волю народа, установить будущий государственный строй. До этого момента будет гарантирована свобода пропаганды и агитации по поводу формы будущего государственного устройства России, не исключая и республики. (Аплодисменты.) Ввиду того, товарищи, что я принял на себя обязанности министра юстиции до получения от вас на это полномочий, я слагаю с себя звание товарища председателя Совета Рабочих Депу-

татов. Но для меня жизнь без народа немыслима, и я вновь готов принять на себя это звание, если вы признаете это нужным. (Крики: «Просим, просим».) Товарищи, войдя в состав Временного Правительства, я остался тем же, кем был — республиканцем. В своей деятельности я должен опираться на волю народа. Я должен иметь в нем могучую поддержку. Могу ли я верить вам, как самому себе? (Бурные аплодисменты. Возгласы: «Верь, верь, товарищ!».) Я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне — убейте меня! Я заявлю Временному Правительству, что являюсь представителем демократии, и что Временное Правительство должно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать в качестве представителя народа, усилиями которого была свергнута старая власть. (Аплодисменты. Возгласы: «Да здравствует министр юстиции!».)

«Товарищи, время не ждет. Я призываю к организации, к дисциплине, прошу вас поддержать нас, ваших представителей, готовых умереть во имя интересов народа и отдавших ему всю свою жизнь. Я полагаю, что вы не осудите меня и дадите мне возможность осуществить все необходимые гарантии свободы до созыва Учредительного Собрания.

«Товарищи, позвольте мне вернуться к Временному Правительству и об'явить ему, что я вхожу в его состав с вашего согласия, как ваш представитель». (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Возгласы: «Да здравствует Керенский!».)

Я цитирую эту речь по брошюре В. В—й «А. Ф. Керенский» (стр. 28—29, изд. 1917 г.). Гр. В. В—й, написавший до-нельзя льстивую книжку о «великом» человеке 1917 года, быть может, несколько преувеличил указания в скобках на овации и проч., но все без исключения свидетели этого заседания Совета отмечают чрезвычайно ловкий ход Керенского, который этой речью, произнесенной то замирающим шопотом, то захватывающими нотами с дрожью в голосе (еще бы, дело шло о получении так желанного министерского поста!) фактически произвел coup d'état и налету схватил от Совета одобрение вхождению своему в Правительство вопреки состоявшемуся отказу Исполнительного Комитета...

Вся речь пропитана демагогией и расчетом. Перед рабочими и солдатами, опьяненными небывалым, исключительным успехом: победы над самодержавным Николаем II и его сворой — было намеренно брошено «опасение» оставить арестованных представителей старого режима «в чужих руках» (на самом деле они были во власти Исполнительного Комитета), о возвращении с почетом из Сибири и тюрем политических заключенных «не исключая и террористов» — последняя фраза особенно интересна в устах представителя партии социалистов-революционеров, который ею как будто бы сомневался в возможности освобождения их, а, с другой стороны, указывал на распространение амнистии на террористов, как на особенную для себя заслугу...

«Воистину, безгранично велика должна была быть «пасхальность» настроения слушавших его, готовность их на всепрощение, если они простили эту постыдную тюремную расчетливую фразу, перекрывшую для меня —в один

удар пульса — всю его страстную исповедь», — говорит по этому поводу С. Мстиславский, товарищ Керенского по партии с.-р.

Керенский произнес эту речь и скрылся, не прося поставить на голосование одобрение вхождению его в министерство. Чхеидзе улыбался. Ставка сторонников вхождения в правительство Львова была выиграна.

В министерстве Львова Керенский был не один. Милюков указывает на Н. В. Некрасова и М. И. Терещенко, как на чрезвычайно близких Керенскому людей, игравших потом особую роль в правительствах Керенского и получивших в правительстве Львова портфели министра путей сообщения и министра финансов.

Керенский постоянно называл себя «заложником демократии в буржуазном правительстве». К сожалению, он ни разу не раз'яснил, как именно надо понимать его роль «заложника»; заложников обыкновенно берет более сильная сторона в обеспечение того, что побежденные ею элементы не будут предпринимать никаких враждебных действий против победителей... На этом обычном понятии «заложника» как-то не останавливались, хотя по существу дела Керенский во все время пребывания своего в правительстве, повидимому, понимал роль свою именно в этом смысле, несмотря на то, что «демократия» никак не могла считать себя побежденной Милюковым, Родзянко и компанией...

V. У великого князя Михаила Александровича.

Временное Правительство было создано. 2 марта петроградская конференция партии социалистов-революционеров санкционировала вступление Керенского в министерство Львова, как способ «необходимого контроля над деятельностью Временного Правительства со стороны трудящихся масс».

В Думских кругах лихорадочно обсуждался вопрос о форме государственного устройства до Учредительного Собрания. Перед Думским Комитетом стоял «вопрос о династии».

На рассвете 3 марта министры уведомили ничего не подозревавшего Михаила Александровича об отречении Николая II в его пользу и предупредили, что через несколько часов посетят его.

Состоялось предварительное совещание членов Временного Правительства и Думского Комитета о том, что и как говорить великому князю.

«А. Ф. Керенксий, — повествует Милюков в своей «Истории второй русской революции» (стр. 53, ч. I, т. I),— еще накануне вечером в Совете Рабочих Депутатов об'явил себя республиканцем и сообщил о своем особом положении в министерстве, как представителя демократии, и об особенном весе своих мнений. Правда, принятая на конференции петроградских социалистов-революционеров 2 марта резолюция говорила еще только о «подготовке Учредительного Собрания п р о п а г а н д о й республиканского образа правления» (курсив Милюкова)... Но на утреннем совещании 3 марта его (Керенского) мнение о необходимости убедить великого князя отречься возымело решающее влияние. Н. В. Некрасов уже успел набросать и проект

отречения. На стороне обратного мнения, что надо сохранить конституционную монархию до Учредительного Собрания, оказался один П. Н. Милюков. После страстных споров было решено, что обе стороны мотивируют перед великим князем свои противоположные мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю».

Таким образом, как выясняется, все министры, а в том числе и «заложник» Керенский решили передать вопрос о форме государственного устройства России на окончательное решение... Михаила Александровича!!.

«Около полудня, — повествует дальше Милюков, — у великого князя на Миллионной собрались члены правительства: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов и несколько позже приехавший А. И. Гучков, а также члены Временного Комитета: М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, И. Н. Ефремов и М. А. Караулов. Необходимость отказа пространно мотивировал М. В. Родзянко, а после него — А. Ф. Керенский. После них П. Н. Милюков развил свое мнение, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти... что хотя и правы утверждающие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности самого великого князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины... Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков. Обе стороны заявили, что в случае решения (со стороны великого князя), несогласного с их мнением, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут».

Таким образом, — как заявляет Милюков, — «противная ему сторона», т.-е. в том числе и А. Ф. Керенский, заявили, что, в случае решения Михаила Александровича усесться на престол, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство...

Очень интересное заявление, рисующее цену «республиканцу» Керенскому, каковым он заявил себя накануне в Совете. Впрочем, эта позиция его не противоречила нисколько резолюциям петроградской конференции партии социалистов-революционеров, которая, как отмечает с удовлетворением Милюков, не высказалась за республику, а говорила лишь о п р о п а г а н д е республиканского образа правления, которая, конечно, могла осуществляться и в рамках монархической конституционной России...

«По окончании речей, — повествует далее Милюков, — великий князь, все время молчавший, попросил себе несколько времени на размышление. Выйдя в другую комнату, он пригласил к себе М. В. Родзянко, чтобы побеседовать с ним наедине. Выйдя после этой беседы к ожидавшим его депутатам, он сообщил им довольно твердо, что его окончательный выбор склонился на сторону мнения, защищавшегося председателем Государственной Думы. Тогда А. Ф. Керенский патетически заявил: «Ваше высочество, вы — благородный человек, — и прибавил, что отныне будет всюду заявлять это, — ваш поступок оценит история, он высокопатриотичен и обнаруживает вашу любовь к родине».

Тов. Демьян Бедный писал в «Известиях» 4 марта:

Что Николай лишился места
Мы знали все без манифеста,
Но все ж, чтоб не было неясности,
Предать необходимо гласности
Для „кандидатов" всех ответ:
Что „места"—также больше нет.

VI. Первое Временное Правительство (2 марта – 6 мая 1917 г.).

6 марта Временное Правительство опубликовало программу своей дея-гельности. В ней говорилось о «доведении войны до победного конца» и заявлялось, что правительство «будет свято хранить связывающие нас : другими державами союзы и неуклонно исполнит заключенные с союзни-ками соглашения».

Отношение к войне явилось первым поводом для конфликта между ıравительством и Советом, который — робкими шагами — стремился к «де-ıократическому миру», основывая свои стремления на том, что армия больше юевать фактически не могла. Эта неспособность армии к дальнейшим воен-ıым действиям вытекала не только из учета всех фактов, произведенного эеволюционными партиями. Ее подтвердили впоследствии и «авторитеты» з совсем другого лагеря. Тот же самый профессор Милюков, который в каче-:тве министра иностранных дел Временного Правительства вдесятеро усилил вои призывы захвата Константинополя и проливов и с пеной у рта повсюду голковал о необходимости наступления на фронте для поддержки союз-ıиков, впоследствии писал (Н. П. Милюков, «История второй русской ре-юлюции», т. I, вып. I, София 1921 г., стр. 133):

«Справедливость требует отметить, что развал в армии не был исклю-ıительно явлением послереволюционного времени. И нежелание воевать, и ıадение дисциплины, и подозрительное отношение к офицерству, и дезер-ирство в тыл, — все эти явления замечались еще до революции, как про-ıукт общей усталости, плохой обстановки жизни и недостаточного питания— ıа почве темноты масс и недостаточной авторитетности командного :остава».

Тогда, в марте 1917 г. профессор Милюков был полон «патриотизма».

Керенский беспомощно болтался между Советской и правительствен-ой милюковской точкой зрения на войну, то голосуя с «циммервальдцами», о подписывая декларацию Милюкова, пока не перешел окончательно в ла-ерь «ура-патриотов».

4 марта неожиданно появилось сообщение о назначении верховным лавнокомандующим... великого князя Николая Николаевича... Десятимил-ионная армия отдавалась вновь в руки одного из Романовых...

Под энергичным натиском Совета вступить в командование армией Iиколаю Николаевичу не пришлось.

Отношение к Романовым со стороны «социалиста-революционера» «республиканца» Керенского очень интересно.

6 марта генерал Алексеев заявил от имени Николая II Временному Правительству о том, что царская семья желает эмигрировать за границу. Временное Правительство немедленно согласилось на это и начало переговоры с английским правительством. Выпустить Николая II за границу значило, как ясно каждому, открыть целую эпоху новой борьбы за престол, дать возможность контр-революции сорганизоваться, об'единиться с иностранными защитниками монархии в России и подвергнуть нашу страну новым многолетним бедствиям.

Это понятно каждому, но не Керенскому, который 7 марта в Москве гооврил об от'езде Николая II с семьей за границу, как о решенном и не вызывающем никаких сомнений факте:

«Сейчас Николай II в моих руках, руках генерал-прокурора. И я скажу вам, товарищи, русская революция прошла бескровно, и я не хочу, не позволю омрачить ее. Маратом русской революции я никогда не буду... Но в самом непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию».

Так говорил «заложник» демократии, но не так думали рабочие. 6 марта Исполнительный Комитет постановил Николая II за границу не пускать, а арестовать его в Царском Селе. Николай II, свободно проживавший в Ставке, был арестован и отвезен в царскосельский дворец.

В правительстве Милюкова Керенский, как министр юстиции, занимался разработкой и проведением новых начал по судебному ведомству, старался держать себя «демократически» — жал руки швейцарам и проч., при чем проделывал это не естественно, как следовало бы, а показным театральным образом, но главное внимание его было обращено на другое. Уже с первых дней он старался подготовить себе почву к главенству в правительстве.

С половины марта Керенский едет по России, посещает фронт. В газетах появляются многочисленные сообщения и телеграммы о том, где он был, что говорил. Но больше всего он обращает внимание на военные дела. Повидимому, план сделаться военным и морским министром у него был в это время окончательно уже выработан. Приведу некоторые из газетных сообщений, особенно характерных в этом смысле:

«Среда 22 марта 1917 г. В беседе с сотрудниками газет только что вернувшийся с фронта министр юстиции А. Ф. Керенский поделился своими впечатлениями от этой поездки:

«Прежде всего, — говорит министр, — необходимо омолодить командный состав во всей армии... Нам придется выдержать серьезный экзамен на фронте... продовольственный вопрос... дезертирство...» и т. д.

12 апреля 1917 г. газеты писали:

«А. Ф. Керенский, вернувшись из Ревеля, заявляет, что состояние обороны находится на должной высоте. Все суда в полной боевой готовности. Работа флота напряженная и энергичная...»

Военным и морским министром в это время был Гучков, который по всем этим вопросам или молчал, или не отличался многословием. А

министр *юстиции* информировал страну о состоянии армии и флота, о необходимых мероприятиях по морскому и военному министерству!.. И все как будто бы считали, что это вполне нормально, а Керенский приучал к мысли, что адвокат и штатский — вопреки всем привычным старым традициям (которые особенно сильны были в военной среде) — может с успехом заниматься военными и морскими делами.

22 марта в газетах Керенский заявлял:

«В настоящее время в верхах армии, в генералитете нельзя уже встретить какого-либо противодействия новому порядку»...

Что это был за «генералитет»? 7 марта в Совете тов. Стеклов поднял справедливый шум по поводу приказа, изданного генералом Алексеевым на фронте. Ген. Алексеев, узнав, что на фронт едет делегация в 50 человек и именем нового правительства обезоруживает жандармов (какой ужас!), и получив справку от Временного Правительства о том, что оно такой депутации не посылало, пришел к заключению, что он имеет дело «с чисто революционными разнузданными шайками, которые стремятся разоружить жандармов на железных дорогах», и приказал: «при появлении где-либо подобных (т.-е. разоружающих жандармов) самозванных делегаций, таковые желательно не рассеивать, а стараться захватить их и по возможности тут же назначать полевой суд, приговоры которого немедленно приводить в исполнение»...

Чрезвычайно интересный штрих для характеристики генерала, о полном доверии к которому Керенский говорил в течение целых месяцев своего премьерства! Генерал счел заслуживающим смертной казни факт разоружения жандармов в тылу! И его не убрали немедленно, не привели к покорности революции, а оставили его во главе армии и носились с ним чуть не до самой Октябрьской революции!

Приказ генерала Алексеева вызвал в Исполнительном Комитете Совета искренний смех. Конечно, он не имел никаких последствий...

Генерал Алексеев был не один. 10 марта был получен другой приказ генерала Радко-Дмитриева, который грозил военно-полевым судом за упущения по части чинопочитания и отдания чести... Конечно, он собирался расстреливать за неотдавание чести во имя... народа и свободы!!!

Милюков вел свою линию. Доступ русских газет, в которых писалось о смысле и целях русской революции, за границу был прекращен. Европа питалась исключительно правительственными сообщениями, составленными в ура-патриотическом духе. В этом Милюков получил деятельное содействие со стороны всех правительств Запада. В частности не получил никакого распространения за границей манифест Совета 14 марта о целях войны. Керенский не только не препятствовал этому, но со своей стороны принимал все меры, чтобы поддержать авторитет Милюкова от имени «демократии». В середине марта он заявил публично о необходимости «интернационализировать» Константинополь. В ставке он, обращаясь к войскам, говорил даже то, о чем думали, но молчали, представители буржуазии. Подчеркивая «общую решимость продолжать войну до победы» Керенский говорил, что «лишь

после победы можно будет созвать Учредительное Собрание». А в ставке он обратился к генералу Алексееву (вместо воздействия на него за вышеприведенный нелепый приказ) с такими словами:

«Позвольте мне, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас, как верховного ее представителя, и передать родной армии привет от Государственной Думы». Он уже забыл, вероятно, что является представителем не Думы, а Совета!!! (Суханов, «Записки о революции», кн. 2, стр. 286 — 287, Берлин 1922 г.).

Но напрасно Суханов и другие интернационалисты старались провести в Исполнительном Комитете формальное постановление о том, что Керенский не является представителем Совета в правительстве, ибо он принял портфель министра вопреки постановлению Исполнительного Комитета... Чхеидзе и компания, руководившие в то время Советом, не видели в поведении Керенского ничего компрометировавшего «демократию»...

Из постановлений Временного Правительства, за которые несет полную ответственность и Керенский, ибо одни из них были им подписаны, а другие не были опротестованы, интересны следующие:

Милюков составил «международно-контрольные» списки тех из русских эмигрантов-революционеров, возвращение коих в Россию с точки зрения его было нежелательно, и сообщил эти списки как русским консулам за границей, так и правительствам Запада. На основании таких списков получили отказ в выдаче пропусков в Россию тов. В. И. Ленин и многое множество представителей большевиков. Им пришлось обращаться к помощи швейцарских социалистов, которые организовали их возвращение в Россию через Германию. Какой грязью обливали их в течение месяцев именно те, кто отрезал им все другие пути!!.

Временное Правительство не удосужилось рассмотреть вопрос об увеличении пайка для солдатских жен и об уравнении в правах гражданских жен с «законными» (последнее было обязанностью как раз министерства Керенского). Но 12 апреля Правительство вынесло постановление о назначении бывшим царским министрам... пенсии «в размере не свыше 7.000 рублей в год»...

Таких примеров можно привести многое множество.

Долготерпение трудовых масс истощилось, когда Временным Правительством была опубликована нота, посланная союзникам и раз'ясняющая цели войны. В полном противоречии с манифестом Совета к народам мира от 14 марта эта нота от 18 апреля заявляла, что цели России в войне остаются прежними, какими они были и при царе, что революция ничего не изменила и проч., и проч. Нота эта была подписана в числе других и Керенским...

Посылка этой ноты явилась причиной первого кризиса власти, замену правительства к.-д. с «заложником» — правительством коалиционным уже без Милюкова и Гучкова.

Керенский получил долгожданный портфель военного и морского министра

VII. Чем об'яснить?

Уже прочитав предыдущие главы, всякий, вероятно, скажет: «Да как же это такой фигляр, как Керенский, стал во главе движения? Неужели слепы и глухи были тогдашние лидеры Совета и партий, чтобы сразу не оценить пустоту этого истеричного адвоката?».

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, надо учесть тогдашнее настроение различных слоев населения.

Крупная промышленная и земельная буржуазия об'единилась, поскольку она сумела это сделать, вокруг Милюкова и Гучкова. Она считала, что с низвержением царя все «потрясения» окончены. Дальнейшей ее программой было: победоносное окончание войны, сохранение договоров с союзниками и создание Российского государства по типу если не Англии (попытка провозгласить конституционным царем Михаила провалилась), то хотя бы «демократической» Франции, с первенствующей ролью промышленных, земельных и торговых кругов. Однако она косилась на крестьянство и рабочий класс и, одною рукою собираясь выкинуть для их успокоения «кус» в виде рабочего дня, похожего снаружи на восьмичасовой, и передачи некоторых частновладельческих земель — за «справедливый выкуп», уплачиваемый помещикам, — другою рукой искала среди «демократии» лиц, которые бы — безразлично, сознательно или бессознательно — согласились бы поддерживать ее планы в Совете и в рабочих массах.

Мелкая буржуазия в огромном большинстве примыкала к партии социалистов-революционеров и окружавшим ее группировкам: народным социалистам, трудовикам и проч.

Широкие рабочие массы еще не отслоились по настроению от мелкой буржуазии. В их среде имели значительное влияние в начале революции «циммервальдовские» настроения, но они подпадали постепенно под влияние Чхеидзе, Церетели, Дана и компании, сумевшим вывернуть циммервальдизм наизнанку. Им вдалбливали, что прекратить войну нельзя, что правительство под давлением Совета делает все, что для этого необходимо, что оно находится «под контролем» Совета и проч.

Меньшевики и социалисты-революционеры были убеждены, что революция является буржуазной и что поэтому ставить какие-либо вопросы глубоких социальных изменений в стране значит губить все дело, что спасение именно в соглашении с буржуазией, которой необходимо помочь организовать власть и удержать ее в своих руках.

Если учесть все сказанное, если прибавить к этому, что лучшие представители революционных партий не могли попасть в помещичью Государственную Думу, волею судеб очутившуюся в центре революции в февральские дни, что наиболее яркими фигурами на левом думском безрыбьи были бесталанные Чхеидзе и Керенский, что настроение этих двоих лидеров тогдашнего движения являлось как раз соответствующим господствовавшим мелкобуржуазным течениям, что рабочий класс был сбит с толку тем, что люди, которых он считал выразителями своих интересов и защитниками своей про-

граммы, оказались воодушевленными теми же лозунгами необходимости соглашения с буржуазией, которые проповедовал Керенский, станет понятным, что более характерного выразителя этой неразберихи во мнениях, чем Керенский, эпоха выдвинуть и не могла.

Однако с развитием событий понимание действительности стало все более и более проникать в сознание рабочих масс. Первый кризис правительства явился результатом слишком откровенной империалистической политики Милюкова-Гучкова. Под влиянием соглашательских вождей Совет удовлетворился введением в новый состав правительства большего количества социалистов, которые, как он думал, лучше смогут противодействовать попыткам Милюковского толка, голоса же, высказывавшиеся против коалиции, были в ничтожном меньшинстве.

Тов. В. И. Ленин, приехавший в апреле из-за границы и со ступеньки вагона уже начавший агитацию за прекращение войны, не был еще понят массой, но, выступая ежедневно на многочисленных митингах и собраниях, глубоко вбивал в голову слушателей свои острые и ясные мысли, не смущаясь широкой волной клеветы, нападок и обвинений, которые сыпали на него враги и недоумки революции, и твердо и неуклонно шел к цели, ясно и неизбежно рисовавшейся ему уже тогда в виде Советской власти.

Массы верили Керенскому, Чхеидзе, Церетели, Дану, Чернову. Тем с большим озлоблением они прогнали их прочь, когда увидели воочию их обман.

(Продолжение следует.)

Происхождение обмена и меры ценности.

М. Косвен.

Предмет предлагаемой статьи относится к столь отдаленному прошлому человечества, что материала чисто исторического здесь почти не может быть. Почти единственным, следовательно, источником реконструкции первобытных хозяйственных отношений служат наблюдения над современными так называемыми примитивными народами, далеко, впрочем, не дающими историко-культурного единообразия, а стоящими на самых различных ступенях развития. К сожалению, однако, как путешественники прежних времен, так и громадное большинство современных этнографов обнаруживают поразительное игнорирование вопросов хозяйственного быта наблюдаемых ими народов. Приходится поэтому разыскивать замечания, брошенные вскользь, критически отбирать наблюдения, в большинстве случаев искаженные собственными представлениями и предрассудками наблюдателей. Таким образом нынешнее положение единственной вспомогательной дисциплины начальной истории экономического быта или первобытной экономики делает всякую работу в этой области весьма трудной. Очень обширный этнографический материал, использованный автором, все же не мог дать ответа на многие вопросы, не дал возможности избегнуть ряда существенных пробелов.

I.

Возникновение обмена или, точнее, обращения благ следует относить к самому отдаленному прошлому человечества. Можно сказать во всяком случае, что любое общение или сближение между первобытными человеческими группами, в какой бы форме оно ни происходило, неизменно связано с переходом от одной группы к другой различных предметов.

В основе возникновения такого обращения благ лежат весьма сложные факторы. Данное в общеэволюционном плане приспособления видов и борьбы за существование искание средств поддержания жизни выражается естественно в стремлении к ознакомлению со всяким новым, невиданным, эвентуально чужим предметом, проявляющимся в рефлекторном позыве осязать, вступить в непосредственное обладание такой незнакомой вещью. Этот чисто инстинктивный комплекс, свойственный как дикарям, так и детям в раннем возрасте,

приобретает глубокое экономическое содержание с самым начальным развитием хозяйственного быта и расширением примитивно весьма ограниченных потребностей. Весьма действенное влияние оказывает здесь глубоко присущий человеку инстинкт украшения и, так сказать, выделения своего тела различными способами и средствами. Среди материалов и предметов, которые избираются первобытным человеком для украшений и отличий, внимание и вожделение направляется преимущественно на предметы, обладающие особым, трудно переводимым свойством «диковинности», почему вещественными украшениями так называемых примитивных народов становятся иногда такие предметы, как гвозди, куски бутылочного стекла, металлические ложки и проч.

У дикарей, стоящих на наиболее низкой ступени развития, обращение благ, о котором мы говорим, имеет, как это известно этнологии, вполне своеобразный характер, с одной стороны, импульсивного завладения чужими незнакомыми вещами, с другой стороны, не менее импульсивного, добровольного и совершенно безрасчетного уступания или отдавания своего. Рассказы путешественников наполнены жалобами на то, что дикие хватают без всяких церемоний и ничуть не скрываясь любую понравившуюся им вещь и не только не обнаруживают раскаянья, но сопротивляются попыткам отобрать «похищенное». Все это создало общераспространенное представление о диких, как об от'явленных ворах и попрошайках. Но равным образом бесконечное число раз описывался обычай диких, при наличии мирной обстановки и готовности их к проявлению дружелюбия, встречать гостей подношением плодов, дичи и своих изделий. Этот обычай универсально распространен у народов всего земного шара, переходя в общеизвестный обряд гостеприимства. Так, по обычаям наиболее отсталых индейцев Бразилии, когда мимо их поселения проходит лодка с чужими людьми, у гостей прежде всего отбирают все, что понравится хозяевам, однако если у приезжего отнимают с'естное, то с таким расчетом, чтоб у него хватило запасов для продолжения путешествия. С своей стороны, те же самые бразильские индейцы охотно и любезно уступают все, что понадобится или понравится гостям, и вообще далеко не чужды безграничного гостеприимства.

«Они не имели, — говорит лейтенант Уилькиз (Wilkes) в своем описании экспедиции, предпринятой в 30—40 г.г. прошлого столетия Соединенными Штатами, о населении одного из островов Полинезии,—никакого понятия о меновом торге, они позволяли брать все без всяких возражений и, в свою очередь, брали все, что им досталось, с благодарностью и восхищением».

Аналогичные черты отношения к незнакомым предметам дает нам и онтогения. И дети, маленькие дикари, в раннем возрасте, пока они еще не восприняли идей собственности и расчетливости от окружающих взрослых, охотно уступают свои вещи, но неизменно проявляют острый интерес ко всякому незнакомому предмету, настойчиво стремясь его осязать и вступить в обладание им. Заключение знакомства в мире детей всегда сопряжено с стремлением прежде всего овладеть всеми игрушками своего нового знакомого и

столь же импульсивным уступанием своих. И здесь опять-таки следует видеть в основе, с одной стороны, чисто биологическое проявление инстинкта ознакомления, с другой стороны, отсутствие идеи присвоения.

Оба акта,—как завладение чужим, так и уступание своего,—примитивны, повидимому, лишены в представлении человека какой-либо взаимной связанности или зависимости, почему мы и говорим не об обмене, а об обращении благ, как о самой первобытной форме. Капитан Кук застал австралийцев лишенными какого бы то ни было понятия о формальном, двустороннем обмене. «Они не имели,—говорит он,—никакого понятия о торговле, и мы не могли научить их этому. Они принимали вещи, которые мы давали им, но никак не могли понять наших знаков, которыми мы требовали отплаты». Подобные же замечания нередки и у других старинных путешественников. Увы, это незнакомство с «культурным» принципом взаимности обмена не малому числу дикарей стоило жизни. Точно таким же образом новейший автор, германский капитан Децнер, скрывавшийся во время империалистической войны в горах Новой Гвинеи от англичан, находил еще никогда не встречавшихся с европейцами папуасов, которые лишь с громадным трудом начинали понимать, что столь желанные им вещи они могут получить только после того, как доставят свои овощи и фрукты.

Порядок взаимного обмена, которому европейцам нередко приходилось научать диких, и вводимая манера неукоснительно отвечать на подарок отдарком приводили иногда к курьезам: туземцы требовали подарка в совершенно неожиданных для учителей случаях, например, за то, что им сделали перевязку или оказали какую-нибудь другую услугу, за то, что они позволили зарисовать их и т. д.

Необходимым бытовым условием осуществления и развития обмена является, конечно, установление между сторонами мирно-дружественных отношений. Вместе с тем, и сам по себе обмен становится актом и выражением мира и дружбы, при чем эта черта сохраняется на долгие времена и остается далеко не чуждой последующим уже чисто торговым отношениям. Согласие вступить в обмен и сейчас, по взглядам очень многих дикарей, считается одолжением, а самый обмен является актом дружбы.

С развитием хозяйственного быта и постепенно складывающегося хозяйственного сознания, психика человека обогащается новой весьма значительной и действенной идеей: уступка своего вызывает представление известной материальной утраты, сознание понесенного ущерба, а засим и ответное психико-экономическое требование восстановления, покрытия этого ущерба. Мы можем видеть здесь, в соединении с сейчас указанным суб'ективным моментом, и своеобразную об'ективную идею сохранения экономического равенства по отношению к стороне, с которой производится обмен, сохранения хозяйственного равновесия между сторонами, несмотря на переход блага от одного хозяйства к другому. Эти психико-экономические моменты проявляются в возникновении встречного требования, осознанного на двух сторонах, и выражаются в идее взаимности. Наконец, эти отношения оформляются уже чисто правовой идеей обязательности, и отныне обмен стано-

вится основным видом взаимно-обязательственного отношения или так называемого двустороннего обязательства. Можно сказать, что таким образом складывается в человеке особый сложный социальный инстинкт экономической взаимности, регулирующий хозяйственный обмен и получающий свое естественно-правовое выражение.

Итак, примитивное взаимное завладение и уступание обращается в экономически обоснованный и правно-оформленный порядок взаимного и принципиально обязательственного обмена. Такая форма примитивного обращения благ может быть с точки зрения бытовой названа обменом подарками. Отныне, действительно, всякий подарок требует возмещения, отдарка, «дар дара ждет», говорит пословица, дающий рассчитывает и приписывает себе право получения отдарка, получивший сознает обязанность ответить на подарок. Вместе с тем, оставаясь внешне актом дружелюбия, обмен приобретает определенное хозяйственно-целевое содержание: свое уступается и дарится уже с расчетом и во имя получения искомого чужого. Идея обязательственности в обмене в высшей степени свойственна уже большинству примитивных народов. Когда Дарвин подарил одному огнеземельцу большой гвоздь — очень ценный подарок в тех местах, ничего не прося взамен, туземец сейчас же выбрал две рыбы и подал их на конце своего копья. Путешествовавший по Сев. Америке принц Вид говорит о племени мандана, что достаточно выразить желание иметь какой-нибудь предмет, чтобы получить его в подарок, за что, однако, обычно ожидается отдарок. Точно так же у кавказских и многих других народов хозяин дарит гостю понравившуюся ему вещь, сохраняя за собой право выбрать, в свою очередь, отдарок.

Обмен подарками как таковой, независимо от своей дальнейшей историко-экономической судьбы, надолго переживается в наиболее широко распространенном и стойко сохраняющемся в быту всех, и примитивных и культурных, народов обычае взаимного дарения, приурочиваемого к самым разнообразным, преимущественно торжественным случаям семейной, общественной и даже политической жизни. И в этой пережиточной форме мы всегда находим необходимо присущий обычаю обмена подарками элемент строгой взаимности и обязательственности; эта черта хорошо известна обычному праву всех полукультурных народов всего мира. Да и до сей поры в нашем современном обществе мы всегда встречаемся с этим, быть может, не всегда выраженным и осуществляемым, но достаточно явственным представлением о связи подарка с обязательством, со взглядом, что принятие подарка обязывает к даче отдарка.

С общим развитием первобытных между-групповых сношений, основанных на узах мира и дружбы, случайный или спорадический обмен подарками приобретает более организованный характер, приурочиваясь, главным образом, к между-родовым празднествам или весьма распространенным у примитивных народов взаимным визитам и гощениям, а затем начинает осуществляться и отдельными предприимчивыми людьми. Наконец, такой обмен становится все более правильным и постоянным, входит в экономическую необходимость первобытного хозяйства и составляет уже существенное содержа-

ние между-групповых отношений. Правильность и постоянство такого обмена дают немецким этнологам некоторое основание называть данную форму хозяйственных отношений термином Geschenkhandel (подарочная торговля). Действительно, став на почву взаимности, удовлетворяя хозяйственное сознание сторон, обмен подарками, установив и укрепив мирно-дружественный союз, отрывается от своего генетического основания и выходит далеко за пределы дружественных церемоний. Самый союз между различными группами приобретает новое, чисто экономическое основание, а обмен подарками, расширяясь в своем хозяйственном значении, переходит в обмен, в котором уже преобладают чисто торговые черты.

Указанные выше факторы возникновения обмена находят себе широкую историко-экономическую базу в различии географической среды. Любая особенность естественных условий, в которых обитают две преимущественно оседние или же соединенные удобными путями сообщения группы, приводит к установлению обращения благ или обмена между ними. Правда, совершенно примитивные формы быта в известном смысле ограничивают круг об'ектов, переходящих от одной группы к другой. Приспособление или, вернее, почти полное подчинение первобытного человека условиям среды предопределяет то, что основные потребности удовлетворяются средствами, всегда доступными, даваемыми именно окружающей природой. Таким образом предметы, получаемые извне, являются уже в известном смысле роскошью. Следовательно, только редкостные дары природы чужих местностей, чужие украшения или, наконец, изобретенные какой-либо группой орудия, утварь или оружие могут привлечь вожделение соседей. Об'ектами между-группового обращения благ являются, например, находимые только в одной местности виды флоры и фауны, местный сырой материал, особые горные породы, красящие вещества, соль, раковины и т. д.

Естественно, что более энергично развивается обмен между обитателями различной географической среды. Поэтому особо интенсивным становится обмен между приморскими или речными жителями и обитателями степных областей или горцами; такие именно пути обмена особо характерны для экономики всех примитивных народов. Так, например, обменные отношения, существующие у полудиких племен Конго, сводятся к обмену между так называемыми «людьми земли» и «людьми воды», т.-е. племенами, населяющими внутренние области страны и живущими по берегам рек.

Наконец, с развитием ремесла, основывающегося, в свою очередь, именно на местном материале, и различные ремесленные изделия становятся особо ходкими об'ектами обмена. На небольшом пространстве побережья одного из Соломоновых островов каждая округа имеет свою специальность, дающую пищу оживленному обмену: одни специализировались на изделиях из волос, другие изготовляют горшки, копья и пр., третьи — каменные топоры, прибрежные жители используют свое географическое положение и пускают в обмен европейские товары и морские продукты и т. д. Вообще говоря, такая географическая и ремесленно-промышленная специализация, постепенно все более суживающаяся, представляется весьма характерной чертой быта даже

наиболее диких и отсталых племен и, например, широко распространена в Австралии.

Таким образом, обмен между отдельными первобытными человеческими группами-хозяйствами вообще, а между обитателями различной географической среды в особенности, — явление, можно сказать, универсально распространенное даже у наиболее отсталых из современных диких народов. Напротив, канонизированная в свое время старой школой политической экономии форма так называемого «замкнутого хозяйства» в чистом своем виде совершенно неизвестна этнографии, как и не может быть, повидимому, установлена для прошлого народов исторических. С другой стороны, соответственно условиям примитивного экономического быта, и в особенности при наличии различия географической среды, как самое возникновение обмена, так и поддержание его постоянства не могут требовать каких-либо искусственных средств. Очевидно, никаких материальных посредников, никаких специальных «орудий обмена» примитивному обороту первоначально не требуется и искать не приходится. И здесь созданное старой догмой политической экономии построение, по которому обмен на его примитивных ступенях испытывает затруднения вследствие трудности найти сторону, нуждающуюся в предлагаемом товаре и, в свою очередь, обладающую товаром, потребным первой стороне, т.-е. необходимости, как выражаются, «двойного совпадения потребности и обладания», — представляется, повидимому, целиком заимствованным и специфическим для развитого капиталистического строя, но для первобытной экономики, для примитивных обменных отношений — совершенно искусственным.

Между прочим, помянутое догматическое допущение стоит и всегда ставится в связь с другим положением, оказывающимся также, при изучении примитивного быта, не менее теоретичным. Указанное мнимое затруднение первобытного обмена обычно выводится из другого допущения, по которому одна сторона в обмене предлагает ей ненужное, лишнее, избыточное, вследствие чего отчасти и возникает эта трудность найти потребителя, найти того, кто нуждается в этом, предлагающей стороне ненужном. На самом деле, примитивные хозяйственные отношения, как мы убеждаемся из всех данных этнографии, таких поисков покупателя или такого, как мы выражаемся, «кризиса сбыта», совершенно не знают. Здесь нельзя говорить, конечно, о хозяйственном быте таких, хотя и принадлежащих к так называемым «низшим расам», племенах, которые, по своему культурно-экономическому уровню и в силу постоянных сношений с цивилизованными народами, дают картину вполне развитого торгового и даже капиталистического строя, каковы, например, многие негрские или урало-алтайские племена. Именно, как мы наблюдаем на первобытных ступенях хозяйственного развития, при отсутствии интенсивного труда, при ограниченности потребностей и отсутствии накопительного хозяйства, вовсе не необходимость сбыть излишки, которых, кстати сказать, низшее примитивное хозяйство совершенно не знает, не потребности сбыта, не предложение, а взаимный с п о р, вожделение добыть какую-либо редкую пищу, какой-либо необходимый материал для изделий или какое-либо укра-

шение заставляет первобытного хозяина затратить труд на добывание или отказаться от обладания таким предметом, которого, в свою очередь, домогается противная сторона. Таким образом, лишь непосредственная встреча двух желаний, и при том достаточно интенсивных, составляет непременное условие примитивного обмена.

Но, проецируя наипервобытные формы обмена, мы находим одну весьма существенную эволюционную черту: а именно, повидимому, на самых низших ступенях хозяйственного развития обмен сам по себе, как таковой, так сказать, довлеет своей хозяйственной выгодой для сторон. Данное благо, приобретенное благодаря обмену, имеет самостоятельное значение, безотносительно к об'ему понесенного при обмене ущерба, вне сравнения с благом, данным на промен. По всем видимостям, какое-либо соображение о ценностном соответствии обмениваемых подарков, на каком бы то ни было основании, примитивно совершенно недоступно первобытному человеку, как оказывается оно недоступным и наиболее отсталым дикарям. Так, австралийцы, как и многие другие низшие дикари, очень легко уступают предмет, потребовавший для своего изготовления большого труда, в обмен на какой-нибудь пустяк, и пустяк не только с точки зрения европейца, но и в представлении,—хотя и примитивном, но достаточно отчетливом,—самого австралийца. Отсюда нередко высказываемое европейцами, с одной стороны, возмущение по поводу неумеренной требовательности, с другой стороны, столь же непродуманное удивление наивной несообразительности дикарей; так, даже очень наблюдательный исследователь диких бразильских индейцев, Штейнен, возмущается тем, что за тут же сорванную горсть мангав индеец «нагло» требовал большой нож.

Можно сказать, следовательно, что обмен на первобытной ступени своего развития представляет собой сделку, далеко не торговую в нашем смысле. При таких условиях неудивительно, что обменные операции «культурных» купцов с дикими племенами в конечном счете, с точки зрения самих же торговцев, были надувательством и злейшей эксплоатацией дикарей и приносили баснословную наживу.

Прямое следствие принципиальной взаимности обмена и его обязательственности, но вместе с тем результатом отсутствия сравнения обмениваемых благ — весьма распространенный у низших дикарей, практикующих наиболее примитивный обмен, порядок, по которому дающий получает в обмен то, что ему желательно, имеет право выбора отдарка. Здесь закрепляется, следовательно, лишь право требования без соображения о его размере и вне соответствия с основанием возникновения этого права. Таков именно по существу обмен, практиковавшийся дикими бразильскими индейцами по наблюдениям Штейнена. Таков же обмен, который ведут между собой гиляки, при чем у них считается предосудительным пересчитывать полученные в ответный подарок вещи. Право выбора отдарка составляет распространенное явление и в пережиточном, бытующем у более культурных народов, обычае обмена подарками для выражения и закрепления мирных, родственных и дружеских отношений. Сохранение здесь этого права особенно характерно именно

потому, что в данном обычае еще надолго господствует идея мирно-дружественного акта, с которой трудно связывается мысль о расчете. Характерную аналогию и здесь дают обычаи детского быта. У детей среднего возраста, вообще говоря, весьма широко практикующих обмен, точно так же первоначально совершенно отсутствует сравнение или какое-либо противопоставление обмениваемых предметов. Тогда как взаимность-обязательственность обмена строго соблюдается, какое-либо представление о стоимости обмениваемых предметов не обнаруживается, и действует лишь принцип, что получивший подарок должен чем-либо ответить. Но и здесь выбор отдарка играет существенную роль.

Таким же проявлением примитивного отношения к обмену является стремление получить в обмен возможно большее количество и притом возможно более разнообразных предметов. И на эту черту нередко указывают путешественники и этнографы. «При отдельных сделках обмена, — говорит Меркер об одном отсталом восточно-африканском племени,—они никогда не соглашаются получить только один какой-нибудь товар, но обязательно разные и по возможности много разнообразных предметов».

С дальнейшим развитием в человеке психических способностей и образованием более оформленных экономических представлений, общая и скорее инстинктивная, как мы говорили, идея равенства или равновесия в обмене вступает на путь приближения к более точному ценностному равенству. Естественно, однако, что для развития и правильного применения в обмене этого нового экономического требования необходимо возникновение идеи стоимости. Нет сомнения, что с развитием обще-хозяйственного сознания в человеке развивается и уточняется способность осознания количества труда, необходимого для создания того или иного блага. С этого момента все хозяйственные блага обращаются в «стоимости».

Указанные понятия, раз возникнув и сформировавшись, немедленно вовлекаются в работу при осуществлении обмена. Раз на лицо представление о стоимости благ, всякий акт обмена должен, хотя бы и в неопределенной форме, вызвать у сторон напряженную работу хозяйственной мысли. Необходимая как при сопоставлении обмениваемых предметов, так и при выборе благ, которые стороны имеют дать или потребовать в обмен,—эта работа имеет, конечно, психологически элементарное основание—сравнение. Недаром, по весьма характерному для примитивного торгового обмена приему, обмениваемые предметы выкладываются сторонами друг против друга, очевидно, именно для осуществления наглядности этого сравнивания. Засим, из сравнения двух стоимостей возникает идея отношения этих стоимостей одного к другому или относительной стоимости одного блага, выраженной в другом, или, как мы выражаемся, идеи ценности.

Непосредственным результатом сравнивания благ-стоимостей и возникновения идеи ценности является установление как, с одной стороны, ценностного соответствия или равенства двух предметов, так и неотделимого от такого вывода представления о несоответствии, ценностном неравенстве благ. Уже при самых примитивных фор-

ах обмена у диких возникают нередко взаимные пререкания, споры и свалки: аритель часто остается неудовлетворенным полученным отдарком, считая го неравноценным. Мэн говорит, что у андаманцев (минкопи) «молчаливо одразумевается, что всякий подарок должен быть возмещен каким-либо квивалентом, но так как взгляды дарителя и получателя на ценность обмениаемых предметов естественно различны, то нередко в результате возникают соры».

Таким образом новая идея ценностного сравнения преобразует самым ущественным образом хозяйственное осознание факта лишения определеного блага и требование ущерба,—ту идею равенства, которая в примитивной юрме выражается только в принципиальном требовании чистой взаимности, ополняя эту идею в процессе сравнивания блага утрачиваемого и блага полуаемого новым требованием равной стоимости или равноценности обмениваемых благ. Поэтому так же характерен для примитивной кономической мысли протест против всякого неравенства в обмене, всякого тремления что-либо выгадать: так, гереро (одно из племен южной ветви преобладающей в Африке народности — банту) считают нечестным стараться при бмене получить какую-либо прибыль, и один старик называл каждого купца бманщиком за то, что тот хотел нажить. Отражение этого протеста против бмена, приобретающего новый, торговый характер, выражается и в языке, близости слов: обмен и обман, немецких tauschen (менять) и iuschen (обманывать). Точно так же у северо-американских индейцев лжец» и «торговец» оказались синонимами; впрочем, тем же словом они навали всех европейцев.

С этих пор начинаются, повидимому, весьма напряженные искания приитивной хозяйственной мысли какого-либо об'ективного основания для ценостного сравнения, а вместе с тем и для достижения взаимного согласования енностных представлений сторон. Естественно, что первые формы таких сканий вполне неопределенны. Оригинальный пример, в котором мы находим эединение примитивного права выбора желательного отдарка с взаимным ризнанием оценки обмениваемых благ, дает Уилькиз. Описывая рынок на дном из островов Фиджи, Уилькиз говорит: «Каждый накладывает большую учу принесенных им различных продуктов и товаров; затем всякий может одойти, выбрать, что пожелает, и унести к своему месту; тогда первый имеет раво, в свою очередь, подойти к куче покупателя и выбрать то, что он счиает равноценным взятому у него. Все это совершается без шума и беспоядка; в случае каких-либо пререканий вождь улаживает спор, но это слуается редко».

Повидимому, известной формой как стремления к ценностному притижению в обмене, так и искания какого-либо основания для ценностного равнения или облегчения этого сравнения, является распространенное у диких редпочтение, а иногда даже требование производить обмен предметами, выбор оторых именно дает некоторые об'ективные условия для сравнения. А засим ривычки и обычай закрепляют определенные роды благ, обычно идущих обмен друг на друга. Так, многие меланезийцы особо охотно меняют таро

или кокосовые орехи на табак, оружие на украшения и пр.; иные меланезийцы производят обмен только определенных предметов на другие определенные предметы, например, копий на браслеты, плодов на табак, свиней на ножи и пр. Австралийцы меняют рыбу только на с'едобные коренья. Воинственные джагга (банту) меняют свои копья почти только на оружие. Возможно, что в этих довольно распространенных, но все же не достаточно ясных обычаях сказываются и пережитки привычки постоянного обмена жителей разной географической среды и создающегося на почве этого обыкновения консервативного сохранения первых ценностных противопоставлений.

Дальнейшим и уже весьма значительным результатом возникновения ценностных представлений и новой формой осуществления эквивалентности в обмене является порядок обмена предмета на предмет, одного на один. Каков бы ни был об'ективно такой результат, в примитивной экономике он призван сыграть весьма глубокую и важную роль, делая, очевидно, целую эпоху в развитии примитивного хозяйственного быта. Многие путешественники заставали наиболее низко стоящих диких совершенно лишенными представления о такой процедуре обмена. Так и диким бразильским индейцам способ обмена вещи на вещь оказался совершенно неизвестным, как и вообще было несвойственно какое бы то ни было соображение о ценностном противопоставлении или соответствии обмениваемых предметов. И здесь не мало имеется указаний на то, что такому порядку обмена, именно обмену предмета на предмет или штуку на штуку, дикие впервые научились у европейцев,—вернее, под их давлением.

В результате этого, открывающего новую страницу истории обмена, способа противопоставления одной вещи другой, возникает характерное для психологии первобытного хозяина консервативное стремление сохранить раз принятое отношение. Такое стремление проявляется, и это наиболее примитивная форма в желании дикаря получить за отдаваемый им определенный предмет всегда именно такой же точно предмет, какой он получил в первом случае обмена. «Если я давал,—говорит Турнвальд о некоторых меланезийцах,—кому-нибудь за каменный топор железный нож, то и все другие ожидали всегда того же отдарка за каменный топор».

Тот же вид ценностного приближения в обмене представляет собой, так сказать, огульное требование какого-либо одного предмета в обмен на каждый даваемый предмет. Описывая свое первое путешествие по Центральной Африке, Давид Ливингстон рассказывает, что племя мапололо соглашалось вести обменный торг с европейскими купцами при условии обязательного обмена одного быка или одной коровы или одного слоновьего клыка за каждое ружье, и желание купцов получать за одно ружье определенное количество скота или слоновой кости решительно отвергалось. Еще раз весьма ценный материал дает Уилькиз. «Невозможно себе представить,—говорит он о полинезийцах с островов Тонга,—как трудно что-нибудь купить у этих туземцев... Ни за что нельзя их уговорить продать сразу много предметов одного и того же рода; нет, каждая вещь пускается в продажу отдельно, и все вещи должны отдельно выторговываться таким способом. Прежде чем туземцы приносят что-нибудь

а продажу, они вбивают себе в голову какой-нибудь предмет, который они отят за это получить, и если они его не получают, то забирают свои товары братно, независимо от того, соответствуют ли они по ценности тому, что им редлагалось в обмен. Г. Вандерфорд, который бывал здесь много раз с 1810 эда, говорил мне, что он «еще никогда не видал такого бесстыдства» со тороны тонганцев. Последнее замечание спутника лейтенанта Уилькиза, онечно, весьма для нас показательно. Характерно еще, что путешественики, пытавшиеся расплачиваться с дикими европейскими деньгами, получали дин какой-нибудь предмет за каждую, конечно, любую, монету.

С переходом к обмену предмета на предмет, как к более доступной форме енностного сопоставления, практика обмена приводит к фиксированию собо ходких об'ектов оборота в постоянном ценностном их друг к другу тношении равенства, к установлению общепризнанных эквивалентов. Иначе зворя, этим предметам сообщается постоянная или более или менее устойивая относительная или меновая ценность. Так, например, дикое негрское лемя мамбукушу (южн. банту) выменивает изготовляемые им цепочки из корлупы страусовых яиц на хлебное зерно у своих соседей, занимающихся эмледелием; при этом обычно одна цепочка, требующая не менее двухне ельного труда, выменивается на одну корзину зерна.

Таким образом практика оборота как бы признает, что A = B, C = D т. д., при чем каждая такая пара эквивалентов состоит из предметов, обычно бесспорно идущих в обмен друг на друга. Вот, например, общепризнанные квиваленты обменного оборота некоторых примитивных народов:

копье = курице,
курица = пивной бутылке,
мотыга = корзине маиса
(племена банту);
верблюд = рабу
(суданские негры);
волосяной браслет = каменному топору
(новогвинейцы).

Дальнейшим этапом развития ценностной работы и вместе с тем реультатом практики оборота является включение в уравнение не только пар, и целых рядов предметов, составляющих ряды эквивалентов оборота. Таким бразом оборот закрепляет ценностные отношения: A = B = C = D; = L = M = O = P и т. д., при чем каждый член этого ряда эквивалентов эвычно обменивается штуку на штуку на любой другой предмет того же да. Таковы, например, эквивалентные ряды Соломоновых островов:

кольцо = черепу = свинье = молодому рабу;
браслет = больш. горшку = большой корзине таро =
копью = связке раковин.

Повидимому, на более низких ступенях развития обмен и ограничиется этими принятыми эквивалентами. Но, с развитием оборота, в особен-

ности в случаях введения в обмен благ явно крупного хозяйственного значения, данный порядок должен оказаться стеснительным и требовать новых средств покрытия ценности. Как мы видели, сравнивание обмениваемых благ и их ценностное противопоставление естественно ведет хозяйственную мысль от представления о равенстве ценности к осознанию и неравности таковой, от идеи равноценности к идее разноценности. Возникающее отсюда представление разности ценности хозяйственных благ вводится отныне в качестве весьма существенного элемента в обмен. Развивающийся обменный оборот, под непременным и неуклонным императивом сохранения экономического равновесия, требует способов или средств для уравнения явно неравноценных благ.

Повидимому, наиболее доступным для первобытного хозяина способом покрытия ценностной разности становится противопоставление одного более ценного предмета ряду других менее ценных предметов, целому набору разных ценностей. Таким образом ценностное уравнение принимает форму:

$$A = B + C + D.$$

Как мы сказали, потребность в таком покрытии разницы стоимости возникает в особенности при обмене какого-либо особо крупного по своей стоимости блага, а тем более при наличии особого спроса. Когда одной стороне предстоит отдать явно значительную ценность, например, лодку, редкое украшение и проч., при чем другая сторона не может предложить столь же ценный эквивалент, продавец естественно возвращается к примитивному стремлению получить возможно большее количество предметов разного рода. Так, например, Кук выменял якорь, потерянный Бугенвилем на о. Отаити, за полотняный халат, газовое кружево, зеркало, шесть топоров, стеклярус и еще несколько мелочей; в одном случае обмена у гвинейских негров за жеребенка было отдано: коза, осел, курица и мелкая монета. Способ покрытия стоимости разбираемым порядком представляется прямо необходимым и особо практикуется в случаях покрытия такой крупной ценности, какой является в примитивном хозяйстве человеческая особь. А именно, в случаях продажи женщины, при покупном браке, а равно в случаях платежа за убитого человека, при возникновении так называемой в истории уголовного права системы композиций, эквивалентом этой крупной ценности, ценой человека становится примитивно целый набор различных предметов. Как чисто обменные, так и эти последние, относящиеся к брачному и уголовному праву, отношения закрепляются обычаем в общепринятые ценностные формулы, при чем для платежей за женщину и за уголовный ущерб данная форма особенно стойко переживается вплоть до развития иной платежной системы, тем более, что человек надолго остается наиболее крупной хозяйственной ценностью.

Так, у весьма многих народов вено или цена невесты остается более или менее твердо установленной в ряде предметов; например, у мазаи плата за невесту составляет 5 горшков меду + 3 коровы + 1 бык, у двух племен зап. банту — 2 раба + 1 корова + 4 копья или 2 коровы + 5 коз. Вергельд (вира) или платеж за убийство человека по одной из германских «Правд»

тавляет: 20 коров + 1 бык + 10 жеребцов + 1 дикий ястреб + 1 меч без кен (Lex Ribuaria, 36, 11 — 12, аналогии в Leg. Burg., Alam., Baiuwar. роч.). Точно такую же систему находим и в уголовном праве полукультур- народов: у сандаве (вост. банту) вира человека составляет: 4 козы + оров + 2 топора; у другого племени той же расовой группы, бадое, платеж убийство человека составляется из нескольких овец, мешка соли и не- льких бус. Наконец, так же складывается вообще продажная цена чело- а: у зап. банту в прежние времена молодой раб стоил 50 медных прутьев + енок пороха + ружье, а ребенок: 30 медных прутьев + боченок по- а и т. п.

Процедура осуществления отдельной сделки данной весьма распростра- ной формы обмена сводится к постепенной додаче предметов различной имости до того момента, пока не установится известное равновесие, вза- ю признаваемое и удовлетворяющее обе стороны. Выражаясь современным ком, можно сказать, что здесь цена товара устанавливается в самом про- се обменного акта. В противность более примитивной форме, обнаружи- ющей слабость ценностных представлений, дающую возможность согла- ться на уравнение стоимости одного предмета другому, здесь мы имеем про- ение более требовательного хозяйственного сознания, идущего путем по- пенного выравнивания ценности обмениваемых предметов. Эта процедура ществляется весьма характерным для примитивной торговли актом пере- и или, вернее, откладывания, выкладывания даваемых в обмен предметов до мента наступления того равновесия, которое удовлетворяет обоюдное пред- вление о соотносительной ценности обмениваемых благ. Здесь таким обра- , помимо воспроизведения того выкладывания в целях сравнения обмени- мых предметов, о котором уже говорилось, идет постепенное выравнивание ы. Характерную картину дает капитан Децнер: на одной стороне стоит давец-папуас и держит связанную свинью; покупатель кладет между собой продавцом какой-нибудь предмет, предлагаемый в обмен. Хозяин свиньи ча отворачивается, давая понять, что он не удовлетворен. Тогда поку- ель кладет еще какой-нибудь предмет, но продавец не меняет своей позы. сле ряда новых добавок продавец собирает, наконец, все предложенное ему бмен, и удаляется, оставив свинью. В известной степени пережитком тех же имитивных порядков остается до сих пор базарный обычай торговаться.

(Окончание следует).

Критика исторической теории Риккерта.

Л. Аксельрод (Ортодокс).

(Продолжение).

Философия истории Риккерта находится в тесной логической связи с его теорией познания и вытекает из этой последней с полной необходимостью.

Каковы же главные принципы теории познания нашего мыслителя? В общем Риккерт повторяет, конечно, главные идеи критицизма Канта. В частности же заметны некоторые видоизменения, которые подсказываются, с одной стороны, настоятельной необходимостью уступок современному уровню знания, а с другой — стремлением дать гносеологическое обоснование современному буржуазному индивидуализму. Невозможность согласования критической философии с современной наукой создает множество противоречий, являющихся причиной недочетов, бросающихся в глаза провалов в логическом развитии мысли нашего автора.

Это, конечно, затрудняет изложение, лишая возможности представить философские убеждения Риккерта в строго систематическом виде. Впрочем, те принципы системы нашего мыслителя, на которых непосредственно покоится его философия истории, выявлены с наибольшей отчетливостью. Они же, эти принципы, составляют фундамент его гносеологии. Сущность этой последней сводится к следующим положениям. Подобно всем представителям современных идеалистических течений, Риккерт исходит из того убеждения, что необходимо положить раз навсегда конец старой догматической метафизике. Победу над метафизикой он так же, как и все представители идеалистического направления, видит в устранении «трансцендентного» бытия, т.-е., по его мысли, в отрицании предметов опыта, существующих вне и независимо от сознания. Следуя общему построению системы Канта, Риккерт считает необходимым условием критики и преодоления метафизики строгое определение компетенции и значения наших познавательных форм, говоря словами Канта, *трансцендентальных* условий опыта. Исходный пункт теории познания есть, таким образом, суб'ект.

Последователь и страстный догматический защитник Риккерта, М. Рубинштейн справедливо заявляет: «Риккерт с первого шага вполне сознательно становится на антропоморфическую теоретико-познавательную

іку зрения, ибо все знание достигнуто человеком и человечеими силами и средствами, ибо это единственно возможная и плодотворı точка зрения» [1]). Единственная ли эта «возможная и плодотворная» точка ния, это другой вопрос, но что Риккерт сделал исходной точкой своей сеологии антропоморфизм, в этом М. Рубинштейн совершенно прав. Теоı познания, делающая пунктом отправления сознание человека, должна, ако, по мнению Риккерта, строго отмежеваться от психологии, которая же имеет дело с человеческим духовным миром, подвергая научному анау его переживания. Следует также четко различать между психологией и икой. Черты отличия этих областей друг от друга следующие. — Психоия имеет своим предметом исследования нашу духовную жизнь, со всеми іими переживаниями. С точки зрения психологии и психолога соверіно безразлично, какого характера в смысле ценности эти духовные ержания. Ложны или истинны представления, подлежащие исследованию, тветствуют они какой-нибудь действительности или не соответствуют, вственны ли они или безнравственны — все эти оценочные различия не ересуют психолога. Психология относится к естествознанию и, подобно и отраслям этого последнего, она рассматривает свой предмет с чисто :анической точки зрения. Иначе поступает логика и теория познания. ача логики заключается как раз в том, чтобы устанавливать различия сду верными, истинными и ложными, неистинными суждениями. Она іется поэтому по существу наукой нормативной. То же самое и в большей степени относится к теории познания. Теория познания, как од изыскания истины, имеет своей основной задачей по возможности но определить как содержание, так и форму нашего познания действиьности. Но что же такое действительность с точки зрения Риккерта? Ведь ершенно ясно, — заявляет наш автор, — что самое познание только тогда ет смысл, когда есть предмет, который существует независимо от познаюо суб'екта. Каково же содержание этого познаваемого об'екта и что предзляет собою познающий суб'ект?

С наивно-реалистической точки зрения, — рассуждает Риккерт, — мы им суб'ект в нашем «я», понимая под ним человека таким, как он предзляется нам в обыкновенной жизни, т.-е. как существо, состоящее из з и духа, из физического и духовного элементов. Познающему суб'екту тивостоит, таким образом, в качестве познаваемого предмета, внешний , т.-е. все то, что лежит вне тела суб'екта. Но это примитивная точка іия, на которой критическая мысль успокоиться не может. Вполне очеіо, — рассуждает дальше Риккерт, — что с неменьшим правом мы моı отнести к числу об'ектов наше тело и, таким образом, от познающего екта вычитывается все физическое и в результате получается суб'ект, орый, как психическое существо, противопоставляется физическому. критический познавательный анализ не может задержаться и на этом іе. Дело в том, что в потоке наших душевных переживаний мы четко

[1]) Вопросы философии и психологии, стр. 5, январь-февраль 1907 г. Подчеркнуто ром.

отличаем или, по крайней мере, должны отличать наше «я», как таковое, от его содержания, т.-е. от его представлений, чувствований, переживаний и т. д. Эти содержания сознания также относятся и к об'екту. Остающееся, за вычетом всех перечисленных элементов, индивидуальное «я» не является еще суб'ектом познания, ибо и оно может быть отнесено к об'екту. Настоящим, действительным суб'ектом должно считаться только то, что ни в коем случае не может быть об'ектом. Поэтому все психическое содержание, а также индивидуальное «я» не является последним завершающим пунктом, ибо как вполне возможные об'екты познания они относятся к области об'ектов. Что же остается после всего этого последовательного отвлечения или, проще, после того, как Риккерт вычел по существу всего суб'екта? Остается,— полагает наш мыслитель, — общее сознание, как таковое, сознание вообще. Это сознание вообще не может быть об'ектом, и потому оно является настоящим суб'ектом нашего познания. Оно не представляет собою реальности, ибо действительно только содержание сознания. Оно, как его определяет Риккерт, есть: «Общее, безымянное, безразличное, сознание»—единственное, что не может быть об'ектом. Теперь мы знаем, что̀, согласно теории Риккерта, является действительностью. Действительность, это не что иное, как содержание «общего безымянного безличного сознания». Какой же смысл и какое значение имеет это общее сознание? Очень большое, ответственное и решающее. Во-первых, при помощи его устраняется об'ективный или, по терминологии Риккерта, трансцендентный мир догматической метафизики, главным образом, «метафизики материалистической». Устраняется, благодаря тому, что об'ектом познания служит содержание сознания, а последнее является его формой. Вследствие этого нет никакой нужды предполагать еще новый об'ект, находящийся за пределами этих двух факторов. Во-вторых, это же общее сознание, лишенное всякой конкретности, является, по существу, главным источником обще-обязательной истины. Все наше конкретное содержание сознания состоит из представления. Представления же сами по себе лежат как бы по ту сторону истины, они не могут считаться ни истинными, ни ложными, являясь просто фактами. Наше, например, непосредственное представление о том, что земля находится в покое, остается нашим представлением, которое научная мысль о противоположном не может уничтожить. Критерием, на основании которого устанавливается различие между ложными и действительными представлениями, является общее сознание, порождающее суждение. Основной научной мысли оказывается, таким образом, суждение. Если представление, лежащее по ту сторону истины, образует собою безразличное бытие, то суждение, сущность которого состоит в том, что оно отличает истину от лжи, заключает в себе момент долженствования, т.-е. того, что должно быть. Суждение, устанавливая различие между представлениями, по признаку их истинности, утверждает или отрицает, одобряет или отвергает. Одобрение или неодобрение предполагает ценность. Таким образом, мы дошли до верховной инстанции риккертовского гносеологического построения. Следует, однако, сделать несколько раз'яснений, которые, быть может, необходимы для

читателя, не совсем посвященного во все тайны риккертовской, по существу, схоластической мысли. Нужно строго различать между оценкой и ценностью. Оценка есть суб'ективный, индивидуальный или групповой акт. Оценка того или другого явления с эстетической или нравственной точки зрения есть эмпирическое, суб'ективное, отношение и потому оно является фактом психологии. Другое дело ценность. Ценность представляет собою ту общую норму, которой суб'ект руководствуется, когда дает ту или другую оценку данному определенному явлению. Но сама норма не есть проявление суб'екта. Ценность, хотя и всегда относима к действительности, тем не менее, не является частью этой последней. Послушаем самого Риккерта, как он характеризует это свое главное до чрезвычайности отвлеченное понятие:

«Иные об'екты обладают ценностью или, говоря точнее, в иных об'ектах обнаруживаются ценности. Такие об'екты тоже обыкновенно называют ценностями. Произведения искусства являются, например, такого рода действительными об'ектами. Но нетрудно показать, что ценность, обнаруживающаяся в такого рода действительности, отнюдь не совпадает с самой их действительностью. Все, что составляет действительность какой-нибудь картины: полотно, краски, лак — не относится к ценностям, с ними связанным. Поэтому мы будем называть такие, с ценностью связанные, реальные или действительные об'екты «благами» (Güter), чтобы отличать их, таким образом, от обнаруживающихся в них ценностей. В таком случае, например, и хозяйственные «ценности», о которых говорит политическая экономия, будут не «ценностями», а «благами». Точно так же и в других случаях нетрудно будет провести различие блага и ценности» [1]). Итак, благо рассматривается, как часть действительности. То или другое отношение суб'екта к этому благу есть оценка, и эта оценка, как таковая, есть «часть психологии». Ценность же находится в связи с тем и с другим, т.-е. с частью действительности, составляющей благо, и с суб'ективной оценкой блага. Но сама по себе она — ценность — ни то, ни другое. «Она образует совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону суб'екта и об'екта». Ценность является, таким образом, трансцендентным началом. Сущность этого начала заключается в его абсолютном характере. В то время, как оценка относится к тому или другому явлению бытия, ценность—общезначима. Ею определяется не только то, что есть, но и то, что должно быть, как в области научной истины, так и в практической действительности истории. Вот в общих, но и, думается нам, в существенных чертах главные принципы гносеологии Риккерта.

Мы не станем подвергать здесь обстоятельной критике эту гносеологию, как таковую. В связи с нашей специальной темой, нас интересуют те ее основы, которые касаются непосредственно философии истории. С этой точки зрения самыми важнейшими из этих основ являются понятие действительности и, прежде всего, понятие ценности. Считаем, тем не менее, не лишним отметить тот интересный и многозначительный результат, к ко-

---

[1]) Логос, кн. первая, Москва 1910 г. изд. „Мусагет", стр. 31—32.

торому приходит Риккерт после всех своих гносеологических изысканий. Вся изложенная операция над суб'ектом производится с целью критически преодолеть «догматическое» признание об'ективной независимой от суб'екта материальной действительности. Эта последняя об'является метафизическим трансцендентным началом, которое недопустимо с точки зрения критической философии. А в результате всех манипуляций получается трансцендентная ценность, которая по собственному определению Риккерта, «образует собою совершенно самостоятельное царство, лежащее по ту сторону суб'екта и об'екта». Истинное содержание или, точнее, истинная бессодержательность этого царства будет нами постепенно обнаружена, хотя, как нам кажется, до известной степени она уже должна быть ясна из самого изложения.

Перейдем теперь к коренной проблеме Риккерта, к философии истории. Метод обобщения исторической науки отличается, как мы знаем, от метода исследования в естествознании. В области естествознания процесс образования понятий совершается на основании равнодушного механического констатирования сходства и различия общих признаков. Спрашивается, правильно ли это с точки зрения самого Риккерта? Верно ли, что в области естествознания отсутствует оценка, которая, как учит Риккерт, стоит в связи с ценностью? Более или менее внимательный анализ приводит к отрицательному ответу на поставленный вопрос. Как мы видели выше, сама риккертовская гносеология устанавливает принципиальные различия между представлениями и суждениями. Суждение отличается тем, что оно призвано вскрыть истину в отличие от ложных представлений. Отсюда совершенно ясно, что естествознание, устанавливающее общеобязательные законы, представляющие собою истину, в отличие от суеверия, предрассудков и, вообще, от всякого рода ложных представлений, должно быть с точки зрения Риккерта же подведено под категорию ценности. В действительности процесс образования естественно-научного понятия сопровождается оценкой и оценкой с точки зрения общей цели. Естествоиспытатель, который в своем исследовании устанавливает общие понятия, на основании сходства признаков данных индивидуумов, действует вовсе не равнодушно, а кровным образом заинтересован в том, чтобы достичь поставленной им цели, т.-е. найти искомое общее в окружающем его бесконечном разнообразии. Его стремление к достижению истины в своей области может быть и бывает одушевлено таким же пафосом, как и защита любого нравственного идеала. И недаром же естествознание имеет своих мучеников, таких же самоотверженных мучеников, как и религия. Без оценки в смысле отношения суб'екта к об'екту не происходит ни одно человеческое д е й с т в и е. Выходит, таким образом, что даже с точки зрения Риккерта нет ни малейшего основания для утверждения различия между методом в области естествознания и методом в исторической науке. Ибо, повторяем, идеал или долженствование участвуют в обеих дисциплинах. Утверждение этого различия представляется на первый взгляд вполне убедительным по той причине, что значение законов естествознания получило в настоящее время всеобщее и об'ективное признание. Между тем, как представители буржуазной мысли, исходя сознательно или бессозна-

тельно из чисто классовых соображений, оспаривают возможность исторической закономерности. Далее, Риккерт старается убедить нас в том, что в процессе образования понятия в области естествознания стирается индивидуальность. Иначе говоря, естественно-научное понятие по мере приближения к своему познавательному идеалу, т.-е. к высшему обобщению, заключает в себе все менее и менее элементов действительности. Идеальной целью такого познания оказывается полное отвлечение от качественного бытия. «В содержании, — формулирует Риккерт свою мысль, — естественно-научных понятий не оказывается следов того воззрения, которое непосредственно представляется нам в опыте». «Или раз образовано понятие — из него исчезло все действительное».

Это совершенно ошибочное положение, имеющее в учении Риккерта главное решающее значение и фигурирующее, кстати сказать, в учебниках логики, как неопровержимая истина, — имеет своим источником кантовский гносеологический дуализм, т.-е. полный отрыв познавательных форм от материи опыта. При некотором размышлении нетрудно заметить, что понятие, якобы потерявшее все конкретное содержание, на основании которого оно образовалось, есть не более, как пустая и бессодержательная кантовская форма. Мы тут встречаем старую знакомую трансцендентальную апперцепцию, которая констатирует, как известно, тождество восприятия на основании тождества формального суб'екта. Высшее понятие в его завершенной форме в виде общего закона является с этой кантовской точки зрения ничем иным, как законом нашего рассудка. Каждый закон природы, сформулированный в естествознании, есть не более, как полученный нами обратно закон нашего мышления. Это центральное положение критической гносеологии, повторяемое Риккертом, представляет собою полнейшее заблуждение [1]).

Полная несостоятельность отрыва формы от содержания опыта доказана в философской литературе представителями различных направлений монистической мысли, раньше Фихте, а затем, главным образом, Гегелем. Аргументации этих мыслителей мы здесь приводить не станем. Конечно, изображение действительности в той или другой системе общих понятий не может быть полной, т.-е. вся конкретность во всем целом не охватывается отвлеченным понятием. Если бы это было в действительности так, то не имело бы никакого смысла образовывать отвлеченные понятия, ибо цель этих последних состоит в преодолении бесконечности индивидуальных форм. Тем не менее общее понятие потому именно, что оно общее, богаче своим содержанием отдельного, конкретного индивидуума. В противном случае, общее понятие было бы лишено для нас всякого значения. Значительное количество повторения свойств индивидуумов одного и того же вида или рода делает возможным узнавание каждого из них. Понятие, например, льва не включает в себе исчерпывающим образом всех признаков и свойств этого вида, но в нем мыслится, в противоположность мнению Риккерта, несомненно, большее количество признаков львиной породы, нежели их содержит в себе отдельный

---

[1]) См. Аксельрод-Ортодокс, Философские очерки.

экземпляр. Когда в общеречии говорится, вот это настоящий лев, то тут подчеркивается, и справедливо подчеркивается, большая сумма признаков этого животного вида, чем содержит отдельный средний экземпляр. Кроме того, следует заметить и особенно сильно подчеркнуть, что восхождение к все более и более общим понятиям отнюдь не является целью естествознания, как это совершенно ошибочно толкует Риккерт, а средством для изучения всех взаимоотношений конкретной действительности. Наоборот, задачу естествознания оставляет все больше и больше охватить по возможности всю конкретность и представить картину мира с той полнотой, которая доступна уровню знания данной эпохи. Количество остающихся индивидуальных необ'яснимых явлений должно итти в убывающем порядке по мере роста и развития положительной науки. Но такой именно диалектический подход чужд Риккерту, который если и прибегает к диалектике, то в чисто идеалистическом направлении, почему она и вырождается в чистейшую софистику. Именно благодаря отсутствию конкретной материалистической диалектики, Риккерт отрывает содержание от формы, превращает эту последнюю в самостоятельную категорию, а вслед затем утверждает, что конкретность, т.-е. индивидуальность, составляет границу этой же искусственно оторванной формы. На этом анализе закончим наши критические замечания, касающиеся вопроса образования общих понятий в естествознании, и перейдем к философии истории нашего мыслителя.

Как нам уже известно из предыдущего очерка по Риккерту, в историеведении образование отвлеченных понятий представляется невозможным. С его точки зрения, история имеет дело с индивидуальными, не повторяемыми, только раз совершившимися, явлениями. Тем не менее, исторические обобщения допускаются нашим философом. Но обобщающую силу составляет трансцендентная ценность. Мы видели что такое ценность. Мы знаем, что эта категория трансцендентна, что она стоит по ту сторону опыта, что она не является обобщающим единством психологических оценок. Если, например, историк группирует факты исторической действительности, беря за критерий тот или другой идеал, то Риккерт об'являет такой критерий суб'ективным и не научным. Где же об'ективный критерий, вытекающий из учения о трансцендентной ценности? Таким критерием служит, в конечном итоге, нравственное долженствование или, что одно и то же, кантовский категорический императив.

Категорический императив в достаточной мере критически рассмотрен и с полным основанием отвергнут значительным количеством мыслителей различных направлений. Но Виндельбанд, Риккерт, представители Марбургской школы сделали из этого метафизического постулата критерий исторического прогресса. Согласно учению о категорическом императиве факты исторической жизни группируются не сообразно тому, что в действительности есть, а на основании того, что должно быть. Само же долженствование, как это следует из учения в категорическом императиве, не только ничего общего не

меет с действительным бытием, но оно ему противоположно [1]). Оно. как сказано, трансцендентно, т.-е. сверхпсихологично, сверхиндивидуально, сверхоциально, сверхисторично. И именно потому, что оно стоит по ту сторону сторической действительности, оно может служить об'ективным, обобщаюим началом, благодаря которому хаотический материал истории получает динство и смысл. Чем же, спрашивается, можно обосновать действительность акой высшей верховной ценности, призванной служить историческим криерием, на каком основании она может вообще быть применима к чуждым й явлениям исторического опыта? Логически, научным путем дать обоснование этой ценности, конечно, невозможно. В интересной и обстоятельной раоте Б. Шмейдлера, посвященной критике исторической теории Риккерта, втор этой работы совершенно справедливо говорит: «Каким образом полует Риккерт об'ективные, безусловно общезначимые ценности, на основаи чего получает он уверенность в их существовании? Критическая логика танавливает для мышления те нормы, согласно которым должно мыслить, ли мышление претендует на истинность и правильность (auf Wahrheit und chtigkeit erhebt). Риккерт находит это сверхлогическое оправдание логики самом факте осознанной долгом воле (des pflichtbewussten Willens), в категрическом императиве, который властвует над человеком, выявляя безусловю значимость ценности правильного мышления, как абсолютной ценности самой себе. Он полагает логическим путем обосновать сверхлогическую неходимость правильного мышления, ему представляется, что ему удалось им же путем вывести абсолютную ценность. Ясно, что эта мнимая, долгом ознанная воля есть не что иное, как вылущенный и представленный факт ихологического состояния» [2]). Шмейдлер совершенно прав в своем утверении, что сознание долга вовсе не является чем-то сверхпсихологическим, есть, поскольку оно действительно существует, психологический факт, корый к тому же проявляется в различных формах и имеет различное и подс противоположное содержание в различных группах и различных индивиумах. Далее, тот же Шмейдлер делает общее заключение в следующих выжениях: «Безусловно необходимое признание абсолютных общезначимых нностей, которые приписываются каждому человеку, сводятся к признанию го факта, что жизнь, как таковая, есть стремление, целеполагание. оцениние и движение по пути достижения ценности, что понятие жизни без таго определения не мыслимо. Более определенный по своему содержанию в этой определенности, безусловно необходимой, общезначимой ценности, ккерт не обнаружил и из этого факта (человеческих стремлений. *А.)* выти не может» [3]).

---

[1]) См. Аксельрод-Ортодокс, „О проблемах идеализма" в сборнике „Против ализма".

[2]) Annalen der Naturphilosophie, herausgegeben von Wilhelm Ostwald, Leipzig 1904, 29.

[3]) Там же, стр. 31.

Весьма любопытно, что тот же Шмейдлер, подвергая резкой и решительной тике категорический императив, подчеркивая его абсолютный метафизический

В третьей главе, уже цитированной нами, статьи «Философии истории» Риккерт всячески старается оградить себя от обычной традиционной «метафизики бытия» и защитить свою теорию ценности от обвинений в метафизике. Он сам чувствует, что дело не совсем ладно и что защита слабая. Трансцендентная ценность имеет своей последней задачей об'единить все индивидуальное в общей жизни человечества, то индивидуальное, которое он определяет, как историческое, в одно единое целое и которое является с его точки зрения и по его терминологии историческим универсумом. С этой целью философия истории должна отбросить некоторые культурные ценности и выделить лишь те из них, которые отличаются абсолютной и безусловной значимостью. Отсюда приходит Риккерт к дальнейшему выводу, что философия истории имеет своей задачей создать науку «с весьма своеобразной логической структурой, именно к понятию систематической науки о культуре» [1]). Выходит, что необходимо создать систему культурных ценностей, но система предполагает образование отвлеченных понятий и, следовательно, необходимость применения генерализирующего метода к историеведению. Но Риккерт, сказав о необходимости «систематической науки, о культуре», тут же спешит оговориться: «Несмотря на свой систематический характер, она не представляет из себя генерализирующей науки, т.-е. она не имеет целью построить систему более или менее общих понятий, так как она ведь всегда имеет дело с исторической культурной жизнью, но она пытается, посредством индивидуализирующего метода, связать вместе понятия об исторических частичных индивидуальностях (Teilindividualität), сомкнуть их в законченное единое целое, понятие индивидуальности исторического универсума (Universalindividualität). Такое понятие не содержит в себе никакого противоречия. Система ценностей делает возможным систематизирование, а отнесение к системе ценностей позволяет применить индивидуализирующий метод» [2]). В высказанных здесь мыслях стоит и необходимо разобраться. Все историческое построение приводит нашего автора к идеям о необходимости создания науки о культуре. Эта наука имеет своей задачей устанавливать различия между культурными ценностями, имеющими историческое значение, и такими культурными ценностями, которые его лишены. Как установление этого различия, так и приведение в систему культурных ценностей возможно при помощи категории общезначимой ценности. Но спрашивается еще раз, что́ же собственно означает общезначимая ценность, совершенно освобожденная от всякого конкретного исторического содержания? И каким образом можно на осно-

---

характер, делающий совершенно непригодным в качестве критерия истории, сам сводит общественно-исторические явления к человеческой природе, как к коренной, об'ективной основе исторического процесса. Человеческая природа, конечно, реальная величина, но когда речь идет об об'яснении ее законами исторического развитие, она так же абстрактна и так же мало может служить об'ясняющим принципом, как и метафизический категорический императив.

[1]) Философия истории, стр. 120.

[2]) Там же, страница та же.

вании этой отвлеченной ценности устанавливать различия между истинными и неистинными культурными ценностями? При вдумчивом и внимательном отношении становится совершенно очевидным, что Риккерт в этих своих главных рассуждениях вращается в странном заколдованном кругу. Скрытым образом предполагается, повидимому, различие между истинно и не истинно культурными ценностями, на основании тех или других эмпирических действительных признаков и свойств в совершившихся событиях, а затем утверждается обратно, что эти конкретные различия установлены на основании трансцендентного начала. Короче, форма отрывается от содержания, гипостазируется в самостоятельную сущность, которая об'является абсолютным об'ективным началом на том единственном исключительном основании, что оно лишено всякого действительного содержания. Одним словом, с какой стороны ни подойти к исторической теории Риккерта, вывод один и тот же. Исторической теории, с точки зрения трансцендентной ценности, построить невозможно. Индивидуализирующий метод, который провозглашается Риккертом, как единственный верный метод для понимания исторической действительности и для раскрытия ее истинного смысла, представляет собою, мягко выражаясь, сплошное недоразумение, так как нет ни малейшей возможности фиксировать общезначимой ценности в конкретной исторической среде.

Переходим теперь к другому главному вопросу, к вопросу о применении методов образования отвлеченных понятий к историческим явлениям, или, выражаясь термином Риккерта, о значении генерализующего метода для историеведения. Возьмем для примера события английской истории XVII столетия. Историк, поставив себе целью изучение английской революции, приступает, например, к изучению прежде всего с точки зрения, происходившей борьбы между аристократией, связанной с монархией, королем, с одной стороны, и окрепшей буржуазией—с другой. Республика была выступлением новых классов, которые вели борьбу за политическую власть. Каким методом, спрашивается, понимая метод в данном случае в чисто формально-логическом смысле, будет руководствоваться историк, приступая к своему делу. Думается нам, что оно будет группировать те факты, которые входят в общие понятия политики. Затем, идя дальше в своих исследованиях, он, по всей вероятности, придет к мысли, что борьба за политическую власть определяется экономическими отношениями, ему, следовательно, придется об'единять факты хозяйственной жизни также в общие понятия. И еще дальше—борьба в парламенте, происходившая между представителями революционной буржуазии Кромвелем, Мильтоном и т. д. и защитниками короля и аристократии, с другой стороны, историк может натолкнуться на необходимость образования общего понятия социального класса. Кроме того, английская революция ярко выявила различие в религиозных течениях. Придется, следовательно, рассмотреть все факты, относящиеся к общему, отвлеченному понятию, известному под общим словом религия. Среди религиозной мысли Англии того времени играл большую роль пуританизм, который являлся идеологией боровшейся революционной буржуазии. Надобно будет, следовательно, выяснить содержание общего понятия сектантства вообще, а затем содержания пуританизма,

в особенности, необходимо будет также установить различие между пуританизмом, с одной стороны, и официальной, господствовавшей так называемой «высокой церковью»—с другой. От религии, политики, хозяйства, историку, если он будет разносторонним, придется обратиться к исследованию литературы, искусства, философии, научной мысли той эпохи, для того, чтобы составить себе более или менее полное представление о том ряде событий, которые известны в истории под названием английской революции. Не трудно видеть, что и литература, и искусство, и философия, и наука суть общие, отвлеченные понятия, полученные на основании генерализирующего метода. Но Риккерт, следуя своей теории, может возразить, что вся сумма перечисленных здесь культурных факторов, которыми определялась английская революция, являют собою, по существу, нечто индивидуальное, только раз совершившееся. Например, политика английского парламента эпохи революции отличается от политики Генриха VIII в такой мере, что политическая деятельность того и другого периода до такой степени отличаются друг от друга, что подведение их под общее понятие не может привести к общему закону. То же самое относится, разумеется, ко всем перечисленным нами факторам.

Такое возражение, несмотря на заключающиеся в нем доли истины, во всем своем целом, глубоко ошибочно. Во-первых, несмотря на различие содержания фактов, относящихся к той отрасли, которую мы называем политической жизнью страны, эти факты отличаются такими признаками, благодаря которым мы их суммируем в общее понятие политики. И именно благодаря такому общему понятию является возможность исследовать историю политических учреждений на протяжении истории человечества со времени возникновения государственной жизни до наших дней. Совершенно также ясно, что вследствие группировки однородных фактов другого порядка, отличных от фактов политической жизни и относимых к тому роду творчества, которое мы подводим под общее понятие литературы, получается возможность научной обработки данной отрасли, известной под названием истории литературы и т. д.

Несмотря на отличие содержания политики одной эпохи от политики другой эпохи, общее понятие, политика, сохраняет свое полное основание. Во-первых, потому, что те факты, обобщением которых оно служит, отличаются, например, от тех явлений, которые входят в понятие «литература», или от тех фактов, на основании которых образуется понятие «религия», и т. д. Во-вторых, несмотря на развитие и изменения, происходящие в исторической жизни, это развитие и изменение не так уже безусловно и абсолютно, как это изображает Риккерт, превращая историзм в своего рода метафизический абсолют. Согласно его учению, дело представляется так, что исторический процесс являет собою совокупность следующих друг за другом стадий, не состоящих ни в какой взаимной связи и являющихся совершенно самостоятельными индивидуальностями. На самом деле все это далеко не так. В процессе исторического развития, мы в действительности, замечаем, на-ряду с постоянной сменой форм общественно-исторической жизни, также и нечто постоянное, то постоянное, благодаря чему

явления, относящиеся к понятию политики, отличаются от явлений, входящих в понятие литературы, понятие литературы от понятия религии и т. д. Поэтому, несмотря на точку зрения развития и исторической смены форм, образование отвлеченных понятий составляет для нас точно такое же необходимое орудие для нашего ориентирования в социально-исторической жизни, каким оно служит в области естествознания.

В своем упорном и напряженном стремлении дать обоснование своей исторической доктрине Риккерт совершает точно такую же операцию над историей, какую производит над суб'ектом, когда строит свою суб'ективную гносеологию. Он берет, например, эпоху Возрождения и для того, чтобы доказать ее абсолютную индивидуальность, радикально отличающую ее от всех других эпох, он вычитывает из нее все социальное содержание, об'являя их лишенными исторического значения, на том основании, что такое же содержание и такие же события по существу присущи всем эпохам. Борьба, например, за политическую власть, за экономическое господство или борьба религиозных течений, которую мы видим в эпоху Возрождения, нисколько не отличает эту эпоху от всех других стадий исторического развития. Те же явления встречаются в любом историческом периоде. После такого последовательного вычитания из эпохи Возрождения всего ее реального содержания, получается в результате одна пустая форма или, точнее, одно пустое слово, которое провозглашается истинной, абсолютной, неповторяющейся индивидуальностью, постигаемой лишь посредством трансцендентной ценности.

Эпоха Возрождения, конечно, отличается от эпохи падения Западной Римской империи, или от нашей современности, но это отличие определяется конкретными, реальными условиями, а не мистическим началом, которым в скрытой форме руководствуется Риккерт, когда после вычета из данной эпохи всю реальную сущность об'являет равной нулю, остаток—подлинной, исторической индивидуальностью. Истинно исторический характер носит, учат вас Виндельбанд и Риккерт, лишь такие эпохи и такие события, которые воспринимаются нами «воззрительно», а воззрительно может быть воспринято лишь индивидуальное или конкретное, так как конкретность и индивидуальность отождествляются нашими мыслителями. Но естественно встает снова вопрос, что это означает воспринимать событие «воззрительно»? Каким это образом может историк воспринять эпоху Возрождения или империалистическую войну 1914 г. со следовавшими за нею революциями «воззрительно»? Совершенно очевидно, что, рассуждая с научной точки зрения, на которую и Виндельбанд и Риккерт, разумеется, претендуют, такого рода утверждение есть не более, как чистейший абсурд. Виндельбанд предвидит этот вопрос и дает на него весьма любопытный ответ. Он отвечает на поставленный вопрос следующим рассуждением: «В мышлении естествознания преобладает склонность к абстракции, в историческом мышлении, напротив — склонность к воззрительной наглядности (Anschaulichkeit). Это утверждение покажется неожиданным только тому, кто привык материалистически ограничивать понятие

воззрения (Anschauung) психическим восприниманием чувственно данного и кто забывает, что для духовного взора также возможна воззрительная наглядность, т.-е. индивидуальная жизненность идеально данного [1]). Так, исторические события воспринимаются не чувственно, как это утверждается «грубым материализмом», а они, события, открываются «духовному взору», как воззрительная индивидуальная жизненность идеального». Другими словами, истинно исторические явления постигаются сверхчувственным порядком, при помощи чистого интеллектуального созерцания или выражая эту же мысль в более распространенной форме путем откровения. Тут, конечно, логическому анализу, о котором говорят так много Виндельбанд и Риккерт, нет места. Тут можно лишь сказать:

«В новизне твоей нам наша старина слышится».

Но возникает новый вопрос, вопрос о том, как возможно согласно такому взгляду историческое развитие? Если исторический процесс представляет собою ряд ничем не связанных между собою, замкнутых в себе исторических индивудуумов, постигаемых лишь путем чисто интеллектуального, т.-е. мистического, созерцания, то что же собственно развивается и на каком основании возможно, с точки зрения такого метафизического индивидуализма, говорить об историческом развитии, о котором так пространно рассуждает Риккерт? Совершенно ясно для всякого, даже непосвященного в тайны гносеологического, трансцендентального идеализма, что о развитии при таком воззрении на историческую действительность не может быть и речи. А между тем принцип развития играет огромную, если не решающую роль в исторической теории наших мыслителей. Становление, рассуждает Риккерт, имеет место и в природе. Все течет, все подвержено непрерывному изменению, но в области природы, исследованием которой занимается естествознание, мы не говорим о прогрессе. Естествознание ограничивается тем, и в этом его истинная задача, что констатирует факты, избегая всяких оценок. Другое дело становление или развитие в исторической области, где оценки неизбежны и необходимы и где они совершаются на основании ценности, т.-е. трансцендентных норм. Идея прогресса имеет, следовательно, своим источником трансцендентную ценность постольку, поскольку последняя служит масштабом для сравнения исторических стадий между собою и для их квалификации. Итак, идея прогресса трансцендентна, т.-е. сверхопытна, но для того, чтобы она получила возможность применения, должен быть налицо процесс становления, т.-е. развитие. А отсюда следует с неоспоримой необходимостью, что там, где невозможно развитие, т.-е. становление, там не может быть и речи о прогрессе. С другой стороны, развитие, согласно индивидуализирующему методу, представляется, как мы только что видели, абсолютной, безусловной невозможностью.

Не выдерживает ни малейшей логической критики также взгляд Риккерта на роль личности в истории. Выдвигая крупную личность, как самую

---

[1]) Прелюдии, стр. 325, русск. пер. С. Франка.

высшую ценность и приписывая ей могучее, даже господствующее значение, он в то же время это приписываемое ей значение не об'ясняет и, исходя из своей доктрины, об'яснить не в состоянии. Ибо что означает влияние выдающейся личности на историю и как это влияние возможно? Влияние личности означает проникновение в окружающую историческую среду творчества этой личности, будь это теоретического характера или практического свойства. Возможным это влияние представляется лишь при том необходимом условии, если между окружающей исторической средой или, выражаясь конкретнее, массой существует такая общая связь, которая делает восприятие творчества личности осуществимым. У Риккерта же эта действенная связь отсутствует совершенно. Во-первых, потому что все исторические события и действия представляют собою обособленные и замкнутые индивидуальности; во-вторых, масса, на которую личность должна воздействовать, выбрасывается Риккертом фактически за борт истории, являясь в его глазах совокупностью средних экземпляров, лишенных индивидуальности и по тому самому исторического смысла.

Весьма интересны рассуждения нашего автора о требовании некоторых историков изображать типичное из исторической жизни. Типичное, — думает он, — должно рассматриваться, не как нечто среднее, а, наоборот, как исключительное и образцовое. Если, например, Гете и Бисмарк являются типичными немцами, то, разумеется, не потому, что они равняются каждому среднему немцу, а напротив вследствие того, что они отличаются от всех немцев, представляя собою образец немецкой национальности [1]). Отсюда следует, что вся немецкая масса во всем ее целом есть совокупность средних экземпляров, среди которых выделяются лишь некоторые индивидуумы, представляющие собою исторический интерес и заслуживающие внимания историков. Правда, бывают случаи, когда то или другое исключительное действие масс может стать историческим индивидуумом, как, например, крестовые походы, крестьянские войны и тому подобные массовые выступления. Но в таком же смысле может стать историческим индивидуумом то или другое место земного шара, благодаря происходящему на нем событию, как, например, Седан, Бородино и т. п. Короче, деятельность масс, ее жизнь, ее творчество в ее повседневности исключается по существу из области истинно-исторического царства. В конечном счете Риккерт, после всего своего субтильного и хрупкого анализа, после всех гносеологических экскурсий и после всех логических расчленений, пришел к старому, архи-старому воззрению на историю и соответственно этому воззрению на задачу историка.

Как для наивных историков далекого прошедшего, так и для Риккерта истинно историческими явлениями, заслуживающими внимания историка, оказываются явления, которые бросаются в глаза каждому обывателю, как, например, та или другая «благодетельная» реформа божьей милостью короля, подвиг полководца, ловкий ход дипломата или, наконец, творчество крупной личности. Мы знаем, что в этом смысле и согласно такого воззрения на

[1]) См. Границы, стр. 310—311.

исторический характер того или другого события истолковывалась и писалась история подавляющим большинством историков с момента ее возникновения до начала XIX столетия. Как уже было раз'яснено Энгельсом и Плехановым и как это упомянуто выше, только историки реставрации взглянули иначе на свое дело. Под влиянием массовых движений, завершившихся победой третьего сословия, историки реставрации выдвинули новое воззрение, более глубокое и уже по этому самому более верное, на истинно движущие силы исторического процесса. Центр тяжести был перенесен с поверхности на дно исторической жизни, на жизнь, труд, борьбу и движение народных масс. Большой, широкий охват предмета исследования, т.-е. деятельности народных масс, классовой группировки различных форм, проявления классовой борьбы — все это богатство разнообразия и однообразия форм проявления социально-исторической действительности выявило существующую закономерность социально-исторического бытия. На-ряду с вечной сменой форм социально-исторических явлений обнаруживается также постоянство взаимоотношений. В массовой жизни четко выявляется, благодаря большому масштабу, повторение явлений общественной жизни и их причинной связи, обусловливающие собою возможность выведения социально-исторических законов.

В то время, как действия отдельных личностей, облеченных властью или одаренных природой, могут казаться случайными проявлениями каприза или следствием творческой индивидуальной интуиции деятельность масс, при более или менее внимательном отношении, ярко и неизбежно обнаруживает железную и необходимую закономерность. Поэтому историки, устремившие свой взор на жизнь народных масс и признавшие возможным открыть исторические законы, поставили предмет изучения истории на истинно-научную почву. Историческая же теория Риккерта, выбрасывающая массовую жизнь за борт истории и отрицающая всякую историческую закономерность, является громадным шагом назад, не только в отношении исторического материализма, но и по отношению всех духовных предков самого Риккерта. Уже Платон, как это было замечено во второй лекции, видел закономерность государственной жизни, когда отчетливо и сознательно сравнивал государство с организмом. Придавая единственное, исключительное значение лишь индивидуальному в истории, теория Риккерта представляет собою по внутреннему содержанию резкий протест и злую реакцию против современного движения пролетарских масс, строющих жизнь будущего человечества на основании строгой исторической закономерности.

С подобными выводами разбираемой нами теории ее автор, разумеется, не согласится. Более того, узнав об отношении к ней русских марксистов, Риккерт счел себя глубоко не понятым. В предисловии к русскому изданию «Философии истории», он категорически заявляет: «Я все же хотел бы здесь самым резким образом заявить, что видящий в моих взглядах политическую тенденцию рискует совершенно не понять их. Меня прозвали философом буржуазии. Почему? Потому, что я, между прочим, оспариваю, так называемое, материалистическое понимание истории Маркса и Энгельса? Но я

ведь оспариваю его не из политических, но с чисто логических соображений. Я пытаюсь показать, что политическая программа социализма выведена не на основании исторического материализма, но что, наоборот, материалистическое понимание истории обязано своим существованием политическим точкам зрения ценности. Это говорит, правда, против чисто теоретической ценности марксистской философии истории, но решительно ничего не говорит против или за политические идеалы социализма. Не существует ни буржуазной, ни пролетарской логики».

Исходя из доктрины трансцендентных ценностей, Риккерт не может, повидимому, понять, каким образом возможна оценка той или другой теории на основании исключительно теоретического научного анализа, не касаясь суб'ективных намерений автора. Известно, что материалистическое понимание истории учит нас не принимать на веру ту оценку, которую автор дает своей доктрине, а требовать критического рассмотрения данной теории по ее существу. Мы отнюдь не допускаем мысли о том, что профессор Риккерт, проведший всю свою жизнь в напряженной умственной деятельности, является любителем биржи и обожателем представителей финансового капитала. Но одно дело теория и другое дело суб'ективные намерения ее защитника. Далее, следует заметить, что логическому анализу материалистическое понимание истории по его существу не подвергалось ни Виндельбандом, ни Риккертом. В действительности и Виндельбанд и Риккерт делали лишь попутные вылазки против марксизма, никогда не касаясь его истинного внутреннего содержания и обвиняя его в том, что фактически и марксизм руководствуется не теоретическими соображениями, а исходит из теории ценности. Это, что называется, с больной головы да на здоровую. Материалистическое понимание истории признает, конечно, оценки и не отвергает об'ективных норм, но и те и другие выводятся им из действительного исторического бытия, часть которого они составляют[1]).

В общем и целом можно сказать, что теория Виндельбанда-Риккерта являет собою тонкую, изощренную, софистическую и весьма путаную защиту буржуазного индивидуализма и буржуазных культурных ценностей, которые освящаются и окропляются святой водой категорического императива.

---

[1]) Подробным рассмотрением этой проблемы мы займемся при изложении исторического материализма.

План Дауэса.

С. Членов.

Недавно никому не известный американский генерал Д а у э с в короткое время стал одним из популярнейших людей в Европе.

Ибо с его именем связана одна из интереснейших инсценировок на сцене мировой истории.

Это — инсценировка треста «Д. Е.» навыворот, которая, однако, не похожа и на инсценировку Мейерхольда. Вы помните, как у Эренбурга герой романа ошеломляет американского стального короля коротким, но потрясающим предложением: «Предлагаю уничтожить Европу». Генерал Дауэс, уже от имени американского стального короля Моргана, выступил с предложением оздоровить Европу.

Но это оздоровление, быть может, является этапом по пути осуществления треста «Д. Е.».

Европа, похожая на разоренный муравейник, своими революциями, потенциальными войнами, танцующими и призрачными валютами, кризисами и голодным дэмпингом нарушает стабилизированное благополучие Республики долларов.

Муравейник надо привести в порядок. Если это не удастся, его надо уничтожить.

Американизация Европы, — это план Дауэса и это последний шаг перед трестом «Д. Е.».

Помните, как Ницше определял, что такое классики? «Это те писатели, которых все уважают и никто не читает».

Дауэсу грозит судьба стать в России классиком международной политики. Его у нас все, если не уважают, то цитируют, но вряд ли многие читали самый доклад международной комиссии экспертов, связанный с именем Дауэса, и знает толком, в чем он заключается.

Цель настоящей статьи ввести читателей в круг мыслей и планов Дауэса, которые, после одобрения их Лондонской конференцией, становятся ныне программой практической политики.

Следовательно, наша статья, отнюдь не претендующая даже на минимум оригинальности, — это «Дауэс — racontée par lui même», как выражаются французы.

Прежде всего, как, конечно, уже известно читателям, «план Дауэса», в сущности, больше не «план»: благодаря постановлениям Лондонской конференции, в развитие и на основании которых германским правительством издан ряд первостепенной важности законодательных актов, мероприятия, предложенные планом, стали уже юридической реальностью. Пока только юридической, а не фактической. Русские читатели привыкли к тому, что сначала бывает «de facto», а потом уже «de jure». Но это не правило, а исключение из правила, ибо признание Сов. России буржуазными государствами происходило по пословице: «гони природу в дверь, она войдет в окно». Обычно в отношениях между буржуазными государствами то или иное положение вещей сначала устанавливается и признается юридически, а потом уже реализуется (или не реализуется) фактически.

16 августа 1924 года в Лондоне подписан государствами победителями, с одной стороны, и Германией — с другой, протокол, которым обе стороны принимают план экспертов, предложенный ими 9 апреля 1924 года репарационной комиссии (это и есть план Дауэса).

Для проведения в жизнь этого плана заключен ряд специальных соглашений.

Заслуживает быть отмеченным, что в подписании соглашения участвовали Соединенные Штаты. Как известно, Америка в лице Вильсона подписала в свое время Версальский договор, но американский сенат отказался его ратифицировать, и с тех пор Америка устранилась от всякого формального участия в европейских делах. Подпись Соединенных Штатов под Лондонским соглашением является формальным выражением радикального изменения в позиции Америки.

От презрительного нейтралитета Штаты переходят к властному вмешательству.

Недаром план «восстановления» и методической стрижки Германии продиктован Комиссией под председательством американца Дауэса. Недаром вновь созданная на основании плана должность «агента по репарационным платежам», облеченного громадными полномочиями, уже занята американцем Оуэном Юнгом.

Дауэс является агентом Пирпонта Моргана. Но и сам Морган удостоил Лондонскую конференцию своим, конечно, неофициальным присутствием. Неофициально: это стиль современных капиталистических императоров.

Стиннес тоже предоставлял формальное решение вопросов своим приказчикам. Но фактически Морган продиктовал и план Дауэса, и решения Лондонской конференции. Гордиев узел репарационной проблемы не смогла разрубить сабля маршала Фоша. Потому ли, что Фош не Александр Македонский, или, вернее, потому, что эпоха финансового капитала требует уже новой мифологии.

Конечно, генеральская сабля предмет весьма необходимый, но есть узлы, которых она разрубить не может. Чековая книжка Моргана заставила Фоша спрятать саблю в ножны и, вытянувшись в струнку, выслушать американскую команду.

Реализация плана Дауэса от начала до конца невозможна без содействия Америки. Первый шаг этого плана — 800 миллионов золотых марок международного займа для Германии, а это невозможно без Америки. Размещение 11 миллиардов облигаций германских железных дорог и части их привилегированных акций, конечно, невозможно без американского капитала. Кто купит акции нового банка, который хотя и сохраняет старое название «Рейхсбанк», но, по существу, не только будет внегосударственным, но в известном смысле антигосударственным банком? Конечно, Америка. Кому под силу купить на 5 миллиардов «индустриальных бонов», т.-е. закладных, которые накладываются на германскую промышленность в пользу победителей? Только американскому капиталу. Кто может купить у комиссара по управлению германскими таможенными пошлинами и косвенными налогами облигации, которые он выпустит под обеспечение залогом этих государственных доходов? Конечно, все тот же всемогущий Wallstreet, новый Олимп, где обитают боги капиталистического мира.

Анализируя план Дауэса и постановления Лондонской конференции, мы еще не раз увидим, как реализация плана Дауэса не только экономически, но и формально зависит от Соед. Штатов. Кардинальное значение, как формальное выражение факта радикального и длительного вмешательства Америки в дела Европы, имеет подписанное в Лондоне 30 августа соглашение между союзными правительствами. Как известно, победители, создав Версальским договором средне-европейский ад, поставили сторожем у его врат четырехглавого цербера в виде репарационной комиссии. Эта комиссия имела суверенное право толкования всех постановлений Версальского договора, касающихся платежей и поставок всякого рода, которые Германия должна производить победителям. Комиссия не только имела громадные полномочия по части контроля за исполнением договора Германией и регулирования ряда вопросов, которые договор оставлял открытыми и предоставлял ее усмотрению, но комиссия могла еще, констатировав большинством голосов и безапелляционно неисполнение Германией тех или иных обязательств, обрушить на голову неисправных должников применение так называемых «санкций». Что такое «санкция» и кто является судебным исполнителем по решениям, которые репарационная комиссия выносит по вопросу о неисправности Германии, — это Франция показала изумленному миру в январе 1923 года.

Занятие Рейна и Рура, как известно, формально явилось результатом постановления репарационной комиссии от 26 декабря 1922 года, которым последняя большинством трех голосов против одного (представителя Англии), констатировала неисправность Германии в поставке древесных материалов.

Домогательства Шейлока кажутся безобидными в *сравнении с этой бельгийско-французской практикой*. За то, что Германия не поставила какого-то количества телеграфных столбов и досок, французы вырезали сердце у немецкой промышленности. Говорят, что наша 130-ая статья уголовного кодекса, на основании которой государство сажает недобросовестного поставщика в тюрьму, является юридическим варварством,

несовместимым с «нормальным правопорядком». А как назвать в таком случае практику Антанты, при которой она, не констатировав даже недобросовестности своего вынужденного поставщика, а только его неисправность, применяет к нему высшую меру наказания?

Впрочем, мы уклонились в сторону. Нас сейчас интересует то обстоятельство, что в Лондоне Соед. Штаты внесли радикальное изменение как в самый состав репарационной комиссии, так и в порядок констатирования неисправности Германии.

По каждому вопросу, касающемуся применения плана Дауэса, в постановлениях репарационной комиссии с правом решающего голоса участвует представитель Соед. Штатов. Для того, чтобы оценить значение этого нововведения, надо иметь в виду, что, на основании лондонских соглашений, все постановления Версальского договора, по которым Германия должна производить те или иные платежи или поставки натурой, отменяются и заменяются обязательствами, изложенными в плане экспертов. Таким образом, по каждому вопросу, касающемуся исполнения Германией своих обязательств перед союзниками, равно как во всех тех случаях, когда репарационной комиссии предоставлено право, так или иначе, регулировать деятельность вновь создаваемых по плану Дауэса конкурсных управлений и попечителей по делам несостоятельной германской республики, Англия и Франция не могут ничего решать без Америки. Если по вопросу о неисправности Германии в репарационной комиссии не будет единогласия, то каждый ее член может перенести вопрос на разрешение арбитражной комиссии, состоящей из трех «незаинтересованных и независимых лиц», избираемых для каждого спорного случая единогласным вотумом репарационной комиссии. При отсутствии единогласия в комиссии третейские судьи назначаются председателем постоянного международного суда в Гааге. (Любопытно, что план Дауэса и Лондонская конференция задали почтенному президенту полумертвого Гаагского судилища большую работу по части назначения судей и председателей во всякого рода третейские суды и арбитражные комиссии, в изобилии предусмотренные планом Дауэса.)

Только в результате единогласного решения репарационной комиссии или постановления означенных третейских судей можно приступить к «санкциям».

Америке надоели скандалы в Европе. Пора перестать драться и начать платить долги. А если уже надо будет драться, то с разрешения Моргана, не по единоличному усмотрению «Comité des Forges».

Теперь посмотрим, какой план изобрели эксперты под председательством Дауэса и незримым, но всемогущим покровительством Моргана, под чем поставила свою подпись Европа, и что за законы с лихорадочной быстротой выпекла по американскому заказу законодательная печь германского рейхстага. (Во исполнение Лондонского соглашения германским правительством выработан и рейхстагом утвержден ряд законов, — все они датированы 30 августа 1924 г.,—в корне изменяющих положение рейхсбанка и эмиссию денег, управление железными дорогами и, наконец, устанавли-

вающих порядок обременения германской промышленности пятимиллиардной ипотекой.)

Прежде чем перейти к изложению плана экспертов, позвольте в двух словах напомнить положение репарационной проблемы до созыва комиссии Дауэса. Даже Пуанкаре, как известно, не страдающий чрезмерной чувствительностью, говорил как-то о «репарационном кошмаре». Репарационный кошмар создан знаменитым Версальским договором, который нашел свое дополнение в лондонском ультиматуме 5 мая 1921 г. Что Германия предлагала, что от нее требовали и что она фактически уплатила? Об этом не мешает вспомнить, ибо только содержание ответов на эти вопросы заставило, наконец, Францию согласиться на создание комиссии экспертов, перед которой был поставлен (через пять лет после окончания войны!) естественный вопрос: да сколько же, наконец, может заплатить Германия? В белой книге, опубликованной германским правительством в июне 1923 г., мы находим весьма интересное сопоставление...

В мае 1919 года в Версале Германия предлагала 100 миллиардов золотых марок, а Франция в лице своего министра финансов требовала 375. В 1921 г. в Лондоне Германия предлагала только 50 миллиардов, ответом был лондонский ультиматум, который налагал на Германию контрибуцию в 132 миллиарда. Результатом попытки исполнения лондонского ультиматума был крах германской валюты. В январе 1923 г. Бонар Лоу считает возможным говорить с Германией о сумме в 50 миллиардов. В мае 1923 г. немцы предлагают 30 миллиардов. В январе 1923 года французы оккупируют Рур и правый берег Рейна.

Между тем, еще в речи американского статс-секретаря Юза, произнесенной в Нью-Гевене 29 декабря 1922 года, формулируется тот принцип, который Америка продиктовала Европе на Лондонской конференции 1924 г. По словам Юза, предпосылкой для удовлетворительного решения репарационной проблемы является из'ятие ее из сферы политики. Эта мысль несколько раз подчеркнута в плане экспертов. Деполитизация репарационной проблемы — это основная предпосылка плана Дауэса. Для этого, — продолжал Юз, — необходимо создать международную комиссию из деловых независимых людей, которым и передать решение репарационной квадратуры круга. Это положение в принципе было принято не только Германией, но и Англией. Однако Франция решительно отклонила это предложение, усматривая в нем нарушение Версальского договора и умаление прав репарационной комиссии.

Еще в мае и июне 1922 года комиссия банкиров, иначе именуемая комиссией Моргана, заседавшая в Париже и обсуждавшая условия займа для Германии, вынуждена была забастовать, пред'явив требование, чтобы репарационная комиссия дала ей мандат на право обсуждения тех предпосылок и предварительных условий, при наличии которых заем может быть предоставлен. Никаких результатов не дала и комиссия международных экспертов (Кейнс, Кассель, Бранд, Дженкс и др.), созванная в октябре 1922 года германским правительством для обсуждения вопроса о стабилизации германской валюты. Заключение экспертов, переданное 8 ноября 1922 года германским

правительством репарационной комиссии, было последней положено под сукно. Пуанкаре и стоявшая за его спиной тяжелая индустрия не хотела сговариваться. Она хотела занять Рур, и она его заняла.

Началась бескровная война 1923 года, известная под названием «пассивного сопротивления». Французская буржуазия не хотела мириться. Германская буржуазия не хотела платить. С 1920 по 1923 год эта буржуазия, как определенно констатирует комиссия Дауэса, не платила налогов. Она хотела инфляции, хотела обесценения марки. Комиссия Дауэса бесстрастно констатирует, что крупная германская буржуазия извлекла громадные прибыли из обесценения марки и что создался класс богатых, «упавших с неба».

> «Поставленная перед альтернативой,—пишет Пауль Леви в своей последней брошюре, — платежи или оккупация, немецкая буржуазия сознательно пошла на второе решение».

Стиннес обосновал эту точку зрения:

> «Я должен подчеркнуть, — сказал он, — что опасность занятия еще некоторых частей германской территории кажется мне меньшей (т.-е. чем платеж репараций). Мы бы показали в этом случае французам, что они ничего не добьются и при громадных издержках получат еще меньше».

Здесь не место описывать борьбу между германской и французской буржуазией вокруг Рейна и Рура. Французы, действительно, получили очень мало и истратили уйму денег. Стиннес и К° извлекли небывалые прибыли из финансирования правительством пассивного сопротивления, из фантастической эмиссии, из героических жертв населения, в особенности, рабочего класса оккупированных областей.

Стиннес поставил Германию на край гибели в борьбе за большинство в гигантском франко-германском смешанном обществе, в небывалом континентальном блоке угля и железа, который должен был охватить бассейн Брией, Лотарингию, Саар и Рур.

Но Пуанкаре и «Comité des Forges» стояли твердо. Они заставили немецкую буржуазию капитулировать и торжественно отказаться от пассивного сопротивления.

План Дауэса, конечно, менее всего французское изобретение. Давление Англии, которому энергично и успешно сопротивлялось французское правительство, стало непреодолимым, когда к нему присоединился нажим Америки.

«Comité des Forges» не боялся Бирмингэма и поборол сопротивление Стиннеса, парижская биржа не испугалась лондонских банкиров. Но французский капитал с зубовным скрежетом, плохо прикрытым любезной дипломатической улыбкой, склонился перед волей американской стальной корпорации и перед несокрушимым могуществом доллара.

11 августа 1923 года Керзон писал в своей знаменитой ноте:

> «Простое сложение сумм, которые желали бы получить кредиторы Германии, не решает вопроса. Настаивать на требовании платежа, заведомо превосходящего германскую платежеспособность, не значит способствовать действительной уплате репарационного долга. Такие

требования могут только уничтожить те ценности, которые Германия могла бы предложить союзникам».

На эту ноту французы, как известно, ответили, что 132 миллиарда контрибуции составляют ту сумму, которая не может быть ни уменьшаема, ни, вообще, обсуждаема.

А 30 ноября репарационная комиссия созвала два комитета экспертов (Дауэса и Мак-Кенна). Первый из них должен был найти способы стабилизации германской валюты и приведения в равновесие германского бюджета и определить, сколько и каким способом Германия может заплатить союзникам. Второй (гораздо менее важный) комитет должен был решить вопрос, сколько миллиардов патриотическая немецкая буржуазия успела перевести за границу и припрятать в форме иностранной валюты. Чтобы не возвращаться к работам этого комитета, отметим, что он, оговорив все трудности, которые мешали ему притти к точному результату, остановился на следующих цифрах: на 31 декабря 1923 года немецкий капитал за границей составляет, по мнению комитета, от 5,7 до 7,8 миллиарда, — в среднем, $6^3/_4$ миллиардов; иностранной валюты у немцев припрятано на сумму не менее 1,2 миллиардов, — всего, следовательно, 8 миллиардов за границей или в иностранной валюте. Любопытно, что, по вычислению того же комитета, за послевоенное время немцы сумели продать за границу на сумму от 7-ми до 8-ми миллиардов марок золотом своих бумажных денег. «Вся эта сумма, — меланхолически замечают эксперты, — вследствие обесценения марки целиком потеряна иностранцами, так или иначе участвовавшим в покупке германских марок».

Если считать, как это делает репарационная комиссия, что все, что Германия до сих пор сдала и уплатила Антанте, стоит 8,4 миллиарда, то баланс взаимного ограбления получается весьма неожиданный.

Надо, впрочем, заметить, что репарационная комиссия, повидимому, плутует. Немецкое правительство считает, что к 1 января 1923 года оно уплатило 41,5 миллиардов золотом (конечно, включая флот, подвижной состав жел. дорог и т. п.). Верить официальным данным германского правительства в таких случаях отнюдь, впрочем, не рекомендуется.

Вашингтонский экономический институт считает, что Германия заплатила 25—26 миллиардов. Кейнс тоже останавливается на цифре 26½ миллиардов, хотя старик Брентано в Мюнхене клянется, что немцы заплатили 41 миллиард.

Но это — между прочим. Важен факт, что крах германских финансов и валюты делал всякую надежду на дальнейшие платежи иллюзорной, что надо было стабилизировать марку и бюджет, и что деньги для того и другого может дать только Америка.

А Америка не имела ни малейшего желания давать деньги ни под подвиги генерала Дегутта в Руре, ни под альтернативу, ставшую перед Германией: анархия или социальная революция. Американцы не хотят великой средне-европейской империи, «Comité des Forges», не хотят «беспорядка», не хотят революции. Они дают деньги под план Дауэса с фабричной маркой «Made in America» и под реализацию этого плана под их наблюдением.

Америка напомнила Франции, что, кроме репарационных долгов, есть еще долги союзников Соединенным Штатам, составляющие как никак 11½ миллиардов долларов, т.-е. свыше 45 миллиардов марок. Правда, и французы пытались связать эти два факта между собой, утверждая, что Франция сможет уплатить свои долги и даже проценты по ним только тогда, когда Германия выполнит свои обязательства по отношению к Франции.

Однако Америка решительно отклонила эту точку зрения, заметив еще в меморандуме на имя британского правительства (16 октября 1923 г.), что «военные долги союзников не уменьшают платежеспособности Германии, а отказ от требования их уплаты не увеличил бы немецкой платежеспособности».

Напрасно Пуанкаре восклицал, что «каждый фунт или доллар, который Франция должна Соед. Штатам или Англии, представляет собой экономию крови союзников, а каждая марка, которую Германия должна союзникам, представляет пролитую союзную кровь». Эта декларация перестала котироваться на Нью-Иоркской бирже. Французской буржуазии приходилось думать уже не о стабилизации марки, а о стабилизации франка.

Мы, к сожалению, не можем даже в небольшой степени осветить ту в высшей степени сложную механику, с помощью которой Америке и Англии удалось сломить сопротивление Франции и заставить ее подписать Лондонское соглашение. Заметим тут же, что Франция сразу же сумела сделать очень важный шаг по пути саботажа плана Дауэса.

Эксперты писали в своем заключении (часть 1-я, раздел 2-й) следующее:

> «Комитету надо было обсудить, в какой мере сбалансирование бюджета и стабилизация валюты в Германии возможны при том положении, в каком она находится сейчас, когда ее налоговый суверенитет и ее экономические права на части ее территории ограничены.
>
> Мы должны заранее сказать, что мы не в состоянии найти при этих условиях какие-либо практические средства, гарантирующие прочную стабилизацию валюты и бюджета и считаем невероятным, чтобы такие средства существовали. Разрешение поставленной нам двойной задачи фактически включает восстановление внешнего и внутреннего кредита Германии, а это восстановление кажется нам при наличии вышеуказанных условий невозможным. По этой причине мы вынуждены исходить из предположения, что налоговое и экономическое единство Германии будет восстановлено и на этой предпосылке покоится весь наш план».

Мы привели весь 2-ой раздел 1-й части заключения экспертов, ввиду его особой важности.

В третьем разделе эксперты, правда, оговариваются, что вопрос о политических гарантиях и санкциях, равно вопрос о военной оккупации лежит вне сферы их компетенции.

Однако за этим проявлением скромности идет следующий недвусмысленный пассаж:

«Тем не менее, мы считаем своим долгом подчеркнуть, что на план покоится на предположении, что экономическая деятельность Гер мании не будет тормозиться и ущемляться никакой иностранной орга низацией, кроме предусмотренного в самом плане контроля.

Следовательно, наш план основан на предпосылке, что существую щие мероприятия, поскольку они тормозят эту деятельность, буду отменены или достаточно изменены, как только Германия приступи к осуществлению предложенного плана».

Это было весьма ясно и означало любезное, но твердое приглашени французам уйти из оккупированных областей.

В осуществление этого требования экспертов в Лондоне было подписан соглашение между союзниками и Германией (приложение 3-е к протокол 16 августа), которым предусматривается восстановление «экономическог и фискального единства Германии», при чем все предусмотренные соглашение мероприятия должны быть проведены в жизнь в течение августа и сентя бря 1924 г. Соглашение предусматривает, в частности, «отмену всех огра ничений германского фискального и экономического законодательства». Вос становление в оккупированных областях германских властей со всеми правам и полномочиями. Возвращение немцам всех рудников, шахт, доменных печ и других предприятий всякого рода, захваченных в той или иной форм оккупационными властями.

Отмену реквизиций и упразднение специальных учреждений, создан ных оккупантами для эксплоатации немецкой промышленности и другог имущества в оккупированных областях. (В частности, упраздняется знамени тый «Микум», т.-е. «Mission Interalliée du controle des usines et des Mines» который своими договорами с немецкой промышленностью о поставке угл и т. п. больше всего способствовал ликвидации немецкого пассивного сопро тивления.)

Соглашение точно указывает сроки, в течение которых должны быт ликвидированы франко-бельгийские органы финансово-хозяйственного упра вления и восстановлен экономически и финансовый суверенитет Германи в оккупированной области. Одновременно должна быть снята таможенна линия и восстановлена полная свобода передвижения между оккупированной и не оккупированной частью Германии.

Все это подписали и французы.

Но того же 16 августа, когда был подписан заключительный Лондонский протокол, Франция и Бельгия сообщили Германии, что военная оккупация Рура будет прекращена через год, т.-е. в конце августа 1925 года.

Немцы ограничились платоническим протестом, а англичане — настоятельной просьбой, чтобы очистка Рура и Рейна была по возможности ускорена. (Письмо Штреземана — Эррио и Теннису и письмо Макдональда им же; оба от 16 августа.)

В уже цитированной нами брошюре («План экспертов, а что потом?») Пауль Леви указывает на три причины, заставившие германскую буржуазию требовать ратификации Лондонского соглашения: «Боязнь длительной по-

тери Рурской области, убыточность договора с Микумой, жажда иностранных кредитов, — вот в чем состоит миролюбие немецкой буржуазии».

Это бесспорно правильно, особенно, если к этому прибавить страх перед революцией в Германии: мотив, который руководил обеими сторонами, подписавшими Лондонское соглашение. Позвольте процитировать для характеристики политики германской буржуазии часть резолюции, принятой на совместном заседании президиумов с'ездов промышленности и торговли и экономической комиссии оккупированных областей 22 августа 1924 г.:

> «Мы всегда отстаивали ту точку зрения, что план Дауэса возлагает на Германию тяжесть, которая превзойдет ее платежеспособность. Тем не менее мы под тяжким давлением современного экономического и политического положения, прежде всего вследствие невыносимых условий в оккупированных областях, не можем взять на себя ответственности за отклонение Лондонского соглашения».

Впрочем, Пауль Леви справедливо указывает на то, что план экспертов выгоден вершителям судеб современной Германии — крупным промышленникам.

> «Заключение экспертов достаточно благоприятно для немецкой буржуазии. Распределяя тяготы платежей, оно возлагает на промышленность бремя, которое меньше тяготевшей на ней до войны задолженности, от которой промышленность освободилась, не уплатив ничего благодаря инфляции. План экспертов распределяет тяжесть платежей между частной собственностью, государственным имуществом и плательщиками налогов, которую предложение Куно от 7 июня 1923 г. распределяло в пропорции 1 : 1 : 1, как 1 : 2 : 5.
>
> План экспертов снимает риск, происходящий оттого, что общая сумма задолженности Германии не установлена, с плеч промышленности и перелагает его на плательщиков налогов. Платежи, которые должна производить промышленность, точно определены: она отвечает 5 миллиардами, по которым платит 5% + 1% амортизации. Долг, лежащий на железных дорогах, при тех же условиях, определен в 11 миллиардов. Вся тяжесть окончательной уплаты лежит на третьем источнике: на налогах. Здесь определена только ежегодная величина платежей, но не количество лет, в течение которых эти платежи должны производиться».

Как читатель убедится на следующих страницах, эта характеристика плана Дауэса совершенно правильна. Вернее, тяжесть, лежащая на плательщиках налогов, даже больше, чем указывает Леви, и падает специально на трудящиеся массы (косвенные налоги).

Во всяком случае, брошюра Леви выгодно отличается от апологетической болтовни о плане Дауэса его товарищей по соц.-дем. партии, например, Рудольфа Висселя.

Хотя перед комиссией Дауэса стояли вопросы, как стабилизировать германский бюджет и германскую валюту, но они являются только предварительными задачами, решение которых дает возможность подойти к основному вопросу:

Как и сколько может и должна платить Германия.

План Дауэса, со свойственной американским биржевикам любовью к возвышенным принципам, формулирует это следующим образом:

> «Мы не закрываем глаз на тот факт, что восстановление Германии не самоцель. Это только часть большей проблемы — восстановления Европы».

И уже гораздо яснее в другом месте:

> «Наша цель — создание такой организации, которая гарантировала бы получение максимума платежей, который Германия может ежегодно производить в своей собственной валюте». (Обе цитаты взяты из 17 раздела 1 части заключения экспертов.)

План экспертов имеет одну особенность, несомненно, свидетельствующую об экономическом здравом смысле его авторов.

План проводит резкую грань между величинами: той суммой, которую Германия может и должна платить ежегодно, и той суммой, которая может быть ежегодно превращена в иностранную валюту и переведена за границу. До сих пор союзники упорно требовали от Германии платежей в иностранной валюте, чем заставляли Германию производить массовые закупки таковой на мировом рынке. Так как платежный баланс Германии отнюдь не давал свободного остатка для оплаты этих закупок, то Германия должна была продавать свои марки. Уже первый платеж одного миллиарда марок в иностранной валюте, произведенный на основании Лондонского ультиматума в 1921 году, вызвал крах германской марки и сделал невозможным дальнейшие платежи.

Кейнс, как в своей первой книге, посвященной Версальскому договору, так и во второй, вышедшей после Лондонского ультиматума, упорно указывал на то, что ежегодный перевод из Германии за границу нескольких миллиардов репарационных платежей предполагает такое грандиозное развитие германского вывоза, такую степень активности торгового баланса Германии, которая, во-первых, фактически недостижима, а, во-вторых, залила бы мировой рынок потоком немецких товаров, который смыл бы промышленность стран-победительниц.

План экспертов, как мы уже сказали, предлагает «резко различать» то, что может ежегодно уплатить Германия, и ту часть этой суммы, которую можно перевести за границу, не опрокидывая равновесия платежного баланса Германии и, тем самым, ее денежной системы. Германия должна ежегодно вносить агенту по репарационным платежам на его текущий счет в Германском банке определенную сумму в германских марках. Эта сумма, определенная в один миллиард марок для первого года действия плана (с 1 сентября 1924 г. по 31 августа 1925 г.), постепенно возрастая, достигает для пятого года (с 1 сентября 1928 г. по 31 августа 1929 г.) нормальной величины в 2.500 миллионов золотых марок, каковая сумма и должна ежегодно в течение всех последующих лет вноситься Германией агенту по репарациям.

12 раздел части 1-ой плана экспертов, указав вышеизложенный способ платежа, добавляет: «Этот платеж составляет последний акт германского правительства по выполнению им финансовых обязательств, лежащих на нем

на основании настоящего плана». Эксперты несколько раз подчеркивают, что отнюдь нельзя ограничивать размер годичных платежей Германии той суммой, которая может быть без ущерба для курса марки переведена за границу.

Германия должна платить максимум того, что она может платить. Эта возможность определяется экспертами, как разность между наибольшей суммой, которая может быть выжата из немецких налогоплательщиков, и наименьшей суммой, которая должна быть оставлена германскому правительству для покрытия внутренних расходов. Эта сумма определяется экспертами в 2½ миллиарда марок (к ней возможны поправки путем применения так называемого «коэффициента благосостояния» и в порядке учета колебаний ценности золота). Но об этом ниже.

Деньги, внесенные германским правительством на текущий счет агента по репарациям, переводятся последним за границу (т.-е. превращаются в иностранную валюту), только постольку, поскольку это в данном году допустимо по состоянию платежного баланса Германии и не вызовет крушения германской валюты.

Этому вопросу посвящено приложение VI к плану Дауэса, подтвержденное и введенное в действие постановлениями 2 приложения к заключительному протоколу Лондонской конференции.

Агент по репарациям решает вопрос о том, какую часть уплаченных Германией сумм можно перевести в данном году за границу, совместно с так называемым «комитетом по переводам». Этот комитет состоит из американца, француза, итальянца, англичанина и бельгийца. Представим себе, что комитет признал возможным перевести за границу 1 миллиард из уплаченных немцами 2½ миллиардов. Как же поступить с остальными деньгами? Эксперты считают, что некоторую сумму, которая не должна превосходить 2-х миллиардов марок, агент по репарациям может предоставить банку для его краткосрочных операций, т.-е. оставить их в банке на своем текущем счету.

Если суммы, оставшиеся в руках агента по репарациям и не подлежащие при данных условиях переводу за границу, превысят два миллиарда, комитет имеет право: а) оплачивать товары, которые Германия обязана поставлять союзникам (как мы сейчас увидим, план Дауэса отменяет бесплатные поставки натурой), б) приобретать те или иные немецкие облигации и другие процентные бумаги (но не акции) и, наконец, в) с согласия репарационной комиссии и по желанию государств-кредиторов предоставлять немецкую валюту частным лицам для производства в Германии закупок. Эта операция подлежит известным ограничениям, подробно нормированным вышеуказанным приложением к Лондонскому протоколу.

Если в распоряжении агента по репарациям окажется свыше 5 миллиардов в форме банковых вкладов или облигаций, наступает временное уменьшение ежегодно вносимой Германией из налоговых поступлений суммы. В эти годы Германия платит только то, что может быть переведено за границу при сохранении в руках агента по репарациям 5-миллиардного излишка.

Как только наступает возможность усилить перевод платежей за границу, Германия снова должна платить 2½ миллиарда в год.

Если комитет по переводам придет к заключению, что германское правительство или та или иная группа путем специальных махинаций мешают переводу платежей за границу, комитет может отменить вышеизложенное постановление, закупать в Германии всякого рода имущество в неограниченных размерах и вообще бороться с указанными махинациями всеми нужными мерами.

Так как мы выше затронули вопрос о поставках натурой, то позвольте в нескольких словах указать, как он разрешается планом Дауэса и Лондонским соглашением.

По Версальскому договору и дополнившим его постановлениям (конференция в Спа и др.) Германия должна была, кроме денежных платежей, производить ряд поставок натурой, при чем поставки угля, кокса, химических продуктов и дерева носили контрибуционный характер. Репарационная комиссия давала наряд, Германия должна была его выполнить. За своевременность и исправность поставки отвечало германское правительство. По Лондонскому соглашению, которое в данном случае несколько дополняет план Дауэса, поставки товаров ни в коем случае не могут быть возложены на Германию без уплаты их денежного эквивалента.

Обязательства Германии ежегодно ограничиваются суммой, установленной планом Дауэса (т.-е. для нормального года 2½ миллиардами марок), никаких платежей ни деньгами, ни товарами сверх этой суммы Германия производить не обязана.

Однако французской металлургии нужен немецкий уголь и кокс, победителям нужен ряд продуктов германской химической промышленности. Поэтому Германия обязана выполнять поставки натурой угля, кокса и ряда химических изделий по программе, устанавливаемой по соглашению между германским правительством и репарационной комиссией. Если они не сговорятся, программу поставок вырабатывает особая арбитражная комиссия. Но за все товары, поставляемые Германией, расплачивается с поставщиками агент по репарациям. Страны-победительницы в пределах установленной программы поставок заключают договоры непосредственно с немецкими предпринимателями, которые и выполняют поставки и получают деньги от агента по репарациям.

Только если будет надлежащим образом установлен саботаж немецких предпринимателей, репарационная комиссия может потребовать поставки угля и пр. непосредственно от немецкого правительства, но опять-таки за деньги.

Мы уже указали выше, что план экспертов определяет, сколько Германия должна платить ежегодно, но оставляет открытым вопрос, в течение скольких лет Германия должна платить.

Зато план Дауэса, и в этом опять-таки его кардинальное отличие от Версальского договора, Лондонского ультиматума 1921 г. и пр.,—устанавливает не только, сколько должна платить Германия, но и из каких именно

источников и каким способом она должна платить. Мало того, создается целая система так называемых гарантий платежа. Победители фактически берут в свои руки те источники дохода, из которых Германия должна им платить, и фактически платят сами себе. Другими словами, план Дауэса есть учреждение конкурсного управления по делам впавшей в несостоятельность Германии. Об'ектом этого конкурсного управления являются германские железные дороги, таможенные пошлины и важнейшие косвенные налоги, а буде их не хватит, и другие налоги; промышленность, правда, не попадает под конкурсное управление, а только выдает коллективно долговое ипотечное обязательство в пять миллиардов, но облигациями по этому долгу и получением по нему процентов и погашения всецело ведает агент кредиторов — «уполномоченный по задолженности промышленности».

Предпосылками всего плана являются: 1) денационализация всех германских железных дорог и передача их со всеми их капиталами особому акционерному обществу; 2) денационализация центрального эмиссионного банка, передача этому новому банку монопольного (с небольшим из'ятием) права эмиссии денег, устранение правительственного вмешательства в эмиссионное и вообще денежное дело и подчинение всей эмиссии контролю иностранного комиссара; 3) передаче налоговому комиссару Антанты всех поступлений от таможенных пошлин и от налогов на водку, табак, пиво и сахар.

Платежи Германии должны итти из трех источников: 1) из государственного бюджета; 2) из доходов от железных дорог; 3) из доходов от промышленности. При этом, однако, германское правительство отвечает за совокупную сумму платежей по всем трем источникам.

Эксперты исходили из предположения, что железные дороги и промышленность в нормальный год могут уплачивать по своим обязательствам по 6%, что составляет на 11 миллиардов железнодорожных облигаций — 660 миллионов, а на 5 миллиардов облигаций промышленности — 300 миллионов.

Если бы оказалось, что железные дороги или промышленность не оплатили полностью купонов за истекший период, то соответствующий уполномоченный передает неоплаченные купоны комиссару по налогам и пошлинам, а этот последний удерживает из поступивших к нему налогов не только нормальную сумму в 1.250 миллионов, но и сумму, недоплаченную железными дорогами или промышленностью.

Плательщик косвенных налогов отвечает своей шкурой не только за ту половину контрибуции, которая наложена непосредственно на него, но и за доходность германских железных дорог и аккуратность господ промышленников.

Платежи из обыкновенного государственного бюджета начинаются только с третьего года исполнения плана экспертов, т.-е. с 1926 — 27 г. Это — двухлетний мораторий, установленный экспертами и подтвержденный Лондонской конференцией (дополнительное приложение № 1 к приложению первому).

На третьем году германский бюджет должен дать союзникам — 110 миллионов, на четвертом — 250 миллионов, на пятом и в следующие по 1.250 миллионов марок. (Нумерация годов здесь и в последующем не от Р. Х., а от исполнения плана Дауэса.)

Если в третьем году поступления от таможенных пошлин вышеназванных налогов превзойдут один миллиард, а в четвертом — один с четвертью миллиард, то треть этого избытка поступает победителям сверх фиксированных в плане сумм. Если, наоборот, эти налоги дадут нехватку, то сумма, передаваемая победителям за счет налоговых поступлений, уменьшается на $^1/_3$ этой нехватки. Эта комбинация применяется только в третьем и четвертом году, как временная мера. Начиная с шестого года (1929—30 г.), нормальная сумма платежей может быть повышена путем применения хитроумного изобретения экспертов, которое они окрестили «коэффициентом благосостояния». Эксперты полагают, что лет через пять — шесть германское народное хозяйство начнет быстро нагуливать жирок и что победители обязательно должны получить свою долю в этом приросте благосостояния.

Но как измерить общий прирост благосостояния населения? Метод, предложенный экспертами и принятый на Лондонской конференции, состоит в следующем: «Индекс благосостояния» составляется из чисел показателей, характеризующих состояние следующих отраслей народного хозяйства: а) общую сумму германского ввоза и вывоза; б) сумму государственных доходов и расходов; в) количество пассажироверст и пудоверст, перевезенных германскими железными дорогами; г) ценность потребления сахара, табака, пива и алкоголя в Германии; д) численность населения Германии; е) годичное потребление угля на голову населения. За основу (т.-е. за сто) принимается средний индекс из этих шести величин за несколько лет, предшествующих шестому году от сотворения плана Дауэса.

Теперь представьте себе, что в этом шестом году цифры, характеризующие движение благосостояния по указанным признакам, повысились в среднем на 10% (по сравнению со средней за предыдущие годы). В таком случае Германия в 1929 — 30 году (6-ом дауэсовской эры) заплатит: 2.500 миллионов нормальных платежей плюс десять процентов, которые начисляются не на все 2.500 миллионов, а только на половину, т.-е. на 1.250 миллионов. Получается в общем 2.625 миллионов.

Начиная с 11 года дауэсовской эры поправка по индексу благосостояния начисляется уже не на половину, а на всю сумму германских платежей (включая платежи от жел. дорог и промышленности), т.-е. на 2.500 миллионов. Таким образом, если в 1936 — 37 году индекс благосостояния покажет повышение по сравнению с первыми годами Дауэсовской эры на 10%, то Германия в этом году заплатит 2.500 + 10%, т.-е. 2.750 миллионов.

Особенность этой механики состоит в том, что железные дороги и промышленность при всяких условиях платят одну и ту же сумму, которая не может быть повышена. А плательщики косвенных налогов не только отвечают за исправность платежей железных дорог и промышленности, но еще платят прибавки к обязательствам последних пропорционально индексу бла-

госостояния. Размер репарационных платежей может быть, кроме того, изменен в случае повышения или понижения покупательной силы золота по сравнению с 1928 годом не менее, чем на 10%.

Как мы уже говорили, Антанта назначает специального комиссара (с соответствующим количеством помощников), который контролирует действие всего германского налогового аппарата и непосредственно инкассирует каждый месяц все поступления от таможенных пошлин и вышеуказанных четырех налогов. Комиссар передает агенту по репарациям то, что причитается союзникам, удерживает некоторую сумму для образования резервного фонда на случай неисправного поступления платежей по железнодорожным и промышленным облигациям, а остаток, буде таковой окажется, сдает германскому министру финансов.

Кроме вышеназванных налогов в распоряжение Антанты непосредственно и целиком поступает транспортный налог, который совершенно из'ят из германского государственного бюджета. (Об этом налоге ниже.)

Обязательно следует заметить, что особым параграфом Лондонских соглашений Германия лишена права понижать ставки четырех вышеуказанных косвенных налогов без разрешения комиссара. С другой стороны, во второй части заключения экспертов указано, что они считают ставки немецких косвенных налогов слишком низкими, и что, в частности, надо заставить Германию повысить налоги на алкоголь, пиво и сахар. Что эти благие пожелания будут осуществлены, сомневаться не приходится. У комиссара для этого достаточно полномочий.

А вот, что платонические пожелания экспертов насчет усиления подоходного налога на буржуазию и налога на наследство останутся на бумаге,— это тоже весьма вероятно, ибо эти налоги не заложены Антанте, а со своим министром финансов, будь он дейтш-националь или с.-д., немецкая буржуазия сумеет справиться.

Отметим еще, что если налоги будут поступать в недостаточном количестве, то комиссар, кроме принадлежащего ему обширного права контроля над налоговым аппаратом, получает чрезвычайные полномочия: он может назначить расследование о причинах неисправного поступления налогов, потребовать неуклонного применения репрессий к неплательщикам и отмены всяких льгот и отсрочек для плательщика.

Кроме того, германское правительство обязано заложить комиссару другие косвенные налоги, кроме указанных выше, и поступления от этих налогов идут на покрытие дефицита из основных источников.

Если этого будет мало, комиссар совместно с агентом по репарациям может потребовать у германского министерства финансов принятия всех указанных им мер для усиления налоговых поступлений.

Требования комиссара должны быть исполнены немедленно, если для этого достаточно административных распоряжений, и в двухмесячный срок, если для этого требуется изменение закона. В случае неисполнения требований комиссара, а также в том случае, если и новые меры не приведут к желательному результату, комиссар и агент по репарациям могут совер-

шению из'ять взимание того или иного налога из ведения германского государства и сдать его в аренду особой организации.

Переходим к железным дорогам.

Комитет экспертов поручил двум специалистам железнодорожного дела изучение положения германских железных дорог. Доклад этих специалистов (сэра В. Экворта и Г. Леверва) отпечатан в виде приложения № 3 к плану экспертов. Он содержит весьма интересный материал и его выводы легли в основу той части плана экспертов, которая относится к железным дорогам.

Прежде всего, эксперты констатируют, что жел. дороги являются наиболее важным государственным имуществом Германии и легче всего могут быть использованы для репарационных платежей. Германская жел.-дорожная сеть имеет протяжение в 53.000 километров рельсового пути. Подвижной состав в ближайшее время будет доведен до 30.850 паровозов, 69.253 пассажирских и 748.753 товарных вагонов.

Две трети этого подвижного состава пущены в движение за последние 10 лет.

Наличный подвижной состав немецких железных дорог и по количеству, и по качеству далеко опередил то, что имела Германия накануне войны. В общем, оборудование немецких дорог стоит на уровне последних требований современной техники.

Капитал, вложенный в железные дороги, оценивается экспертами в 26 миллиардов золотых марок.

Задолженность железных дорог ликвидирована благодаря обесценению марки.

Эксперты считают, что при надлежащей эксплоатации железные дороги могут давать около одного миллиарда ежегодного чистого дохода.

Сюда включен и железнодорожный налог, который взимается в Германии в размере 7% тарифа со всех грузов и от 10 до 16% со стоимости пассажирских билетов. Этот налог должен, по вычислению экспертов, давать, начиная с 3 года, по 290 миллионов в год.

Однако германские железные дороги могут давать такой доход только в хороших руках. Эксперты весьма нелестно оценивают коммерческую сторону деятельности германского министерства путей сообщения.

Железнодорожные специалисты ставят ему в вину чрезмерные расходы и неправильную систему тарифов.

Так, например, железнодорожный персонал подлежит сокращению с 936 тысяч до 793 тысяч человек.

Но главная беда, по мнению экспертов, состоит в том, что немецкая железнодорожная администрация от мала до велика пропитана совершенно ложными взглядами. Она считает, видите ли, что германские железные дороги, во - первых, должны быть первоклассными в смысле оборудования и т. д., а, во - вторых, должны служить интересам населения и народного хозяйства. Почтенных экспертов это приводит в крайнее негодование. Железная дорога прежде всего коммерческое дело и должна давать приличествующий доход

Все остальное—на втором плане. Этот руководящий принцип кажется экспертам совершенно бесспорным, и они сделали из него весьма решительные выводы.

Соответствующее место в плане Дауэса настолько характерно, что мы приведем его словами подлинника:

«Железнодорожные эксперты пришли к заключению, что было бы бесполезно ожидать чего бы то ни было, хотя бы до некоторой степени похожего на некоторое улучшение, до тех пор, пока железные дороги остаются под контролем правительства. Весь дух прошлого времени, периода, когда дороги были собственностью правительства, был проникнут стремлением эксплоатировать железные дороги в интересах прежде всего германской промышленности, и только во вторую голову, как дающее доход предприятие. По мнению экспертов, необходим полный разрыв со старыми традициями. Мы принимаем их выводы и рекомендуем превращение германских железных дорог в акционерное общество».

Итак, врожденные и неискоренимые идеи немецких железнодорожных чиновников служат непреодолимым препятствием на пути рациональной эксплоатации железных дорог. Поэтому необходимо денационализировать железные дороги и передать их специальному акционерному обществу, которое будет их эксплоатировать в интересах Антанты.

Итак, на основании плана экспертов и согласно законов, изданных германским правительством 30 августа 1924 г., все железные дороги переходят на сорок лет к специальному акционерному обществу. Это общество выпускает на 2 миллиарда привилегированных и на 13 миллиардов основных акций. Одновременно, т.-е. при самом своем основании, общество должно выпустить на 11 миллиардов ипотечных обязательств (закладных листов), по которым гарантируется, начиная с четвертого года, пять процентов годового дохода плюс один процент погашений.

Теперь внимание. Весь секрет состоит в том, кто получает облигации, кому достаются привилегированные акции и кому остаются акции обыкновенные. Все облигации (закладные листы) передаются особо-уполномоченному, назначаемому репарационной комиссией. Это — 11-миллиардная контрибуция. Только уплата ее рассрочена. В первом году (от сотворения плана) железные дороги платят двести миллионов, во втором—595, в третьем—550, а начиная с четвертого—нормально 660 миллионов. Если железные дороги не заплатят 6%, то купоны оплачивает немецкий плательщик налогов. Для этого особо-уполномоченному по жел.-дор. облигациям надо только сообщить комиссару по налогам. Тот уже распорядится. Кроме того, весь железнодорожный налог в сумме 250 миллионов во второй год (в первый он еще остается в пользу германского правительства), и 290 миллионов в каждый из последующих годов поступает прямо от жел.-дор. акционерного общества к агенту по репарациям.

Таким образом железные дороги дают союзникам 950 миллионов в год гарантированной контрибуции. Уполномоченный имеет также право продать

все облигации или часть их и сразу реализовать, таким образом, заключенный в них капитал.

Теперь привилегированные акции.

Из них 1½ миллиарда остаются в распоряжении самого акционерного общества и постепенно размещаются среди публики для извлечения из их продажи средств, необходимых для новых вложений капитала и ликвидации текущих долгов. Остальные 500 миллионов привилегированных акций и все обыкновенные акции передаются германскому правительству. Однако обыкновенные акции вряд ли дадут хоть один процент дохода, а право голоса на общем собрании они тоже дать не могут, ибо у акционерного общества германских жел. дорог нет общих собраний. Из 500 миллионов привилегированных акций, германское правительство обязано продать половину и внести во втором году 250 миллионов агенту по репарациям за счет «чрезвычайного бюджета». Остальные 250 миллионов остаются немецкому правительству взамен 250 миллионов транспортного налога. Вот и вся механика.

Теперь посмотрим, как и кем управляются жел. дороги. Мы излагаем эту сторону дела не по плану Дауэса, а по воспринявшим силу закона Лондонским постановлениям. (Есть некоторая разница.)

Во главе акционерного общества стоит административный совет. 9 его членов назначаются германским правительством, а другие 9 — уполномоченным репарационной комиссии. После реализации привилегированных акций 4 представителя германского правительства уходят в отставку и очищают места четырем представителям акционеров, которые, однако, должны быть немцами. Равным образом немцами должны быть генеральный директор жел. дорог и его помощник.

Антанта представлена в этом деле двумя специальными персонажами (кроме 9 членов совета): это — уполномоченный, о котором мы уже говорили, и комиссар. Сей последний избирается иностранными членами Совета из их среды и имеет два рода полномочий: пока жел. дороги аккуратно платят проценты по облигациям, его роль ограничивается всесторонним наблюдением за работой жел. дорог. Его полномочия в этом направлении безграничны и секретов от него ни в одной отрасли жел.-дорожного дела быть не должно. Даже проекты законов, циркуляров и распоряжений должны сообщаться ему заблаговременно до их опубликования. Уже в этой стадии своей деятельности комиссар может вмешиваться в работу генерального директора, жаловаться на него Совету и просить Совет об увольнении директора, если тот нарушает статуты общества или не исполняет постановлений Совета. Совсем другой вид приобретает картина, если жел. дороги не заплатят хотя бы частью по купонам своих облигаций (платежи производятся два раза в год). Германское правительство имеет право в этом случае немедленно внести кредиторам недостающую сумму. Если оно не захочет, или не сможет этого сделать, наступает интервенция комиссара. Он в этом случае имеет право: вычеркивать и сокращать расходы, повышать тарифы, сместить генерального директора. Если в течение шести месяцев не удастся добиться ликвидации за-

долженности, комиссар, по соглашению с уполномоченным по жел.-дор. облигациям, может принять все меры, какие найдет нужными. В частности он может, отстранив акционерное общество и его органы, взять на себя управление жел. дорогами, продать часть их имуществ и сдать в аренду, целиком или частью, право эксплоатации жел.-дор. сети.

Мы не знаем, состоялось ли уже персональное назначение комиссара и уполномоченного. Во всяком случае предполагалось, что комиссаром будет француз, а уполномоченным — американец.

Третьим источником, из которого будут поступать платежи союзникам, является обложением германской промышленности 5-миллиардной ипотекой, по которой будет платиться 5% + 1% погашения, т.-е. 300 миллионов марок в год. Впрочем, и промышленности дается мораторий: она ничего не платит в первом году, 2½% — во втором, 5% — в третьем, а 6% — только начиная с четвертого года.

Обоснованию этого обложения промышленности, данному в заключении комиссии Дауэса, нельзя отказать в убедительности. «Размер этой ипотеки ниже, чем довоенная задолженность всей германской промышленности. Эта задолженность была большей частью ликвидирована платежом по номинальной стоимости в обесцененных бумажных деньгах, т.-е. как бы исчезла. Кроме того, промышленные предприятия извлекли пользу из упадка валюты различными способами, как, например, путем несвоевременной уплаты налогов, путем субсидии и аванса, которые они получали от правительства, и путем выпусков обесценившихся суррогатов денег, которые печатали сами промышленники».

Дальше эксперты резонно указывают на то, что правительство Куно [illegible] июня 1923 года само предлагало наложить в пользу союзников ипотеку в 10 миллиардов на промышленность, торговлю, банки и сельское хозяйство.

Конечно, представители об'единенной промышленности не замедлили поднять лицемерный вой по поводу неслыханных тягот, возлагаемых на отечественную промышленность планом Дауэса. В резолюции 15 апреля 1924 г. президиум с'езда торговых и промышленных палат писал, что:

> «План не дооценивает невероятного обеднения Германии и слишком высоко оценивает ее платежеспособность и производительность».

Что эксперты весьма мало считались с основным фактом грандиозного ограбления Германии по Версальскому договору, — это совершенно справедливо. Но когда промышленники в одном из своих изданий, посвященных плану Дауэса, пресерьезно утверждают, что разговоры о барышах от инфляции — вздор и что промышленность страшно обеднела, — то можно только удивляться этой смелости, доходящей до грации. Факт тот, что разоренная войной и ограбленная Куно и Стиннесом масса плательщиков косвенных налогов будет платить контрибуцию в пять раз бóльшую, чем разбогатевшая от войны и от инфляции промышленность. А что крупная промышленность сумеет свои платежи переложить на потребителей, — в этом трудно сомневаться.

Технически платежи промышленности организованы так: промышленные предприятия с капиталом в 50.000 марок и выше выдают обязательства на общую сумму в 5 миллиардов и отвечают своим имуществом за своевременную уплату процентов и погашения. Из пяти миллиардов облигаций только 500 миллионов облигаций крупнейших промышленных предприятий непосредственно выпускаются на рынок специальным уполномоченным репарационной комиссии. Остальные 4½ миллиарда попадают в портфель специального «банка промышленных облигаций», который и выпускает «индустриальные боны», обеспеченные всеми облигациями и 300-миллионным резервным фондом. Эти боны передаются уполномоченному по индустриальным облигациям. Проценты и погашения по ним вносятся банком на текущий счет агента по репарационным платежам. Каждые два года происходит перераспределение ипотечных обязательств между всеми обложенными предприятиями в связи с происшедшими изменениями в их экономическом положении.

Знаменательны две победы немецкой крупной промышленности, которые она успела одержать над своими соотечественниками уже при обсуждении законов об обложении промышленности. Во-первых, она изобрела систему двух кругов. В первый — более узкий — включены те предприятия, которые подписывают облигации и отвечают своим имуществом. Сюда включены предприятия обрабатывающей и добывающей промышленности и транспорта с капиталом свыше 50 тысяч. Второй круг — более широкий — включает все промышленные и торговые предприятия, банки, гостиницы и страховые общества, словом все, кроме сельского хозяйства. И притом включает предприятия с капиталом уже с 20 тысяч марок. Все предприятия, включенные во второй круг, обязаны участвовать в платеже процентов по облигациям крупной промышленности. Процесс переложения обязательств промышленности уже начался, прежде чем начались самые платежи по обязательствам. Но это еще не все. Промышленники добились привлечения к участию в платежах всех государственных, общественных и коммунальных предприятий, как-то: трамваев, водопроводов, электрических станций, газовых заводов, коммунальных банков и т. п. Все эти предприятия обязаны помогать промышленникам платить, хотя бы они не давали никакой прибыли и даже не покрывали своих фактических издержек. Даже рейхсрат вычеркнул этот беспардонно-наглый параграф правительственного законопроекта, но об'единенная промышленность подняла отчаянный крик и добилась в рейхстаге его восстановления.

Можно себе представить, во что превратится все это обложение промышленности на практике, если уже в самом тексте закона промышленники произвели такие усовершенствования.

Кроме того, государство, т.-е. плательщики налогов, является ответственным перед Антантой за платежи промышленности и выдает за нее соответствующую гарантию.

Теперь позвольте сопоставить платежи из всех источников, и мы получим следующую картину выплаты Германией контрибуции на основании плана Дауэса и лондонских постановлений:

I год (с 1 сентября 1924 г. до 31 августа 1925 г.).

	От международного займа	800 миллионов.
	Проценты по жел.-дор. облигациям	200 "
	Итого	1.000 миллионов.
II год.		
	От продажи привилегированных жел.-дорожных акций	250 миллионов.
	От налога на транспорт	250 "
	Проценты по жел.-дор. облигациям	595 "
	Проценты по индустриальн. облигац.	125 "
	Итого	1.220 миллионов.
III год.		
	От пошлин и косвенных налогов	110 миллионов.
	Налог на транспорт	290 "
	Проценты по жел.-дор. облигациям	550 "
	" индустриальн.	250 "
	Итого	1.200 миллионов.
IV год.		
	Пошлины и налоги	500 миллионов.
	Налог на транспорт	290 "
	Проценты и погашение по жел.-дор. облиг.	660 "
	Тоже по индустриальн. облигац.	300 "
	Итого	1.750 миллионов.
V год.		
	(Нормальный) и следующие годы пошлины и косвенные налоги	1.250 миллионов.
	Налог на транспорт	290 "
	Проценты и погашение жел.-дор. облиг	660 "
	" " индустр. "	300 "
	Итого	2.500 миллионов.

Просим читателя не забывать того, что сказано выше об индексе благосостояния и об учете колебаний ценности золота.

Нам остается еще остановиться на двух предпосылках, с осуществлением которых комиссия Дауэса связывает реализацию своего плана. Это — стабилизация валюты путем создания нового или реорганизации существующего эмиссионного банка и международный заем в 800 миллионов марок для Германии.



Начнем с банка. Основное положение экспертов состоит в том, что эмиссионный банк должен быть совершенно освобожден от вмешательства и контроля со стороны германского правительства. В соответствии с этим в новом законе о рейхсбанке, утвержденном 30 августа 1924 г., первый параграф гласит: «Рейхсбанк — есть банк, независимый от германского правительства». Ни президент банка, ни директора не назначаются отныне правительством и не состоят на государственной службе. И президент, и директора назначаются и смещаются генеральным советом, который состоит из семи немцев и семи иностранцев. Президент банка избирается из числа немецких членов совета, а комиссар, который контролирует осуществление эмиссионного права банка,—из числа иностранцев. Решения генерального совета при-

нимаются десятью голосами. Только в то случае, если с большинством голосуют и президент, и комиссар, достаточно простого большинства. Новый устав подробно описывает функции банка и его организацию.

Капитал банка составляет от 300 до 400 миллионов марок. В него вливается капитал старого рейхсбанка, который хотя и равняется 180 миллионам, фигурирует в капитале нового банка, как 100 миллионов. На остальную сумму выпускаются акции банка по 100 марок каждая, которые размещаются как в Германии, так и за границей. Все акции должны быть полностью оплачены золотом или иностранной валютой.

Прибыли банка распределяются следующим образом: 20% отчисляется в резервный фонд, пока он не достигнет 12% ценности обращающихся банкнот; из оставшейся суммы акционеры имеют право на дивиденд в 8%; если это не исчерпает всей прибыли, остаток делится между акционерами и государством.

Банк, в виде правила, не должен кредитовать ни государства, ни правительственных или коммунальных учреждений. В виде исключения банк имеет право (но отнюдь не обязан) предоставлять государству краткосрочные кредиты на сумму не свыше 100 миллионов марок и на срок не свыше 3-х месяцев. Эта задолженность обязательно должна быть ликвидирована к концу каждого отчетного года (параграф 25 нового банкового закона).

Важнейшим правом и главной функцией нового банка является осуществление монополии выпуска бумажных денег. § 2-й нового закона гласит: «Рейхсбанк имеет на срок в 50 лет исключительное право выпускать в Германии банкноты». Правительство не может ни выпускать бумажных денег или их суррогатов, ни предоставлять кому бы то ни было этого права. Единственное исключение допущено для баварского, саксонского, вюртенбергского и баденского эмиссионных банков, которые могут выпускать банкноты на общую сумму не свыше 194 миллионов марок (все 4 банка вместе). Эмиссионное право рентного банка аннулируется. Выпущенные рентные марки должны быть из'яты из обращения в течение 10 лет. Бумажные марки выкупаются немедленно по курсу 1 новая марка за 1 триллион старых и уничтожаются. Новые марки, имеющие название «рейхсмарк», должны быть не меньше, чем на 40% покрыты золотом или твердой иностранной валютой. Три четверти покрытия обязательно должно состоять из золота. Но и остальные 60% банкнот должны быть покрыты краткосрочными векселями (в виде правила с тремя подписями) или чеками (§ 28 банковского закона). В исключительных случаях генеральный совет единогласным постановлением может выпустить и больше 60% банкнот, не покрытых золотом, но со всего этого излишка он обязан платить государству прогрессивно возрастающий налог.

Новая организация германского денежного обращения означает возврат к золотой валюте. Это выражается не только в очень высоком золотом покрытии банкнот, но и в том, что § 31 нового закона обязывает банк обменивать свои банкноты на золото в слитках или монете, или на иностранную валюту. Правда, действие этого § временно приостановлено, но неразрывная связь между золотом и новыми банкнотами установлена и § 22, который

гласит: «Рейхсбанк обязан принимать золото в слитках и выдавать за него свои банкноты по расчету: 1.392 марки за фунт чистого золота».

Германское правительство никакого касательства к эмиссии денег не имеет. Право прямого или косвенного использования печатного станка для него закрыто на пол-столетия.

Зато весьма близкое отношение к выпуску банкнот имеет назначаемый Антантой комиссар: § 27 нового закона о банке, определяющий право комиссара, между прочим, гласит: «Изготовление, выпуск в обращение и из'ятие из обращения банкнот происходит под контролем комиссара». Комиссару предоставлено право всестороннего контроля над эмиссионной деятельностью банка. Ни одна банкнота не может быть выпущена без контрольного штемпеля комиссара.

Если бы базисом для эмиссии банка был только его основной капитал, то банк при 40% покрытия мог бы выпустить банкнот не больше, чем на 1 миллиард. Этого, конечно, явно недостаточно, ибо на январь 1924 г. в Германии обращалось 12 разных видов платежных средств (денег и их суррогатов) на общую сумму в 3.255 миллионов марок золотом. Если отныне единственным законным платежным средством являются новые банкноты, то, очевидно, их нужно гораздо больше, чем на 1 миллиард, если принять во внимание, что до войны в Германии было в обращении свыше 6 миллиардов денег.

Надо принять во внимание, что на 10 лет остаются в обращени рентные марки, которых к началу 1924 года было — 1.374 миллиона, и что государству предоставлено право чеканки металлических монет. При этом, однако, согласно продиктованному комитетом Дауэса монетному закону 30 августа 1924 года, только золотые монеты чеканятся в неограниченном количестве (открытая чеканка) и служат законным платежным средством. Серебряные и другие монеты могут чеканиться в количестве не свыше 20 марок на голову населения (т.-е. для данного момента не свыше, чем на 125 миллионов в общей сложности). К тому же, серебро служит законным платежным средством до 20 марок, а медь и никкель — до 5-ти.

Как видите, эмиссионный банк основательно оградил себя от возможности конкуренции со стороны государственного монетного двора. Однако эмиссионная деятельность банка невозможна без помощи извне. Поэтому эксперты и пришли к следующему заключению: «Существенной составной частью нашего плана является выпуск Германией внешнего займа на 800 миллионов марок. Этот заем необходим в первую голову для успешного основания нового банка и для гарантии стабилизации валюты».

Механизм работает так: германское правительство получает за границей заем в 800 миллионов марок, причем он ей предоставляется золотом или иностранной валютой. Все это золото и валюта передаются рейхсбанку, который выдает правительству эквивалент в своих банкнотах. Этим эквивалентом правительство в первом же году оплачивает поставки товаров союзникам на сумму в 800 миллионов марок. А рейхсбанк под обеспечение полученных им 800 миллионов выпускает на 2 миллиарда банкнот. Проценты по этой комбинации платит германское правительство. Согласно статьи третьей при-

ложения 4-го к Лондонскому протоколу, союзные державы постановили предоставить держателям займа «абсолютный приоритет» при осуществлении их претензий за счет германских государственных доходов.

По всем вероятиям займ удастся благополучно разместить в Америке.

Вот и весь план Дауэса. Мы нарочно привели не только его основные черты, но и ряд характерных деталей, разбросанных в разного рода приложениях и дополнениях. Надеемся, что физиономия доброго американского дядюшки Дауэса, который неожиданно явился из-за океана, чтобы облагодетельствовать прогоревших европейских родственничков, — теперь ясна читателям.

ЗА РУБЕЖОМ

„Эра демократического пацифизма".

Карл Радек.

После прихода к власти Рабочей Партии в Англии, после победы левого лока во Франции все колокола II Интернационала прозвонили миру насту-ление эры демократического пацифизма. Исход Лондонской конференции оюзников, «соглашение» с Германией по вопросу о репарациях дали понама-ям реформизма новый повод, чтобы со всей силой бухнуть в колокола: «да лагодать воцарилась!». Мы не имеем еще голосов этой печати по поводу ринятия Лигой Наций так называемого протокола Бенеша о международном рбитраже и борьбе с наступательными войнами. Но мы себе представляем. ак загремят литавры и какая пляска начнется вокруг этого куска бумаги.

Для нас, марксистов, не подлежит никакому сомнению, что демократи-ески - пацифистская эра не может явиться без мировой революции, что сподствующие теперь классы не в состоянии на деле провести ни между-ародной демократии, ни умиротворения мира. Но это априорное наше убе-дение не освобождает нас от обязанности очень внимательно относиться тому, что происходит в мире. Если даже исходить из предположения, что ы имеем налицо только сознательный обман господствующих классов, ко-рые, обанкротившись на Версальской политике, пытаются теперь, ради редышки, на известное время создать впечатление, что меняют политику, —), даже исходя из такого предположения, мы должны тщательно учесть, очему господствующие классы в Европе принуждены сделать такой поли-ический зигзаг. Когда дело идет о громадных массовых явлениях, о вели-йших политических сдвигах, — хитроумной механикой ничего об'яснить льзя. Перемены в политике, даже преходящие попытки вызвать эти пере-ны, всегда являются результатами известных изменений в соотношении л. Первый вопрос, который надо поставить в данном случае, это — вопрос том, откуда же взялась эта так называемая пацифистско - демократи-ская эра.

I.

Возникновение „демократическо-пацифистской эры".

Она знаменуется шестью фактами: 1) поражением германского проле-риата в октябре прошлого года, 2) созданием рабочего правительства Англии, 3) поражением французского империализма и победой левого

блока во Франции, 4) возвращением Соединенных Штатов Америки в Европу, 5) ослаблением японского империализма и 6), наконец, укреплением Сов. Союза.

Поражение германского пролетариата в октябре прошлого года является исходной точкой политического поворота, носящего громкое название «пацифистско-демократической» эры. Если бы германский пролетариат взял в прошлом году власть, то само собой понятно, что вся мировая буржуазия, ее агенты из II Интернационала говорили бы теперь не о мире, а о борьбе против революционной Германии. Таким образом эра демократии и пацифизма начинается с победы германской буржуазии, с поражения германского пролетариата, с усиления переходного режима мировой буржуазии.

Победа Макдональда есть результат краха и либерально-консервативной коалиции и самостоятельного господства консерваторов. И либерально-консервативное правительство, и правительство чистых консерваторов представляли собой блок тяжелой промышленности и торговой буржуазии Англии. Разница между одним и другим состояла только в различии обстановки 1918 г. и 1923 г., которой и обусловлены разнородные методы действия. Переход от Ллойд-Джорджа к Керзону был вызван тем, что коалиция либералов и консерваторов, по мнению руководящей капиталистической группы, не могла действовать так радикально и решительно, как могло бы действовать консервативное правительство без всяких радикальных примесей. Но социальный смысл господства обоих этих правительств совершенно тождественен. Он состоял в попытке стабилизации английского капитализма за счет трудовых масс Англии—внутри, а в международном масштабе—за счет побежденных народов и колоний. Эта политика провалилась. Правда, рабочий класс Англии был в 1920 году отброшен, но рост безработицы не только не внес успокоения в народные массы, а, наоборот, привел к росту влияния Рабочей Партии. Рабочая Партия, которая в 1918 году, в разгар побед над Германией, получила 2½ миллиона голосов, — в 1922 году и на вторичных выборах в 1923 году получила 4 миллиона голосов. Таким образом внутри страны буржуазия доказала свою неспособность внести успокоение в народные массы, не разрешила самого важного для Англии вопроса, — вопроса о безработице, который тяжелым бременем лег на английские финансы. Внешне — политический режим Ллойд-Джорджа и режим Керзона не привел ни к какому улучшению положения Англии на континенте и в колониях. Ллойд-Джордж после войны пробовал медленно повернуть руль внешней политики, безболезненно уйти от Версальского договора. Кейнс в своей книге о ревизии Версальского мира очень остроумно заявляет, что Ллойд-Джордж все еще произносит версальские речи, на деле пытаясь освободиться от Версаля. Ллойд-Джордж не мог этого сделать по простой причине: ликвидация Версальского договоров, в частях, касающихся положения Германии, требовала самого решительного нажима на Францию. Но Франция, опираясь на свою военную силу, не поддавалась ни на какие уловки Ллойд-Джорджа и на попытку его склонить Бриана к сделке, собственно говоря, являющейся ревизией Версаля,— буржуазная Франция ответила отставкой кабинета Бриана и приходом

к власти Пуанкаре. Дальнейшая попытка Керзона повлиять на Францию дипломатическим путем привела к тому, что Франция пошла в Рур и взяла в свои руки самостоятельное решение репарационного вопроса. Это было полным поражением политики господствующего в Англии класса. Если бы Франции удалось удержать Рур, то это усилило бы положение Франции в Европе, сделала бы ее путем об'единения железа и угля Германии с французской тяжелой промышленностью экономически господствующей нацией в Европе. Параллельно возрасла бы зависимость вассала Франции — Чехо-Славии, Юго-Славии, Польши, Румынии и Сербии — от их французского хозяина, что означало бы полную изоляцию Англии в Европе. Приход к власти правительства Макдональда было ответом рабочего класса и значительной части мелкой буржуазии на банкротство внешней и внутренней политики финансового, торгового и промышленного, капитала. Отказав в своей поддержке консерваторам, английские рабочие, английская мелкая буржуазия отчетливо заявили, что буржуазия, по их мнению, не способна вывести Англию из тупика. Рабочее правительство, как бы трусливо оно ни было, является таким образом выразителем нарастающего недовольства рабочего класса и части английской мелкой буржуазии.

Присмотримся теперь к причинам победы левого блока во Франции, являющегося союзом мелкой буржуазии города и деревни и большинства французского рабочего класса. Блок этот пришел к власти в результате блестящего провала политики Пуанкаре. Банкротство его выразилось в том, что французский капитал для обеспечения германских репараций пошел в Рурский бассейн, надеясь или принудить германскую буржуазию к уплате значительной части дани деньгами, или, если это не удастся, раз навсегда подчинить германскую тяжелую промышленность французской. Косвенно усиливая экономическую мощь Франции, Пуанкаре думал найти выход из финансового тупика, в котором находится Франция, успевшая увеличить свой предвоенный долг в 37 миллиардов до 200 миллиардов к моменту окончания войны и до 400 миллиардов ко времени ликвидации Рурской затеи. Политика Пуанкаре оборвалась, обанкротилась на том, что она явилась результатом переоценки экономических сил самой Франции. Рурская затея не могла дать немедленно сколько-нибудь значительных финансовых результатов; захват Рура привел к полной дезорганизации этого главного промышленного района Германии. Но в то же самое время расходы на Рурскую затею, международная неуверенность в том, что будет, вызвали падение франка, который в продолжение нескольких месяцев докатился до $^1/_8$ своей довоенной стоимости. Франция, принужденная обратиться к американскому и английскому капиталу с просьбой о займе для поддержки своей валюты, собственноручно расписалась в банкротстве рурской политики Пуанкаре, признала бесплодной свою попытку самостоятельного решения репарационного вопроса. Результаты выборов 4-го мая были квитанцией народных масс, в первую очередь французского мужика, на это банкротство. Большинство рабочего класса и крестьянство призвало к власти партии, обещавшие найти выход из положения не путем военных авантюр, но при помощи податных реформ и переложения тягот,

оставленных войной, на плечи имущего класса; в международном масштабе общественное мнение потребовало сделки с Германией. Пацифистская эра, провозглашенная Францией, сигнализирует сдвиг в широких народных массах. Основа французского империализма — доверие крестьянских масс к империалистическому режиму — расшатана.

Какой план реформы мог придумать этот мелко-буржуазный блок во Франции и мелко-буржуазный блок Англии? Каким путем мог он провести в жизнь эти обещанные реформы — сократить вооружение, уничтожить причины этого вооружения,—обострение международных отношений, обострение отношений между Францией и Германией, между Францией и Англией, между капиталистическим миром и Сов. Россией, — сократить тяжесть налогов во Франции? Существовал только один путь — борьба мелко-буржуазных масс и рабочего класса против класса, который является стержнем империалистической политики против финансового капитала и тяжелой промышленности. Могла ли мелкая буржуазия Франции и Англии пойти на эту борьбу? Достаточно присмотреться к внутренней политике Эррио в продолжение пяти месяцев, в течение которых он находится у власти, чтобы видеть всю беспомощность французской мелкой буржуазии в этой борьбе. Эрио получил в этой борьбе большинство голосов, но когда выборы кончаются и умолкают голоса, выражающие настроение мелко-буржуазных масс, — тогда начинают действовать постоянные факторы буржуазной власти, вступает в свои права старая бюрократия, возобновляется влияние церкви на массу, сказывается влияние прессы и влияние экономических факторов на власть. Мелкая буржуазия во Франции, отдавшая большинство своих голосов за режим Эррио, не имеет в своих руках прессы. Пресса капиталистического мира, это — крупное капиталистическое предприятие, ибо для постановки современной газеты нужны громадные средства, доходящие до десятков и сотен миллионов рублей. Мелкая буржуазия во Франции располагает маленькой прессой с маленьким тиражем, потому что лавочник и мужик не имеет денег для создания и содержания большой. Господин Эррио должен был искать помощи у той печати, которая издается на деньги тех классов, тех слоев, борьбу против которых он должен был бы вести, если бы хотел выполнить свою программу. Бюрократия осталась старая. Мелкая буржуазия, пришедшая к власти во Франции, оставила руководство внешней политикой в руках тех же самых людей, которые вели эту политику при Пуанкаре. Фактическое руководство внешней политикой при Эррио осталось в руках старой дипломатии, с Перетти, де-ла-Рокка, директором Quai d'Orsay времен Пуанкаре, во главе. Причины совершенно ясны: во-первых, мелкая буржуазия не располагает достаточным количеством военных и дипломатических сил, которые можно было бы выдвинуть на эти руководящие посты; во-вторых, боится ломки государственного аппарата, видя в бюрократии империалистического режима нерушимый общественный устой. Перемена коснулась только парламентской верхушки, весь же аппарат французского империализма остался нетронутым. Об армии не приходится даже и говорить. Генерал Нолэт, который играл роль покорителя Германии, от имени союзников провел разоружение Германии, был признан Эррио военным

министром. Этим назначением Эррио как бы сказал крупному капиталу: «Смотри, я не предпринимаю никаких новшеств: армия, оплот вашего режима, остается нетронутой». Но еще более важна зависимость этого мелко-буржуазного правительства от финансового капитала. Французские финансы держатся теперь на краткосрочных займах, на казначейских билетах, к которым масса уже относится с недоверием и которые могут быть пускаемы в оборот только при самой активной поддержке крупных банков. Полной зависимостью мелкой буржуазии от крупной об'ясняется то, что французская мелкая буржуазия не могла вступить на путь ликвидации или хотя бы уменьшения, обуздания империалистического режима, — на путь борьбы с крупным капиталом.

Как обстоит дело в Англии? Макдональд не имеет даже большинства в парламенте. Он держится у власти тем, что обанкротившиеся либералы и консерваторы не имели большинства для сознания собственных партийных правительств и не решались заключить между собою сделку созданием совместного правительства. Ни одна из этих партий не могла рисковать новыми выборами: еще слишком свежи были следы их режима, живо громадное недоверие рабочих масс к режиму коалиции либерально-консервативной и к режиму консерваторов. Поэтому обе буржуазные партии, нуждаясь в передышке, нуждаясь в том, чтобы Макдональд на деле доказал неспособность Рабочей Партии вывести Англию из тупика, дали полу-рабочему правительству передышку. Перед Макдональдом были две возможности: или, имея меньшинство голосов в парламенте, итти на политику социальных реформ, которые привели бы в движение народные массы и дали ему возможность, в случае провала в парламенте, победить на выборах, — или же итти путем компромисса и с консерваторами и с либералами, господствуя при благожелательном нейтралитете этих обеих партий, отказавшись при этом от более основательных реформ. Макдональд выбрал этот второй путь по той простой причине, что не верил в возможность завоевания в ближайшее время большинства рабочего класса и мелкой буржуазии и хотел удержаться на основе внешних побед, которые сделались возможными благодаря ослаблению французского империализма. Правительство Макдональда в течение своего полугодового существования на деле ничего в Англии не изменило. Единственный способ, при помощи которого он пытается действовать на широкие массы Англии, это—закон о постройке жилищ, закон, который на бумаге рассчитан на громадное впечатление, ибо дело идет о десятках миллиардов рублей, в продолжение ближайших 15 лет долженствующих дать английскому рабочему классу здоровые и дешевые жилища. Но, конечно, предпосылкой исполнения этого закона является то, что Макдональд все это время будет держаться у власти, что весьма проблематично. Не решаясь на борьбу с финансовым капиталом, с крупной буржуазией, так называемая французская и английская демократии должны были для осуществления своей программы умиротворения Европы найти союзника. Этого союзника они обрели в таком демократическом и пацифистском слое, как... американский финансовый капитал. И если сопоставить тот простой факт, что так называемый пацифистско-демократический переворот в Европе является результатом, с одной стороны,

поражения германского пролетариата и победы мелкой буржуазии во Франции и Англии, с другой стороны — результатом того, что самая жестокая антидемократическая, хищническая американская плутократия под давлением собственных интересов, о которых я буду еще говорить, решилась вернуться в Европу, если это сопоставить, — то не трудно увидеть, чем эта демократическая и пацифистская эра сказалась на деле.

Американская финансовая плутократия никогда не хотела уходить из Европы. Она была в значительной своей части за Версальский договор, за вхождение в Лигу Наций. Она великолепно понимала, что при развале европейского капитализма Европа представляет собой великолепное поле действий для коршунов американской финансовой олигархии, но принуждена была считаться с тем, что американские народные массы, уставшие от войны, являлись противниками вмешательства в европейские дела, правильно предвидя, что если Америка экономически заангажируется в Европе, то это означает сперва политическое, а затем и военное вмешательство в европейские дела. Вложение крупных капиталов в Европу может в будущем потребовать защиты этих капиталов при помощи военных союзов в Европе и открытых военных действий. Сдвиг в американских массах начался, благодаря аграрному кризису, возникшему в Америке в мае 1920 г., источником которого является отчасти обеднение Европы, уменьшившее ее покупательную способность, а с другой стороны — тот факт, что Америка сейчас производит хлеб дороже, чем Канада, Аргентина и Россия. Огромный аграрный кризис в Америке заставил фермерские массы выбирать: или с американским рабочим классом против американского капитализма, или с американским капиталистическим миром, который путем займов в Европе расширит покупательные силы последней. Само собой понятно, что такой класс, как класс американских фермеров, который никогда не вел революционных боев, не мог сразу решиться на первый путь. Буржуазия пытается создать смычку с крестьянством путем открытия ему выхода в Европу через займы. Это создало почву для возвращения американского финансового капитала в Европу. Политически это выразилось таким образом: перед лицом приближающихся выборов, на которых, как третья сила, выступает мелко-буржуазная партия, берущая на себя защиту фермеров, партия Лафолетта, угрожающая оторвать левое крыло от демократической республиканской партии, — республиканцы, находящиеся у власти, должны были указать фермеру выход из тупика. Таким выходом является финансирование Европы, которая на американские деньги будет покупать хлеб у американских фермеров. Доклад экспертов играет поэтому крупную роль в американских выборах.

Американский капитал, идя в Европу, стремится к подчинению себе всего ее хозяйства, и без известного внешнего умиротворения Европы американские финансисты не найдут на американском денежном рынке достаточного количества покупателей европейских займов.

Еще в другом пункте грабительские цели англо-американского капитала связаны с так называемым пацифизмом. На Дальнем Востоке землетрясение в Японии привело к ослаблению английского империализма. Последствия

того факта те же, что и последствия банкротства Пуанкаре в Рурском бассейне. Место ослабленной империалистической державы пытаются занять Англия и С. Штаты Америки. Делают они это под знаменем пацификации Китая, устранения опасности войны на Дальнем Востоке.

Шестой источник «пацифизма» — это усиление Советской России. После опыта интервенции нельзя начать борьбы против Советской России под лозунгом низвержения большевистского правительства, под лозунгом нового похода против Советского Союза. Поход этот может начаться только в форме стремления взять Советскую Россию на буксир, включить ее в мировой капиталистический рынок, заставить ее жить по-хорошему с международным капитализмом. Если, паче чаяния, Советский Союз отклонит протянутую ему дружескую руку, то тогда он сам будет виноват, что великие державы будут принуждены «предоставить его своей участи», т.-е. предпринять против него финансовую блокаду со всеми последствиями, которые могут из этого проистечь.

Вот все шесть моментов, породивших мировой поворот или, точнее говоря, международную констелляцию, выдвинувшую знамя пацифизма и демократии. Эти моменты разного социального калибра. Здесь налицо и усиление одних капиталистических групп (Америка), и ослабление других (Германия, Франция, Японня), и поражение пролетариата (Германия), и рост его силы (Англия). Разнородность корней новой международной констелляции создает глубокую ее противоречивость, как это покажет проверка главных внешне-политических событий последних месяцев.

II.

Проверка „демократическо-пацифистской“ эры.

Но перейдем теперь от источников этого поворота к проверке его не на планах, не на обещаниях, а на деле. Мы имеем перед собой четыре таких проверки. Это: 1) решение Лондонской конференции союзников насчет Германии, 2) англо-советский договор о займе и борьба, которая развертывается вокруг этого договора, 3) китайский вопрос и 4) состояние вопроса о разоружении на последней сессии Лиги Наций. Внимательное отношение к этим четырем вехам дает картину, которая показывает глубокую связь между происходящим в Китае, борьбой за займ для России и решениями союзников в Лондоне. Эта проверка позволяет с полной уверенностью сказать, что эра пацифизма и демократии не имеет ничего общего ни с пацифизмом, ни с демократией, а зато очень много — с созданием кооперации англо-американского финансового капитала для ограбления Германии, Китая и Сов. России.

а) Репарационный вопрос.

В чем состоят изменения в отношении политики союзников к Германии? Эти изменения существуют, и было бы нелепо их не видеть. Прежде всего — союзники отказались от неисполнимых фантазий, от всего, что деловые люди

считают давно иллюзиями. Когда французский министр финансов, г. Клотц, после войны, в 1919 году, заявил, что Германия уплатит по крайней мере 300 миллиардов золотых марок, то этот вздор был рассчитан на то, чтобы при ближайших выборах удержаться у власти, пообещав, что немцы уплатят то, чего никто уплатить не может. Между тем, любому избирателю стоило только открыть справочник по мировому хозяйству, чтобы знать, что перед войной все достояние Германии, в том числе земля, недвижимое имущество, шахты, фабрики и т. д., равнялось 300 миллиардам марок. А так как, если даже найти покупателя, нельзя вывезти всей Германии, то щедрое обещание г. Клотца было совершенно вздорно. Если взять книгу известного американского банкира Баруха об экономических условиях, принятых Версалем, где он рассказывает о всей борьбе, происходившей за кулисами, то видно будет, что ее участники отлично отдавали себе отчет в том, что обещают неисполнимые вещи. В 1921 г. союзники уже требовали от Германии «только» 130 миллиардов золотых марок, но они сами считали 80 миллиардов фантазией, потому что план уплаты, который был представлен Германией, касался только 50 миллиардов золотых марок. Все прочие обязательства висели в воздухе, и на деле международный капитал считал, что в продолжение 30 лет можно получить с Германии 50 миллиардов золотых марок.

Что в этой области меняет Лондонская конференция? Она сокращает эту сумму не открыто, но если взять условия амортизации, промышленного и железнодорожного займа, то оказывается, что союзники считают, что смогут выкачать из Германии 40 миллиардов золотых марок в продолжение 38 лет. Значит, в этом смысле реальное изменение в том, что союзники хотят выколотить из Германии то, что считают возможным, не обещая избирателям, что Германия уплатит все. Что еще изменяет Лондонский договор? На место необеспеченного плана выжимания из Германии репараций он выработал план, который представляет собой известные гарантии, план обеспечения платежей. В 1921 году союзники говорили Германии: «Уплати», а из каких источников, было неизвестно. Это кончилось банкротством германской марки и тем, что Пуанкаре захватил германский уголь, как источник платежей. Он должен был этот уголь возвратить, так как не умел его менять на золото и не имел достаточно золота, чтобы ждать. Теперь Лондонская конференция точно называет источники и говорит—платит не Рур, а вся Германия. 1.250 миллион. в год будут платить рабочие через повышение податей, пошлин на спички, водку, пиво, табак, т.-е. через косвенные налоги, которые союзники бронируют в размерах 1.250 миллионов золотых марок. Дальше они берут в свои руки железные дороги, намереваясь сократить число железнодорожников и, уменьшив зарплату, повысить железнодорожные тарифы. Это— два главных источника, и из этих двух источников Германия должна в течение нескольких лет давать 2½ тысячи миллионов в год для оплаты контрибуции союзникам. Чтобы эти деньги во-время, без опозданий и просрочек, поступали в кассу союзников, последние создают огромную машину, выкачивающую эти деньги, создают контроль над этими источниками, берут в свои руки желдороги, госбанк, делаются распорядителями германского хозяйства.

К тому, насколько этот план решает все вопросы, я вернусь позже, когда буду говорить о перспективах развития. Но если теперь принять, как факт, то, что союзники решили в Лондоне, то пацифистско-демократическая эра состоит в том, что, во-первых, германское хозяйство поступает под контроль союзного капитала, в первую очередь американско-английского, ибо американские и английские денежные рынки должны доставить Германии займы приблизительно на сумму 17 миллиардов золотых марок, которые в ближайшие годы позволят Германии уплачивать дань (теперь она этого не может), стабилизировать валюту и пустить в движение промышленность. Второе изменение состоит в том, что место французского штыка должна занять петля англо-американского финансового капитала. Третье изменение состоит в том, что Франция должна получить деньги для заштопания дыр в своем бюджете, благодаря чему германо-французские и франко-английские трения должны уменьшиться. Наконец, пункт четвертый. До настоящего времени германский рейхстаг, выбранный демократически сам решал вопрос о податях, теперь вопрос о самых тяжелых для народных масс податях в размере 1.250 миллионов косвенных налогов, предназначенных для выплаты союзникам, изымаются из компетенции рейхстага, превращаются в ипотеку международного капитала, независимую от влияния парламента, выборов и так называемой демократии.

Эта «реформа», само собой разумеется не записанная ни в каком договоре, заключенном в Лондоне, состоит в том, что если из Германии нужно выколачивать по 2.500 миллионов в год, то надо увеличить налоговый пресс, надо увеличить эксплоатацию трудовых масс, нужно упразднить 8-часовой рабочий день, нужно понизить зарплату в Германии.

Это — первая проверка демократически - пацифистской эры. Она состоит, таким образом, в том, что на место Франции, приставляющей германскому народу штык к груди, является благодетельный американский и английский финансовый мир, который дает Германии средства для передышки на ближайшие два года и через два года собирается взять в свои руки все германское хозяйство и усилить эксплоатацию германских народных масс.

б) Отношение к Сов. Союзу.

Я перехожу к второй проверке—к отношению держав, взявших на себя инициативу этой демократическо - пацифистской эры к Сов. России. Отношение к Сов. России связано с вопросом не только о хозяйственном положении мира, но и с вопросом о мире, ибо без создания «modus vivendi» между Сов. Россией и капиталистическим миром пацифизм пролетит в трубу, без урегулирования этих отношений нет никакого, даже переходного, успокоения в Европе.

Какими фактами располагаем мы в этом вопросе? Первый из них — отношение Соед. Штатов Америки к Сов. России. Отношение это является самым важным фактом, ибо не Англия, а Америка является стержнем всего этого «пацифистско-демократического» поворота. Как известно, г. Юз только

и делает, что ежедневно, или почти еженедельно, по всякому поводу или без оного, выступает с заявлениями, в которых пред'являет Сов. России требования, сводящиеся к капитуляции рабочего режима перед капитализмом. Г. Юз, представитель самой сильной части в этом демократическо-пацифистском блоке, не хочет говорить с Сов. Россией. Другой контрагент по демократическо-пацифистской эре, г. Эррио, который шел к власти под лозунгом признания Сов. России и даже является автором глубоко философской и сантиментальной книги о необходимости признания Сов. России, уже пять месяцев находится у власти, однако признания еще нет, зато вместо признания существует комиссия, являющаяся блестящей иллюстрацией к сказке о щуке, раке и т. д. С одной стороны, в этой комиссии находится сенатор Де-Монзи, являющийся застрельщиком признания Сов. России, а с другой стороны—наш друг, генерал Нуланс, который собирает данные, вероятно, для того, чтобы представить нам счет за Ярославское восстание. Такова трусость мелкобуржуазного режима во Франции, не решающегося сказать французским капиталистам: «господа, я знаю, что у вас есть претензии к Сов. России, но о них мы будем говорить после их признания». Огромные массы держателей русских займов, банки, которые играли значительную роль в экономической жизни России, настолько сильны, что г. Эррио, по всей вероятности, думает, что сначала нужно с нами договориться обо всех скользких темах, а затем уже нас признать. Это значит, что г. Эррио откладывает в долгий ящик вопрос о признании Сов. России.

Перейдем теперь к Англии. Макдональд признал Сов. Россию немедленно после прихода к власти. Либеральная партия целиком, консервативная партия в значительной своей части совершенно сочувственно встретили этот акт, как бы то ни было подтверждающий наше несомненное усиление. Что касается вопроса о дальнейших реальных отношениях между нами и Англией, то голое признание ничего не меняет. Из него ясно, что мы существуем, что мы сильны, что нас не легко сбить с ног, и, как сказал г. Макдональд: «если вы требуете от меня, чтобы я мог противостоять сов. пропаганде, то я должен иметь урегулированные дипломатические отношения, чтобы усиливать или ослаблять их нажим». Реально вопрос станет при попытке Англии и СССР урегулировать свои экономические отношения. Тут начинается серьезное дело, а не область фраков и дипломатических нот, обедов и ужинов.

Как обстоит это дело сейчас, и как обстояло оно в прошлом? В прошлом мы устанавливаем две фазы. Первая состояла из интервенции, когда английский капитал имел одну, но очень ясную программу по отношению к нам: уничтожить. Вторая фаза началась с торгового договора, и ее апогеем была конференция в Генуе. Чего по существу добивалась Англия в Генуе? Если отбросить всю внешность формулировки, то смысл политики Ллойд-Джорджа был следующий: большевики остаются у власти, и их нельзя скинуть, но экономические затруднения Сов. правительства принудят его к социальной капитуляции. Ллойд-Джордж реально добивался возвращения английским капиталистам фабрик и, сверх того, концессий в таких размерах, которые бы вполне уничтожили возможность развития Сов. России, как социалисти-

ческой державы. Выражал он эти стремления, конечно, не так откровенно. Вместо явного возвращения фабрик, он требовал долгосрочной аренды на 99 лет. Долгосрочная аренда на целое столетие — это и есть возвращение. Что касается концессий, то он на словах от них отмахивался. В торговле люди всегда стараются опорочить товар, который больше всего хотят купить. Ллойд-Джордж стремился к тому, чтобы взять в свои руки Донбасс, Баку, Алтай, русские гавани, железные дороги. Выражалось это в очень простой форме: «Господа, у вас есть долги, мы можем торговаться насчет списания части долгов, но останется еще очень много. Вы говорите, что не можете платить, потому что у вас, во-первых, плохие принципы, а, во-вторых, потому, что у вас нет денег. Я согласен, — у вас нет денег, но у вас есть разные вещи, которые можно заложить. У Германии нет денег, она сдает железные дороги международному концерну, она дает ипотеку на промышленность международному капиталу. Все это и вы должны сделать». Такова программа Ллойд-Джорджа.

Вся проверка отношения Макдональда к Сов. России состоит в том, чем отличается план Макдональда от плана Ллойд-Джорджа. Вот вопрос, на который нужно ответить. Если сравнить меморандум союзников и речь Ллойд-Джорджа о Генуе, речь Гильтона Юнга в Гааге—с нашим договором с рабочим правительством Англии в палате общин, то там есть один пункт, который гласит, что обе стороны признают то законодательство, которое существует в каждой из сторон. Это означает принципиальное признание национализации, признание монополии внешней торговли; но заем английское правительство гарантирует только на условиях сговора между нами и 50% бывших владельцев русских бумаг и русских ценностей,—сговора, который будет для них удовлетворителен. Что это означает? Это означает, что существенный вопрос, вопрос о том, отказалась ли буржуазная Англия, в лице рабочего правительства, от программы Ллойд-Джорджа, еще не затронут, даже если английский парламент ратифицирует договор, ибо если английский парламент и ратифицирует этот договор, то борьба переходит в новую, т.-е. во вторую, решающую стадию. Английский парламент ратифицирует договор, после этого начинают работать комиссии, советская и английская, в которых мы должны договориться с английскими капиталистами насчет того, какие предвоенные долги и в какой форме нами должны быть возмещены. Военный долг отложен, потому что Англия не представила нам еще своего счета, и мы, с своей стороны, имеем к ней громадное количество претензий по интервенции. Таким образом, в этой области мы бой выиграли, но существуют огромные предвоенные долги и вопрос о возмещении убытков капиталистам. Каково наше отношение к вопросу о займе с точки зрения наших реальных интересов? Заем нам нужен, но только как средство облегчения нашего экономического положения. Мы добиваемся займа на условиях, которые не наложат на нас бремени, которое это положение только ухудшит. Если бы при переговорах капиталисты потребовали от нас уплаты части предвоенного займа и таких ежегодных

взносов для возмещения своих убытков, которые превышают наши силы, то само собой понятно, что такой невыгодный для нас заем был бы отвергнут, и в результате договор был бы сорван рабочим правительством, защищающим интересы старых собственников. С каким расчетом срывали бы мы этот договор, и с каким расчетом срывали бы его англичане? Мы исходили бы из уверенности, что сумеем собственными силами итти вперед, и тогда английские капиталисты все равно должны будут пойти на уступки такого рода и в таких размерах, что нам выгодно будет в будущем взять заем. Их же расчет был бы таков, что мы экономически сами не сумеем шагнуть вперед и принуждены будем капитулировать; тут-то демократия нам и пред'явит старый план Ллойд-Джорджа, согласно которому для уплаты долгов в требуемых размерах мы закладываем целые отрасли промышленности русского происхождения, передаем им для эксплоатации еще не разработанные источники богатств Сов. Союза и сдаем промышленность, раньше принадлежавшую английским капиталистам, на условиях, которые фактически являются реставрацией собственности. Но это только один из предполагаемых этапов борьбы. Допустим, что мы договоримся. Английское правительство само не дает нам никакого займа, оно только гарантирует этот заем, если его дадут банки.

Но тут возникает вопрос, каким влиянием, какими способами воздействия на банки располагает это, так называемое, рабочее правительство, пацифистско-демократическое правительство для того, чтобы заставить финансовый капитал подчиниться его воле. Тут мы подходим к той борьбе, которая ведется вокруг займа. Капиталистический мир Англии, за исключением тех групп, которые уже начали с нами работать (или надеются вскоре заключить с нами договоры),—против этого займа и пытается даже предварительный договор саботировать в парламенте. Надо учесть, что кроется за этими противодействиями, и только тогда станет ясно все противоречие этого чисто внешнего прихода к власти демократии в Англии и во Франции и настоящее развитие мировой политики.

Английский капитал имеет очень старые разработанные программы по отношению к России. Я уже не буду говорить об английской политике, начиная с XVI столетия, когда английский капитал добивался монополии внешней торговли в России... для себя. Если взять одно XIX столетие, то в чем состояла программа либеральной политики по отношению к России? Эта программа проста: Россия — поставщик сырья, Англия же — мастерская мира. Эта программа в первой своей части является программой английской буржуазии по отношению Советского Союза. Тут расчет простой. Англия находится теперь в очень тяжелом международном положении. Она имеет в лице Америки более опасного конкурента, чем в свое время была Германия. Если теперь американский и английский капитал вложил деньги в германскую промышленность, то он реставрирует экономическую силу Германии, которая сможет вывозить свои изделия и еще более ухудшить положение английского капитализма. Поэтому Англии нужны крестьянские страны, громадный вывоз из которых освободил бы ее от зависимости от американского рынка, доставляющего ей хлопок, хлеб и пр. и которые, с другой стороны,

явятся рынками сбыта для английской промышленности. Борьба за русский заем означает посуществу борьбу за то, будем ли мы развиваться, как промышленная нация, или международному капиталу удастся приговорить Россиию к судьбе земледельческого народа. Что это означало бы с точки зрения политической? Рабочая власть держится в России на смычке промышленного пролетариата с крестьянством. Будущее ее зависит от того, сумеем ли мы стать поставщиками промышленных изделий для крестьян. Уничтожение промышленности в России приводит к смычке русского крестьянства с иностраннным капиталом. Само собой понятно, что капиталисты хорошо понимают, что ослабление нашей промышленности — самая опасная форма борьбы мирового капитала против Советской России, первой страны победы пролетариата.

Быть может, уже в ближайшие недели и месяцы решится вопрос, который нам с полной ясностью покажет, куда идет Макдональд. Если он, получив недоверие парламента по вопросу англо-советского договора, вытрет лицо и скажет, что это только дождик капает, то это будет сдачей всех позиций, наглядным доказательством того, что Макдональд и рабочее правительство в Англии не только не в состоянии решить, но неспособны попытаться решить путем борьбы центральный мировой вопрос об отношении старого мира к новому иначе, чем его решал Ллойд-Джордж. Но даже, если Макдональд добьется признания этого договора или, распустив парламент, получит большинство, — то и тут испытание еще впереди, ибо отношения двух держав опираются не на интервью и не на визиты, а на экономические отношения, связывающие два народа. Пойдет ли Англия вместе с Соединенными Штатами Америки на финансовую блокаду Советской России, сумеет ли английский капитализм навязать рабочему правительству эту политику, — вот центральный вопрос, который выяяит всю суть макдональдовского режима. Ответ на него впереди, но силы, которые уже сейчас пытаются предвосхитить это решение которые уже теперь считаются с тем, что, в случае финансовой блокады (она может только очень медленно действовать, и мы будем отвечать целым рядом контр-мер), могут понадобиться и другие средства, менее пацифистские, как финансовый нажим, — эти силы уже в движении. Если спросить себя, что такое грузинское восстание, то уже из прессы видно, что мы добираемся до какого-то клубка. Статьи «Corriere de Petrol» и «New-York Times», несомненно, указывают на то, что группа Шелля, английского нефтяного треста, устраивала это восстание. Известно, что Шелль, который у нас покупал нефть, за последние полгода никаких сделок не совершал, что Детеринг, главный шеф этого нефтяного треста, в последнее время уклонялся от деловых разговоров с нашими представителями. В кругах журналистов, близких к нефтяному тресту, велись разговоры уже 3—4 месяца тому назад о готовящихся событиях в Грузии. Наши военные органы, наблюдающие за безопасностью Со-

ветской Республики, ощущали несомненное шевеление на окраинах Советской России. Все это говорило, что когда там, в политике Великой Британии борются, с одной стороны, такая мощная группа, как английский капитал, а с другой стороны, политически такая беспомощная, трусливая сила, как мелкая буржуазия, возглавляемая Макдональдом, — военные органы, которые в течение сотен лет ведут английскую политику, произвели небольшую мобилизацию на случай новых сдвигов направо. Для того, чтобы шагнуть к пацифизму, не нужно большой подготовки, нужно только отказаться от политики разбоя; но чтобы подготовить новый режим, нужно работать неустанно и заблаговременно.

в) Интервенция в Китае.

Я перехожу к третьему испытанию пацифистско-демократической эры, а именно к пацифизму, который практикуется на спине китайского народа. Китайский вопрос заслуживает самого внимательного отношения с нашей стороны. Само собой понятно, что на нескольких страничках, которые я могу ему посвятить в данной статье, можно затронуть только самые общие черты, — но этого достаточно, чтобы понять, какой смысл имеют события в Китае, в связи с той международной картиной, которая развернулась перед нами.

По существу то, что происходит в Китае, это — борьба за об'единение Китая под руководством китайской буржуазии. Когда мы читаем произведения буржуазных европейских писателей о Китае, то видим, что они пытаются поразить читателя таинственностью происшествий в Китае: одна из самых таинственных вещей, которую нам сообщают капиталистические «ученые» и журналисты о Китае, это—25 губернаторов, 25 правительств, которые там непрерывно друг с другом дерутся. Но Китай, по своим размерам, это—Европа, и в этом Китае—только 11.000 верст ж. д. И если присмотреться к этой цивилизованной Европе, которая так свысока взирает на гражданскую войну в Китае, то окажется, что в ней, не считая Советской России, т.-е. той части, которая представляет половину Европы, насчитывается 24 государства, с СССР—25, а насчет войн и в Европе жаловаться не приходится. Самые китайские пространства, эти 11 миллионов квадратных верст его территории, служат достаточным об'яснением того, что даже при развитии более сильного капитализма Китай имел бы еще огромные затруднения на пути к своему об'единению. Но уровень китайского капиталистического развития низок и слаб. Китай насчитывает около 3 миллионов промышленных рабочих. Участие Китая в мировой торговле можно оценить в 3 миллиарда зол. руб. Эти цифры показывают, что Китай уже капиталистическая держава, но капиталистическое развитие его очень молодо: на 400 милл. населения — 3 миллиона промышленных рабочих. Промышленное развитие Китая сгруппировалось вокруг нескольких провинциальных центров; оно началось на юге, наиболее сильно в Центральном Китае, но и на севере, в Маньчжурии, со времени русско-японской войны очень скорыми шагами движется по пути капитализма. Таким образом создались различные центры ки-

тайской буржуазии, из которых каждый претендует на власть. В наших газетах представляют Чан-цзо-лина, У-пей-фу, как представителей остатков феодализма. Это не соответствует действительности. Правительство У-пей-фу, например, есть правительство, защищающее интересы капиталистов против рабочих, расстреливающее бастующих рабочих. 30% всех процессов во всех судах Китая, это — процессы кулаков и ростовщиков против крестьян-арендаторов, не уплативших арендной платы и процентов по векселям. Крестьянское население расслоено так, что больше 50% состоит из батраков и мелких арендаторов. Власть У-пей-фу представляет собой интересы китайского капиталистического развития. Она при помощи военной силы пытается об'единить Китай под своим руководством. Почему же об'единение Китая происходит путем борьбы военных клик? По тем же самым причинам, по которым об'единение Германии пошло по пути борьбы между Гогенцоллернами и Габсбургами. Если капиталистическое развитие складывается вокруг различных центров, то буржуазия этих центров и военные группы этих конкурирующих центров стремятся об'единить Китай под своим руководством, в расчете на большую власть, большие барыши и т. п. *Борьба между Чан-цзо-лином и У-пей-фу есть типичная борьба двух военных группировок*, опирающихся на два исторически независимо друг от друга развивающихся центра капиталистического развития. Об'единение нации может произойти путем восстания народных масс или путем борьбы буржуазно-военных клик между собою. Первый путь, это был путь, который в Германии Маркс указывал народным массам, рабочим и мелкой буржуазии, говоря им, что только посредством революции они добьются наиболее скорой, наиболее решительной ликвидации провинциализма, унаследованного от феодальной эпохи. Но в 1848 году у германской мелкой буржуазии и крестьянских масс не хватило силы для этого, а крупная буржуазия пошла с Габсбургами и Гогенцоллернами, и об'единение состоялось не в гражданской войне снизу, а в войне между Пруссией и Австрией, путем давления сверху. Так как сейчас китайские крестьянские массы, мелкая буржуазия и рабочие слабее крупной буржуазии, то об'единение идет путем войны,—войны двух представителей этих буржуазных центров, У-пей-фу и Чан-цзо-лина. Каким путем завершится внутреннее развитие Китая, угадать трудно. Быть может, данная стадия приведет к победе У-пей-фу над Чан-цзо-лином, но во всяком случае борьба китайского народа за об'единение развивается в фокусе международной борьбы. Как об'единение германского народа должно было привести к войне Пруссии с Австрией и позже с Францией, так же стремление к об'единению китайского народа неизбежно приводит к столкновению с иностранным капиталом. Почему Франция мешала об'единению Германии? По той простой причине, что об'единение Германии означало изменение соотношения сил в Европе. Франция и царская Россия были тогда главными руководящими силами на континенте Европы. Возникновение сильной, капиталистической, единой Германии сразу меняло это положение, и само собой понятно, что, будь у власти не Наполеон III, а французская демократия,—это об'единение вызвало бы также войну. Всякий новый конкурент, появляющийся на международной

сцене, должен с оружием в руках доказать свои силы. Появление на исторической сцене Китая с его 400-миллионным населением, Китая, владеющего территорией в 11 миллионов кв. верст, территорией, на которой находится $^{1}/_{4}$ всего мирового угля, первого после американского угля, имеющей огромные залежи железной руды и, по всей вероятности, значительные залежи нефти, об'единение Китая и его развитие меняет всю мировую обстановку, не говоря уже о том, что китайская революция, пробуждение китайского народа есть исходный пункт новых громадных войн—революционных и контрреволюционных.

Каково международное положение Китая в данный момент? Я не буду здесь повторять историю внедрения международного капитализма в Китае. Оно шло путем целого ряда войн. В данный момент, после мировой войны на Дальнем Востоке, осталось три конкурента в борьбе за Китай: Япония, Англия и Америка. Самым сильным экономическим иностранным элементом является, конечно, английский капитализм. 40% китайской торговли сосредоточено в руках Англии. Большинство индустриального капитала — фабрики и ж. дороги — захвачены английскими капиталистами. В военном отношении сильнее других Япония, благодаря своему географическому положению, имеющая возможность перебросить войска через Корею и Маньчжурию, в непосредственной близости к северу, — то есть не только к Пекину, столице Китая, но и к провинции Шанси, самой богатой углем и железом. Япония не только самая сильная военная держава на Дальнем Востоке, но и экономически наиболее заинтересованная. Не имея собственного угля и железа, она в случае войны, или блокады с моря, зависит в буквальном смысле слова от того, будет ли она распоряжаться углем и железом Китая или нет. Америка — третий из конкурентов в Китае и до войны наименее заинтересованный— вообще только начала втягиваться в дальне-восточные дела. Но с первого момента, как только китайский вопрос стал ребром после японско-китайской войны 1894 г., она, учитывая будущее, обеспечила себе на Филиппинах мост к Китаю. Экономические интересы Америки в Китае за время войны и после войны с каждым годом возрастают. Библиография дает в этом отношении очень интересные данные; оказывается, что изо всех книг о Китае, выходящих во всем мире, 70% появились в Америке. Так американский капитал расценивает свои будущие интересы в Китае. В чем они состоят? Во-первых, негативно: не дать Китаю развернуться в самостоятельную капиталистическую державу, потому что конкуренция страны с таким населением, с такими натуральными богатствами представляет собой громадную опасность для Америки. Если присмотреться к расположению угольных и железных копей Америки, то окажется, что большинство их расположено на Атлантической ее стороне. Развитие промышленности угольной, железной промышленности в Китае означает при дешевизне морских фрахтов в будущем возможность появления китайской конкуренции с Америкой не только на мировом рынке, но и на всем побережьи Тихого Океана, и не только на азиатском, но и на американском побережье. Во-вторых, интересы капиталистической Америки требуют недопущения японской гегемонии в Китае.

Какая констелляция держав сложилась после мировой войны? Я не упоминаю Франции, ибо Франция благодаря своей экономической слабости не может играть самостоятельной роли. Германия, как империалистическая держава, теперь ничего не значит. Империалистическая Россия исчезла,—остались Америка, Япония и Англия. Перед войной существовал англо-японский договор, который был обращен вначале против России, а после заострился против Германии. Он мог получить острее и против Северных Штатов Америки. Поэтому в 1907 г. Англия оговорилась, что этот акт не относится к нациям, с которыми она имеет договор об арбитраже. Такой страной была Америка. Но это бумажное устранение возможности использования англо-японского договора против Америки показалось последней недостаточным потому, что Америка прекрасно понимала, что она и Англия являются конкурентами, и если эта конкуренция доведет до борьбы, то англо-японский союз может быть обращен и против нее. После войны, опираясь на свою мощь и на английскую колонию Канаду, Америка потребовала уничтожения этого союза. Это случилось в 1921 году, и теперь на Д. Востоке мы имеем к о о п е р а ц и ю а н г л о-а м е р и к а н с к о г о к а п и т а л а п р о т и в Я п о н и и. Отсюда вся программа англо-американской интервенции на Д. Востоке. Борьба между различными губернаторами Китая, конечно, поддерживалась европейскими капиталистическими державами и Америкой. Если они теперь жалуются на китайский милитаризм, то сами являются отцами этого милитаризма, ибо Китай, который вошел в капиталистический водоворот без единой дальнобойной пушки, или с маленькими пушечками, купленными в Макао у португальцев, познал преимущества тяжелой артиллерии под руководством культурных европейских держав. Мало того, в последнее время, несмотря на существование тайных договоров, воспрещающих ввоз оружия в Китай, все без исключения капиталистические державы наперебой поставляют это оружие в Китай. Поддержка в Китае милитаризма была результатом не только погони за прибылью частных капиталистических кругов, но и империалистической политики великих держав. Япония, не будучи в состоянии самостоятельно укрепиться на севере Китая (растущее национальное сознание Китая оказывает бешеное противодействие), поддерживали Чан-цзо-лина, своего ближайшего соседа, через которого было удобнее всего действовать. Англичане и американцы ставили ставку на У-пей-фу. Причины, почему они это делали, также ясны. Главная сфера влияния, где внедрился английский и американский капитал, это именно пространство между Гуантхо и Янгсе,—территория, которой владеет У-пей-фу. Но теперь для английского и американского капитала созрел момент, чтобы попытаться окончить эту войну конкурентов за власть в Китае. Япония, которая во время войны захватила Шантунг, оставленный ей в Версале союзниками, несмотря на протесты Китая, за послевоенное время значительно ослабела. Англо-американская кооперация изолировала ее полностью, Япония была вынуждена на Вашингтонской конференции уйти из Шантунга, хотя англичане остались не только в Гонконге, но и в Вейхайвее. Главной сферой влияния Японии осталась Маньчжурия, где японский капитал пользуется большими преимуществами. Землетрясение, стихийное бедствие, по поводу ко-

торого союзники с Америкой во главе пролили так много слез, они теперь политически пытаются использовать. Япония, которая в продолжение каких-нибудь пяти лет не в состоянии расходовать значительных сумм на дальнейшее вооружение и в ближайшие годы не может оказать значительной военной помощи Чан-цзо-лину, не может ни под какими условиями рисковать войной с Америкой. Обстановка самая благоприятная, чтобы вырвать у Японии преимущества, которые она имеет в Маньчжурии. Эти преимущества велики: своя собственная полиция для охраны железной дороги и т. д. Кроме того Япония является главным капиталистическим фактором, в ее руках—финансирование маньчжурской промышленности, растущий вывоз хлеба и бобов сойя из которых добываются растительные масла. Каким образом можно выпереть Японию из Маньчжурии, присвоить ее привилегии? Прежде всего подчинить Чан-цзо-лина У-пей-фу... Поэтому-то англо-американский капитал и выдвигает теперь программу пацификации Китая, уменьшения вооружения, окончания борьбы между генерал-губернаторами. Ведь перевес на стороне У-пей-фу, и если, под давлением союзников, дело дойдет до конференции китайских генерал-губернаторов, или У-пей-фу разрешит вопрос силой оружия, — то Чан-цзо-лин будет подчинен У-пей-фу, и таким образом преимущества Японии в Маньчжурии будут ликвидированы.

Какова дальнейшая программа Англии и Америки? В нашей прессе очень часто рассматривают Чан-цзо-лина, У-пей-фу и других губернаторов в Китае, как наймитов иностранного капитала. Это преувеличение, которое не соответствует действительности. Люди, под наблюдением которых идет вывоз в 1½ миллиарда руб., т.-е. более значительный, чем наш, державшие в своих руках громадные территории, это — самостоятельные факторы значительной силы. И Чан-цзо-лин, и У-пей-фу координируют свои действия с иностранными державами друг против друга так же, как Пруссия пыталась заручиться поддержкой царизма в борьбе с Австрией, как эта последняя искала поддержки Франции, но само собой понятно, что Чан-цзо-лин и У-пей-фу рассчитывают,—а этот расчет опирается на известные реальные моменты,— что каждый из них, выиграв борьбу при помощи иностранных держав, потом сможет самостоятельно повести игру против иностранных держав. Поэтому-то и У-пей-фу добивается признания Советского Союза, поэтому, приезжая в Пекин в разгар войны, отправляется с визитом к тов. Карахану. Это доказывает его желание вести самостоятельную политику и понимание им будущих своих интересов. Если он подчинит себе Чан-цзо-лина, то будет нашим соседом. Ему нужны сношения с нами, чтобы в дальнейшем играть самостоятельную роль по отношению к англо-американскому капиталу. Чан-цзо-лин, со своей стороны, заключает с нами соглашение на счет Китайско-Восточной железной дороги.

Какова же актуальная программа англо-американского капитала в Китае? Он великолепно понимает, что У-пей-фу не является пешкой, и поэтому на всякий случай уже готовит ему противовес. В последнее время появился начальник пекинского гарнизона христианский генерал Ценг, и на него надеются опереться, если нужно будет нажать на У-пей-фу.

Англо-американцы выдвигают программу не уничтожения генерал-губернаторов, а программу федерации, подчинения их одному центру. Таким образом они оставляют за собой возможность разыгрывать и в будущем друг против друга китайских провинциальных царьков. Как представляют себе пацифисты дальнейший ход событий? Если У-пей-фу победит, то в их руках останутся выходы к морю — Шанхай и Тиенсисин. Там стоят гарнизоны союзников, корабли, сосредоточены значительные военные силы. Китай, которому в течение двух десятилетий набросили на шею петлю в виде целого ряда контрибуций, процентов по займам и т. д., находится в неслыханно тяжелом финансовом положении. Таможенные пошлины взимаются в китайских гаванях англичанами. В первую очередь из них уплачивается контрибуция по боксерскому восстанию. Соляная монополия, одна из главных податей в Китае, заложена в обеспечение ряда займов. Китайские генерал-губернаторы не имеют денег для содержания армии: провинциальные армии месяцами и годами не оплачиваются. Победа У-пей-фу над Чан-цзо-лином у Шанхая во многом зависит от того, что губернатор Киангсу Ли сумел выбросить значительную сумму денег для подкупа солдат своего противника. Расчеты союзников основываются на том, что победитель останется гол, как сокол, что, имея возможность оказать на него военный нажим и затем предоставить соответствующий заем, его легко держать за горло. Поэтому они не выдвигали захвата территории и раздела Китая. Часть территорий захватывает только тот, кто чересчур слаб и не может захватить целого: японцы, которые не в силах покорить всего Китая и экономически конкурировать с Америкой, борются за особые сферы влияния. Англо-американский капитал выдвигает план экономической эксплоатации всего Китая и для осуществления этого плана он вырабатывает целый ряд требований, как, например, разрешение держать свои гарнизоны в центрах промышленности. Железные дороги в Китае, кроме Маньчжурии, охраняются китайскими войсками. Англо-американские капиталисты, наверное, затребуют права держать караулы по железнодорожным линиям. Дальнейшие меры будут направлены против демократического национального движения в Китае, которое представляет огромную опасность для европейского и американского капитала. Это имеет базой провинцию Квантунг, в правительстве Сун-Ят-Сена; поэтому интервенция в первую очередь обращена была против него. Конечная цель интервенции во всекитайском масштабе не допустить об'единения Китая национально-демократическим движением. Если об'единение Китая произойдет в результате национально-демократического движения, и в этой борьбе пролетариат получит в ряде боев свое крещение, то он завоюет себе, даже при капиталистическом режиме, свободу печати, свободу собраний, организует профсоюзы, и тогда одно из главных преимуществ Китая для иностранного капитала исчезает: исчезнет Китай, как поставщик дешевого сырья и дешевого труда, исчезнет рай, где за 20 коп. можно эксплоатировать рабочих по 14 часов в сутки. Китай будет самостоятельной капиталистической державой, равной среди равных. Интервенция союзников в Китае в ближайшее время не примет характера

большого военного похода, но она в полном разгаре, она будет усиливаться, и целью этой интервенции является подчинение Китая англо-американскому финансовому капиталу, который хочет себе обеспечить источник дешевого сырья и дешевых рабочих рук, эксплоатируемых на месте.

Международное значение англо-американской интервенции в Китае состоит, в первую очередь, в том, что предпосылкой стабилизации капитализма является громадное расширение рынков. Оно может произойти или путем крупных технических сдвигов, удешевляющих товары, которые завоюют себе, таким образом, новые массы покупателей. Этот путь пока что закрыт для международного капитализма, потому что такого огромного технического сдвига нет. Единственная возможность его возникновения, — путем развития электро-технической промышленности, — закрыта ввиду того, что международная буржуазия не обладает теперь капиталами, которые нужны для проведения электрификации мира в широком масштабе. Поэтому если капиталистический мир хочет стабилизоваться, то ему нужны громадные новые рынки. Таких рынков в мире имеется два: это СССР и Китай. Поэтому не случайно, едва только Лондонская конференция союзников открыла перспективу компромисса в Центральной Европе, русско-английский вопрос принял более острую форму, заострилась борьба за заем и заострился китайский вопрос. Быть может, мы не имеем еще здесь дела с решениями правительств, что действует здесь закон давления и атмосферы и равновесия. Военные разведчики, финансовые агенты Англии и Америки в Китае, пока не было лондонского компромисса, чувствовали себя связанными, потому что знали, что их правительства не смогут в нужный момент оказать достаточной поддержки. Как только выяснилось, что в Европе достигнут известный компромисс, эти конквистадоры почувствовали, что теперь их руки развязаны, и прежде чем господа государственные люди, те, которые вершают дела головою, успели что-нибудь придумать, другие государственные деятели, работающие во всех агентурах, уже — в действии, уже создают совершившиеся факты, которые связывают правительство. Можно было проследить в печати, как действия английского флота у Шанхая и Кантона дали толчок для переговоров между державами. Таким образом китайский вопрос опять показывает, что эра пацифизма и демократизма означает попытку подчинить Китай англо-американскому капиталу, попытку задушить его нарождающееся национально-демократическое движение.

г) Лига Наций — обеспечение мира.

Я перехожу к четвертой проверке, к Лиге Наций и вопросу о разоружении на конференции Лиги. В Вашингтоне американский и английский капитал выступал в качестве застрельщиков мира, уменьшения вооружения и т. д. От Вашингтонской конференции нас отделяет уже два года. Вашингтонская конференция укрепила мир в том смысле, что вместо больших кораблей теперь строят больше подводных лодок, крейсеров и создают целые флотилии аэропланов. Она произвела серьезные изменения в роде оружия.

Положение на Д. Востоке в смысле военном разрядилось не благодаря Вашингтонской конференции, а благодаря землетрясению в Японии. Какую же картину представляла борьбу за разоружение на осенней сессии Лиги Наций? Во всяком случае очень характерную. Во-первых, Америка по сегодняшний день не принимает участия в Лиге Наций и, по всей вероятности, и впредь от всякого участия воздержится. Причина? Мощный американский капитал совсем не намерен подвергать вопрос о своем отношении к республикам Центральной и Южной Америки, вопрос, разрешенный с оружием в руках и при помощи жесточайшего экономического давления, публичному обсуждению многоуважаемых Эстонии, Латвии, Литвы, Албании и других республик, представленных в Лиге Нации. Во-вторых, американский капитал совсем не намерен поставить свое вооружение под контроль синедриона этих малых держав. Американский капитализм остается формально вне игры вокруг «разоружения» Европы.

Решающую роль на сессии Лиги Наций играло английское рабочее и демократическое французское правительство. В Женеве состоялся большой турнир. Г. Макдональд сказал очень патетическую речь, г. Эррио также. Г. Макдональд говорил все время об арбитраже, г. Эррио говорил о гарантиях мира. В чем разногласия? Англия имеет флот громадной силы, равный ему флот имеет только Америка; Франция на море слаба. Разоружение в Европе очень выгодно для английского империализма по той причине, что оно обозначает ослабление Франции. На материке сражаются пехота, кавалерия, артиллерия, и если уменьшить этот род вооружения, не уменьшая вооружения на море, то континентальные державы ослабнут, опять-таки в первую очередь Франция... Поэтому англичане, не уменьшая вооружения на море, а, наоборот, устроив перед сессией большие военные маневры, чтобы показать свою силу, добиваются уменьшения вооружения в Европе, как гарантии ослабления сил Франции. Франция с своей стороны спрашивает: а в случае нападения на меня, что вы гарантируете? блокаду? Блокада медленно действует, за это время меня успеют задушить, обещаете, что Лига Наций прикажет всем нациям итти нам на помощь: где гарантии, что они исполнят приказ Лиги Наций? Гарантия мира состоит в создании боеспособности, а боеспособность создается путем частичных военных союзов. Позвольте мне иметь союз с Польшей, с Румынией, с Юго-Славией и Чехо-Славакией, это уже кое-что дает, а кроме того заключите со мной договор, гарантирующий Франции границы, завоеванные в 1918 г., и тогда мы готовы итти на уменьшение вооружения. Но Англия не только не намерена дать Франции гарантии, связывающие ее на определенный исторический период с Францией, она еще решительно высказывается против частичных союзов. Вот почему пацифистский турнир в Лиге Наций превратился, по меткому определению одного из английских журналистов, в очередную войну Англии и Франции «на пацифистском поприще». Дебаты Лиги Наций от 4 сентября вызвали взрыв негодования во Франции. Все дело было передано в комиссию Лиги Наций, которая в продолжение трех месяцев состряпала компромисс, увидевший свет божий под названием «Протокола Бенеша». Этот протокол, после многих переработок принятый едино-

гласно 2 октября Лигой Наций, должен быть до мая 1925 года ратифицирован парламентами всех членов Лиги Наций, после чего в июне должна быть созвана Международная конференция, посвященная вопросу об уменьшении вооружений, к участию в которой будут приглашены и державы, не являющиеся членами Лиги Наций. Каково содержание протокола Бенеша? Он представляет собой компромисс французской и английской точек зрения и обязывает всех членов Лиги Наций не начинать никаких военных действий ни друг против друга, ни против третьих держав, прежде чем Гаагский арбитражный суд и Лига Наций не займутся спорным вопросом и не решат его. Держава, которая отклонит привлечение ее Лигой Наций к суду, или вопреки решения ее начнет военные действия во время разбирательства дела, должна быть об'явлена зачинщиком наступательной войны. Все члены Лиги Наций обязаны по решению Лиги Наций порвать с нею всякие экономические сношения и, в случае соответствующего решения, даже начать против нее военные действия. После принятия этого статута всеми государствами, входящими в Лигу Наций, Международная конференция должна заняться вопросом об уменьшении вооружений. Еще не обсохла бумага, на которой напечатан этот протокол, а уж начался ожесточенный бой между французской и английской капиталистической прессой. Часть французской буржуазной прессы празднует это решение, как большую победу Франции. Во-первых, по ее мнению, английский флот, на основе этого решения, может быть мобилизован Лигой Наций против державы, не подчиняющейся решениям Лиги Наций. Для Франции само собой не подлежит сомнению, что такими злостными свойствами характера может обладать только Германия или Советский Союз. Против них-то Англия обязана будет гарантировать безопасность невинной Франции. Во-вторых, в Бенешском протоколе есть пункт, разрешающий всякой державе сказать, какими средствами, какой силой она может и хочет помочь своим друзьям в несчастном случае. Это не что иное, как легализация существующих уже военных союзов Франции и ее вассалов. Английская печать заявляет в один голос, от «Таймс'а» до «Манчестер Гардиан», что не может быть и речи о том, чтобы Англия обязалась на основе решений Лиги Наций ангажировать свой флот. Во-первых, Великобритания является не только европейской державой, она имеет колонии во всех частях мира, колонии, не очень заинтересованные в европейских событиях. Они, наверное, не пожелают взять ответственность за вмешательство в чортов котел Европы. Во-вторых, отсутствие С. Штатов Америки в Лиге Наций создает опасность конфликтов между Южной и Центрально-американскими республиками, входящими в состав Лиги Наций, и С. Штатами. При таких конфликтах Англия не намерена рисковать никаким вмешательством. «Таймс», играющий и при рабочем правительстве роль наиболее показательного представителя взглядов английской буржуазии, заявляет, что Англия и так уже чересчур обременена обязательствами, вытекающими из Лондонского соглашения, чтобы прибавлять к ним еще новые. Очень характерно отношение ко всей Женевской шумихе С. Штатов Америки. Пресса их, занятая выборами, ограничивалась короткими комментариями и притом довольно скептическими по адресу женевских решений.

Вряд ли они будут ратифицированы всеми участниками, во всяком случае постановления эти не касаются нас. Американский капитал не позволит никому путаться под ногами в случае, если американские тресты начнут душить одну из южно-американских республик. Кроме того, инцидент, вызванный на Сессии Лиги Наций Японией, наверно только усилит враждебное отношение С. Штатов к Женевским решениям. Япония едва не сорвала все единогласие, нужное для того, чтобы написать хоть бумагу о водворении всеобщего мира. Бенешский протокол содержал пункт, оговаривающий, что вмешательство Лиги Наций возможно только по вопросам международным. Если спор идет из-за конфликта, который международный суд признал делом внутренней политики одного из тяжущихся государств, то Лига Наций не вмешивается; если одна сторона, вопреки решению Лиги, все-таки отказывается рассматривать вопрос, как внутриполитический, и вступит в войну, то она об'является нападающей стороной и будет иметь против себя Лигу Наций. Вся эта абракадабра означает следующее: одним из главных поводов возможного конфликта между Японией и С. Штатами Америки является исключение японцев из числа народностей, имеющих право эмигрировать в Америку. Эта политика С. Штатов закрывает для Японии все отдушины. Английские колонии последовали примеру С. Штатов. Япония, страдающая относительным избытком населения, лишена возможности выбросить его за границу, и все снова протестуют против этой политики ограничений. Господствующие ее классы боятся скопления пролетаризированных элементов, не находящих применения в японской промышленности. Вопрос об эмиграции, являющийся, таким образом, крупным международным вопросом, есть одновременно вопрос внутренней политики Америки. Отказ Лиги Наций от принятия определенного решения по этому вопросу и страх перед войной, которую он может вызвать, ставят японскую буржуазию в неслыханно тяжелое положение. Поэтому Япония и отказалась подписать Бенешский протокол, до внесения в него оговорок, во всяком случае позволяющих поднять этот вопрос перед Лигой Наций. Само собой понятно, что при первой попытке Лиги Наций вмешаться в американские дела, она не услышит ничего, кроме грубого: господа, убирайтесь вон! Но самая возможность такого вмешательства усиливает враждебность правительства С. Штатов ко всей Женевской затее. Оно само намерено взять в свои руки вопрос об уменьшении вооружений в Европе. Ведь американский президент Кулидж уже заявил, что Америка созовет международную конференцию по вопросу о разоружении. Америка хочет удержать этот вопрос в своих руках, потому что она сама будет разоружать и вооружать Европу в зависимости от того, удержится ли англо-американская кооперация или уступит место англо-американской конкуренции. Тогда, может быть, полезно не только разрешить Франции ее дальнейшие вооружения, но даже помочь ей в этом, что может понадобиться еще и по другим соображениям. Если Америка серьезно ангажируется в германских делах, то ей может понадобиться судебный пристав в лице Франции, который с винтовкой в руках караулил бы германского должника. Вопрос об уменьшении вооружений не только не решен Лигой Наций, но он будет в ближайшие месяцы предметом самой острой по-

литической борьбы, в которой, с одной стороны, примет участие Франция со своими вассалами, требующими обеспечения своей добычи 1918 года, с другой стороны, Англия с жирными нейтральными государствами, боящимися быть втянутыми в новый империалистический конфликт. На чьей стороне окажутся в этой борьбе С. Штаты Америки — теперь еще неизвестно.

III.

Сущность „демократическо-пацифистской“ эры.

В чем сущность так назыв. демократическо-пацифистской эры? Этот вопрос станет ясным, если вспомнить, что он уже не в первый, а в третий раз становится перед нами со времени окончания войны.

В первый раз он возник в форме вильсонизма. Четырнадцать пунктов Вильсона, на основе которых Германия капитулировала и сложила оружие, вызвали в широчайших народных массах веру в то, что мировой капитализм от эры конкуренции и состязания, наконец, переходит к эпохе международной организации, дающей простор для равномерного, хотя и капиталистического развития народов—без войн и бешеной эксплоатации народных масс. Герольдом этих иллюзий не преминула сделаться международная социал-демократия, тогда еще разбитая на антантовский и германский лагери. Почтенный Карл Каутский еще раз проституировал марксизм, доказывая, учено и пространно, что природа американского империализма — такова, что он должен жить по вегетариански. Вильсоновская утопия лопнула в Версале, как мыльный пузырь, от соприкосновения с реальными интересами капиталистических держав-победительниц, из которых ни одна не хотела пожертвовать малейшим своим интересом во имя «справедливой международной организации капиталистического общества». От вильсоновской утопии остался версальский меч, завернутый в бумагу, испачканную статутом Лиги Наций.

Во второй раз эта утопия возродилась в прекрасной южной Франции, в Каннах, где Л.-Джордж обучал Бриана игре в гольф и, между прочим, пытался, по-новому и справедливому, решить репарационный вопрос, где Ратенау спел свою лебединую песнь и так хорошо, что, воротясь домой, рассказывал: «если бы вы видели, с каким вниманием меня слушали союзники, то поняли бы, что началась новая эра соглашения и мира!».

Наконец, эта утопия еще раз стала перед нами в Генуе, где Л.-Джордж между завтраками, обедами и ужинами в прекрасных старых итальянских палаццо пытался разрешить вопрос об отношении капиталистического мира к союзу Советских Республик. На этот раз утопия умиротворения мира под эгидой английского империализма — ибо американский повернулся к Европе спиной и заперся в своем заатлантическом вигваме — явилась в значительно более общипанном виде. Без Америки нельзя было решать всех мировых вопросов. Л.-Джордж поэтому занялся более скромной задачей — водворением мира и благодати в Европе. Но конференция в Каннах кончилась тем, что Пуанкаре послал к чорту Бриана и начал подготовлять поход на Рур. Конфе-

ренция в Генуе кончилась срывом; Штандарт Ойль, американский нефтяной трест, испугавшись советской сделки с английским нефте-трестом, взорвал ее через своих агентов.

Накануне Каннской и Генуэзской конференций г. Гильфердинг—эта карикатура на Каутского—разливался соловьем на страницах органа независимой социал-демократии, носящего ироническое название «Свободы». В этой статье (1 января 1922 года) г. Гильфердинг писал:

«Капиталистическое хозяйство знает два метода увеличения своих прибылей через концентрацию капитала: победу над слабейшим противником в конкуренционной борьбе или об'единение сильных в сообщество интересов. Чем прогрессивнее капитализм, чем выше ступень производства, чем выше участие постоянного капитала, тем дороже конкуренция, тем менее известен ее исход. Поэтому тем большее место конкуренции занимает соглашение, попытка преодолеть анархию организацией. Цель повышения прибылей остается той же самой, но методы меняются. Вторая экономнее и действительнее.

«Так же обстоит дело в международной политике капиталистических держав, все содержание которой в последнем счете определяется стремлением капитала к экспансии. Это создает противоречие интересов и возможность конфликта. Вопрос остается открытым, должны ли они приводить к войне. Для того, чтобы это случилось, противоречия экономических интересов должны найти свое выражение в политике государства, угрожающей другим государствам. Соотношение сил должно быть такое, чтобы борющиеся государства или группы государств могли ожидать каждая для себя победы. Слишком большая разница в соотношении сил принуждает более слабого к капитуляции без боя.

«Последняя война оставила только два центра силы. Она продемонстрировала, как опустошающе действует война на хозяйство, как это опустошение превышает все выгоды, которые дает победа. Чтобы добиться экспансии капитала и обеспечить ее, необходимо изменение методов. Соглашение должно занять место борьбы. Этот новый метод делается тем более необходимым, что сила Америки и Англии сравнительно равна и война означала бы гибель обеих, об'единение же даст им громадный перевес. К этому прибавляется еще акт, не отметить или недооценивать который означало бы впасть в вульгарный марксизм,—факт культурной близости обеих англо-саксонских держав, который наперед исключает возможность военной развязки».

На основе этой теории господин Гильфердинг уже в 1920 году провозглашал наступление новой эпохи пацифизма и демократии. Новая эпоха, не зная теории господина Гильфердинга, опоздала на 4 года. Мы еще присмотримся к теории господина Гильфердинга. Тут мы хотим только установить, что он в одном, несомненно, прав: то, что ново для рассматриваемой эпохи, это именно англо-американская кооперация. Он — стержень всей новой мировой констелляции. Этот факт имеет громадное значение для уяснения смысла переживаемого времени. Он состоит из двух основных элементов: из ослабления в Европе французского и немецкого капитализма, за которым последовала

победа так наз. демократии во Франции, из расстройства политического парламентского аппарата английского империализма, из ослабления японского империализма, которое усилит буржуазно-демократические элементы в Японии, и, с другой стороны, из возвращения С. Штатов Америки в Европу, которое сделало возможным англо-американскую кооперацию. Мы, таким образом, имеем перед собой перегруппировку сил в лагере мировой буржуазии и сдвиг в соотношении классов во Франции, Германии, Японии, а отчасти и Англии. Который из элементов важнее, как источник рождения так наз. новой эпохи? Мы думаем, что первый: создание англо-американской кооперации. Это становится ясным, если принять во внимание два факта. Финансовые затруднения Франции, не позволившие ей использовать Рурскую победу и уже заставившие господина Пуанкаре принять план Дауэса. Не будь победы левого блока, Пуанкаре был бы принужден проводить ту же политику, которую проводит теперь Эррио. Он делал бы это, быть может, без демократически-пацифистских фраз, но делал бы. Что касается политики английского правительства, то она только продолжает политику и Ллойд-Джорджа, и Болдуина. Ллойд-Джордж всеми силами стремился к англо-американской кооперации, а консервативное правительство Болдуина согласилось даже взять на себя такую великую тяжесть, как уплату 300 миллионов золотых рублей в год, лишь бы добиться соглашения с Америкой. Вся эра пацифизма и демократии повисла бы в воздухе без англо-американских займов, ибо финансирование Германии не по силам одной Англии. Англо-американская кооперация — вот смысл пацифистской эры.

А что означают лозунги, под которыми развертывается эта кооперация? Являются ли они только обманом? Никак нет. Они имеют на определенное время определенный смысл, так же как во время войны имел определенный смысл лозунг Антанты — «за освобождение малых народностей». Антанта создала независимую Польшу, Чехо-Словакию, Эстонию, Латвию, Литву. Она эти страны «освободила» для того, чтобы провести балканизацию Европы и облегчить себе таким образом господство во всей Европе. Что означает пацифизм для англо-американской кооперации? Задачей этой кооперации является не захват новых территорий, а хозяйственное их порабощение. При этом дело идет о хозяйственном порабощении или высоко развитых капиталистических организмов, как Германия и Франция, или о хозяйственном порабощении стран, имеющих значительную силу сопротивления, как Советская Россия и громадный Китай. Все искусство состоит в том, чтобы взять эти страны на финансовый аркан, а не развалить их при помощи пушек. Можно допустить, что англо-американский финансовый капитал очень бы хотел провести план финансового порабощения Германии, Франции, России, Китая гладенько, без одного выстрела. Англо-американский финансовый капитал не только хочет, но и надеется провести этот проект, опираясь на свое экономическое могущество. И не подлежит сомнению, что в тот первый период, когда Америка и Англия будут давать займы, не выжимая пока что из своих должников миллиардов, их жертвы будут брать деньги вполне мирно. Пределы пацифизма кончаются там, где начнется взимание процентов, за-

кват хозяйства целых стран, где туземная буржуазия, выступающая в роли подрядчика англо-американского капитала, начнет усиливать свою эксплоатацию, чтобы уплатить дань англо-американскому капиталу. Другая грань англо-американского пацифизма, это — отпор народов, которые совсем не хотят быть осчастливлены англо-американской «помощью» или готовы взять доллары и фунты, но с благодарностью отказываются от перехода на положение рабов англо-американского капитала. Пацифизм новой эры будет продолжаться, пока Морганы и Норманны не перестанут намыливать веревку.

Идея захвата всего мира двумя капиталистическими группами, как бы сильны они ни были, идея организации этого мира англо-американским капиталом по существу не реальна. Остальной капиталистический мир, несмотря на свое ослабление, достаточно силен, чтобы защищаться путем целого ряда контр-комбинаций. Даже господин Гильфердинг не сможет указать такого примера, чтобы международному тресту удалось охватить весь мир. Новые технические изобретения дают жизнь новым капиталистическим трестам. И даже там, где два капиталистических треста достигают известных соглашений, это—соглашения временные, не исключающие дальнейшей борьбы. Достаточно указать на отношение американского и английского нефтяных трестов, которые заключили целый ряд соглашений, но не перестают друг с другом бороться. В политике дело обстоит еще более сложно. Англо-американская кооперация может привести к соглашению целого ряда капиталистических держав, как Франции и Японии, против англо-американского треста. Они слабее, но достаточно сильны, чтобы дезорганизовать «мирное» проглатывание вселенной англо-американским финансовым капиталом. Кроме этих старых капиталистических держав, существует целый ряд новых, молодых, как Турция, Персия, Китай и т. д., где буржуазия может еще опираться в борьбе с англо-американским засилием на громадное народное движение, стремящееся к национальной свободе. Мало того, положение англо-американского финансового капитала осложняет еще тот факт, что мы имеем здесь дело не с диктатурой одного американского капитала, а именно с кооперацией двух конкурентов. Эта кооперация разобьется в тот момент, когда выступят наружу различия интересов обоих конкурентов (контрагентов) при дележе добычи, или когда неудачи англо-американской кооперации сделают более прибыльными для каждого из контрагентов попытаться на собственный счет сговариваться с колониальными народами или капиталистическими странами, представляющими теперь об'ект англо-американской политики. Насчет демократических последствий англо-американской кооперации не приходится много говорить. Социальным стержнем этой кооперации являются не мужички и лавочники господина Эррио и не английские машиностроительные рабочие, а финансовый капитал: в Америке тресты, организующие Пинкертонов, бросающие бомбы на американских углекопов в Виргинии, Англия — старые финансовые разбойники, удушающие Египет и Индию, заводчики, составляющие кадры консервативной партии. Нечего доказывать, что они при первой необходимости спустят против рабочих фашистские своры, не остановятся ни перед какими мерами насилия, чтобы

выколотить из населения проценты по своим займам. Сегодня им это по отношению к Франции и Германии не нужно. Если они дадут ей займы, то это на короткое время даст передышку французской и немецкой буржуазии. Стабилизация германской валюты, развертывание промышленности временно смягчит социальный кризис, усилит те элементы буржуазии, которые, понимая, что разгул фашистов не есть лучшее средство повышения производительности труда, пытаются господствовать при помощи демократической видимости. Завтра, когда масса почувствует на своей спине все прелести нового режима и снова поднимется волна классовой борьбы, рассеется весь демократический дурман англо-американской кооперации. Фашизм и буржуазная демократия не противоречат друг другу. Фашизм представляет собой попытку реставрации капитализма при помощи боевой силы, созданной из пролетаризованных, отчаявшихся элементов мелкой буржуазии. Он вступает в действие, когда буржуазия считает, что иначе нельзя удержать власти. Демократический метод представляет собой попытку реставрации капитализма путем связывания масс по рукам и ногам паутиной реформистских иллюзий. Эта паутина рвется при всяком обострении классовой борьбы. Она теперь слабее, чем была перед войной, она держится, в первую очередь, усталостью масс, которые хотят иметь иллюзии. Ее разгонит первое дуновение ветра, который придет и в случае скорого банкротства пацифистско-демократической эры и в случае ее настолько продолжительного существования, что массы почувствуют, что она не имеет ничего общего ни с демократией, ни с пацифизмом.

Мы можем теперь перейти от рассмотрения так называемого пацифистско-демократического периода, т.-е. от вопроса о его окончательных перспективах, к вопросу о его ближайших конкретных перспективах.

IV.

Ближайшие перспективы „пацифистско-демократической" эры.

Приходится снова начать с Лондонского соглашения. На бумаге соглашение в Лондоне обеспечивает уплату репараций Германией и мир в Центральной Европе. Но с каким доверием относятся к этим гарантиям капиталистические державы? Ответом Франции явился ее отказ уйти из Рурского бассейна, впредь до реального осуществления лондонских решений. Этот вопрос состоит, во-первых, в том, дадут ли английские и американские капиталисты Германии 17 миллиардов зол. марок, 800 миллионов в этом году, 11 миллиардов займов по жел.-дор. облигациям и 5 миллиардов по промышленным облигациям в следующие годы; вопрос, дадут ли они германской промышленности частный кредит, — без которых немыслимо проведение лондонского «соглашения». Мы видим, как начинается реализация этого маленького займа в 800 миллионов. От Германии требуют 8% при курсе выпуска в 90, т.-е. по существу 9%. Это неслыханный разбойничий процент, ибо в Америке можно те же деньги получить за 3%. Это уже показывает, с каким громадным недоверием относится финансовый капитал к этому делу. При всех

еждународных гарантиях он еще требует высокого процента, чтобы рельстить покупателей займа, которые иначе на него не пойдут. И это, огда дело идет всего о каких-нибудь 800 миллионах. Отсюда ясно, что жел.-эр. и промышленные займы в ближайшие годы не надеются полностью раз-естить. Но даст ли Англия и Америка эти займы? Это вопрос, который на-одится под большим вопросительным знаком. В течение ближайших 2-х лет ермании придется платить сравнительно мало, поэтому сначала все будет тти сравнительно спокойно, но через 2 года начнутся платежи. Германия олжна будет вносить проценты по этим займам до 2½ миллиардов зол. арок в год. Откуда она возьмет эти деньги? Для того, чтобы действительно латить, страна в ближайшие годы должна утроить свой вывоз, которого едва атит на покрытие дани. Сейчас вывоз Германии равняется 6 миллиардам. продолжение этих лет громадные недочеты ее торгового баланса покры-лись частными займами, частным кредитом, выпуском обесценивающихся нег. Теперь это кончилось. Чтобы удержать свою промышленность на пред-енном уровне, Германия должна ввозить 16 миллиардов и вывозить 16 мил-иардов. Вывозит она 6 миллиардов. Если к этому еще прибавить миллиарды, оторые она должна будет выплачивать союзникам, то останется отчаян-ый прыжок в неизвестность, и американский орган «Нью-Республик» прав, являя, что с практической точки зрения весь план Дауэса является совер-енно «фантастическим планом».

План Дауэса скоро начнет действовать,—пишет «Нью-Републик» от) августа. — Он будет по всей вероятности достаточно долго действовать, обы допустить реализацию займа в 800 миллионов марок. Доходы от ого займа, вероятно, позволят удержать Германию и Францию в продол-ение двух лет. После этих двух лет, когда германское правительство обя-но будет начать уплату репараций, увеличатся затруднения в очень боль-іх размерах. События последних лет дезорганизовали германские финансы промышленность. Никто не может теперь предсказать, вынесет ли она тя-гы, напряжение, шаткость положения, которые будут созданы проведе-ем в жизнь плана Дауэса и попыткой проведения здоровых экономиче-их методов. Даже если проведение плана Дауэса удастся легче, чем это перь кажется вероятным, и после двух лет даст экономическую и финан-зую прибавочную стоимость, достаточную для немедленного удовлетворе-я потребностей кредиторов, то все это будет получено ценой такого по-жения уровня жизни масс, что оно сделает невозможным дальнейшее про-ение в жизнь этого плана. Но если бы даже удалось нажимом провести рманию через третий год без того, чтобы она отказалась от договора, то, зерно, в ближайшие годы страна окажется не в состоянии поставлять дань ответственно все растущим требованиям. В известный момент про-ения в жизнь этого плана Германия окажется неспособной его юлнить».

Так говорит либерально-демократический орган, который защищает ін Дауэса, как известную передышку для Германии. Еще более ярко выра-ется очень влиятельный орган американского финансового мира «Джор-

наль оф Коммерс» от 26 августа. Он заявляет, что в информированных кругах все уверены, что дауэсовский план не может быть проведен в жизнь.

«Главный пункт всего репарационного вопроса даже не тронут Дауэсовским планом. Это вопрос о том, позволено ли будет Германии занять соответствующее место как одной из главных производящих наций. Только если устранить искусственные затруднения для промышленного развития Германии, то может итти речь о ее экономическом оздоровлении... Наши деловые люди вылили на общественное мнение много чувств, много слов о необходимости восстановления Европы, спасения цивилизации, но о реальной помощи не было речи. Наш президент обещает Германии большие займы, но не думает даже ни на одну минуту понизить тарифы для германских товаров».

Этим замечанием американская финансовая газета попадает господам спасителям Германии прямо в глаз, ибо в вопросе о будущем Германии и вообще капитализма главное, это—увеличение мирового рынка, который протекционистская политика Америки искусственно сокращает во имя интересов американских трестов. Чтобы окончить цитаты голосов, предостерегающих от казенного оптимизма насчет лондонского компромисса, мы приведем еще место в статье Л л о й д - Д ж о р д ж а, который принадлежит, наверно, к людям, знающим, где раки зимуют.

«Господин Рамзей Макдональд говорит, что Лондонская конференция изменила европейские перспективы. Будем на это надеяться, — говорит скромно Ллойд-Джордж. — Еще преждевременно уверенно сказать, какое влияние на мир произведет наполнение жил Германии новой кровью. Здоровая Германия, наверно, не будет такой податливой, как обескровленная. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что через несколько лет состоится новая конференция, которая снова займется ревизией Лондонского соглашения».

Что это значит? Это означает (и в некоторых банковских кругах так и оценивают план Дауэса), что американский и английский капитал в данный момент еще не рискует заявить Франции: «господа, вы не получите даже и четвертой части того, на что рассчитывали!». Это неприятное об'яснение оттягивается еще года на 2—3, в течение которых французский империализм расшатается еще больше, план Дауэса успеет обанкротиться, и тогда Франция будет вынуждена совсем отказаться от репарации. План Дауэса, это — пока план на бумаге; что из него выйдет, никто не знает, и, пока что, говорить о стабилизации капитализма в Германии, хотя бы на ближайшие пять лет, — нонсенс. Германская промышленность находится сейчас в таком тяжелом положении, в каком она никогда не находилась, потому что она в данный момент зависит ежедневно от того, даст ли заграница кредит. Если короли германской тяжелой промышленности, угольные и железные короли Рурского бассейна должны были взять заем в пять миллионов долларов на самых невыгодных условиях, лишь бы совсем не остановить промышленность, то это очень знаменательно для создавшегося положения. Но если план Дауэса провалится, то какие последствия будет это иметь для Франции? Примирится ли она без боя с фактом исчезновения германской дани, в то

время когда ее заграничные долги (30 миллиардов золотых франков) не исчезли. Тогда очень **возможен новый открытый империалистический пуанкаровский поворот во Франции**. Как только окажется, что этот план недееспособен, зацепка в виде французских войск, оставшихся в Рурском бассейне, может сделаться исходной точкой для нового нажима на Германию и для нового обострения англо-французских отношений.

Каковы же перспективы взаимоотношений капиталистического мира с Советским Союзом? Есть ли у нас средства для борьбы с возможной финансовой блокадой? Конечно, у нас эти средства есть. В этом году мы имели неурожай. Но постоянная линия развития нашего земледелия идет вверх. Вывоз хлеба, вывоз нефти, вывоз леса гарантируют тот приток капитала, который позволит нам, если не скоро, то все-таки итти вперед. Финансовая блокада при росте значения русского экспорта на мировом рынке не может удаться. Бойкот же нашего вывоза вообще невозможен: чересчур много различия в интересах 24-х европейских государств, чтобы создать такой единый фронт против нас. Нас будут, быть может, щупать не только финансовыми средствами, но, как показала Грузия, и другими способами. Но и мы имеем щупальца. Роль наша на Востоке увеличивается, национальный вопрос наших соседей на Западе обостряется, не говоря уже о перспективах пролетарской борьбы, — так что у нас в средствах борьбы недостатка нет, только эти средства борьбы очень мало похожи на пацифизм. Возьмем главного нашего мирового противника — Америку. Казалось бы, что мы можем сделать Америке? Но ведь мы с Америкой находимся уже в очень тяжелой схватке в Китае. Америка в Китае имеет в руках половину прессы, бесконечное количество торговых палат, громадные госпиталя, как средства влияния на народные массы, еще большее количество школ. Мы этих средств не имеем. Но когда в Пекинском университете студентам была предложена анкета, кто друг Китая — 400 человек высказались за Сов. Россию и 100 — за Америку. Что означает анкета студентов? Чем было студенчество в России до 1905 г.? Общественным мнением страны, мнением будущих представителей русской буржуазии, пролетариата и крестьянства. Китай — страна старой цивилизации, где наука имеет огромное значение. Там мнение студенчества, это — в разрезе общественное мнение наиболее живой части нации. Этот маленький эпизод означает, что Сов. Россия самым своим существованием при мизерных средствах воздействия на Китай является громадной общественной силой. Тот факт, что вопреки запретам Англии и Америки китайское правительство должно было нас признать под напором не только интеллигенции, но и военных кругов У-пей-фу, доказывает, что мы потенциально являемся более грозным врагом американского хозяйничанья в Китае, чем Япония, имеющая там большие военные рессурсы, но возбудившая против себя народные чувства. И когда господа «пацификаторы» думают, что мы боимся этого пацифистско-демократического периода, то они ошибаются. Сов. Россия смотрит на попытки создания против нее единого фронта капиталистических держав с полным спокойствием. Она убеждена в одном, —

что эти попытки приведут к обострению революционных кризисов не только в Европе, но и в Азии.

Каковы перспективы движения в Китае и на Востоке вообще? Идея удушения сотен миллионов проснувшихся уже есть идея бредовая. Только отсутствие всякого понимания условий исторического развития у идеологов и руководителей капитализма может создавать у них такую иллюзию. Китайское демократическое движение, революционно-националистическое будет в ближайшие годы развиваться с громадной силой, и оно создает для капиталистических держав орех, который будет очень трудно раскусить. Развитие этого движения приведет на Дальнем Востоке к совершенно новым перегруппировкам. Япония, которая переживает глубокий внутренний кризис, в случае победы демократических революционных элементов может изменить всю политику в Китае. Она может сделаться одним из организаторов Китая. То, что сейчас кажется полной утопией, через два года может стать фактом. В этом направлении уже работают известные силы. Русско-китайско-японское сближение лежит в области полной возможности. И если Германия исчезла, как мировая держава, то она все-таки исчезла не совсем. Союзники отняли у нее те привилегии, которые сами имеют на Дальнем Востоке и от которых мы добровольно отказались. Поэтому германский капитализм, исключенный из семьи победителей, принужден, хочет он или не хочет, завоевать себе место в Китае поддержкой стремлений, направленных на устранение привилегий крупных капиталистических держав. Он этого очень боится, но он будет к этому принужден логикой событий. Англо-американская кооперация, которая является теперь доминирующим фактором в Европе, эта англо-американская кооперация — переходный фазис, и конец англо-американской кооперации будет гвоздем в гроб демократическо-пацифистской эры. Еще не видна на открытой арене борьба Америки с Англией, но она уже есть налицо: когда встал вопрос, будет ли новая германская денежная система равняться по фунту стерлингов или по доллару, пресса, которую не читают широкие массы, но которая представляет финансовые интересы, была поприщем боев между английскими и американскими финансовыми кругами. Эта борьба в будущем только усилится. Мелкая буржуазия неспособна осуществить ни демократии, ни мира,—она уже сделалась орудием в руках финансового капитала и Пурсель, председатель английского с'езда тред-юнионов, не знал, какой важности вопрос затронут, заметив, что в момент прихода к власти рабочего правительства в Англии и левого блока во Франции так бесшабашно распоряжаются английские и американские банкиры. Мелкая буржуазия может артачиться, но не в состоянии бороться с финансовым капиталом, и на смену этой так называемой демократическо - пацифистской эре скоро придет новая—схватка империалистических держав.

Но была ли эта эра случаем, останется ли она без всяких последствий? Эта эра, или, точнее, этот исторический зигзаг, имеет определенную историческую функцию. Эта историческая функция состоит в расшатывании

последних иллюзий, которые сейчас являются основной силой капитализма. Громадные рабочие массы в Европе, даже в Германии, убеждены теперь в том, что и для них началось лучшее время, что Лондонская конференция означает облегчение их положения, если не социализм, то хоть сытный кусок хлеба и отсутствие опасности войны, нового империалистического насилия. На основе этих иллюзий мы имеем теперь в Европе не обострение классовой борьбы, и не полевение рабочих масс, а историческую заминку в мировом масштабе, имеем усиление II Интернационала, усиление соц.-демократов везде, где они есть. Это факт, который надо видеть, которого нельзя замазывать; но если данный исторический зигзаг кончается банкротством, то это банкротство покажет, что попытка мелкой буржуазии распутать узел не удалась. Оно означает крах последней иллюзии, а крах пацифистской иллюзии расшатывает важнейшие основы империализма. И если, по окончании этого зигзага, массы перейдут к наступлению на мировом фронте, к новой драке, буржуазия будет уже иметь дело не с пролетариатом 1923 года, а с пролетариатом, который прошел опыт этого периода. Сегодня соц.-демократия, II Интернационал является на деле экспонентом финансового капитала. Когда Троцкий это сказал в своем докладе об Америке, то многим это показалось слишком острой формулировкой. Но достаточно ознакомиться со всей меньшевистской печатью, ведущей кампанию в защиту плана Дауэса, прочесть, что соц.-демократия пишет о заслугах американских банкиров в деле умиротворения вселенной, чтобы убедиться, что соц.-демократия, которая не в состоянии была решить мировые вопросы в борьбе с капиталом, которая, бунтуя против тяжелой индустрии, связываясь с мелкой буржуазией, — вместе с этой мелкой буржуазией переживает состояние такой беспомощности, что должна сказать: «мы не можем, но Рокфеллеры, Морганы и др. смогут». Они «смогут», но смогут только по-империалистски, и поэтому вызовут новые обострения классовой борьбы; если события будут развиваться медленным темпом, когда начнет действовать доклад экспертов, тогда он выразится в неслыханных тяготах для рабочего класса; но по всей вероятности революционный под'ем начнется значительно раньше. И наш способ ускорить надвигающиеся события состоит в том, чтобы расценивать знаменитую эру пацифизма и демократии не как маневр, а как хитрую механику, не как простую закулисную игру, игру пешек, но как процесс исторического развития, подготовляющий банкротство соц.-демократии, и суметь и себя и широкие рабочие массы подготовить к этому периоду. И говорить или думать о том, что период мировой революции кончается организацией капитала в международном масштабе руками английского и американского капитализма—это была бы идея, которая не соответствует всей структуре современного капитализма. Мир настолько велик, что было утопией думать, что даже самая сильная капиталистическая группа сможет его организовать. Силы, противодействующие этому, слишком значительны. С точки зрения национально-капиталистических организмов и Франция будет защищаться, и Германия, и Япония. Германские капиталисты, как только

считают, что французские штыки притупились, тотчас подымают голову. Что означает теперь их протест против обвинения Германии в том, что она начала войну? Это означает, что германские капиталисты сказали: «раз вы согласились уйти из Рурского бассейна, то мы уже можем подымать голову». Франция, которая теперь беспомощно стоит перед англо-американским капиталом, не ушла из Рурского бассейна, а если завтра понадобится, то французский капитал наложит такие подати на народные массы, что получит средства для того, чтобы попытаться сбросить иго англо-американского капитала. Буржуазия разбита на группы, и как ни велика сила американского и английского капитализма, завести порядок от Ванкувера до Москвы через Пекин — трудноватое дело, тем более трудноватое, что везде в движении находятся миллионные массы. Стабилизовать капитализм можно только за счет масс. Эти массы, думая, что мировой капитал дает им хлеб, могут на время подчиняться, но они скоро убедятся, что этот капитализм только усилит их эксплоатацию. Поэтому нет места для мысли о капиталистическом тресте, который сможет завести свой «порядок» и дать миру «мир». Это капиталистическая утопия, которая скоро обанкротится и лишний раз покажет, что мировой капитализм в теперешней империалистической фазе может дать только войну, только обострение противоречий,—и линия международной революции, которая еще много раз будет итти через заминки и зигзаги, пойдет вперед.

P. S. Эта статья была написана 2 октября, перед падением правительства Макдональда. Это падение не изменяет ничего в общей перспективе. Даже консервативное правительство не имеет причин менять общей линии политики Макдональда, а в том единственном пункте, в котором Макдональд пытался под напором рабочих масс провести политику, неугодную буржуазии—в вопросе гарантии русского займа,—он не был в состоянии защитить своей позиции парламентскими средствами, ибо деньги находятся не у правительства, а у банков. Падение Макдональда доказывает только, что мелкая буржуазия в эру демократии и пацифизма является игрушкой в руках финансового капитала, а не наоборот.

К. Р.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Путевые заметки с Урала.

Лариса Рейснер.

Подземники.

Есть предел, где рвется последняя нить, связывающая человека с поерхностью земли: теряется чувство направления.

В забой № 46 надо ползти на животе, цепляясь коленями и руками за голбы, которые шагают куда-то в ничто, упершись деревянным затылком гору, где белый кусок света, сомкнувшийся над головой? где выход? где оверхность? Навстречу ползет ручей пыли, щебня и теплой духоты От вреени до времени по деревянному жолобу рушатся сбрасываемые сверху больие обломки угля. Головы поднять нельзя, потолок лежит на плечах, между эудью и скользящим, текучим, осыпающимся угольным ложем едва помеается прицепленный к куртке фонарь. Земля, преследуемая людьми, бежит верх, в бок и, наконец, поверженная на бок, жаркая, черная уступает кирке глекопа, который входит в ее недра, как коршун в раздутое брюхо павшей ошади.

Михаил Матвеич, заведующий шахтой (в лице нечто и твердое и пуистое; он известен своим уменьем ладить, жить и работать с татарами). Іихаил Матвеич вешает свой фонарь рядом с другими, прицепившимися к алке черным когтем, вниз головой, как светлые летучие мыши. Кто говорит, то спорит, кто закуривает? Лица нет. Прямо в мрак вделаны глаза, красная лажная губа и узкая, как рассвет, полоса, обозначающая лоб. Это забойцик, Василий Михайлович Котельников.

— Два раза руками трубы свертывал — словом, короткий и сердитый азговор о том, как не ладится работа.

Прежде артель была занята на широком, удобном Ленинском пласту еще не успела приспособиться к узкому, скошенному Троцкому. Вырាэтка ее сразу упала до смехотворной цифры. Было бы легко об'яснить неıачу чисто внешними причинами. Кто хоть четверть часа пробыл в этой эрячей щели, без всяких об'яснений поймет, что выработать норму или ревысить ее здесь бесконечно труднее, если не невозможно. Но пока рабоıе чувствуют, что дело не только во внешних причинах, но и в неуменьи приıособить к новым условиям свое дыхание, удары своего сердца и движения

рук; пока «вина» на их стороне, никто ни слова не скажет. Такова своеобразная горняцкая этика. Завтра человеческое тело справится со своей невыносимой тягостью, играя, перешагнет через поденщину, — тогда, и только тогда, забойщики потребуют более справедливого вознаграждения.

Второй углекоп отворачивается от стены. Его лицо наполовину в угле, а наполовину бело, как будто этой стороной оно приросло к горе и только что от нее откололось. В губах папироса, или это уголь тлеет? Ламповый огонек мучается и прыгает под своим колпачком. Его душит запах неясной гари. Курильщики осторожно заплевывают пепел папирос.

Внезапно встав, согнутый пополам, забойщик подымает топор руками, которые кажутся непомерно длинными, и гневно вонзает его в низкую балку. Фонари просыпаются и беспокойно облизывают потолок коптящими язычками.

— Добровольцем на фронте с 1918 года. Прибыл домой в 1919 г., был арестован по доносу. Вылетел из партии, чтобы ее раз-так и раз-этак.

Это старая, старая обида за то, что пришлось грузить картошку вместе с «вредными элементами», за молокососа, который надзирал. Еще долго звучит гневное ворчание забойщика. Издали освещенный забой кажется тесной клеткой, в которой с молотом в руках мечется заживо погребенный человек.

Конец пласта, забой № 25. Сырость, влага и мрак. Здесь работает изумительный человек, т. Деревнин. Он еще молод, лукавые белые зубы блещут сквозь угольную маску. Ему едва минуло 34 года.

Это фанатик, доброволец горы. Это подземник, которому не нужен дневной свет, не нужен ветер, неприятны зеленые покровы, одевающие землю тенью, влагой и шелестом. Ни за какой блеск солнца он не променяет глубокого молчанья шахт, этого мрака, который везде неотлучно следует за фонарем рудокопа. Революция вызвала Деревнина из-под земли. Красные и белые оспаривали друг у друга право поставить этого человека под ружье. Он поочередно дрался то с одной, то с другой стороны; обе оставались ему совершенно чужды, непонятны и ненужны.

В теплушках, на разведке, в лазарете, на уроке политграмоты, — то с преподавателем коммунистом, то с лихим начетчиком из Осваги, — забойщик не переставал думать о горе. Хорошо, если бы всю эту суету и мучительство залило тихим мраком подземелья. Ветер земли беспокоен, — то ли дело глубокое, сырое дыхание колодцев. Успокоительная толща стен, вместо пустоты открытого пространства — безопасная теснота подземных уличек вместо этих, никому не нужных, праздных полей, обуреваемых вьюгами, пулями и опасностью. Тут зима, худые шинели, жгучие от холода ружья в замороженных руках. Там вечное тепло земли, забой, где в крещенские морозы воздух жарок, как в засуху, где никогда не кончается время урожая, — но всегда, изо дня в день, молотят и жнут на черных полях, сбросив рубахи и обливаясь потом.

Можно себе представить, как он воевал.

Сам говорит:

— Вожгался так себе, шибко не приходилось...

Несколько раз мобилизованный и вечно состоявший в бегах, т. Деревнин, наконец, ухитрился окончательно спрятаться туда, куда людей веками ссылали, как на казнь, за тягчайшие преступления: в угольные копи, в Кизел, в свою милую яму, которая за эти годы стала называться по новому— Троцкой.

Там, на поверхности, он это имя глубоко ненавидел. Здесь примирился и простил. Там наверху был трус. Здесь Деревнин—страстный солдат подземной армии, настойчивый, неутомимый, выносливый рядовой. Там робкий и близорукий — здесь зоркий охотник, ни разу не бросавший кайла. Идя впереди штурмовой колонны углекопов, он искренно считает себя укрытым, спасенным, достигшим, наконец, полной безопасности.

— Здесь видишь, что над головой висит — и отойдешь, а там разве можно отодвинуться?

Страшно не любит посторонних посетителей. Всегда боится, что это за ним пришли — тащить наверх, к свету. В тени угольной скалы его настороженное лицо вечного дезертира белеет, как кусок тонкой бумаги, вырванной для куренья.

В Володарской копи,—гораздо ниже пологой, гладкой ходовой штольни, по которой так незаметно падаешь на стосаженную глубину; гораздо ниже подземного ската — тихой, сырой динамитной камеры, где отшельник-китаец при свете электрической лампады где-то глубоко под землей плетет из белой бересты влажные, чистые, свежие лапти, и от времени до времени боязливо, как лист к солнцу, протягивает к динамиту свою голову в меховой хвостатой шапке, на длинной, сухощавой шее; гораздо ниже влажных деревянных ходов, где такой воздух и такие пухлые клочья пены цветут на потолках, точно по ним только что прошумело наводнение — еще гораздо, гораздо ниже, в забое № 61, карликовой зале, где ни один человек не может выпрямиться во весь рост, где стены тверже агата, где узкий, упрямый угольный пласт прячется в каменную щель из гранита, где свет меркнет в тумане мельчайшей угольной и водяной пыли, — можно видеть настоящих хозяев Кизела. Они как раз окончили подбойку. Крепкий выступ, подрытый снизу, все еще стоит и не валится. Механические сверла работают с рвущим, со ровно-пульсирующим шумом, от которого дрожит свет и лопаются барабанные перепонки. Похоже, что в этом подвале заблудился паровоз и, упершись в стену, продолжает итти полным ходом, не трогаясь с места.

Т. Моторгин стоит перед радиолаксом на коленях со своей сгорбленной спиной, покрытой стеганой душегрейкой, с мокрыми подошвами черных лаптей и продолжает шарить в открытой под утесом щели железной рукой машины. Иван Егорыч—человек уже пожилой, лет 50-ти. У него низко упавшие плечи, борода, как бы вымоченная в угле, совершенно черные руки, на которых ногти розовеют, как кончики пальцев в прорванных перчатках. Среди разорванной одежды белеет кусок груди с такой глубокой, бледной впадиной по середине, как будто бы это не грудь, а ступенька, стертая ногами многих поколений, или место, где рабочие выбили ямку своими головами, устало прислоненными к стене.

Этот товарищ стыдливо, с чувством величайшей внутренней неловкости вспоминает о своем исключении из партии. От времени до времени он прерывает рассказ, пристально наблюдая работу двух каталей, которые убирают и никак не могут убрать всей груды навороченного им угля. Слабый свет блестит на их шуршащих по полу лопатах, на козырьках кожаных фуражек. Иван Егорыч продолжает:

— Партия, мы ведь все стремимся к этому. Но я человек пожилой, придешь домой с горы — прикладываешься. Я Всеобуч проходил, месяц целый старался, да ведь другой раз в праздник сутки целые не работаешь,— а харкнешь — и вся у тебя сажа идет.

Одним словом, старик не соблюдал партдисциплины, пропускал собрания, не ходил на занятие, может быть, избегнул несколько обязательных субботников. Перерегистрация его механически вычесала. Вероятно, не надолго — за нарушение дисциплины можно и должно выбрасывать молодых — и то в шахте их небрежность имеет много смягчающих обстоятельств, но не Иван Егорычей. Людям «сверху»—коммунистам веселой, светлой земли— никогда не понять безграничной усталости подземников. Надо видеть смену, когда она подымается наверх по окончании работ; один рабочий за другим высовывается из люка, задувая свое бледное пламя. Сами они совершенно похожи на затушенные, померкшие фонари. У каталей, которые сталкивают уголь по желобам, сидя на нем верхом, толкая руками за деревянные края и ногами, спиной, задом, всем телом толкая вперед упирающийся уголь, у каталей сзади к одежде пришит еще кусок бараньего меха. Они бегут в этой своей прозодежде через солнечный день, подслеповатые и сонные, как вынутые из под земли, усталые белые звери. Нелегко тут с дисциплиной!

Один из простых и блестящих приемов, при помощи которых была поднята производительность Кизеловских копей, заключается в том, что на помощь вымирающему племени старых забойщиков Сажин сумел сдвинуть целый слой молодых рабочих сил. Как командный состав Красной армии в большинстве своем вышел из рядов старых фельдфебелей, — так сотни и тысячи каталей, переведенные в категорию забойщиков, пополнили и усилили их ряды. Где-нибудь в глухом углу копей еще сейчас можно наткнуться на молодого рабочего, который, разгрузив свою вагонетку с необыкновенной быстротой и выиграв таким образом несколько минут, как сумасшедший, набрасывается на любую стену, долбит ее и крошит, пока его усталая лошадь пытается вздремнуть, низко опустив голову к безобразным коленкам. Это каталь, чтобы подучиться и стать забойщиком, пробует на черной кости свои молодые щенячьи зубы.

Но чем меньше настоящих стариков, тем они ценнее. Это люди, для которых время и история почти не существуют. Земля лежит над их головами, как море, на дне которого нет ни бурь, ни перемен. Даже уменьшение рабочего дня с 12-ти и 10-ти до 8-ми и 6-ти часов, это великое облегчение, которое коснулось каждого живого существа на дне Кизела, — даже оно безразлично этим патриархам угольного царства. Никакая мера времени не ускорит и не удлинит их труда. Они владеют искусством ритма, который

уплотняет или растягивает рабочий день, как резину. В четыре часа они могут вместить 6, в шесть—8-часовую добычу. Мастера и искусники, у которых работа бежит по солнечному кругу, как хорошо выезженная лошадка в туго натянутых вожжах.

Молодой инженер шага не ступит во время разведки без этих стариков, обоняющих уголь на расстоянии, чувствующих его, как старые люди погоду,—по ломоте в пальцах. Ну, куда они денутся без Татарникова, 27 лет подпирающего головой штрека и забои Ленинской копи? Как проживет Кизел без своего старшего штейгера, этого высокого старика, которого знает и чтит вся копь. Характернейшая фигура! У него вытянутое темя, проступающее горкой сквозь крутлый старомодный картуз, огромный лоб, над самыми бровями прорезанный тремя глубокими рытвинами. Далеко наверху, вокруг чутких, прижатых к черепу ушей, редкий лесок желтоватых волос. Пристальные глаза, однако, почти бесцветны, как свечи, зажженные днем. Длинное тонкое тело продето сквозь кожаный пояс, как салфетка через кольцо. Если поднять выпуклую крышку этого черепа — там, конечно, вся копь, нарисованная теми ломкими, угловатыми знаками, которые делают карты горняков похожими на рисунок, сложенный из спичек.

Насчет революции и партии старики слабы. Очень неосторожно прийти к ним в забой и спросить — товарищи, а кто здесь партийный? Покроют сочным и ветвистым матом. То же самое относительно участия в гражданской войне. Такой Никита Фадеич только усмехнется; мобилизовать его! Разве есть на земле место, где он нужнее со своими знаниями и опытом, чем именно здесь, в забое.

Из всех велений революции до Татарниковых дошло, пожалуй, только одно — сделавшее забойщика единственным законным владельцем копей. И как ни сторонятся старики всякой политики, как ни жмутся, как ни увиливают от прямых вопросов, этот ввод во владение совершился почти помимо их воли. Как полноправный хозяин заранее заботится о наследнике, потихоньку готовя его и приучая к хозяйству — так точно, еще тщательнее, ревнуя глупых молодых к своему старинному тонкому ремеслу, готовят старики поколения молодых забойщиков.

—Мы, старые, собьемся—тогда худо будет. Молодых-то кто будет учить?

Наемник так не скажет. Ему безразлично, кто бы ни долбил стену после него.

Между тем, именно на низших ступенях горной иерархии политические убеждения играют величайшую роль. Инженер может быть беспартийным, начальник спасательной команды — просто мужественным, находчивым и знающим человеком, но трудно себе представить, какое огромное значение имеет принадлежность к партии на младших командных должностях. Именно штейгер - коммунист наращивает вокруг старых забойщиков свежий слой рабочих не только технически квалифицированных, но и зрячих политически. Там, где во главе копи стоит штейгер-коммунист — старое племя подземников, образующих совершенно замкнутую касту, которой нет никакого дела до остального мира, обречено на безжалостное вымирание.

Молодые унаследуют их знания, примут из их рук вечный фонарик и кайло рудокопа, доведут начатый ими штрек до конца, но непримиримая ненависть к солнцу, это совершенное равнодушие к земле и ее легким делам уйдет в землю вместе с ними. Совсем иной новый дух в копях, управляемых живыми людьми.

Володарская, например, и по роду работ, и по качеству угля считается одной из самых трудных. На протяжении всей копи нет места, где бы человек мог выпрямиться. Ее нижние этажи плавают в воде или задыхаются от жары. Все самые тяжелые стороны горного дела сказываются здесь с особенной резкостью. Тем не менее в забоях, самых душных и низких, в ответ на политический вопрос реже услышишь матерщину, чем в сравнительно легкой Ленинской. И здесь устают — но и усталость и страдания носят, если можно так выразиться, более квалифицированный и сложный характер.

К т. Миндулаеву надо итти тихим лесом, угольной тайгой, обитаемой мраком. Он сидит в тупике, соединяемом с соседним штреком низким и извилистым ходом. Обернись, в нем так темно и тихо, как будто мрак за спиной тихонько закрывает одну черную дверь за другой. Никогда, за всю свою жизнь, не видела я человека с более веселой речью и более утомленным, землистым взглядом. Коммунист с 1919 года, красноармеец, старый шахтер, разбуженный революцией, взятый ею наверх, попробовавший вольной человеческой жизни, пристрастившийся к солнечному свету, к вину, взявший себе жену из белого племени надземных людей — но в силу профессиональной и партийной дисциплины возвратившийся в шахту. Зарабатывает он мало, несмотря на все старания — спускается под землю в 6, выходит наверх в 4 и 5 часов. Каждое свое слово т. Миндулаев держит на привязи, каждую раздраженную шутку тушит, как окурок, чтобы она не сделала пожара. Сидя в этом забое, нужно или страстно любить свое дело, или отупеть, как тупеют рабочие-китайцы, или быть терпеливым и бодрым в работе, как татары, или держать себя в таких ежовых рукавицах, в таком повиновении, как этот алчный до жизни и радости человек, добровольно отделивший себя от солнца стосаженными толщами.

Говорят, по настоящему храбры только трусы, идущие вперед, несмотря на истерическую дрожь своих нервов.

Так вот, если Кизел в этом году действительно выбросит на рынок 45 миллионов пудов угля, уронив себестоимость с 14 до 11 копеек, если при этом окрепнет и возрастет его партийная организация, то только благодаря работе таких людей, как тов. Миндулаев, продолжающих колоть свой уголь и крепко верить в коммунизм, несмотря на разочарование, скепсис и усталость.

— Пора обойтись как-нибудь иначе. С 1919 года ждем облегчения,— но рука его сильно и медленно прогуливает ручку радиолакса. Возле самого лица, как бешеный конский хвост, вьется струя пара. Ветер встает от движения машин, пыльный и загрязненный углем. Поставленные на пол фонари, смотрят, присев на корточки — золотые жабы этого сухого подземелья.

На широком и твердом лице тов. Суслова, старшего штейгера Володар-ской копи (коммуниста с 1917 года, фронтовика и горнорабочего), за 2 года одземных работ еще не совсем потух загар 1920—1921 годов. Наверху, при олнечном свете он выглядит, как солдат после тифа—крепкий организм слегка олько тронут бледностью шахтеров. Под землей, при свете фонаря—это аблудившийся партизан, крепкий, приземистый и широкоплечий, как сосно-ые обрубки, поддерживающие потолок. Он не только безупречно знает копь технической стороны, но наизусть помнит ее людей. Ленинский набор для акого штейгера, как Суслов, то же самое, что работа в горе во время по-ара или наводнения. Под землей, рассеянные по забоям, зарываясь в уголь о всех возможных направлениях, копошатся 300 человек. Каждого из них тейгер знает, как самого себя. Знает трудоспособность забойщика и усло-ия его труда; знает, сколько влаги на стенах его забоя, сколько пыли и ары во вдыхаемом им воздухе, сколько сажен породы над головой, колько дома детей, есть ли корова или коза, и какие мысли — тяжелые ли легкие—перебирает этот человек за свою смену. Ленинский набор на опи — это тревожный сигнал, призывающий всех, без различия возраста национальности, всех подлинных рабочих — выйти наверх и стать в ряды артии. Штейгер должен помнить каждого рабочего, услышавшего этот при-ыв и поднявшегося наверх, и каждого, оставшегося внизу.

— Человек остался в горе,—для горнорабочего нет слов, более вол-ующих. И только штейгер может определить, вызвано ли отсутствие рабо-его несчастием или просто усталостью, слабостью и неохотой. Он один нает, как далеко итти до света, со дна сырых и черных ям, как много ужно времени, чтобы среди грохота машин и за великим молчанием земли асслышать робкий голос жизни, проникающий откуда-то сверху. За ка-дого оставшегося внизу, за каждого, побежденного усталостью, должна бо-оться вся копь. Это старое правило горняков. Никто не имеет права на тдых, пока сквозь толщу рухнувшего невежества, предрассудков и нищеты е будет услышан слабый ответный стук. Штейгер-коммунист ведет и на-равляет эти работы. Вот результат последний из них: до Ленинского при-ыва на 270 рабочих Володарской копи приходилось всего 37 коммунистов, ейчас их 150.

Тов. Малышев, работающий в забое № 61, один из тех, кого удалось твоевать у шахты. С 1918 по 1921 год он провел наверху, был пулеметчиком Красной армии, прошел с боем от Вятки до Иркутска, участвовал во зятии Сиваша. Из партии выпал, можно сказать, благодаря «белогвардей-ским хитростям». Отступая от Канска и желая подкопаться под пролетариат, елые нарочно бросили в городе множество спирта. Тов. Малышев был одной з многих жертв этой противнической провокации. А в пьяном виде, как звестно, совсем другое обстоятельство.

Работая в копи, о возвращении в партию как-то не думал.

— Если бы, — говорит, — вы видели мою комнату, то не стали бы ивляться.

Что же это за комнаты, мешающие товарищам вернуться в партию?

Все рабочие казармы Кизела перешли к тресту по наследству от знаменитых князей Абамелек-Лазаревых. Строил их архитектор, одаренный богатой фантазией. По середине каждой улицы, на расстоянии приблизительно 10 шагов от входных дверей, он с большим искусством расположил ряд отхожих мест, совершенно отравляющих воздух поселка. В конце его возвышается каменное здание, так называемый «арестантский поселок», где жили каторжане, в цепях отправлявшиеся на работу. Во время войны к ним присоединились военнопленные, которых пытались использовать как чернорабочих. Но они оказались несговорчивыми и предпочитали класть руки под колеса электровозов, только бы избавиться от каторжных работ. Затем, ввиду сопротивления белых невольников, копь наводнилась невольниками желтыми. Около 3.000 китайцев заполнили Кизеловские казармы. На теплые еще нары одной смены валилась следующая, только что вернувшаяся с работ. Туберкулез и сифилис быстро выкосили ряды желтых артелей, да и к работе под землей эти дети солнца оказались плохо приспособленными. Революция избавила их сиятельства от дальнейших забот о рабочей силе. Но проклятие старого каторжного поселения все еще тяготеет над новым советским Кизелем. Тени этих гнилых, отвратительных построек отравляют жизни тысячам рабочих семейств. У их порога чернеет застарелая грязь, те же сточные воды просачиваются в сени, та же голь и безносая нищета наваливает свои отбросы под окнами, забитыми досками, железом и тряпьем. Ни стула, ни порядочного стола, ни полки, ни умывальника, ни одной книги на сотни общежитий. Только старейшие рабочие пользуются отдельной квартирой (одной крошечной комнатой с миниатюрными сенцами), где они отсыпаются после работы, завернувшись с головой в одеяло и лежа прямо на полу. Для семейных рабочих корова — настоящее спасение. Но кизеловцы лишены возможности держать даже мелкую птицу, так как при домах нет ни коровника, ни сарая. Одним словом, вопиющее убожество, которое только отчасти и с трудом может быть об'яснено недостатком средств и хозяйственным кризисом. Если, несмотря на прозябание в настоящей клетке (3X3), рабочий, тщетно пытаясь поднять голову, придавленную книзу потолком забоя, говорит вам голосом человека, долгие годы просидевшего на необитаемом острове, что он счастлив был вернуться в партию — «все молодые вступают — нельзя же остаться отсталым», — то это значит, что партии удалось вынуть из подземной трясины действительно крупного и живого человека.

На Ленинской копи — может быть, благодаря совершенно случайному составу рабочих в эти дни, — настроение показалось мне менее устойчивым. Но и там, где-то на самом дне есть удивительная шахта № 3. Это обширный мокрый коридор, из которого наверх пробивается новый соединительный ход. Он должен механизировать целую подземную область, заменив ручную и конную откатку угля электрической. Но пока это яма, холодная как лед, со стенами, облитыми сернистой водой, где рабочие в промокших лаптях шлепают по ржавым лужам. Многие из них придерживают рукою лицо: работа на этих глубинах вызывает страшные невралгические боли головы и зубов. Во главе отряда стоит тов. Осипов — штейгер и коммунист, состоя-

ий в партии с 1905 года. До революции он участвовал на двух нелегальных ездах, в 1907 году был выброшен предпринимателями на мостовую, с 1918 о 1919 командовал 2-й ротой отряда особого назначения, воевал с белыми одновременно восстанавливал разрушенное ими хозяйство. Едва справив- ись с противником, солдаты бросали винтовки, чтобы в течение 52 суббот- иков поднять сгоревший железнодорожный мост. В 1920 году, когда топ- ивный кризис достиг наибольшей остроты, партия посылает старого горняка азад — под землю. Он работает одновременно на производстве и в местном овете. Внизу — отливает затопленные шахты, чинит и выправляет кре- ления, мобилизует отряды углекопов-новобранцев — наверху ведет ожесто- енную борьбу с тифозной вошью, безграмотностью и голодом. Но копь евнива и исключительна; она не терпит совместительства. Или совет, или ахта. На этот раз, как и прежде, т. Осипов выбрал подполье, если не поли- ическое, — то трудовое. На его 53-летнюю спину эта работа часто ложится епереносимым бременем. Но—

— Чересчур я обессилел от постройкома и совета.

Т. Осипов не единственный коммунист на дне шахты № 3. Т. Юферов — оже большевик, и ему, как старому штейгеру, пришлось выбирать между ботой наверху и копями. Зарабатывает он в месяц немногим больше рублей. Его семья делит небольшое помещение с 4-мя холостыми рабо- ми.

— Покуда мира хватает — и вообще — тягости довольно.

На вопрос, о том, какая же последняя мысль, какой внешний толчек ставил его вступить в Ленинский набор, т. Юферов дал ответ, от которого ак этой ямы повел черными бровями, а вода, мокрые лапти, зарплата, все лышки, которыми измеряется рабочий быт — потеряли вес и значение.

— В партию я вошел, чтобы буржуазия заграничная смотрела на нас так, как на ничтожество.

Желая освежить лоб, подземник сбросил меховую шапку. Показалась его голова, зачесанные назад волосы, широкие светлые виски, над азиат- ими скулами, и выпуклый лоб, как маслом, натертый мыслью, и блестящий.

Надеждинский завод.

(Черновой набросок двух цехов).

I

ДОМНА.

Уголь глупее чугуна и руды. Он безропотно приближается к доменной чи. Если передняя из вагонеток случайно остановится, задние с тупой по- ешностью на нее наступают. Почему задержка? И уже схваченная за обы двумя каталями, глупая угольная торба радостно раскачивается над рлом, в которое ее спихнут. До последней минуты она не понимает, что этих качелей упадет в огонь. Ее опрокидывают с грохотом. Уже падая, оль пробует схватиться за края котла.

Есин, каталь, с одним рыжим бакенбардом, опаленный огнем, легким движением лопаты сбрасывает вниз кулаки рассыпанного угля. Сзади тупо ждут очередные вагонетки. Прислонившись к ним, второй засыпщик старается перевести дух.

Есин и его помощник еще раз раскачивают железный ковш и так ударяют его лбом о подвешенный над печью стержень, что он, теряя сознание, выпускает из рук последние глыбы угля и, оглушенный, несется дальше по воздушной дорожке.

Гораздо труднее заманить на эту шумную башню осторожную руду, боящуюся света и людей, еще не забывшую ни ударов кайла, взявшего ее в плен, ни челюстей дробилки, с которых машина слизывает размол каменным языком.

Руде дают отлежаться под навесом, в сырости и тени, на досках, которые она окрашивает в красноватый цвет своей земли. Затем ее насыпают в вагонетки и катят к воротам домны. Незаметно, так чтобы не испугать, ее потихоньку взвешивают на весах, спрятанных под полом. Ничего не подозревая, сырое железо спокойно подымается к голове доменной печи, в специальном лифте, через сетки которого виден весь этот царственный завод, с его железнодорожными путями, трубами, дымом, горами ломи и глины, с небоскребами основных цехов, с ревом, свистом и шипеньем неизвестных машин, запертых каждая в отдельное здание, и буйствующих внутри его, как сумасшедший, старающийся проломить стену размеренными, непрестанными ударами железного лба.

И вдруг, уже ступив передними колесами на гремящий помост, увидев над перилами крыши далекие болота и синюю дымку лесов, вдохнув ледяной ветер и легкий дождь угольной пыли; почувствовав под ногами предательский жар домен, заметив людей, ожидающих ее с засученными рукавами — вагонетка пятится назад, делает попытку вырваться, сойти с этих рельс, ведущих ее прямо в огонь.

Катали, задыхающиеся и черные, хватают ее с двух сторон и, как барана за рога, волокут вперед, удерживая ее стальные копыта в колее рельс, покрытых угольной грязью, как проселочная дорога после дождя. Наконец, вагонетка над люком. Последняя хитрость: ее несколько нагибают, одна из стенок оказывается дверцей, которая, распахнувшись, роняет белесоватую руду на подстилку из угля. Катали бешеным усилием выдергивают ее обратно и отводят к лифту, которым уже поднимается следующий молчаливый пассажир.

Есин опускает на котел тяжелую круглую крышку и, всей тяжестью навалившись на рычаги, выпускает огонь доменной печи из его тюрьмы.

Голодное пламя в одно мгновение проглатывает калошу (три вагонетки угля, две руды), прорывается наружу через узкую щель и жадно облизывает края трубы, пол вокруг нее тянется и к каталю, слишком близко подтолкнувшему свое угольное стадо. Есин тревожно наблюдает за особым рычагом, мерником, по самую рукоятку воткнутым в глотку домны и показывающим степень ее сытости. Мерник делает глотательное движение и приподымается выше. Печь сыта.

Но огонь продолжает бушевать на крыше домны. Раскаленный воздух о свистом вырывается из щелей. По середине костра жалко чернеет маенькая круглая крышка с неплотно привинченными краями. А вдруг опуск?

Домна стара. В ее брюхе давно выгорели углубления, образовались іешки, в которых задерживается огненная каша. В течение последних пятіадцати лет огонь, об'евшись угля и железа, несколько раз вырывался наіужу в припадке неудержимой огненной рвоты. Он потоком стекал с этой рыши, сжигая людей, камень, металл и воду, пытавшихся стать на его іути. Но нет, стихло. Огонь, отяжелев, опадает, за ним запирается железіая дверь.

Это работа, опасная и грязная, происходящая на открытом воздухе, іри непрерывных скачках температуры, — от тропической доменной жары сибирскому ветру, считается неквалифицированной и оплачивается скудно. Катали получают по пятому разряду, т.-е. 22 рубля в месяц.

С виду т. Есин, с его рыжей бородой, плечами, широкими, как весы, і могучими кулаками кажется воплощением человеческой силы. Между тем огонь и холод в борьбе за поочередное обладание его телом давно разрушили го мускульную силу. Он все еще прекрасный работник — благодаря знанию ножества незаметных приемов, позволяющих свалить тяжесть труда обратно. іегодной прозодежды — холоден и тяжел, как сырость на стене. Загар, котооты, лицо Есина часто бледнеет, и пот, который стекает за ворот его никуда іегодной прозодежды — холоден и тяжел, как сырость на стене. Загар, котоый доменное солнце наводит на эти лица, бел, как известка, с синеватым ттенком снятого молока.

Т. Пельник работает далеко внизу, среди огромных труб, окружающих іодножие домны. Это дыхательное горло печей. По одним горячий воздух агнетается внутрь, по другим отбросы горенья, у которых огонь отнял все, іто в них было живого, несутся к свету, обезумев от желания снова жить. Ю по дороге эти отработанные газы должны еще и еще раз заплаить домне богатый выкуп за свое освобождение. У них нет больше ислорода, отобранного до последней капли. Они нищие, у которых е осталось ничего, кроме тепла. Это тепло они и должны уступить печи: іх заставляют итти к солнцу бесконечно длинной дорогой, колодцами, полыми огнеупорного кирпича. Этот кирпич газы должны согреть, оставив му весь жар и пурпур горения, вынесенный из пламени, и только, сделав ту последнюю работу, вытянувшись, с поднятыми над головой дымными руами, они, наконец, уходят в небо.

Но т. Пельник занят не на этих каналах. Он охраняет дыхательное орло домны, по которому воздух нагнетается в ее легкие. Этот воздух, уже знемогая от жары и жажды, со свистом несется по катакомбам труб. Он рязен, выпачкан углем, тяжел от приставшей к нему минеральной пыли. Его надо очистить, прежде чем он войдет в белую пещеру огня. И вот у подожья черных колодцев расположены особые «блюдца», — с глубокой, споойной водой. Воздух жадно пьет, припав лицом к этой прохладе, к этой желанной воде, которая тихонько смывает с его лица угольную грязь.

Т. Пельник от времени до времени открывает оконце в толстой кишке трубы, и, отвернув лицо от горячего вихря, сбивающего его с ног, белого, как клубы пара выскочившего на мороз, опускает в живот трубы длинную металлическую руку и выгребает из черных внутренностей кучу пепла и угля. В одно мгновение человек сварен, дышит со свистом широко открытым ртом, полным кислых осадков. За это полагается вознаграждение по пятому разряду. Т. Пельник стоит на своем посту 15 лет, из них полных 5 на службе Советской республики.

2.

У ДОМЕННЫХ И В ЛИСТОПРОКАТНОМ.

У печи крестьян не отличишь от коренных рабочих. Одинаковые на ногах лапти вместо прозобуви. Одинаковые холщевые рубахи, прожженные и замасленные, и лица в угле, и руки в ожогах, и глаза, прикрытые синими очками, или глубоко увязанные в складки кожи, как серебро в угол платка. Казанского татарина еще легче узнать. Свой мешок он накидывает на плечи, как нарядный халат, и стоит, ожидая выхода чугуна, как ждал бы муллу у мечети. Пожалуй, направляя огонь по изложницам, крестьяне, еще не ушедшие от земли, делают это медленнее, и железная штанга в их руках трогает огонь, как грабли свежее сено.

Подымая молот, они все еще подымают его, как цеп, и молотят железную рожь, из которой сыплется зерно искры.

Придерживая щипцами конец горячей трубы, которую сверху, с какой-то неистовой злобой, бьет маленькая машина — крестьянин держит ее, как деревенский кузнец заднюю ногу лошади, которую кует. Несколько медленнее, чем следует, и маленькое чудовище, поджимая рычаг, как злобно помахивающий хвост, успевает несколько раз ударить своим широким ртом железного головастика по пустой наковальне, прежде, чем рабочий пододвинет ему новую трубу для заливки.

Там, где настоящий фабричный рабочий быстро, как оспу, прививает вещи небольшой знак, нужный для дальнейшего производства — крестьянин медлит несколько секунд, и из его добросовестных рук металл выходит с овечьим клеймом на боку.

К заводу рабочий привязан, как к инструментам, которые имеют ценность только в его собственных руках. Рабочий отступает, когда завод попадает в руки Колчака. Уходит, чтобы вооружиться и затем отнять у вора орудие своего производства. Наиболее отсталый крестьянин остается на фабрике при всякой власти. Он привязан к ней, как к полю, которое просит плуга и родит, независимо от перемены власти. Для рабочего революция — продолжение великой производственной борьбы. Для плохо орабоченного мужика революция — засуха, неурожай чугуна, град, побивающий озимые молодой стали.

Выбрав в свой кооператив дрянного организатора, у которого картошка дороже, чем на рынке — такой крестьянин боится поднять скандал, боится

ютестовать и выступить с открытым обвинением. Если зарплата низка, раз- дды безжалостны, если нарушаются многие условия охраны труда, прекра- дется выдача даже плохой прозодежды, — неорганизованный, деревенский ıбочий видит в этом всем не государственную необходимость, не кризис, : переходный период — а стихийное бедствие, продолжение старой, дорево- оционной напасти. Необычайно резко расслоились рабочие листокатного ;ха. Одна из чисто крестьянских артелей принимает сутунку у самого входа ı дворец проката. Они согревают ее и бросают в первую машину. Железо, эасное от злобы, распластывается и возвращается в руки мастера, которое ı сбрасывает на грохнувший железный пол. Назад в печь — и в следующую юкатную машину. Но, попав между железных скалок, металлическое тесто : скоро от них отрывается. Его все снова и снова возвращают назад. о по одну, то по другую сторону станка лица рабочих освещаются отбле- ом железа, на мгновение выскочившего наружу и с лязгом идущего назад— прокатку. С давних пор на Урале укоренился прием, улучшающий его ıчество: его листы разнимаются клещами и пересыпаются угольным мусо- эм. Полосы больше не склеиваются и дают хороший ожог. Сверху машиной /ководит нажимальщик, пожилой рабочий, поворотом рулевого колеса, уве- ıчивающий или уменьшающий пытку железа. В то время, как люди внизу е-таки имеют возможность подбежать к баку, сделать глоток воды и осве- ить лицо — рулевой неизменно стоит на своем капитанском мостике. При юкате мучительны не только жар, грязь, угар и скорость, но грохот, лязг, :режет, вой, визг, ежеминутные крики красных железных черепах, с размаха аряющихся спиной об пол, глухой гул машин, стук молотов, доносящийся из седнего отделения. Нет голоса, способного перекричать палаческую глотку юката. Из всех звуков рядом с ним могут быть услышаны только самые абые, самые незаметные, умеющие, как мышата, перебежать между ног ıз'яренных гигантов грохота и, несмотря ни на что, достигнуть человече- ого сознания. Это тихий короткий свист мастера, которым он зовет обратно печи или станку своего подручного, в изнеможении присевшего на скамью. ıхий сигнал труда и дисциплины, которому никогда не отказывают в пови- ıвении, как бы ни одеревенели руки на клещах, какими бы ручьями ни текла ı лицу потная вода. Это не только приказ; свист, похожий на иволгу, в этом ːлезном лесу значит еще: приди и помоги.

Случайно или нет, на прокатке листового железа работает целое село ıбричных крестьян, переселившихся в Надеждинск с Будинского завода. Все ıжилые люди, имевшие собственные домики и хозяйства при старинном Вят- ом заводе. Крестьяне, не бегавшие ни от белых, ни от красных и выбро- :нные теперь на пролетарскую улицу разорением своего барина — завода, 'стившего их по миру, как раньше дедушка проигрывал в карты. Они не огут забыть ни старого режима, ни своих покинутых деревень, долго жив- их под кнутом, но сытно, в собственном домике, при собственной корове. ıли биты, но сыты. А теперь? Глухая, незаживающая тоска о земле, о плуге, первых остреньких зеленых иглах, лезущих из земли весной, мучает их еди машин. Окаменелые мужики без земли, которых крепостное право

200 лет заставляло работать машинами, но искусственно не позволяя выдернуть корней из земли, из навоза, из господа бога, из игрушечного, призрачного крестьянского надела поссессионной фабрики. Эта деревня у станка ни одного человека — ни единого не дала в Ленинский набор. Молча отказала.

Т. Леготкин вернулся к станку из армии после $3\frac{1}{2}$-летней службы, после тифа, сделавшего его непригодным для фронта. На узкой груди, стиснутой и исковерканной трудом, как нога китаянки, Леготкин носит орден Красного Знамени, полученный за пленение 5 белых офицеров во время разведки. В партии он тоже был, потом ее потерял, как теряли жизнь, память, вид на жительство и собственное свое имя в тифозных теплушках. Теперь листопрокатный цех крепко встал между ним и партией, которая не обернулась, не заметила потери, не имела времени нагнуться и поднять упавшего за борт человека. До того ли ей было?

Теперь Леготкин делает свою каторжную работу, подкалываемый и поддразниваемый мужичками.

— Кавалер ордена. Воевал — много они тебе за это дали? Живешь хуже собаки. Все обещивали, а где исполнение?

Только молот бешеными ударами прерывает назойливую чесотку, донимающую Леготкина.

Есть еще один бывший коммунар в листопрокатном — т. Фурин — тоже потерявший партию благодаря какой-то старой, незажившей обиде. Она все его существо обезобразила, всю жизнь перекрестила, как шрам через лицо. В Ленинский набор не пошел, несмотря на 3 года добровольной службы в Красной армии. Говорит о партии с жгучей ненавистью оскорбленной любви.

— Хоть завтра резать их всех согласен! Нет, без борьбы не обойдется!

Но на всех собраниях этот старый рабочий, и честнейший по существу большевик с 1918 года, говорит и голосует за партию.

Из книги „Норд“.

Вл. Лидин.

III. „Archangel“.

В свежие дни крепко пахнет Двина у Архангельска — морем. Большая волна идет по ней и плещется тяжело о черные бока пароходов, стоящих на приколе. И с моря в свежую эту погоду сумрачно приходят иностранцы. Иностранцы прошли большой путь — из Голландии, Швеции и Англии, шли они Скагерраком и великим океанским путем, и на коричневых мостиках пароходов буддийски-недвижно стоят капитаны, и у капитанов ровно бьются сердца, потому что привели они в далекий порт дорогое судно с десятками людей без аварий.

В ночи далеко указует Архангельск путь пароходам, в ночи у входа в Архангельск мигают без устали маяки: черный маяк Мудюгского острова и пловучий маяк у входа в рукав Маймаксу. И на свет маяков идут пароходы. Иностранцы проходят мимо острова Мудюга, и иностранцы видят днем на Мудюге — черный траурный маяк, бараки, пару домишек в развалку и черное окаянство простора. Иностранцы скользят равнодушно блестящими стеклами биноклей по Мудюгскому острову и по баракам, ибо не знают иностранцы, что в черных этих бараках десятки русских погибали от цынги и не одним десятком лежат в братских могилах черного острова Мудюга. Мудюг — место ссылок при англичанах, и над Мудюгом — ветры с севера и востока, и тяжелые штормы бьются о черный маяк. На маяке живет смотритель, и смотритель оттого, что мало видит людей, постепенно отвыкает говорить.

Пароходы с моря идут на огонь маяков, и когда проходят пароходы белые створы на берегу, кончается морская вода и начинается пресная вода Маймаксы. По Маймаксе идет пароход час и другой, и час и другой проходят по берегам лесопильные заводы; желто-лимонные стандарты леса, за которыми приходят английские и голландские, и норвежские пароходы; паровые краны и пловучие доки; и весь белый каменный город со своими церквами и бульваром на многие версты над берегом; по бульвару ходят парочки, матросы и штурмана - щеголя, и капитанские вдовы, которые приходят сюда посмотреть на Двину, ибо нет реки прекраснее Двины у Архангельска, и нет архангельца, который не любил бы ее, как часть своей жизни. И Дви-

ною крепко пропахли архангельцы, приморским ее запахом и тайными зовами белых незакатных ночей, в которые горько в Архангельске тому, кто никто не любит и кому некого любить. И видел я, как серая стальная «Аврора» пришла из Балтики в Архангельск и стала далеко на рейде в море, у самого Мудюга, а вечером уже аврорские моряки ходили по архангельской горке, у моряков были бронзовые ленты и синие нарядные воротники, и у моряков — у каждого моряка — в зажиме локтя лежала бледная рука женщины. Моряки с женщинами ходили без устали — все пять-шесть верст взад и вперед по бульвару, и женщины были томны и притихши, оттого, что крепко пахли моряки солью пройденных морей, и оттого, что была белая бессмертная ночь, и Двина кипела моторными лодками, парусниками и шлюпками; и во всех лодках белели женщины.

На вывесках города — на каждой вывеске города — стоит непременно под русским названием «Контора» — «Office», и под русскими названиями стоят везде английские надписи, потому что язык моряков — английский, и на одной только маленькой карте путеводителя назван город по-русски — Архангельском, а везде — в конторах — висят на стенах карты, и на стенных картах значится город Archangel, ибо карты — английские, ибо англичанам — крепко знаком наш северный путь.

Матросы пароходов,—наши и иностранцы,—придя в порт Архангельск, крепко моются и сходят на берег щеголями. Наши матросы спешат по домам — в Соломбалу, в ту пристройку Архангельска, что дает Белому морю—десятилетие за десятилетием — матросов и капитанов, и докеров, и портовых рабочих, и нет в Соломбале такого дома, из которого хоть один человек не был бы на воде — матросом или капитаном. В Соломбале, в досчатых ее мостках, в белой церкви, фосфоресцирующей в известковую ночь, есть сходное нечто с портовым городишком — голландским или норвежским; и есть в архангельцах нечто схожее со всеми народами приморья: в Гамбурге, в Ревеле и в Риге — везде так же линяло-сощуренны синеватые глазки в дальнозоркой сборочке морщин, та же рыбья растянутость рта и чалая соломизна волос. У матросов из Соломбалы, как и у всех моряков, которых забросит на день-два домой попутный ветер, есть в них крепкое ощущение очага, и у очага на день-другой отойдут они от норд-остов, от вахт, от грохота паровой лебедки, отмоются, потеплеют,—и в новый уж рейс уходит пароход. Уходит он в Кемь, и Онегу, и на Печору, и на пустынные острова — Вайгач и Новую Землю, на Шпицберген и на Землю Франца-Иосифа, и становищами Мурманского берега — до Норвегии, и в дальнее плавание — в Данию, в Швецию, в Лондон. Тогда провожают пароходы толпы, и белые платочки долго дышат и зыблются, и десятки женских глаз следят, как медленно поворачивается тяжелый пароход и идет по Маймаксе в море и океан.

И еще потому была совсем портовой Соломбала, что были в ней матросские кабаки и публичные дома, потому что много было в ней эля, и виски, и рома, и заграничного коньяка, и английского табаку, — теперь пусто в Соломбале, закрыты кабаки и публичные дома, негде разойтись

іатросу на берегу, и мертво лежат в давней угольной пыли пустой солом-бальской гавани ржавые якоря и части котлов, и только щеголь-штурман, бронзе пуговиц, пройдет к Кузнечихе, вплотную уставленной лодками, как Венеции, и по Кузнечихе в Двину выплывают лодки одна за другой, как ондолы в Венеции, и в лодках — женский смех и венецианская дрожь ман-олины.

И на пустынном этом соломбальском берегу, в мертвом этом порту, где олько годы назад приставали вплотную к каменным плитам норвежские и олландские парусники и на берегу стояли в белых чепцах норвежки и олландки и продавали рыбу, — на пустынном этом берегу привел меня ху-ожник Писахов к одному дому. Я ничего не скажу здесь об этом человеке, отому что стóит этот человек того, чтобы сказать о нем особо, — знал н твердо, куда меня вел — по камням и угольной пыли соломбальской гавани. Іы вошли во двор деревянного серого дома, у дома были голландские белые амы окон, часто переплетенные, и корабельный блок поддерживал досчатую рышу. И под досчатой крышей дома было множество досок с надписями— ɛсь фасад дома сверху был сложен из этих досок, и доски эти были—с погиб-іих кораблей. И здесь была—старая Голландия, и во дворе пела женщина не-ромко простую песенку, и песенка была о моряке, который ушел в море. Кенщина сидела у окна, склонив голову над шитьем, у нее был мягкий милый рофиль, и пальцы ее быстро стегали иглой, она не видела нас и пела; и над вором был уже вечер, тоже похожий на голландский приморский вечер, в блекнущем небе чернел корабельный блок и чернели надписи досок на оме: «Hudson», «Simco». «Dritte Juli», «Regina», «Fimma from Aland», «Fir-ar», «Stral Sund», «Simea of Aland», «Tangier», «Marienhamm», «Prins Gustaf», Ranen», «Triton», «Aboyn», «Wola»,—я читал эти доски, из досок глядели юди, которые погибли на этих судах, экипажи судов, и море, которое каждый од поглощает свои жертвы. Поэтому никогда капитаны и матросы на паро-одах не говорят: «придем тогда-то», они всегда добавляют: «если все будет лагополучно». И на голландском доме этого странного собирателя досок погибших кораблей, на голландском доме снаружи еще осталась косая вы-еска «Blacks Smith Shop and Deal Yar», странный собиратель досок—был олландец Шмит, негоциант и кораблевладелец, голландец Шмит давно умер, остались только вывеска на его доме и доски кораблей, как память о людях делах, давно забытых. Мы шли от дома, а женщина все продолжала петь, все о том же: о моряке, который ушел в море и не вернулся назад.

II

Матросы с иностранных пароходов не забредают в Соломбалу; в Солом-але — тишина и запустение, а матроса после многих дней пути и труда, виста ветра да плеска воды, тянет к людям, в шум, туда, где женщины и енские безумные запахи, от которых тяжелеет матросская кровь. Матроса иностранного парохода всегда узнаешь по фетровой шляпе и по замытому ужскою рукою цветному воротничку сорочки, ибо сами моют матросы себе елье, и фетр нескладно сменил обломанную ветром кепку. Матросы — нор-ежцы или шведы, или англичане—берут билет на пароходик, который везет

с берега на берег вечернюю архангельскую публику; они стоят подле женщин, они идут затем по-двое и по-трое архангельским главным проспектом или бульваром, они заглядывают в глаза проходящим женщинам, как звери, они становятся по-трое возле тротуара и провожают женщин голодными взглядами; и они заходят еще в российские пивные, где рассыпается гармоника с колокольчиками и грохотом свергается хор, они тоже требуют пиво и садятся за липкие столики. И тогда они пьют, чтобы заглушить голод по женщине и по доме, они пьют батарею за батареей. и батарею за батареей пьют русские посетители, потому что в Архангельске люто пьют целыми батареями. В Архангельске два месяца—белые неугасающие ночи, и в Архангельске восемь месяцев — полярный незацветающий день; солнце всходит в 11, час-другой стоит оно над горизонтом и опускается вниз, и тогда нужно зажигать огонь, и люди, идущие на службу, никогда не видят своих жен и детей при дневном свете. И потому сумрачны в Архангельске люди и замкнуты, и потому еще пьют в Архангельске круто, и вечерами идут пьяные по всем улицам, и нигде не видел я мирных таких и уютных пьяных: они идут и говорят сами с собой, со лба течет пот и находят они меж людей свой фарватер.

Летом, в праздник, уезжают жители через Двину на Кегостров; взад-вперед везут их полные пароходики, и на Кегострове жители Поморья, которые никогда не видели моря, отдыхают от города, они лежат на песке и парочками уходят в глубину. И один день в году — в Ильин день — уезжает на Кегостров весь Архангельск, тогда Кегостров — архангельский Трианон, он завален телами, и семьи уезжают со всеми детьми, с самоваром и одеялами. Семьи лежат на одеялах, сняв ботинки, пьют чай, спят и снова пьют чай, и в этом Трианоне видел я незабываемые икры в полосатых чулках в полосатых чулках шевелились от удовольствия пальцы, над медным самоваром сизый клуб дыма, и рядом на одеяле лежал супруг полосатых икр, без жилета, и тоже шевелил пальцами в носках, пятеро веснущатых детей поднимали тут же завесу пыли, и на кольях плетня торчали башмаки супругов, и жилетка, и верхняя юбка, и я вдруг увидел, что на всех кольях плетня торчат такие же башмаки и висят юбки, и везде на одеялах лежали семьи и дымили самовары. И в этом Трианоне — в палатках, в которых выступал немец Пильц, бывший владелец лесопильных заводов, глушили по-матросски буфет, а немец Пильц на эстраде танцовал фокс-тротт, и матросня ревела: «нажаривай!». Немец Пильц изображал даму, как она утром встает с постели, одевается, пудрит лицо и расчесывает волосы, он обливался пóтом на эстраде, а внизу устилались батареи пивных бутылок, и разнимали пятую драку, и матросы все же лезли в драку, а на острове под каждым кустом лежали парочки, и пьяные, пьяные ходили, шатаясь, над островом стояла пыль,—и казалось, весь город сошел с ума. И назад, через Двину, везли нас в чьей-то моторной лодке, моторист и хозяева были пьяны, с крыши лодки вниз летели пивные бутылки и обдавали осколками и пеной, и на середине реки моторист оставил руль и ушел в каюту пить пиво. Тогда руль стала крутить норвежка, в норвежке было сорок пудов, у нее был зад, как тендер, волосы расползлись по лицу, она крутила руль из стороны в сторону, лодка ныряла

вертелась, и на нас неумолимо шел иностранный пароход в 5.000 тонн и ре-
гл, он ревел угрожающе и недоуменно и шел на нас, и мы вдвоем едва выта-
или из каюты моториста и прогнали норвежку с руля. Я так и не знаю, кто
эревозил нас в эту ночь, кто были эти люди, но в эту ночь Архангельск
эселился, и лодки везли назад трупы пьяных, и трупы пьяных оставались
а берегу. И в этом веселии можно было почувствовать — месяцы полярного
элода и неумолимой ночи, и суровую жизнь этого города, где мало улыбаются
оди, и веселятся круто.

В белые ночи, белее нашего полдня, бегут досчатыми мостками Архан-
льска мальчишки, мальчишки вопят: «Волна!», и из окон высовываются обы-
тели и покупают газету, потому что в Архангельске выходит газета, как в
ікаго, вечером, и обыватели читают ее на ночь, а утром газета становится
ке вчерашней. Мальчишки бегут верстами, ибо верстами тянется город,
ік тянется верстами его гавань, вторая по длине в мире. И на версты
цветшим поселком уходит трамвай, к лесопильным заводам, ибо
і лесопильных заводах стоит город, и лесопильными заводами отмечен он,
ік северная кошница, для иностранцев. И два духа над городом — смоляной
убокий свежего теса и рыбный — трески, которая сохнет и вялится, и
лится в бочках; трескою несет из всех подвалов и складов, распяленные
іши трески висят на базаре, туши трески несут матросы и рабочие за-
дов, и жители Печоры или самоеды не станут есть трески, если она не
льно еще слежалась, они выдерживают ее нарочно, чтобы она
овоняла, и лучше вонючей этой трески нет блюда для печорца и самоеда.

С иностранных судов сходят еще дородные бритые норвежцы и гол-
ндцы с трубками в зубах — команда парохода. Они идут улицей, не прочно
авя короткие ноги, отвыкшие от земли, хорошо дымят отличным табаком,
еки у них сизо выбриты, и розовы от хорошего питания затылки. Они
э—превосходные моряки, они идут и громко говорят меж собой по-нор-
жски и голландски, они вдруг разверзаются хохотом, точно сорвалась
ыба, они щиплют за локотки встречных женщин, и женщины или шара-
ются испуганно, а чаще тоже смеются, и тогда грохочет вся норвежская
эмада и добродушно снимает шляпы и блестит зубами. Они бродят по городу
возвращаются на пароход обедать, пить виски и ром, и крепкий кофе, ку-
ть табак и спать, пока есть отдых, и ночами остаются на берегу только
тросы, и часто ночами возникает на берегу бокс, матросы с иностранного
рохода идут боксом на русских матросов, ибо иностранные матросы не по-
зили с русскими матросами женщин и тогда трещат скулы и льется кровь,
гят фетровые шляпы, и пять минут стоит над камнями соленая матросская
терщина, а потом, добив сколько надо, убегают в переулки победи-
ли, и побежденные вытирают кровь и подбирают с земли кепки и фетровые
іяпы.

Летним вечером хорошо бродить этим городом, камнями его гавани и
эюю бульвара. Вечерами выходят на взморье тугопарусные прекрасные
іуэзцы, медленно и белокрыло скользят они вечерней водою, и вечерами

еще уходят в далекий Лондон или Амстердам тяжелые пароходы, загруженные до палубы лесом. Облокотясь о перила, можно долго провожать их в дальний путь; и, облокотясь о перила, можно долго смотреть на простор реки, на единственную ее речную широту, над которой гудят пароходы, стопорят моторные лодки и медленно вскидывают веслами шлюпки. На приколе качаются и царапают мачтами небо карбасы поморов, пришедших в Архангельск за солью, паруса их убраны, поморы сидят на корме, полуночничают и говорят о своем, или жгут на камнях костры и кипятят в котелках воду. И вечером еще проводил я в далекий путь, в Карское море, во льды большой пароход; он медленно шел в огнях, в осенние штормы, и пароходом этим правил капитан, с которым неделю назад связались мы крепкою дружбой. Тихо и как бы задумчиво ушел пароход в Маймаксу, и за Маймаксой — было Белое море, и ветер в 5 баллов, и вечные зовы Норда.

Ночью тих, бел Архангельск; ночью, как каблуки сабо где-нибудь в Бретани, простучат о мостки шаги прохожего; ночью дремлют на рейде тяжелые иностранцы; и только четыре двойных коротких удара склянок где-нибудь на судне сорвут стреноженную тишину. Одни солнечные ковчеги лесопильных заводов сиренево сияют в ночи и заунывно визжат продольными пилами. И в ночи лежит северный город, далекий русский порт, который зовут иностранцы — Archangel.

27 июля 1924 г.
Архангельск.

V. Мезень.

Белое море — легкий слив неба и воды. Оно перламутрово-розово в закаты, и голубые миражи нежным обманом возникают на нем для мореплавателей. Оттого никогда не забудет Белое море тот, кто плавал по нему хоть однажды. Оттого любят так это море матросы и капитаны, проходившие иными морями и иные видевшие миражи. На Белом море не может быть нечестен человек: нечестный становится честным, потому что честно Белое море своей единственной красотой, розовым перламутром, серебряным штилем и вечностью первоздания.

Полдневная ночь. Летом нет ночи над Белым морем. Только что сникло громадное рыжее солнце, час-другой голубой тишины, и уже новый день выплывает красной ладьей. Солнечные, беспокойные для нас, вдруг утративших время и сон, ночи. Из кубрика пришли матросы, им тоже не спится внизу, в духоте, в эту ночь. Дружеский дымок папироски. Водный наш путь далеко лежит за кормой — на многие мили оставляет пароход свой след, и колесико лага бесшумно крутится, отмеряя пространства. Матросы лежат на канатах, голые руки закинуты за головы, матросы—все молодежь, двадцать лет, но на голых руках — уже сладкая синеватая эротика бывалых матросов— татуировка: полуголые женщины, женские бедра, женская грудь. В плавании не думают матросы о женщинах, в плавании — непрерывный труд, смена вахт и крутые тяжелые штормы; но, когда приходит пароход в порт, сходят матросы на берег, и тогда шелест каждого женского платья и жен-

:ий силуэт влекут их за собою. В море никогда не говорят матросы о женинах. Женщины — это сладкая береговая отрава. Взять с собою часть ее море—это значит утратить зоркость глаза, крепость мышц, первородное цущение ладной прочности и упругости своего тела.

И матросы в солнечную эту ночь говорят не о женщинах, — а множество лых платочков колыхалось нам вслед на морской архангельской пристани!— атросы говорят о ките, что зашел год назад в Мезенский залив и обмелел нем во время отлива, говорят они о немецком пароходе, которого стукнул ш лоцман неделю назад о затонувший у входа в залив немецкий же пароэд. Мезенского залива боятся иностранные мореплаватели; и рейс в Мезен:ий залив считается тяжелым. Фрахт товаров в Мезень стоит дороже, и роже стоит страховка грузов и пароходов. Ибо в Мезени — второй в мире › силе прилив, в Мезень идет прилив стеною на 20 футов, и в отлив остается рязная зацветшая лужа, которую можно перейти вброд. В прилив заходят Мезень тяжелые океанские пароходы, а в отлив — лежат на боку обмевшие лодки. И если сядет в Мезенском заливе морской пароход на мель, і погиб, потому что силой течения вымоет из-под него песок, и земля занет его в себя. В отмель обнажаются туши погибших у входа в Мезень роходов. И о кораблекрушениях больше всего говорят матросы здесь, озле мыса Толстика, на который на три сажени лезет вода.

В Белом море не знаешь, когда переходит в утро и день солнечная іяющая ночь, и только четыре двойных удара склянки и возникшая ноя вахта — означат время.

Ночью долго говорили мы на корме об изменах моря, о затонувших іроходах, и зверолов-старик рассказал нам много об охотах на зверя, о проіслах Мезенского берега. Семужий промысел — летний промысел Мезени. езенский залив крепко любит семга, и в удачные лета тяжелы ею юнды — іасти рыболовов; под осень, уже перед зимними льдами, приходит еще сто в залив навага. И деревня у входа в Мезенский залив — деревня Семжа. Семже живут лоцмана, мезенские мужики, без которых ни один капитан : зайдет в залив. Для Мезенского залива не может быть точных карт: он жит лицом к Ледовитому океану, открыт всем ветрам и штормам, и ветры штормы меняют дно каждую неделю, они засыпают ямы и вырывают новые, ни уносят красные и белые бакены, и тогда опять лоцманам надо прощуывать дно, промерять его снова и наносить на свои карты, которые не пиутся,—лоцманскую память. И почти весь год насквозь дует на Мезень эрянка — морской зыбучий норд-ост.

У входа в Мезенский залив ревут пароходы и выкидывают флаг: белый лаг с синим квадратом. Белый флаг с синим квадратом означает, что пароход ізывает лоцмана. И на досчатом карбасе выплывает к английскому, голандскому пароходу рыжебородый мужичонко в бахиллах, в картузе до глаз. зе девчонки сидят на веслах, девчонки в сапогах и в платочках, девчонки ебут враз и выкидывают лодку против волны, девчонки с карбасом лоцманом на руле проваливаются в водяную яму, ныряют и нова вползают на гору; и когда лодка подходит к пароходу, одна из дев-

чонок становится на ноги, она стоит, расставив ноги, и ловит чалку. Девчонки травят чалки, и на английский, голландский пароход взбирается со своим скарбом русский мужичонко. Он оставляет внизу свое отрепье, он поднимается на капитанский мостик и поворачивает бронзовую ручку машинного телеграфа; и двойной короткий звонок отвечает ему, что команда услышана. На мостике стоят ловко одетые, гладко выбритые штурмана-англичане и смотрят на русского мужика. Теперь капитан парохода — русский мужик, капитан - англичанин уходит в каюту спать, и русский мужик ведет дорогое пятьтысячтонное судно, застрахованное в лучших английских компаниях, и штурмана видят, как берет он в корявые пальцы новенький Цейсс, и слушают, как по-английски отдает он в рупор команду. На голландском пароходе отдает команду он по-голландски, на английском—по-английски, на норвежском—по-норвежски. И с дремучей улыбкой в рыжих кустатых усах ответил мне лоцман скромно:

— Сорок лет плаваю, маленько-то подучился.

В Мезень приходят иностранцы за лесом. В Мезени — на крутом берегу два лесопильных завода. В Мезени — тундра. Мезень называют люди Иоконгой — ссылкой. И в Мезени мечтают люди об Архангельске, как об Нью-Иорке. В весны и осени непроглядные туманы стоят над тундрой: всю зиму с океана дуют ветры в открытый залив, взад-вперед ходят зимою льды, и тогда такое окаянство, такая пустыня, такое одиночество. Под - зимы в Мезень возвращаются самоеды: на лето уходят они дальше на мхи с оленями, и из Мезени увез с собой приезжий ученый самоедского идола, обмазанного салом. Самоеды пришли под осень в свою лесную молельню, не нашли идола, но нашли расческу, потерянную ученым; самоеды обмазали расческу салом и положили в молельню, вместо идола.

На лесопильных заводах Северолеса,—а Канитферштан севера—Северолес: Северолес кормит 150.000 человек, одну пятую часть населения великой Архангельской губернии, на которой можно разложить всю Францию и Германию, — на лесопильных заводах яростно визжат пилы. На лесопильных заводах работают тысячи людей, у тысячи этих людей десятки специальностей: — плотоломы, зарочики на воде, пильщики, поцепщики, откатчики, горбовщики, тараканщики, обрезчики, дроворезы, бондари, отдергивальщики, подточики, слесаря, машинисты, токари, пилоставы, столяры, литейщики, шорники, шишельники... — все эти специальности пожирает лесопильный завод, как пожирает он сотни десятин родимого нашего леса, пережевывая в свеже - желтеющие, смоляно - пахучие стандарты на лесопильных биржах. За стандартами нашего леса приходят пароходы из Англии, из Швеции и из Голландии, и из всех стран света, и пароход в 5.000 тонн поглощает 1.600 стандартов, т.-е. 240.000 пудов северной нашей сосны и ели. И в Мезень на заводы приходят люди на заработки из Архангельска и со всего побережья Белого моря, и через три месяца бегут уже люди назад, только чтобы уйти, бросая последнее. Зимой затирает Белое море льдами, и тогда лежит Мезень на полтысячи верст лошажьего и оленьего пути

от Архангельска, и почту привозят раз в месяц почтальоны, похожие на лопарей. И хуже всего боятся иностранные матросы рейса в Мезень за лесом. В Мезени стоит неделями пароход на рейде, и некуда сойти на берег, потому что на берегу туманы и комары, триллионы комаров, от которых никуда не уйти. В Мезени нет овощей, люди ходят с распухшими ногами, и цынготное кладбище — богато в Мезени.

В грязном канале завода плавают мокрые бревна; люди в мокрых сапогах стоят на бревнах — в склизь, в осень, в дождь всегда в воде — и сцепляют бревна—по-три — цепями; тогда начинает работать паровая передача и тянет бревна кверху, по покатому помосту к заводу; там другие рабочие проталкивают их в поперечные пилы, и поперечные пилы с визгом и воем распиливают их на доски; и дальше идут доски под новые пилы, новые пилы обрубают их и ровняют, и сортировщик помечает каждую доску, в какой ее складывать штабель. А внизу, куда сверху ссыпаются пыль и опилки, стоят тараканщики—недаром прозвали их тараканщиками—и лопатами сгребают опилки и кидают их в барабан, который гонит опилки в машинную, к топкам; и опилки и пыль попадают тараканщикам в глаза и в открытые рты, и тараканщики кашляют опилками с кровью.

А на рейде стоят иностранные пароходы; их дело—принять только лес с баржей, загрузиться досками и поскорее уплыть из проклятых этих мест в Англию, где из нашей сосны построят новенькие прекрасные коттэджи и новые пароходы для доставки нашего леса, который взошел на нашей цынге.

На бирже, у стандартов свеже-распиленного леса, стояли парни и девки и грузили доски на вагонетки. Над парнями и девками дымом висели комары, и лица парней и девок были черны от комаров. Временами медленно, горстью, проводили они по лицу, и тогда на лице оставались раздавленные комары с кровью и засыхали струпьями. Вечером комары опустились низкою тучей, они облепляли лица, лезли в глаза и уши, и с тундры поднялся туман. В поселки жгли костры от комаров, и дым шел книзу вместе с туманом. В поселке стояли новенькие, свеже-построенные бараки, и на новенькой каланче, на которой висели еще засохшие венки, отмечавшие дату ее рождения, в медвежьей шубе стоял печенег, как на древнем русском кремле. Печенег был—пожарный, и печенег видел сверху лесную биржу, иностранные пароходы на рейде и обмелевший залив, похожий на грязную лужу. Через поселок, насквозь, мимо бараков, лежал деревянный проспект; по проспекту, в дыму, под тучами комаров, бродили парочки, держась за руки. Ибо была—пора любви. В бараках ужинали рабочие, и сине горело электричество. Завод уже пылал огнями в слабые сумерки, и вторая смена начинала ночную работу; завод пронзительно визжал пилами, и в сумраке стояли подцепщики по колено в воде и скрепляли бревна цепями. Проспект лежал далеко за поселок, в тундру. В тундре, в тумане, стояли карликовые сосны, с голым стволом и одною округлою кроной, как яблоньки, карликовые елочки и полярные ползучие березы—все, как дети-старички: есть такие невеселые дети у горьких родителей,—или как уродцы-

старички, что не выросли, а так всю жизнь ходят по земле бородатые, в детских сапожках. Проспект кончался в болоте, и в конце проспекта была белая церковь; теперь церковь переделали в клуб и ставят в тундре спектакли; и в тундре голенастые парни, в черном с желтым камзольчиках, играли в футбол, ибо над тундрой, несмотря ни на что, продолжалась жизнь. И парочки уходили в тундру и в тундре целовались, верно.

И в стороне, над заливом, кладбище, кладбище видно с пароходов, и на кладбище — много зачахших детей и натруженных работой рабочих. А внизу—приливы, отливы, как вздохи вечности: ибо приливы, отливы—вздохи океана. В доме управляющего заводом плотно закрыты окна; окна снаружи залеплены комарами. Жена управляющего, с большими красными припухшими деснами, уезжает в Архангельск; она увозит детей, которые чахнут в этой сыри и испарениях болот, дымящихся даже в сушь. Она моет чашки, наливает чай, и руки у нее дрожат: она боится, что ее не захватят с собой.

Рабочие отужинали в бараках и ложились спать; играла гармоника. Парочка, обнявшись, уходила в тундру, в туман. И у костров, с распухшими от укусов лицами, играли в щепочки дети рабочих, повязанные платками по глаза. Мы ушли к пристани, и на пристань пришли девицы и парни, потому что от пристани отходят пароходы и увозят людей—к другой жизни. Стылой грязью отблескивал обмелевший залив. Внизу, почти в яме, лежали на земле пароходик и лодки. Чайка, как утка, бродила по лужам. Люди стояли на пристани, накрывшись платками, подняв воротники, вздрагивая и отмахиваясь от комаров. Комары пробирались за ворот, в рукава, попадали с дыханием в рот. И на пристани сидели парни и девки, накрывшись кофтами и пиджаками, и забубенно играли на гармонике. Внезапно острое лезвие воды блеснуло справа; вода шла клином от берега—все в ширину, и тяжелые иностранцы на рейде медленно поворачивались на якоре носом к ней: начинался прилив. В эту белую ночь, застывшую над тундрой, увидел я мезенский прилив, второй прилив в мире по силе. Вода быстро разливалась, серебряный клин воды несся вперед, он заливал землю, и чайка, бродившая по грязи, вдруг снялась и полетела прочь. Человеку на лошади не уйти от этой воды; широким серебряным крылом накрывала она землю, неслась ручьями по ложбинам и дорожкам, и уже через минуту заплескалась внизу, о борта парохода. Обогнув пароход, неслась она дальше, двухсаженной стеной, лодки внизу дрогнули и закачались на воде, и через пять минут уже застопорил винт парохода.

И пароход повез нас назад, в залив, к нашему океанскому пароходу, на котором с этой прибылой водой снимались мы через час, чтобы плыть обратно, в Архангельск. Пароход был пустынен утром; один вахтенный встретил нас и принял на борт. Вода прилива, пенясь, быстро неслась мимо. Красное невеселое тундровое солнце поднялось над зубцами елей; быстрыми стежками ткалась по ряби заря. Тот же семжский лоцман, что и привел нас, с измятым со сна лицом и рыжей клочкастой бородой, зевая, выполз из кубрика.

Утром, в открытом море, я поднялся к капитану на мостик. Голубоватая белизна испарений, тончайший опаловый дым лежали над водой. Нежнейший штиль баюкал Белое море. На горизонте шел оранжевый пароход—вез родную сосну в далекую Англию.

16 июня 1924 г.
У Канина носа.

VI. По берегу Ледовитого океана.

Я везу с собой несколько синеватых, хорошо обточенных океаном камней. Я подобрал их на память о земле, на которой — вероятно, единственный раз в жизни—провел один час. На торфяной земле этого океанского острова, с кустиками тщедушных, как неудачные дети, лиловых колокольчиков, обильно навалены были круглые, сухо под ногами хрустящие, камни. И на торфяной этой земле в десятке домов жило население острова—несколько десятков наших промышленников.

Годы назад пришел сюда Робинзон — первый колонист — норвежец Эриксен. Он построил на берегу желтый ладный домик и остался рыбачить. Теперь на острове могилка с железным крестом, под которым спит островной его первенец, годовалый Корнелий Эриксен: это все, что осталось на память о суровой его жизни здесь. И новые люди пришли следом; новые люди построили дома, развесили сети,—и остров стал русским становищем. И у новых людей тоже есть уже на берегу несколько суровых могил, закиданных буграми тех же гладких океанских камней; на одном кресте нацарапана надпись: Никлша из Кеми.—Рыбачью душу сторожит ветер. И тишина. Особая океанская тишина. Я никогда не слыхал бессмертной такой нерушимой тишины, как здесь на острове.

На бечевах меж домов сушились цепи тресковых голов: они идут на удобрение, на гуано. На этой нероднщей земле их дают также в корм коровам,—оттого жидкое скудное молоко пахнет рыбой. Рыбой, гниющими внутренностями ее пропахли все становища Мурманского берега. И люди пропахли треской. Тысячи пудов трески, без которой ни одного дня не может прожить помор, засаливаются здесь и грузятся на пароходы. Ловля ее апостольски примитивна, как и вся жизнь здесь, впрочем. Попадут ли на глаза эти строки капитану Михайле Клышеву—не знаю, но это он учил меня тресковому промыслу. Он провел меня за собой на корму парохода и дал в руки клубок крепкого шнурка, на котором висела металлическая бляшка с крючками. Не надо ничего насаживать на крючки, нужно кинуть только эту бляшку в воду, она размотает клубок, и тогда шнурок мерными резкими движениями нужно подергивать кверху: за глаз, за хвост, за брюхо, распялив копеечный рот, висит на одном из крючков тяжелая платиновая треска. Есть нечто бессмысленное в этом простодушии рыбы, пудами ложащейся на дно рыбачей лодки.

На своих карбасах выезжают рыбаки за 10—15 миль в океан на ловлю трески. День-два проводят они на ловитве, а иногда и неделями носит их

погода по океану, они теряют места, где закинули свои трехярусные снасти с круглыми поплавками из зеленого бутылочного стекла. Но когда проходит погода, отправляются снова они в океан за поисками снастей, и всегда находят их, ибо океан для них — знакомее скудного материка. Пикша, зубатка, треска—летом; под осень—сельдь, заходящая в шхеры плотной подводной стеною — тогда два дня удачи оправдывают промышленнику целое лето опасного, непрерывного труда.

С мая и по сентябрь уходят поморы на промыслы, на Мурманский берег. Женщины, рослые ширококостые поморки, северный камень, уходят с ними; вместе несут они тяжелый первобытный труд. Лишь в конце мая уплывают далеко пловучие льды; океан еще неспокоен, весенние штормы проносятся над ним. В весенние штормы уносит на льдинах наших звероловов, в весенние штормы затирает пловучими льдами их шнёки—до самого мая, и на смену звероловам приходят в мае рыбаки. Месяц-другой тишины над океаном и Белым морем, месяц - другой — незакатных ночей и полуночного солнца—и снова уже осенние штормы, циклоны, несомые из Гренландии, полярные короткие дни и полярные безысходные ночи. В конце августа летний улов трески засолен в бочки, тяжелые пароходы уже свезли их в Мурманск, в Архангельск, в конце августа пустеют становища, возвращаются промышленники по домам, и остаются в становищах лишь те, у кого нет другого дома, — колонисты.

Здесь, в камнях, под бушующий зимний рев океана, проводят они полярную пору; уже в январе, когда родят нерпы, выходят они на звериный промысел. И выходят на вешний бой зверя из своих кед—звероловных становищ: из Койды, из Зимней Золотицы до Семжи—со всего Зимнего берега — звероловы. Южный ветер — обедник крошит лед у берега, у берега лед ходит взад-вперед, и меж ходучего льда пробираются звероловы на своих ромшах. С января и до мая уносит их на Канин нос, на Мезень; и множество звероловов-норвежцев — десятки лодок и траллеров — приходят к Моржовцу за беломорской добычей.

В январе родят нерпы. Они лежат штабелями, серостальные, со своими щенками на льду. Они покорны, кротки и беззащитны. И бой их смертен и жесток. Самки-нерпы и новорожденные бельки, шестинедельные хохлуши и годовалые серки, которых толкает мать уже в воду, учиться плавать. Они лежат неподвижно на льду и с любопытсвом смотрят на звероловов. Они любопытны, любят яркие цвета — красную окраску парохода и разнообразие в ледяной пустыне—людей. Сторожевой матерый лысун дремлет, временами поднимает он голову, смотрит округ и снова дремлет. Звероловы втаскивают свои лодки на лед. Они подходят ближе к тюленям и начинают стрелять в воздух. Сторожевой лысун поднимает голову, слушает треск; но все спокойно, звери лежат спокойно — и лысун дремлет дальше. И первым убивают сторожевого тюленя. Зверя нельзя ранить, если ранить его и на льду будет кровь или уйдет он в воду, все тысячное стадо сорвется под лед, и тогда пропала охота. Зверя надо убить. И когда тюлени привыкают к выстрелам в воздух, звероловы начинают бить их в упор. Они подходят

к самкам и бьют их прямо в лоб, они разбивают баграми черепа новорожденных бельков, и звери никуда не уходят от них. Они покорно лежат штабелями и ждут своей участи. И только нерпы-матери плачут. Большие белые слезы катятся из отекших их кротких глаз. Они не настолько осознали опасность, чтобы уйти, но есть в них этот последний ужас — и катятся слезы — вероятно, слезы матерей. Бьют звероловы и морского сторожкого зайца-одиночку, бьют морских свиней, бьют белух. В феврале, когда идут белухи стаями, заводят звероловы их крепкими веревочными снастями к берегу и с берега насыпают лопатами песок в открытые рты зверей. И на помощь кустарному способу избиения зверя приходят норвежские, английские траллеры, отлично вооруженные, вмещающие сотни тонн убитого русского зверя.

Земля помора — вода. Только на воде он устойчив. И с первых дней, как тюлени бельков, приучают поморы детей к воде. В 6 лет поморский мальчик уже добытчик — з у й: от 6 и до 9 лет — отбивает он яруса снастей, глушит крючки, разбирает сети, — за работу получает он рыбину. Зуи — песельники: перебирая детскими ручонками снасти, они поют, и детская песня — заунывная песня, рожденная этой опасной и трудною жизнью, из рода в род, от одного креста по ушедшим в море и не вернувшимся назад — до другого. В 12 лет зуй становится н а ж и в о щ и к о м — шесть лет кряду, до 18, наживляет он рыбу, и с 18 становится он в е с е л ь щ и к о м. На веслах он крепнет, и на веслах к 22 становится он т я г л е ц о м — тем, кто тянет сеть первый. Тяглецу на промысле — первое место, и за тяглецом последнее только есть в суровой жизни помора — он становится к о р щ и к о м. Корщик—капитан, хозяин. У него своя шнёка, он выходит в море выбросить свой ярус; он примечает — одною своею приметой, без компаса — место, где найти поплавок — красный деревянный кубас. По приметам замечает он направление — п е л л и н г, по щепке, брошенной в воду, узнает он скорость течения. Сто раз переплыл помор-капитан океан, побывал он в иностранных водах, умеет по-английски, и по-норвежски, и по-голландски,—знает он большие порты — норвежские Вардэ и Берген, Кардиф и Лондон, и Роттердам, побывал он и в Гамбурге,—мог бы, наверно, он быть капитаном большого парохода, — а до последнего шторма своей жизни плавает он на том же все утлом струговом паруснике. На том же паруснике ходят поморы на зверя и ловят на крюки синих океанских акул. Чтобы не загрузить их тяжестью лодку, они выпускают акуле печень, надувают ей внутренности, чтобы плыла акула за баркасом, или попросту кладут ей в брюхо полено, чтобы не затонула и другие акулы не стали бы грызть ее, упуская наживку. На тех же парусниках бьют поморы в Карском море, близ Новой Земли, моржей. Рассвирепевший раненый морж — не тюлень, он лезет на лодку, он захватывает ее за край железными бивнями и опрокидывает, как скорлупу; и нет лютее матерого крылана-моржа, приплывшего из Грумеланда, со Шпицбергена: опытный охотник не идет на такого моржа, идет на него молодой и горячий — и удача его, если пуля верна.

Мы идем второй день становищами, Мурманским берегом Ледовитого океана. Соль, бочки, гвозди, сушки везем мы на промысла. Дикие берега, обглоданные океаном, в ледниковых морщинах, как ступня первобытного зверя. О рифы султанами бьются буруны волн, застилая берег жемчужным дымом. Глыбами рушится океан на глыбы материка. Дик он в штормы, и дика первородная эта земля — гранит и мох. Осенью приходят на берег лопари, осенью редеют становища поморов, один ветер да вода, да лопарское житие, да самоеды кочуют на мхи с оленями. И входы в шхеры — сторожат черные острова. На черных островах часто ставят кресты поморы по жертвам моря. И белая пена вскипает неустанно — за столетьем столетие—округ черных глыб, растерянных на пути ледниками. За островами — тихие заводи, мачты парусников в бухтах становищ и гагары, нежно стонущие по утесам. Крупная свежая волна идет океаном, а в шхерах — серебряный штиль, пепел и графит, недвижная вода фиорда и черный берег, стеной спадающий вниз.

Капитан Михайла Ккышов приехал на остров погостить и порыбачить к старому своему боцману, с которым вместе ходил он в Австралию и к берегам Южной Африки. Теперь боцман давно осел здесь на острове, круто поседел, сам стал корщиком — хозяином себе и капитаном. Десятки лодок, шлюпок, карбасов, первобытных тяжелых шнёк, с раскрашенными синими резными носами в виде конских голов, пристали к пароходу. В лодках стояли поморы в тюленьих куртках и в норвежских клеенчатых шляпах. Они стояли, расставив ноги, и расставив ноги стояли они затем на палубе парохода, и от них круто пахло спиртом. Без спирта помор — не охотник. Спиртом скрашивает помор свою трудную опасную жизнь, спиртом скрашивает он осенние штормы и зимние полярные ночи. За спирт отдает он пуды рыбы, он меняет ее на спирт у норвежцев, и за спирт отдают самоеды пушнину и оленей, и за спирт охотник-печорец отдал единственный экземпляр, редчайшую добычу, живого прекрасного чернобурого самца. И пьяные поморы качались на прочной палубе парохода и были необычайно устойчивы на своих швыряемых о борт парохода лодках. Загруженные бочками, гребли затем они к берегу, прикованные к лодкам, как прикованны к своим коням степные наездники.

Боцман с круглой белой бородой встретил своего капитана: не виделись они лет восемь. Капитан сказал:

— Поседел ты малость.

Боцман ответил:

— И ты не назад пошел.

Капитан сказал:

— Как улов?

Боцман ответил:

— Рыба ровная, ничего.

Так они дружески приветствовали друг друга. На севере люди малоречивы и подозрительны. Люди на севере трудно пускают в себя, а если уж пустят, то такую подчас увидишь глубину северную и душу человеческую, что сердце зайдется от счастья.

Капитан Михайла Клышов свез нас на шлюпке на берег. Обточенные куриными яйцами сухо шуршали камни. Торф был тепел, на торфе лиловели цветы. Пока грузил боцман свой карбас, зашли мы к нему в дом. В первой половине—он столярил, во второй—было северно-чисто, домовито, по стенам висели фотографии: жил он один, бобылем. У домишки напротив трое зуйков-мальчуганов разбирали снасти, они посмотрели на нас и раскрыли пустые цынготные рты. На теплом торфе лежал старик с цынготными распухшими ногами. Старик сказал:

— Сняли бы с меня портрет, что ли. Как я в последнюю навигацию двигаюсь.

Я спросил:

— Куда двигаешься, дед?

Он поднял бороду к небу:

— А вон... в становище.

В боченках на берегу квасилась макса—тресковая печень: из тресковой печени делают рыбий жир. Меж камней лежали позвонки тюленей. Поморы ходили по берегу, вытирали мокрые лбы и говорили сами с собой. Их желтые бороды были спутаны, глаза мутны, тяжелые клумпы — кожаные башмаки на деревянных подошвах — цеплялись за камни, но работали они споро, без задержки. Горячий океанский день лежал над островом.

Здесь на берегу я простился с капитаном Клышовым, много мне рассказавшим по пути о том, как живут люди моря: второго писателя встретил он в своей жизни. Первый был — Михаил Пришвин, с которым юнгой плавал он на траллере «Николай». Нагруженные лодки от'езжали от парохода. На одной — в котелке, в серебряных очках, с стриженной рыжей бородой, стоял помор-начетчик, старообрядец. Мы медленно вышли из залива сквозь черные ворота шхер. Зеленая вода в бурунах разбивалась о мамонто-подобные скалы, гагачьими перинами раскидываясь по бокам парохода. Птичий базар белел известковым пометом. Великолепный послештормовый ветер звонко засвистал на вантах. Час спустя зашел я в каюту радиотелеграфиста. Он стоял с обручем на ушах; стрелкой конденсатора поймал он волну и разматывал ее в ученической тетради карандашною записью. Пока он расшифровывал запись, я надел на минутку обруч. Телеграфная азбука глухо застучала мне в уши. Радио с Канина носа сообщало, что на траллере «№ 15» погибло в шторм ... человек.

1 июля 1924 г.
О. Гаврилов.
Ледовитый океан.

VIII. Мореплаватели.

Большое блюдо со свежей треской вдруг поползло мимо нас; треска была густо облита соусом с рублеными яйцами; соус заказывал коку полярный собиратель об'явлений. Полярный собиратель об'явлений ездил собирать об'явления едва ли не на полюс. Полярный собиратель об'явлений вдруг побелел, блюдо со свежей трескою под яйцами с необычайной живостью грохнулось на пол, и застывшая улыбка трески была зловеща. Потом загрохали

двери кают, белоснежный стол кают-компании круто понесся вверх—и вдруг все устремилось вниз, в бездну, о пол хлопнулись еще четыре тарелки с трескою, и полярный собиратель об'явлений, держась руками за рот, исчез за дверьми уборной. Пришла пароходная горничная, горничная подобрала треску и домашне сказала, что начался шторм.

Из каюты вышел капитан, веки его были припухлы; он поднял воротник пальто, посмотрел на часы в браслете и стал подниматься на палубу. Я спросил:—Шторм?—Он ответил:—Да.—Мы вместе поднялись, и разом пеплом и искрами капитанская папироса запорошила мне глаза. Потом увидел я наклонную плоскость палубы; палуба шла стремительно вниз, и по палубе катался боченок с шелегой — тюленьим салом, разбившийся боченок крутился в потеках сала; и вокруг боченка вертелись три матроса, матросы ловили боченок канатом, и матросов вдруг несло мимо, по плоскости палубы; матросы хватались за стенки машинной крышки, выжидали и снова ловили живой боченок.

Шторм шел с Гренландии, его кривую задолго отметили на карте погоды в метеорологической станции; и в его кривую входили мы с утра. С утра дул норд-вест, и с утра падал барометр. Его спиральная душа трепетала в дубовом гнезде, до полдня упал он на двадцать делений, и падал ниже, и к полдню норд-вест перешел в норд. На капитанской вышке, под ветрами, в туманах и в непогоду — знают там одни капитаны да рулевые-матросы эту медленную зыбучесть стрелки в медном кольце, указующей путь, страны восхода и страны заката. И капитаны и рулевые знают, что если клонит стрелку налево, с норда на норд-ост, и что если ветер в 5 баллов крепчает до 6, — это значит — близится шторм. В шторм глухо ревут пароходы в туманы и ледяную мглу; и в шторм глухо ревут сирены маяков — голосами потерпевших кораблекрушение. И если ветер становится крепче — говорят матросы: «пошла морянка», и если вышло судно из шторма — говорят матросы и мореплаватели, что была крепкая трепка. Матросы мало говорят о штормах, об опасностях моря, ибо люди воды знают, что когда разверзается стихия,—надо с ней бороться, и тут нет места трусам или лентяям. Надо бороться кровавым трудом — и труд на море самый большой, самый спорый и самый зоркий, ибо надо быть прочным на ногах, иначе смоет с палубы волна, и надо ничего не бояться, иначе трусу отомстит море; и когда выходят потрепанные победители из шторма, тогда хорошо утром увидеть солнце, землю и милый возвращенный мир. Помор - капитан узнает о шторме раньше, чем кривую циклона нанесут на карту на станциях погоды. Он встает утром и видит, что цвет воды изменился; он слышит, что ветер иначе поет в мачтах, тоньше и заунывнее; тогда он вынимает часы, подтягивает брюки, бросает за борт щепочку и шагает за щепочкой с часами в руках по палубе; и сколько он сделал в минуту шагов за щепочкой—это скорость течения, потому что у поморов-капитанов нет лага, который отмерит течение и отмерит пространства, и потому что секстант поморов — их глаз, и стрелка компаса лежит в них самих, и у поморов-капитанов спиральная душа, как у барометра.

За ночь океан вздулся и потемнел, как человек, перенесший горе. Он ыл воспален тяжелым предчувствием и бешено метался, он валил одну водяую гору на другую, и тяжелые стада допотопных животных в беых косматых гривах неслись на черные невидимые берега. Меня отнесло а боченки с солью, свирепо скрипевшие, стукнуло о боченки, пребольно тбросило к борту спасательной шлюпки под брезентом и легко понесло перед, к носу, мимо открытых ставень машинной, откуда пахнуло вдруг айским теплом; там я схватился за поручни капитанской лесенки, ступеньки были обиты медью, накануне их крепко оттер подматросик Володя: го дело на пароходе было — оттирать медные части, и он вложил в это ело великий пламень своей четырнадцатилетней матросской души. Ступеньки ыли мокры, они отвратительно уходили вниз из-под ног, но я все же упорно ересчитал их ногами — и с капитанского мостика открылся океан. На капианском мостике рвало брезент, поднятый до уровня глаз от ветра. На край резента хорошо в непогоду опереться кончиком носа, тогда внизу — тепло защита, и поверх брезента — одни глаза, которыми нужно сверлить туман пространства; и если в водяной пустыне увидишь черную черточку, кроотное тире — становится сердцу теплее, ибо черная черточка — дым парохода, и это значит, что мы не одни в водяной пустыне, и что в тот же шторм дут по ней — люди. Поэтому, может быть, нигде так не чувствуют люди семирного братства, как в водах морей и океанов, и моряки всего мира пути—одна семья, связанная одною порукой — борьбой с морем.

Белолицый компас, перетянутый белыми ниточками — самый точный омпас на ниточках — жадно указывал ветер: норд-ост. Черная коврига носа, ак дьявольские качели, то круто взлетала в сизое небо, в сизом небе несись рубища туч, то круто уходила в пучину, в хаос, и тогда широкая вода злетала и неслась по палубе и потоками свергалась вниз. Впереди быстро ла на нас белая стена тумана, даже не белая, а как серное дыхание преисподней, в это серное дыхание, тяжело ревя, грохоча всеми восьмистами сил вух машин, вошли мы в это утро. И мир закрылся. Мир солнца, небес, миажей, берегов. Этот земной незабываемый мир — остался лишь миром умоостигаемым. Белая карта в штурманской рубке, компас, колесико лага—смеили его. Надо было много множить и делить, высчитывать и вычислять, тобы в туманах и рифах отыскать наше место во вселенной. И в штуранской рубке оседлывали карты штурмана, они сверлили их логарифмами, в логарифмах возникал мир, в котором шел пароход. Штурмана будут апитанами: надо двадцать лет плавать им по морям, и надо им совершить ва дальных плавания—к берегам чужих земель, в чужие воды, чтобы заоростеть солью всех морей,—тогда станут они капитанами.

В штормы—нет человеческих голосов, в штормы срывает ветер голос апитана, и тогда по одним его свисткам с капитанского мостика носятся низу штурмана: у лага, у якоря, у карт, у компаса — везде всегда штурмана, ак добрые Лары, берегущие пароход. И штурмана, которые будут капитаами, любят в тихие ночи штиля, когда с легким треском и пеной несется нaд, всегда мимо, вода,—любят они вспоминать в эти ночи, как шли чужими

морями, как заходили в иностранные порты, как стояли в Гамбурге, Лондоне и Петербурге, и как трепал в Скагерраке их шторм...

Полицейский свисток капитана протянулся в туман, и на конце свистка тотчас же возник младший штурман. Младший штурман поднял ладонь ребром кверху, и капитан показал ему четыре пальца правой руки и два пальца левой: так они сговорились, и штурмана понесло на корму, к колесику лага. Сбоку, в тумане, близко, была земля, был Мурманский берег, и сбоку в тумане, близко, были камни и рифы, и на камни и рифы могло отнести сумасшедшим течением, поэтому надо было брать курс на румб на восток и держаться в открытом океане. Капитан прокричал скрипуче:

— Право не ходи!

Рулевой крикнул:

— Есть, право не ходи!

Капитан крикнул снова:

— Так одерживай!

Рулевой крикнул:

— Есть, так одерживай!

Так перекликались они, как чайки, и крики увязали в тумане, крики с'едались туманом, и туман сыро лез в уши и намокал в ноздрях. Справа стеклянно зажегся изумрудно-зеленый фонарь, и слева рубиново-винный, на фок-мачте желчно заплеменел огонь, капитан потянул веревку, и диким истошным ревом, тоской плененного зверя завыл в туман пароход. Шла ночь. Ночь шла чернотой, хаосом вод, и в ночь с удесятеренной силою бился пароход о водяные груды, он грохотал всеми своими топками, облитые маслом поршни остервенело и сладострастно ходили взад и вперед в машинной, и в машинной стояли полуголые люди, они измеряли температуру этого беснующегося чудовища, силу его дыхания, они ополаскивали и промасливали его легкие и желудок, — и между людьми, изнемогавшими в жаре и угаре машинной, и между людьми, стекляневшими наверху, в космической высоте,— между ними в жарких каютах с плотно задраенными иллюминаторами, в никкелевых люльках спали люди—пассажиры 1-го класса. Пассажиры 1-го класса отлеживались от качки, у пассажиров 1-го класса мирно горело электричество, блестел никкель и свеже белело полотно простынь. Пассажиры 1-го класса сосали лимон, у кого он был, леденцы, накуривались, спали в глухие подушки, чтобы ничего не видеть и не слышать, чтобы подогнать сновидения к ритмической раскачке парохода.

Со стеной тумана пришел мрак, ночь. Шторм обещал развернуться ночью. Барометр ушел в бесконечность, в дебри бесконечного «sturm'а». Радио перехватило обрывки, обрывки были с английского парохода, английский пароход искал в тумане пути. Промятая шляпа капитана трепыхала полями, капитан чуть маячил во тьме, капитан сосал мои карамельки — хорошо в бесприютную ночь ощущать за щекой кисловатую сладость домашней уютной конфетки. Три раза штурмана бегали на корму смотреть лаг; их сразу с мостика сносило во тьму, они срывались ветром и плеском воды. И два раза сходил капитан в штурманскую рубку: в штурманской рубке была

келто облита светом карта, на карте прочерчен был путь парохода; на штурманском столике лежали циркули, углюмеры и карандаши. Капитан раскорячивал ножки циркуля, он прикладывал углюмер, на лбу капитана громоздились в складках продольных морщин биномы и кубические корни, капитан высчитывал силу течения и силу ветра, он высчитывал влияние на магнит металла парохода, и из всех этих корней возник, наконец, траверс, длина траверса—расстояние от берега, перпендикуляр, ближе которого нельзя итти к берегу, потому что ближе — рифы и банки. Лица штурманов были склонены над картой, лица штурманов были напряжены и сизы от ветра, и глаза их от ветра были воспалены. И когда был рассчитан траверс, решил капитан бросить здесь якоря, потому что в тумане тоже мог итти навстречу заблудившийся пароход, капитан снова вышел из рубки на черную палубу, на черную палубу вышли штурмана, и в эту минутут я понял, что погибаю, потому что потоком ледяной воды ударило меня в лицо, понесло мимо в черноту и... поколотило в боченки. Боченки скрипели на привязи, боченки уютно пахли рыбой, я прижался вплотную к ним и освоился с чернотой; в черноте по палубе носились люди, люди были — матросы, матросы закрепляли канаты боченков, матросы были мокры, и матросы в эту ночь работали без смены вахт; в эту ночь случилось много несчастий, в эту ночь кренило пароход в 40°, в эту ночь сорвался десяток боченков с шелегой и солью и носился по палубе, боченки нужно было поймать в черноте и закрепить, в эту ночь в бункер—угольную яму—свалился второй кочегар и крепко разбил голову, в эту ночь в шпигаты — трюмные дыры—налилась вода, надо было откачивать воду, — в эту ночь вся команда парохода была на ногах, и машины в эту ночь работали на 12 узлов, чтобы одолеть воду. Кочегары сгорали от жара, они выбегали, чтобы охладить ветром лицо, и опять возвращались в адовый жар своей преисподней.

И в эту ночь стоял рулевой возле капитана, над рулевым и капитаном было открытое небо, потому что вожатым парохода не полагается крыши или защиты, чтобы не стали они дремать. Над капитаном и рулевым ревел в эту ночь норд-ост, норд-ост заливал их лица сетью холодных брызг, и капитан делал сорок первую навигацию в своей жизни, а матрос-рулевой всего третью, ибо было ему восемнадцать лет. Матрос стал на вахту в двенадцать ночи, и с двенадцати ночи до восьми утра должен был он вести пароход, в его восемнадцатилетних руках было колесо жизни многих десятков людей, с матроса со стуком стекала на пол вода, туман раз'едал глаза, и только, как драгоценное спеленутое дитя, в золотом свете под медною каскою пеленгатора дремал компас. Ночью два раза спускался в каюту капитан — за папиросами, и только эти минуты, пока деревянными пальцами засовывал он в портсигар папиросы—был он в тепле, и снова уходил он на вышку,— стеречь пароход. Всю ночь грохотали боченки по палубе, всю ночь носились за ними матросы с лассо, как за дикими конями, всю ночь сверлили карту штурмана, всю ночь изнемогали от неслыханного жара полуголые люди в бушующем недре парохода, и всю ночь восемнадцатилетний матрос — в вышине, в темноте, в хаосе, отвечал капитану: — Есть, так держать!

Ночью тревожно грохотали якорные паровые лебедки, ночью закачался я тоже в никкелевой люльке душной каюты 1-го класса. И за ночь прошел над пароходом гренландский циклон; он ямами изрыл океан, трижды вспахал его, остервенил, и утром — во след циклону — была мертвая тысячетонная зыбь, тысячетонная зыбь валяла пароход, сваливала в яростные ямы, и за стеною в уборной шел непрерывный лай пассажиров. Они изрыгали внутренности, воспоминания о прочной жизни на незыблемой земле, и полярный собиратель об'явлений был страшен, как ангел мщения.

Пароход простоял на якорях тьму, теперь была серизна рассвета, последняя окаянная серизна, и в серизне рассвета снова шел дальше пароход, и в серизне рассвета стояли на мостике тот же все восемнадцатилетний матрос и капитан, потому что матрос-рулевой и капитан вели пароход. У них были костяные лица и красная бахрома век; изо рта капитана воняло табачным перегаром. А люди внизу, в каютах, досыпали сны, люди проспали всю ночь, и в полдень мутно вылезли люди на палубу, ибо в полдень прорвало тучи, и мокрый солнечный луч нестерпимо зажегся на меди парохода. И в бухте, где стоял пароход, была спокойная вода фиорда; в бухте рядом лежала черная дуга земли; в бухте была тишина, ибо глыбы океана ломались о черные скалы в рубцах от побоищ, пена летела в небо, и черные скалы сторожили бухту. Бухту эту нашел капитан в тумане, и в бухту провел он пароход коридором рифов и скал. Капитан ушел спать, и рулевого четырьмя ударами склянок снесло спать, спать, на палубе была новая вахта, новая вахта не спала ночь и новая вахта делала свое обычное матросское дело, и медный шлем компаса оттирал наждаком от соли подматросик Володя.

Гренландский циклон несло дальше, через Ледовитый океан, в Ледовитом океане шли другие пароходы, и для других пароходов начинались часы борьбы, ибо связаны мореплаватели всего мира одной круговою порукой — борьбою за жизнь. Штормы, норды, рифы — ими отмечена жизнь мореплавателей, как морская карта; и в штормы, в норд, в рифы идут они год за годом — до последнего своего шторма, норда, рифа.

Матросы на палубе делали в это утро свое матросское будничное дело, в кают-компании ополаскивали горячим чаем пустые желудки пассажиры 1-го класса, и полярный собиратель об'явлений был, как ангел, возвращенный небу. И капитан проспал в это утро целых три часа кряду, он мог спать три часа кряду, это был каменный сон столетий, и каменный сон столетий дремал над бухтой Подпахта, на гранитных ее кручах, из'еденных солью веков, рубцами побоищ, на кручах, растерянных по пути ледниками, веками встречающих и провожающих владетелей ветров и свободы — мореплавателей.

11 августа 1921 г.
Становище Шельпино
Ледовитый океан.

Литературные силуэты.

А. Воронский

Демьян Бедный.

Наша революция — рабочая. Но произошла она в стране, где огромное большинство населения сермяжное. Если вопрос о союзниках пролетариата в переходную пору является одним из самых коренных, то тем более это надо сказать о России. Правда, в силу целого ряда экономических, политических и бытовых условий наше российское селянство неминуемо и неизбежно толкалось к рабочему. Ретроградность отечественной буржуазии, ее прямой союз с помещиками и с царизмом, наличие крепостнических остатков, напряженность классовой пролетарской борьбы во всем мире, война 1914 г., — это и многое иное облегчало русскому рабочему руководство крестьянством, но все же оно было сопряжено с очень большими трудностями. Крестьянство то колебалось вправо и влево, то старалось занять некую нейтральную позицию. «Две души» в крестьянине—собственника и человека труда, помыкаемого из века в век—со всей силой сказались в этих колебаниях. Худо ли, хорошо ли, но содружество рабочих и крестьян осуществлялось в жизни. Наглядное тому доказательство — провал интервенции, блокады, белых армий, махновщины; республика советов не могла просуществовать семь лет без этого содружества. Конечно, это не значит, что задачу сожительства двух трудовых классов можно считать решенной: в различные этапы революционной борьбы за всесветное утверждение пролетарской диктатуры возникают новые затруднения в зависимости от изменяющейся международной и внутренней обстановки.

По силе сказанного у нашей революции есть свое особое лицо. В ее рабочем лике явственно проглядывают черты крестьянского обличия. У нее крутой, упрямый, твердый лоб и синие, полевые, лесные глаза; крепкие скулы и немного «картошкой» нос; рабочие, замасленные, цепкие, жилистые руки и развалистая, неспешная крестьянская походка. От нее пахнет смесью машинного масла, полыни и сена. Она заводская, но ее заводы — в бескрайних просторах степей, равнин, в лесах и перелесках, в оврагах и буераках. У нас рядом, бок-о-бок: заводская труба, каменные корпуса и лесная глухомань, идущая из таежных нетронутых мест, от могучей тайги, где мрак и

тишина первозданны, непробудны и пока все еще не рушимы. У нас поля наступают на заводы, и дерево господствует над бетоном и сталью. Наши города затеряны в гигантских зеленых и белых пустынях.

Лик революции нашей складывался из взаимодействия двух основных движущих сил: одной — рабочей, упорной, осознанной, уверенно идущей к намеченной цели, дисциплинированной и сжатой в крепкий стальной кулак; здесь элементы положительного построения нового будущего общества всегда имели преобладающее значение, — конечная цель никогда не упускалась из виду, не застилась, не меркла пред глазами, всегда была ощутима, видна, как блаженная страна «там за далью непогоды», не разменивалась на мелочи, на пустяки; другой — стихии крестьянско-бедняцкой, страшной и беспощадной в своей лютой ненависти к захребетникам, судорожно тянущейся к земле, как тянется с пересохшим горлом жаждущий к воде, — но ограниченной в своем размахе идеалом свободного от всех налоговых и политических пут мелкого собственника, сторожкой и недоверчивой, тугой к восприятию заповедей, начертанных на новых красных скрижалях. Предоставленная самой себе крестьянская стихия поднималась до революционной партизанщины, до «волчьей» свирепой борьбы с белыми армадами, но легко выдыхалась, распадалась и рассыпалась, как бочка, с которой сняты обручи. Только скованная пролетарскими обручами она, стихия эта, получала надлежащее оформление, закалку и отшлифовку, становясь грозной для мира угнетения и надругательства человека над человеком.

Так складывалось, формировалось «лицо» нашей революции. Ее образовала социалистическая борьба рабочего класса, соединенная с таким (и далеко не всяким) крестьянским движением, которое подпадало под руководство пролетариата и его авангарда и в свою очередь окрашивало в крестьянские цвета борьбу городских рабочих за торжество его исконных целей.

В поэзии это пролетарское лицо русской революции, но с ее крестьянским обличием отразил, как никто иной, Демьян Бедный.

I.

Известна та исключительная роль, которая выпала на долю стихов Демьяна Бедного в годы революционной борьбы. Его басни, частушки, песни проникали в такую толщу народных масс, о которой не мог мечтать ни один русский писатель. Его «все знали»: на каждом заводе, в любой красноармейской части, в глухих селах и деревнях. Его читали красные, белые, зеленые. Обо всем этом, впрочем, писалось вполне достаточно. Гораздо целесообразнее поэтому остановиться на другом моменте. Популярность Демьяна Бедного, разумеется, зависит от свойств его таланта, но сами эти свойства оказались столь действенными в огромной мере лишь потому, что получили надлежащее направление. Демьян Бедный очень верно, точно и своевременно увидел, что наша пролетарская революция имеет крестьянское обличие. У нас было немало, так называемых, индустриально-производ-

твенных поэтов. Русскую революцию они изображали как торжество железа і бетона. Страна и даже весь космос превращались ими в один огромный плошной Завод с большой буквы. Делались даже попытки, на словах коечно, поставить живого соловья чучелом на полку, заменив его стальным оловьем. Это была упоительная индустриальная романтика, рожденная ктябрем, но далекая от реальной жизни и нашей российской действительости. Естественно, что во дни Нэпа писатели-индустриалисты скоро вступили в полосу острого поэтического кризиса, неизжитого и доселе. В силу той же отвлеченности литература индустриалистов не получила широкого аспространения, оставшись достоянием литературных групп и кружков. ругая часть писателей не только не была заражена индустриализмом, но, наоборот, художественное свое внимание сосредоточила на нашей якобы исконой мужицкой стихии. Отсюда: скифство, преклонение пред русским лаптем тараканом, затхлый националистический душок, планетарное бунтарство, еспредельный и безбрежный максимализм, которому ближайшие цели, оставленные авангардом пролетариата, казались низменными, узкими. Іто была тоже романтика, рожденная революцией, но тянувшая наад к бунтам Пугачева и Стеньки Разина, либо к интеллигентскому неприятию мира. Социально-политический смысл ее заключался в противоборстве ролетариату, стремившемуся революционную стихию ввести в намеченное усло. Романтика мужицкой стихии тоже была абстрактна до конца. Кризис того литературного направления начался давно, с 1918 года, как только тало обнаруживаться, что русский рабочий должен был во что бы то ни стало одчинить и организовать крестьянскую стихию. Всем памятна трагедия лока, оставившего чудесный памятник, поэму «Двенадцать». В последуюие годы Блок перестал слышать «музыку революции»: он воспринял революцию, как вечно-бушующий разлив, и не мог принять ее, когда огненного коня» взнуздала жестокая рука коммуниста. Нэп и окончание ражданской войны, внесшие сначала большое оживление в это направление, воей трезвенной деловитостью по существу, однако, были враждебны этой омантике, что не замедлило скоро обнаружиться, пример чему хотя бы Борис Пильняк, уже давно покинувший свою допетровскую Русь и ищущий ыхода в союзе остатков прежней интеллигенции с коммунистами на почве орьбы с русской отсталостью, с некультурностью, грязью и Азией.

Демьян Бедный не пошел ни по тому, ни по другому пути: ему остались уждыми и романтика индустриализма, и романтика «бушующего разлива». подходе к русской революции он остался марксистским реалистом. Он ни а миг не забыл, что диктатура пролетариата осуществляется в стране, е фабричных труб неизмеримо меньше, чем деревенских колоколен, что ез крестьянина русский рабочий неминуемо придет только к поражению. н знал также и то, что далеко не всякое крестьянское движение полезно ролетариату, что мужицкая стихия положительна только до известного редела, что в крестьянине сидит прочно «душа» собственника, что он темен, бит, неграмотен. Зато голос мужика, живущего вечно в кабальном труде, оэту близок, понятен, сродственен.

Творчество Демьяна Бедного несомненно своими корнями уходит в мужицкую почву, в чернозем. У него очень много от мужика. Недаром он говорит о себе: «с мужиками—мужик по-мужицки беседую». Или:

В печальных странствиях, в блужданиях по свету
Я сохранил себя природным мужиком...

...Мой ум мужицкой складки...

Это — не уловка опытного поэта - агитатора, подделывающегося под крестьянина, а выражение его настоящих дум, настроений и чувств. В центре поэтического творчества Демьяна — пролетарская революция, но упершаяся в мужика. Поэтому можно сказать, что в известном ограничительном смысле главным героем в произведениях Демьяна Бедного является мужик. К мужику ведет прошлое поэта. Он вспоминает избу, поле, ковригу хлеба, ночное, продувного приказчика Мину, барского выездного лакея, господскую ёлку, на которую к барчукам «допускают» деревенского мальчугана и великодушно награждают хлопушкой, но с барским нравоучением: «Вот растите дикарей: не проронит слова». Это в гостях, а дома:

Попрощались и домой.
Дома пахнет водкой.
Два отца — чужой и мой
Пьют за загородкой.
Спать мешает до утра
Пьяное соседство...

Незабвенная пора
Золотое детство...

Деревенское безземелье, обездоленность, убогость и сирость, нищету, разорение, голод, казарменную муштровку «серой скотинки», жадность мирских захребетников, издевательство и помыкательство крестьянином со стороны извечных деревенских ворогов — помещиков, урядников, кулаков — Демьян воспринял не со стороны, не из книг и не по наслышке, а натурально, как бытовое, пережитое.

По-мужицки Демьян ненавидит «бар и господ» ненавистью ярой, тяжелой, черноземной, низовой, жгучей, густой, по-мужицки ядреной, выношенной в ярме и в унижениях, скопленной веками. Кажется порой, что поэт задыхается от нее, ищет слов, самых крепких и выразительных. Оттого он не устает звать бедняков «завинчивать покруче гайку» и выкорчевывать «все корни злые, все, со всею мусорной травой, налечь и прижать вампиров и богатеев так, чтоб им дыханья не было, чтоб жирная, да толстая кишка их сразу лопнула». Для господствующих классов у Демьяна есть свои любимые слова и определения: «гнусные гады», «злой вампир», «гады, охрипшие от воя», «издыхающая гадина», «холуи», «прохвосты важные, прохвосты рядовые», «лакированный бандит», «жеребячья порода», «сволочь митрофорная и рясофорная», «антихристы долгогривые» и т. д. Звучит это не совсем эстетично, но крепко и решительно. Его ненависть примитивна, но цельна, полно-

кровна и беспощадна. Это—не розовая водичка, что течет в жилах «культурных», «цивилизованных», квалифицированных западно-европейских эс-деков, до сих пор поддерживающих Вандервельде, Шейдемана, Макдональда, являющегося предметом долгих и напрасных вожделений со стороны наших меньшевиков и кадетов. Там тоже речи и слова об иге капитала, о светлом идеале социализма, об угнетении трудящихся, но все это прилизано, приглажено, приутюжено; и в помине нет ни «гадов», ни «сволочи». Опытные вожди — Макдональды — все это вымуштровали в легализме, в парламентах, в стачках, «законных» и не угрожающих общественной безопасности, на митингах и собраниях с резолюциями протеста и с дружными голосованиями. Разумеется, и там бывает «всякое», бывают сюрпризы, но это со стороны тех, кто не пользуется подачками от преизбытка, добываемого где-то среди чернокожих, краснокожих, среди грязных колониальных илотов. «Гады и сволочи!» Конечно, они эксплоататоры, но без колоний нельзя, нельзя и без капиталистических руководителей. А раз так, следует вести себя «культурно»: в хорошем обществе — хороший тон и хорошее обращение. Порядок «культурный» как будто колеблется, но он еще крепок, его надо поддержать, а то придут те, илоты, и отечество будет попрано дикарской пятой.

В стихах Демьяна, в его «некультурной» ненависти к командующим классам — не розовая вода, липкая, жаркая, почти черная от густоты, кровь трудового человека, угнетаемого в колониях, где к своему нестерпимому национальному гнету прибавляется иной, иностранный, империалистский. Она течет в русском мужике, в рабочем, в индусе, в персе, в негре, в китайце. Это она окрашивала обильно мостовые, окопы, поля, пропитала собой камни тюрем и каторг, углы и подвалы. Это она подступает к сердцу, судорожно и бешено бежит по жилам, приливает багрово к лицу и водит рукой и сочится на бумагу огненными буквами, в которых отсвечивают пожары и гибель дворянских гнезд, полыхающие зарева крестьянских восстаний и сухие, жаркие вспышки выстрелов восставших синеблузников и румяные краски новой встающей зари.

Гнев и ненависть Демьяна — наши, большевистские, партии, отразившей думы и чувства самых угнетенных, самых закабаленных, самых «черных» людских многомиллионных масс. Ее заряды полновесны, они расходуются давно, но их еще хватит, ибо противоборствующий мир эксплоататоров еще стоит, и необ'ятен и неисчислим, как песок морской, другой мир — угнетенных. Именно эти крепкие и насыщенные чувства создали особый тип русского революционера подпольщика-большевика с его решительным и огромным революционным размахом, со стойкостью, с безоговорочностью, с активностью, с чуткостью жизни трудящихся, с умением учить и учиться у них — особый тип в отличие от узкого тред-юнионистского практика Англии, партийного оппортунистического шейдемановского дельца Германии, парламентского краснобая Франции.

У Демьяна эта ненависть — мужицкой закваски. Он о себе любит говорить, как о мужике. Но этот мужик прошел очень длинный и извилистый путь. Он побывал в школе, в университете, пообтерся в городе, пока не попал в большевистскую подпольную среду.

Поблуждал я, побродил путями разными,
Соблазнялся я не малыми соблазнами,
Соблазнялся, ошибался, горько каялся,
Поднимался, снова падал, снова маялся.
Долго шел, пока, презревши славу тленную,
На дорогу я не вышел вожделенную...

В другом месте поэт пишет:

Мой ум — мужицкой складки,
Привыкший с ранних лет брести путем оглядки...
И были для него нужны не дни, а годы,
Чтоб выравнить мой путь по маяку свободы.
Избрав, я твердо знал, в какой иду я порт,
И все ненужное, что было мне когда-то
И дорого, и свято,
Как обветшалый хлам, я выбросил за борт.

Мужицкая «складка» в новой среде сохранилась в своей интенсивности и получила отшлифовку. Поэт знает меру. Ему чужда месть во имя мести, расправа для расправы. Он зовет к борьбе, а не к мести, к победе, а не к утолению озлобления. По поводу крестьянских самосудов на Украине над духовенством, Демьян, не знавший пощады в обличениях «антихристов долгогривых», увещевает крестьян:

Умейте отличить, друзья, борьбу от мести.
На месть жестокую способны богачи, —
Но мы — борцы, не палачи, —
У них оспаривать такой не станем чести...

Мужицкая складка сказывается у Демьяна Бедного и тогда, когда он показывает будущую жизнь в социалистическом обществе. Он знает: «где топь болотная была, дорога ляжет, как стрела, стальная ляжет колея», но он не заливает страну бетоном, не заковывает ее в сталь. Он крепко помнит деревню, всю необ'ятную, могучую ширь наших полей, их неиссякаемую и благотворную прелесть; ему близки затаенные думы крестьянства о вольной безбедной жизни в зеленых просторах:

Крестьяне, сбросив сон былой,
Всех трутней выгонят долой,
Лачуги дымные снеся,
Деревня вырядится вся.
Пред каждой новою избой
Балкончик выведет с резьбой,
Настанет ночь, — забрызжет в ней
Свет электрических огней.

«Балкончик выведет с резьбой» — это целиком от деревни. Поэт остался верным чутью реальной действительности и, конечно, его думы о будущем

полне и целиком совпадают с коммунизмом, в котором индустриализм не тавит на полку живого соловья. Резной балкончик деревни еще очень олго будет уживаться с асфальтом и с корпусами, а живой соловей, надеемся, е переведется долго у нас.

Поэзия Демьяна счастливо сочетает в себе «мужицкую складку» с во-ей, с умом и упорством рабочего. Ненависть к барству, практическая метка, чувство реального и конкретного, ощущение «горя-злосчастья», стоя-цего за спиной — это от мужика. Воля к борьбе до конца и к победе, твер-ая вера — надежда в счастливый исход этой борьбы, сознание, что город и абрика несут с собой освобождение закабаленному труду, что свет электри-еских огней разгоняет деревенскую темь, а стальная колея приобщает эревню к культуре, — это от рабочего, от той великой социальной войны, то ведется им во всем мире. Соединение того и другого дало возможность оэту понять и художественно воспринять национальный, наш, особенный ик революции, а это открыло ему двери к миллионам новых читателей.

II.

Обращает на себя внимание исключительная, сгущенная социальность оэзии Демьяна Бедного. Он «сплошной» гражданский поэт. В этом Демьян оследовал примеру лучших наших писателей классического периода, благо-ворное влияние которых на себя он отметил в стихотворении «Горькая равда»:

Но смутная душа рвалась на свет дневной,
Больней давили грудь извечные вериги.
И все заманчивей вскрывали предо мной
Родных писателей возвышенные книги.

«Личных» стихов у Демьяна почти нет. Его творчество растворяется общественной жизни. Такого общественного поэта русская литература не нала. Деревенское житье-бытье, гнет помещика, чиновников, духовенства, ироедов, классовая борьба городских рабочих с царской опричниной и с ка-италистами, смертные казни, героические усилия партии большевиков и ра-очих в условиях царского режима создать свою легальную газету, импе-иалистская война 1914 года, февральская революция, борьба с керенщиной, илюковщиной и корниловщиной, октябрьские дни, гражданская война, деза-иры и снова деревня, деревня, деревня, — разве легко перечислить эти сотни асен, сказаний, частушек, песен, повестей, то гневных, то обличительных, то оваривающих и раз'ясняющих, то злых и ядовитых, то добродушно-подсмеи-ающихся, но всегда направленных к одной цели, чтобы из неслыханных труд-остей гражданской войны и разрухи Советская власть вышла победоносной.

Стихи Демьяна не только общественны, но и злободневны. Они сле-уют по горячим следам событий. Они — своеобразная летопись наших дней. еречитывая их, читатель наглядно воспроизводит этап за этапом, год за эдом, месяц за месяцем величественной и кровавой революционной эпопеи. ичность писателя — перед читателем и в то же время ее нет: свои обще-твенные чувства, настроения, думы поэт подчеркивает со всей силой, но

круг узких индивидуальных переживаний закрыт перед читателем, оставлен в тени: любовь и смерть, потаённые радости и горе и т. д., что обычно стоит в центре художественного творчества поэтов-индивидуалистов, в стихах Демьяна Бедного отсутствуют. Там и сям поэт напоминает о себе, но для ради шутки, иногда для нужд «гражданского» порядка:

И все ж коль мне Ильич, порою
Встревоженный моей „игрою",
Грозит в окно: „смири свой нрав!",
Он, как всегда, я знаю, прав...

Дело, однако, нельзя представлять себе так, что личными мотивами поэт беден. Вероятно, при доброй воле Демьян мог бы в этой области развернуть, как у нас любят теперь выражаться, довольно широкие полотна. Но, по твердому мнению поэта, не об этих узко-индивидуальных мотивах надо поведать теперь читателю. Поэтическое произведение, как и человеческая личность, выкристаллизовывается в результате столкновений и подчас жестокой борьбы разных, сплошь и рядом противоречивых и взаимно-уничтожающих эмоций. В необычайном для общего характера поэзии Демьяна стихотворении «Печаль» немного приоткрывается художественная лаборатория поэта. Вспоминая о только что виденном глухом заброшенном полустанке, о мокром от дождя окне, о рваном красноармейце, о голодной гадалке, Демьян Бедный пишет:

Колеса снова застучали;
Куда-то дальше я качу.
Моей несказанной печали
Делить ни с кем я не хочу;
К чему? Я сросся с бодрой маской
И прав, кто скажет мне в укор:
Что я сплошною красной краской
Пишу и небо, и забор...
...О, если б я в такую пору,
Отдавшись власти черных дум,
В стихи оправил без разбору,
Все, что идет тогда на ум.
Какой восторг, какие ласки
Мне расточал бы вражий стан,
Все, кто исполнен злой опаски,
В чьем сердце—траурные краски,
Кому все светлое—обман.
Не избалован я судьбою:
Жизнь жестоко меня трясла—
Все ж не умножил я собою
Печальных нытиков числа.
Но полустанок захолустный;
Гадалки эти... ложь и тьма...
Красноармеец этот грустный,—
Все у меня нейдет с ума.
Дождем осенним плачут окна;
Дрожит расхлябанный вагон.
Свинцово-серых туч волокна

Застлали серый небосклон.
Сквозь тучи солнце светит скудно:
Уходит лес в глухую даль.
И так на этот раз мне трудно
Укрыть от всех мою печаль.

Поэт обязан быть искренним, быть самим собой. Трафарет и шпар-лка приводят только к смерти дарования и к административной литера-ре. Быть искренним, однако, отнюдь не обозначает того, что художник лжен «без разбора оправлять все, что идет тогда на ум». Поэт «оправляет» :новные мотивы своего творчества, основной характер своих эмо-й. Для такого обнаружения он обязан отделить шлак, наносное, случай-е, второстепенное, противоречащее этому основному. Найти самого себя, браться из ухабов противоречий дело подчас очень трудное и не всякому сильное. Во всяком случае поэтическое произведение не является складом, да сваливается все в одну кучу.

Для Демьяна задача художественного познания самого себя облег-лась не только наличием благоприятных, общих, бытовых и культурных ловий, но и его личным складом. Примечательно, что даже в этом «интим-м» стихотворении о своей печали он вспоминает прежде всего грустного асноармейца, голодную гадалку, ложь и тьму...

Одно время у нас в литературе было немало разговоров об индивидуа-зме и коллективизме. Предполагалось, что вместо старой буржуазной лите-туры, проникнутой индивидуалистическим началом и отошедшей в область ошлого, новая пролетарская литература в основу свою должна положить инципы коллективизма. Как, однако, реально, практически проводить искусстве этот коллективизм, никто путем из пролетарских художников знал. Чаще всего сторонники пролетарского коллективизма проповедывали :творение человеческой индивидуальности «я» в «не-я», в коллективе, космосе. Такая проповедь была в сущности чужда коммунизму, который ремится разрешить противоречия между обществом и личностью путем :та и гармонического сожительства и взаимодействия, а не путем уничто-ния одного из антагонистов. Сквозь видимую революционную внешность и зеологию в таком «коллективизме» просвечивала сирость человеческой лич-:ти, пытающейся убежать от самой себя и раствориться в пантеистиче-их настроениях, попытка уйти в надзвездные края от реальных боевых цач дня и от конкретного людского трудового коллектива. И нетрудно ло заметить, что мы имеем здесь дело с простой перелицовкой старых ржуазных, анти-марксистских воззрений, в свое время усиленно пропа-дировавшихся нашими махистами и М. Горьким (см. его «Разрушение ности», «Исповедь»). Шуму о коллективизме было много, но толку полу-юсь мало уже по одному тому, что трудовым массам этот коллективизм азался чуждым и «заразил» только литературные верхушки.

Демьян Бедный тоже коллективист, но он не ловил сомнительных жу-лей в небе, а со своей мужицкой складкой и смёткой ограничился синицей руках. Его «коллективизм» новых неслыханных и невиданных америк не

открыл и выразился в том, что он свое дарование пропитал пролетарской общественностью, отдал его на служение конкретным боевым стремлениям пролетариата, его классовой борьбе.

Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой.
Ты мне один судья, прямой, нелицемерный;
Ты, чьих надежд и дум я выразитель верный;
Ты, чьих углов я—пес сторожевой!

В другом месте:

Я горд был тем, что шел с народной ратью в ногу,
Деля с ним жребий боевой;
Его печаль и скорбь, и радость и тревогу...

В этом гораздо больше подлинного, живого, жизненного здорового коллективизма, чем в отвлеченных блужданиях от планетарного космизма и разрушения личности к пресловутым «массовым действиям», нашедшим свое выражение, между прочим, в хоровом чтении стихов (скажите—какое новшество!). На наш взгляд это единственно верный коллективизм — отдать свой талант, свои способности трепетным нуждам эпохи, живому и горячему людскому трудовому потоку и в этом смысле слиться с ним. Тут — вольная широкая дорога к живой жизни, а не тихие тинные заводи кружков, кружечков и стойла.

Пришлось слышать возражения: «Очень может быть, что народу нужны художники - популяризаторы и агитаторы, как нужны ему ученые - популяризаторы и политические «районные» пропагандисты. Свести к этому поэтическую деятельность нельзя. Ее основная задача — в художественных открытиях; Демьян очень нужен и полезен, но навязывать его художественный путь, значит сводить искусство исключительно к тенденциозному творчеству и художественной популяризации».

Правда то, что Демьян — агитатор и что он тенденциозен. Но за всем тем никто не доказал, что в его стихах помимо агитации нет художественных открытий. В стихах Демьяна Бедного встает тип нового человека, героя нашего времени, употребляя выражение Тэна, господствующий тип эпохи. В годы эти вырос и сформировался в кое-каких существенных чертах своих новый человек. Одно из самых главных свойств его заключается в насыщенности личности общественно-трудовым, народным. Личность ушла в борьбу, напитала и напоила себя социальностью; подавила, отодвинула на задний план узко индивидуальное, — вернее, индивидуальность стала проявляться в исключительной гражданственности. Вся воля сосредоточена на одном, в одном: просветить, поднять угнетенные массы на ворогов, победить, укрепить победу. Это — не аскетизм, не жертвенность и самоотречение, не подвижничество, а естественное, натуральное, ибо такова температура, среда, почва. «Температура» нашей эпохи такова, что новый тип человека, «зараженный» новой трудовой общественностью, так же естественно должен проявляться, как произрастает лес такой-то породы в известном поясе и на известной почве

то — эпоха социальных революций, классовой напряженнейшей борьбы тнетенных, мертвой хватки, когда с поля сражения уходит только один. } это грозовое время, как никогда, требуется особый воин, особый солдат поохи. Он — всегда воин, всегда на часах. Он не демобилизуется, его отдых лучаен и непрочен. Он всегда находится в массах, с массами. Он с ними окопах, в блиндажах. Он должен развить в себе презрение к смерти. Он олжен свое интимное личное так слить с общественным, чтобы оно не чешало в походной боевой жизни, должен брать легкую личную поклажу иметь все боевое снаряжение; он должен хотеть до конца, упорно, без углядки и опаски «хотеть и средь страданий крёстных даже, в минуты скорби тоски предсмёртной»; он должен чувствовать себя в старом обществе, как ю вражеском стане, чувствовать себя в нем лазутчиком. Он должен уметь ненавидеть старый мир, как своего личного врага, он всегда готов. Он е имеет «дома»: «не имамы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем». Такой тип свое наиболее полное воплощение нашел в русском профессиональном революционере. Творчество Демьяна Бедного отразило некоторые свойства этого типа: его пролетарская гражданственность, его ненависть к вороту, его агитационная упористость, уменье подойти к массам, воля и уверенность в победе, — это черты нашего большевистского подполья и то же время поэтический отзвук сгущенной социальной атмосферы современности и показатель того, что делалось за эти годы в недрах миллионов рабочих и крестьян, восставших и впервые начавших побеждать. Поэтому стихи Демьяна несомненно «прибавляют» нечто весьма важное.

«Гражданская» общественная струя была очень сильна в нашей прошлой отечественной литературе и, как упомянуто выше, творчество Демьяна Бедного находится в прямой связи и зависимости от лучших образцов этой прошлой литературы. Но, во-первых, такой общественной нагруженности и насыщенности, какие мы видим у Демьяна, раньше не было в литературе. Гражданскими мотивами прошлый поэт обычно не исчерпывался; даже у Некрасова, даже у Успенского всегда оставались уголки для узко-личного. Во-вторых, и самое главное, на произведениях их неизгладимо все-таки ложился отпечаток резиньяции, тяжких раздумий, чувства вины пред народом, покаяния, бессилия, безвыходности, иногда пессимизма и всегда некоей разобщенности и обособленности от народа. Творчество Демьяна Бедного — боевое, воинствующее, гневное, уверенное, бодрое. Оно идет с низу, от масс, связано с ними органически. Все точки поставлены: известны друзья, известны враги. Он—трубач борьбы и победы.

Демьян Бедный начал свою литературную деятельность в эпоху, когда общественная реакция, наступившая после 1905 года, была еще очень сильна; в литературе царила самая мрачная анти-общественность: и крайнее ячество, эгоцентризм, смердяковское гробокопательство, мистицизм; хорошим тоном считалось издевательство над революцией и революционерами; честность с собой понималась, как освобождение от общественных обязанностей и т. д. Пролетарская гражданственность Демьяна Бедного была прямым протестом

против этого художественного солипсизма; она выводила «музу» из мрачных и сырых подвалов, где прозябали без солнца, может быть, и нежные, но хилые и хрупкие поэтические растения-одиночки, на широкие и вольные просторы, к полям и степям. Там растут простые цветы, но обласканные солнечным теплом, обвеянные свободными ветрами, там открываются наши бескрайние дали, встают росные, благоуханные зори, стоят благословенные леса и кипит животворный, созидательный труд, древний, как небо и звезды, и единственно бессмертный на земле.

У Бальзака в романе «Шагреневая кожа» знаменитый писатель Каналис на оргии поэтической челяди восклицает: «От вашей дурацкой республики меня тошнит! Нельзя разрезать каплуна и не найти там аграрного закона!». У нас было и есть еще не мало таких Каналисов: их тошнит и от «дурацкой республики», и от гражданственности стихов Демьяна Бедного. В этом нет ничего удивительного: и республика, и стихи Демьяна в самом деле неблагополучны в отношении аграрных законов и очень многих лишили каплунов. Ничего не поделаешь.

III.

Стихи Демьяна также — прекрасный и наглядный показатель неимоверного сверх-человеческого напряжения и упорства, какие обнаружил русский рабочий и его авангард в годы гражданской войны. Изо дня в день, из месяца в месяц Демьян «долбит» об одном и том же, сочиняет басни, стихи, частушки, поэмы, эпиграммы, — агитирует, раз'ясняет, негодует, опасается, надеется, высмеивает. Он вращается в кругу одних и тех же чувств; он не оглядывается по сторонам, не знает устали, не может успокоиться, ему не надоедает свой любимый «конёк». Излюбленные темы для него навсегда свежи и животрепещущи, всегда занимательны.

Еще свежо это памятное время. Деникин стоял у Тулы, Юденич — у Петрограда, Колчак был в Сибири, а в городах сидели без хлеба, и заводы давили своим каменным молчанием. Тогда у нас был один «текущий момент», и мы, коммунисты, говорили все об одном и том же, были одержимыми, все повторялись, все долбили, вдалбливали, бросали лозунги, переламливали опасные настроения, вращались в кругу одних и тех же мыслей, неотвязных и простых, настоятельных, как живот и смерть. Казалось: вот тратятся последние силы, дрожат последние фибры, но есть надо всем один железный закон революции, и он требовал все новых усилий, еще, еще, опять, снова. Да, тогда отдавали все для победы и побеждали, потому что были «однобоки», упорны, что повторялись и повторяли. Теперь куда как легко говорить об этом «долбеже» «текущего момента», особливо тем, кто стоял в стороне или спиной к грозным величественным дням, кто прятался в укромных углах от огненного вихря и океанского шторма, закрывши и занавесивши окна и заложив уши ватой. Для нас в этих «повторениях» одного и того же — незабываемое, понятное, повелительно-необходимое, героическое, своя музыка, дорогой символ нашей воли к победе, готовности биться до последнего дыхания.

Демьян Бедный повторялся в своих стихах, как «повторялась» вся ша коммунистическая партия, как «повторялась» вся революция. Но свою лбежку Демьян умел бесконечно варьировать, и в этой его способности азались вся широта, разнообразие и гибкость его таланта. Не повторяться не мог: задача сводилась к умелым и свежим вариациям и к тому, чтобы йти самые слабые места и во-время на них обратить внимание. Черпая едрою рукою из народного творчества, из сокровищницы отечественной тературы, из образцов революционной поэзии, Демьян умел хорошо по-оряться. Разнообразие ритма, сюжетная изобретательность, меткий неожи-нный оборот речи, внезапность заключения, здоровый, грубоватый юмор, альное чувство окружающего, народность, знание быта, простота, легкость образность языка помогали поэту разрешать труднейшую задачу.

В «повторениях» Демьяна нашла выражение вся недавняя напряжен-сть момента и наших усилий. Особое внимание приходилось уделять кре-ьянину, который колебался между реакцией и революцией. И Демьян ни миг не забывал о мужике, не только оттого, что был сам мужицкой за-аски, но еще больше потому, что верно оценил, какое огромное значение ел для революции вопрос о поведении трудового крестьянства. Хотя выше ке отмечалось, какое место занимает мужик в поэзии Демьяна Бедного, следует на этом остановиться несколько подробней, ибо ни в чем в поэзии обнаружились так ярко и полно вся трудность положения молодой рес-блики, вся неизмеримость и безмерность усилий ее и воли ее к жизни и победе, как в стихах Демьяна о мужике.

Демьян хорошо прощупал природу нашего крестьянина, шаткость и усмысленность деревни в отношении к новым порядкам:

Нонь мужик ровно в лесу:
Ковыряется в носу,
Глянет вправо, глянет влево:
„И куда итти мне, право?
Эх, присяду на пенек,
Пережду какой денек.
Пусть Кузьма пути поищет".
Сел мужик на пень и свищет,
А Кузьма тому и рад:
Поворачивай назад.

Даже когда мужик слышит победный клич и видит, что «гадов немые ши» лежат поверженными под ударами «бойцов в одеянии красном», он чет и не может проснуться, не может освободиться от злых чар прошлого. жутком стихотворении «Когда же он проснется» мужик стонет во сне:

Я встать хочу, хочу рвануться.
Хочу рвануться,
Хочу кричать, хочу проснуться!
Я не могу проснуться!!
О-о-о-о-й!

Но мешают не только злые чары прошлого, но и жадность собствен-ка. В революцию жадность одолела деревню, когда трудно и туго пришлось

городам. В стихах «Старым людям на послушание», писанных в 1919 году, поэт говорит мужикам «напрямик»:

Сам заправский я мужик,
Я скажу вам напрямик:
Вами жадность овладела,
Нет для вас милее дела,
Как хоть с нищего „сорвать".
(Правды незачем скрывать.)
Нонче все вы нос дерете,
„Городских" за грудь берете:
„Как таперь мы все равны,
То... сымайте-ка штаны!"

Октябрьская революция отдала крестьянам барскую землю. Ерёма и Фока землицу прибрали к рукам и этим остались много довольны; но революция требует и тягот, жертв, закрепления завоеванного, а Ерёмы и Фоки «устали»:

Покопайтесь в Еремее:
Он вперед уж ни на шаг!
В нем растет наш новый враг.
У него—назад оглядка,
Он устал от „беспорядка":
Не дают ему жевать
То, что он успел „урвать".
Он ушел от буйной голи,
С ней не делит хлеба-соли,
И бунтующий батрак
Для него—„Иван-дурак"!

Добрая часть этих «Ерём» выбивается в новых живоглотов:

Мироед—не только старый,
Старый—зол, но самый ярый,
Настоящий лютый змей—
Это кум наш Еремей.
Он оперился недавно,
Он успел пограбить славно.
Грабил — тут же с рук сбывал
Да карманы набивал!..

Эти стихи о росте новой деревенской буржуазии не потеряли своей злободневности и по сию пору; даже, наоборот, Нэп придает им особую зловещую остроту, ибо вопрос о ножницах далеко еще не снят и не разрешен. Задача Демьяна, заданная ему партией, сводилась к тому, чтобы нейтрализовать по крайней мере середняка и об'единить бедноту и батраков против Ерём, и вот поэт из стиха в стих раз'ясняет крестьянину смысл октября и ведущейся гражданской войны, почему деревня должна дать хлеб, что будет с ней, если победят белые, если придут иностранные поработители; он издевается над попами, над дезертирами и мироедами, над суевериями и предрассудками; он старается преобороть пассивность деревни и ее оглядку. И поэт знает, куда и как ударить, какой круг чувств вызвать в крестьянине.

нание деревенского быта, чистота и простота языка дают в его, поэта, ки превосходное оружие. Но самое главное — в способности поэта подойти трудовому деревенскому человеку запросто, по-дружески, потоварищески:

> Держись, Федотушка. Без дива
> Тебе равно ведь пропадать!
> Федотушка, держись! Не заражайся страхом!
> Ни пред хлыстом, ни пред крестом!..

«Держись, Федотушка», это — преобладающий тон стихов Демьяна, бращенных к деревне. Поэт действительно по-мужицки беседует, убеждает, оваривает. Он не стесняется сказать мужику правду о жадности, о пассивости, не подкрашивает, не подсахаривает его по примеру эпигонов народничества, но и не относится к нему, как к серой скотинке. Он неизменно апоминает о его нуждах, кровных, деревенских, и это делает его стихи лизкими и родными деревне.

Демьян верит в победу, в то, что «Федотушка», в конце концов, будет держаться», но в каждой строке — острая наблюдательность, вопрос, революционное беспокойство, учет неимоверных трудностей. Путь еще длинен, зрыт рытвинами и ухабами; поклажа тяжелая, а телега крестьянская поскрипывает и тарахтит.

IV.

Лучшее у Демьяна — несомненно басни. В них талант его развернулся аиболее естественно и свободно. Как баснописец, Демьян Бедный вполне классичен. Такие вещи, как «Азбука», «Кларнет и Рожок», «Выродок», «Гипнотизер», «Звонок», «Затейник», «Анчутка-Заимодавец», «Муравьи», «Когда аступит срок», «Ловля гусей», «Питомник», «О дохлой кобыле», «Молодняк», Кровное», «Ослы», «Кукушка», «Клоп», «Куры», «Поют», «Пирог, да блин», Ключ бездны», переводные басни Эзопа, останутся образцовыми и должны ыть включаемы в революционные хрестоматии и сборники. Сюда же должны ыть отнесены предания и сказания: «Проклятия», «Собачья доля», «Хозяева естные», «Болотная свадьба».

В баснях Демьяна больше обнаруживается, чем в иных его стихах, основые свойства и особенности его таланта: чистота, яркость, народность, простота и выразительность языка. Демьян в совершенстве владеет родным словом, любит его и ценит его плавную напевную звучность, его конкретность, егкость, силу и гибкость.

С русским языком у нас за последние десять - пятнадцать лет принято асто обращаться, как мы, большевики, привыкли поступать с «буржуями»: отряси их побольше — выйдет толк. Невежливое и решительное обращение буржуазией действительно приносит пользу трудящимся, но из перетряски зыка, практикуемой у нас, обычно ничего путного не получается, несмотря а всю решительность новаторов. Наш язык полон архаизмов, но он развиается органически, как растение; новшества прививаются и бывают уместны

только тогда, когда они не надуманы, не вымучены, не нарочиты. Бывает сплошь и рядом так, что старое звучит по-новому и служит этому новому хорошую службу. Примером может служить язык Демьяна Бедного и вся формальная сторона его творчества. С точки зрения некоторых современных теорий, форма стиха Демьяна Бедного самая что ни на есть архаичная. Демьян пишет по-старинке: нет и в помине изобретенных новых слов, нет их непривычного сочетания; все по старой грамматике. Еще более архаичны образная и сюжетная стороны его творчества. Демьян Бедный щедрою рукой использует народные поверия, сказы, были, сказки, а его басни сплошь антропоморфны: лисы, волки, медведи, львы, овцы, дубы, лягушки, как и полагается им в баснях со времени Эзопа, разговаривают и действуют по-людски. Но, пользуясь архаическими приемами, Демьян дает понять читателю их условность, относительность. Иногда он это делает прямо, без обиняков, в других случаях косвенно, намеком, а в целом здоровый крепкий реализм его творчества всегда предохраняет читателя от всякой зауми.

Прекрасное знание родного слова и любовное, бережное отношение к нему со стороны поэта помогли ему выработать исключительной яркости диалог. Диалог у Демьяна, особенно в баснях, поистине могучий, исконне народный и натуральный, как натуральны поле, река, лес, небо, мужик, репей. Прочнейшими корнями он ушел в наш деревенский быт. Это — живая, настоящая речь: ничего слишком литературного, чересчур грамотного, ученого, никакой эквилибристики, жонглирования словом, никакой игры, самолюбования, когда как будто хотят нарочно обратить внимание: смотрите, как это у меня хорошо сказано. Он могуч, потому что стихиен и прекрасен своей первородной силой, неразложимостью и цельностью. Диалог таков, что его не замечаешь, о нем не думаешь, не стараешься обратить внимание на его особенности. Что про него можно сказать? Кажется, А. П. Чехов нашел превосходным рассказ одной девочки, который начинался таким описанием моря: «Море было большое». В самом деле, море прежде всего большое. Язык и прежде всего диалог у Демьяна «большой», русский, пушкинский, народный язык.

Простота его языка, однако, не так уж проста. Она дается после самой тщательной и упорной работы над словом. Эта работа производится часто со словарем Даля в руках, с обращением к лучшим образцам народной и классической поэзии; поэту не чуждо знание церковно-славянского языка, русских древних памятников искусства, летописей, грамот, документов. И если вы не видите пота, то это не потому, что его нет, а только потому, что истинный поэт никогда не показывает его в своих произведениях: искусственное должно восприниматься, как естественное, — в этом все дело.

Животный мир у Демьяна живописен, и он его знает. Его куры, барбосы, одры, жуки, щуки, ерши, вьюны, барсы, сурки, хомяки и т. д. использованы в полном соответствии с их природой, олицетворяют то именно, что нужно, действуют в согласии со своими основными свойствами. Отсюда «мораль» басни и сюжетная сторона не запутаны и воспринимаются без усилий.

Меткость и острота заключения, вывода, в чем заключается главная ель и смысл басни, у Демьяна на должной высоте. Несколько примеров: едведь-правитель узнал, что его подданные изучают азбуку. Он пригла-ает лису и берет у нее несколько уроков. Получив некоторое представление гласных и согласных, он просит ее об'явить:

Что я де грамоте не враг,
Пусть собираются в овраг
И воют ежли что от скуки.
А так как с сутью я знаком,
Чтоб следствий не было опасных,
Не разрешаю звуков... гласных!
Пускай повоют... шепотком!

Это писано в 1913 г., в самый разгар борьбы партии за легальную Правду».

Кларнет, повстречавшись с Рожком, начал выхваляться, что под его, ларнета, музыку «танцуют, батенька, порой князья и графы». Рожок ответ-ствует:

То так,—сказал рожок,—нам графы не сродни;
Одначе помяни:
Когда-нибудь они
Под музыку и под мою запляшут.

Рожок оказался пророком (басня относится к 1912 г.). Под музыку ожков в 1917 — 1918 годах «заплясали» князья и графы, да еще как!

Мужик где-то раздавил, не то в суде, некоего клопа, забравшегося ему рукав:

Читатель, отзовись: не помер ты со страху?
А я ни жив, ни мертв. Наморщив потный лоб,
Сижу, ужасною догадкой потрясенный:
Ну, что как этот клоп—
Казенный?

Помещик пришел в веселый раж от молодняка в своем лесу и стал со-етоваться со своим кучером Филькой: не взять ли пучок в острастку му-икам:

—М-да,—Филька промычал, скосивши в бок глаза.—
М-да... розги первый сорт...
Молоднячек... Лоза...
Как в рост пойдут, ведь вот получатся дреколья!

Какой же в басенке урок? Смешной вопрос.
Года все шли, да шли—и молодняк подрос.

Помещик задумал стать гипнотизером; накупил книг и достиг цели: любого мужика мог усыпить он в миг». Прослышавши про чудеса, к гипно-изеру собрались соседи. Для опыта усыпили «Емелю конюха». Емеля понес

вздор про земельку, а когда дело дошло до того, как быть с помещиками, случилось совсем нехорошо:

Емеля взвыл.
Стал у Емели дыбом волос;
И, засучив по локоть рукава,
Такие наш мужик понес слова,
Что гости с перепуга
Полезли друг на друга!

Мужик просит Анчутку во время войны дать взаймы денег: когда кончится с немцем война — он уплатит: «пойдут такие льготы».

Чорт молча слушал мужика;
Все выслушал, вздохнул... и денег не дал...

Барчуки, набрав еловых шишек, наняли крестьянских ребятишек изображать врагов. Деревня перла на пролом: «Жар под микитки», «Бей колом». Барчата взвыли. Взрослые отцы и матери вышли из себя: «За медный грош убить готовы, супостаты». Деревня оправдывается:

Мы платы силой не брали у барчат,
Мы б их избили и без платы.

Очень остроумны замечания личного, так сказать, порядка. Басня «Выродок» кончается так:

Друзья мои, уж я... тово...
Ей богу же меня зовут к обеду,
А после надо отдохнуть.
Так басню я докончу как-нибудь...
Когда из Питера уеду...

В «Собачьей доле», посвященной корыстным бабам, поэт, указав, что по народной поговорке против бабы у чорта нет надежней слуги, вставляет замечание:

Так люди говорят. Я б не сказал так смело.
Будь холост я — иное б дело.
А так я вообще... покоем дорожу...

Большинство басен Демьяна не поддается кратким извлечениям. Такие из них, как «Про дохлую кобылу» и др., понадобилось бы выписать целиком, дабы показать их остроту и крепость. Точно так же можно только отметить такие прекрасные сказания, как: «Проклятие», «Болотная свадьба», «Когда же он проснется» и т. д.

Баснописца Демьяна любят сравнивать с Крыловым. Демьян в самом деле связан с Крыловым и с Эзопом, но связан формально только. По содержанию басни Демьяна так же далёки от Крылова, как далека наша эпоха от эпохи «дедушки Крылова». Басни Крылова лишены большого социального содержания, они общежитейского, обывательского характера. Басни Демьяна — острый стилет, которым он наносит удар за ударом злому классовому ворогу. Это — насквозь социальная басня.

Басни его злободневны; в большинстве своем они приурочены к конкретным политическим событиям, но эта злободневность сплошь и рядом соединяется и с широкими художественными обобщениями. Они не ограничены, не исчерпываются ближайшими поводами. В них есть перспектива, они не теряют своей ценности и после, позже, они остаются живыми.

Басни Демьяна требуют отдельных самостоятельных переизданий.

Песни и частушки следует поставить вслед за баснями, хотя они, наверное, больше всего содействовали необыкновенной популярности поэта в кругу рабочих, крестьян и красноармейцев. Недаром Сергей Есенин в стихах «Русь Советская» пишет:

С горы идет крестьянский комсомол;
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Частушки и песни Демьяна Бедного очень напевны, звонки, веселы, «рьяны» и связаны с народным творчеством. Здесь уместно на наш взгляд некоторое отступление. Большинство наших поэтических кружков, направлений, течений, пролетарского толка, не говоря уже о других, находится в значительной формальной и иной зависимости от литературы последних десяти-пятнадцати лет кануна революции. Декаденты, символисты, акмеисты, имажинисты (эти появились во время революции) влияли и продолжают влиять на творчество поэтов революции. Сказывается в этом, конечно, прежде всего незрелость нашей революционной поэзии, ее молодость: известно, что молодое учится у старого. Беда, однако, в другом. Предреволюционные упадочные школы достигли большого совершенства в изображении, художественной передаче интимных, часто смутных, едва уловимых мимолетных эмоций, их оттенков. Это вполне понятно: изображение узкого круга личных настроений и чувств было единственное, что привлекало и интересовало поэта эпохи декаданса. Зависимость современных советских художников от этой насквозь утонченно-индивидуалистической литературы недавнего прошлого свидетельствует, что индивидуалистическая струя сильна еще и по сию пору. Индивидуализм индивидуализму рознь. Прав тов. Троцкий, отмечающий, что перед трудящимися массами только теперь во всю широту и глубину встал вопрос о формировании личности. Учиться передаче своих интимных переживаний — дело не плохое, это помогает и содействует организации личности трудового человека, но дело в том, что индивидуализм предреволюционного времени был, как общее правило, анти-общественен. Подражая искусству этого периода, наши революционные художники невольно «заражаются» и отдают дань былым упадочно-индивидуалистическим переживаниям. Иногда это прикрывается теориями, в которых утверждается, что задача современного революционного художника сводится к изображению нового социалистического человека, его нового мироощущения в противовес ветхому адаму буржуазного строя. А это, в свою очередь, восходит к системе взглядов о пролетарской культуре и пролетарском искусстве. Такие теории, как мы уже не раз утверждали, страдают абстрактностью. Неудивительно, что поиски

нового человека, поиски совершенно законные, тоже страдают надуманностью, и ими часто вуалируются чувства яческого порядка. Нового человека ищут совсем не там, где надлежит искать его. Тот же, действительно, новый человек, конкретный, революционер, бьющийся со старым обществом, остается либо за пределами внимания художника, либо его изображают плакатно, внешне. Получается дерево, монумент, а не человек. Иным же кажется он вообще неинтересным, слишком будничным, практическим, прозаическим. Очень многие из наших художников стоят в стороне от повседневной революционной борьбы, поэтому и получается, что в их творчестве то-и-дело звучат чуждые, посторонние ноты. По этой же причине они проходят мимо продуктов народного творчества. Оно им кажется слишком примитивным. В этом есть своя последовательность: народное творчество по духу коллективно и является плохим поэтическим инструментом для передачи узко-индивидуальных мотивов.

И, наоборот, Демьян Бедный отнюдь не случайно берет за образцы народную частушку, песню, сказку. Как уже мы говорили, он поэт насквозь общественный, индивидуалистические самоуглубления ему чужды: естественно, что он тяготеет к таким поэтическим формам, которые наиболее приспособлены к передаче народных массовых настроений; такими являются продукты народного творчества: частушки, песни, сказания и т. д.

Из песен и частушек Демьяна следует отметить и особо выделить: «Казачью песню», «Гулимджан», «Богатырский бой», «Миллиончик - миллион», «Танька-Ванька», «Манифест Юденича», «Жиро - чудак», «Песня (солдатская)», «Плясовая», «Как у питерских господ», «Барыня (окопная)», «О Митьке бегунце» (введение), «Песни народные», «Проводы», «На фронте» и др.

Из повестей в стихах и поэм остановимся на «Земле обетованной», «Царе Андроне» и на сборной поэме «Про землю, про волю». В «Земле обетованной» умело использован один из самых волнующих и прекрасных библейских сюжетов — исход евреев из Египта и их сорокалетнее странствование в пустыне на путях в землю Ханаанскую. Поэма писана в 1920 г., в период острой гражданской войны, разрухи, голода и холода. В соответствии с этим поэт сосредоточил внимание на мясных котлах египетских, к которым тянуло маловерных, неустойчивых, испугавшихся трудностей переходного жестокого времени. Весь сюжет приспособлен к тогдашнему внутреннему и внешнему положению республики. Есть о меньшевиках и эс-эрах, о красном терроре, о золотом тельце и т. д. Очень своеобразное впечатление производят речи Моисея и других *библейских* большевиков; из'ясняются они по Демьяну Бедному:

Стал словами последними
Разносить Моисей Аарона:
Ах, ты курицын сын, ты ворона!
Что ты тут без меня навараканил!.. и т. д.

«Царь Андрон» — «апокалиптическая повесть», в которой некий проходимец Антон Хмурый в «наитии», продолжавшемся «пол-минутки», прожил «один год, один месяц и одни сутки». Вознесенный наверх кулацкой мужицкой

стихией, Антон Хмурый свергает большевиков, устанавливает «демократический режим», созывает Учредительное Собрание, которое провозглашает его «законным анпиратором». Об этом царстве демократии, где, на-ряду с Антоном Хмурым, орудуют Мартов, Чернов, Пешехонов, в качестве его прислужников, о порядках в царстве Андрона и о том, к чему привело все это, рассказывается подробно в повести. Повесть построена экспериментально. Кончается дело худо. Народ опять обращается к большевикам. Антона Хмурого выгоняют, при чем помощь оказывают иностранные рабочие, произведшие революцию. Повесть несколько растянута. Совершенно случайны и ненужны выпады против М. Горького, футуристов-диктатористов, орудующих при Хмуром во главе с поэтом Ятаковским.

«Про землю, про волю» посвящена царской войне, Февральской и Октябрьской революциям. Повесть перебивается народными песнями, частушками, баснями, сказками, легко читается и принадлежит к лучшему виду агитационной литературы. Злоключения деревенской пары — парня Вани и девушки Маши — жизненны и типичны. Это своего рода «Одиссея» наших дней.

В общем повести в стихах Демьяна Бедного страдают при всех их обычных положительных свойствах иногда длиннотами, повторениями, они бледнее его басен.

Марши и гимны Демьяна Бедного часто риторичны и прозаичны:

Гнет проклятый капитала
Обрекал нас всех на муки,
Принуждая наши руки
Поднимать чужую новь.

Это просто рифмованные строки, лишенные образной конкретности и обычной красочности языка Демьяна Бедного. В таких гимнах и маршах сила и прелесть демьяновского стиха тускнеет и слабеет. Помимо риторики, прозаизмов и штампа начинают мелькать совершенно несвойственные поэту слова и сравнения:

Не марс нам светит с вышины...
...Символ победного труда... и т. д.

Это не язык Демьяна, в котором обычно нет ни «марсов», ни «символов». Гимны и марши — наиболее уязвимые вещи в творчестве поэта. Надо сказать, что они вообще принадлежат к наиболее трудным видам поэзии. Гимны и марши создаются в моменты редчайшего, могучего и торжественного экстаза, требуют исключительного под'ема, целостности, гармонии и силы чувства и должны соответствовать такому же могучему и торжественному под'ему чувств в массах. Для величественных чувств требуются и величественные, трудно создаваемые образы, особый стиль. Думается, что такой торжественности и величественности в творчестве Демьяна нет. Его талант заострен и отточен на другом: он — гневный изобличитель, сатирик по преимуществу, агитатор, живо откликающийся на все злободневное. Поэтому он невольно подменяет торжественность риторикой, легко впадает в дида-

ктизм и старается гневливостью и крепкими словами возместить недостающие экстатичность и возвышенность поэтических эмоций.

Кстати об «агитках» и «грубости» Демьяна. Дидактический, агитационный тон в стихах Демьяна преобладает. Некоторые считают на этом основании, что стихи Демьяна — «не настоящая» поэзия: она тенденциозна и пропитана политической злобой дня. Это — сплошной вздор, естественный, впрочем, в устах врагов, а также в стане парнасствующих эстетов. Демьян — большой и доподлинный художник, но он живет в революционной гуще вместе с рабочей и сермяжной Русью. Русь эта борется за свою долю, борется с ней вместе и Демьян. Русь эта была «тенденциозна», «тенденциозен» был и Демьян. В конце концов, дело не в том, агитка или не агитка данное произведение, а в том, естественно ли, искренно ли оно. «Агитка» плоха, преднамеренна и анти-художественна, если она фальшива в корне, если слова чужие, не свои, если голос наигранный, подделывающийся, если писатель руководствуется принципами—«чего изволите» и «сколько будет заплачено», если он сегодня пишет одни агитки, а завтра с такой же легкостью совсем другие в зависимости от изменившейся общественной обстановки. Такое произведение «делается», в нем нет сильного искреннего чувства, и часто в таких вещах сквозят презрением и неуважение к аудитории, на которую оно рассчитано. «Агитки» Демьяна ни подо что не подделываются, они проникнуты цельным, полнокровным революционным чувством; они гневны, потому что поэт действительно гневается; они издеваются, высмеивают, ибо смеется и издевается сам поэт; они проникнуты чувством солидарности с рабочими и крестьянами, так как у автора «мужицкий голос» и «мужицкий ум». Они естественны и потому действуют на читателя; далее, «агитки» Демьяна обычно построены на живых образах, они сюжетны. Лучшие из них, как басни, сказания, такие повести, как «Земля обетованная» — образец того, как можно сочетать дидактику с богатыми конкретными художественными изобразительными средствами. Они такие же агитки, как басни Эзопа, Крылова, как поэмы и стихи Некрасова.

Всякому овощу свое время. Мы переживаем сейчас время, когда получилась некоторая возможность углубиться и заняться художественным воспроизведением и изображением былой и текущей действительности. Агитационная литература тоже изменяет свой характер: из боевой она становится все более культурнической и «мирной». Раньше этих возможностей не было, но и теперь художник обязан быть не только воспроизводителем жизни, но и ее учителем, ибо «тенденциозное» время еще далеко не миновало. И не надо забывать, что большие возможности современное художественное слово получило благодаря в том числе и «агиткам» Демьяна Бедного. Нельзя же быть Иванами, не помнящими своего родства.

Деятельность поэта нельзя рассматривать вне времени и пространства, отрывая его от эпохи. Говорят о грубости стихов Демьяна Бедного. Он сам писал: «Мой голос огрубел в бою». Что и говорить: такие выражения, как «гады», «сволочь» и т. д. — грубоваты. Но уха не режут. Опять-таки: время было такое. Грубоватое было время, да и теперь оно не минуло. И ежели

утонченные эстеты, признанные мастера слова, как Бунин, Куприн, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт и многие-многие другие, по выражению Блока, «тявкали, как шавки из подворотни», то почему надлежало быть корректным Демьяну Бедному с голосом мужицким, говорившим раньше шепотком безгласных букв. Потом же, надо было не говорить, а кричать на всю нашу необ'ятную страну, а тут легко не только огрубеть голосу, но и совсем сорвать его. Голоса же Демьяна хватило до самых глухих углов.

Крайне разнообразен у Демьяна род литературных произведений: басни, народные песни, частушка, былинный сказ, народная сказка, поэма, повесть, гимны, марши, сказания, эпиграммы, лирические стихи и т. д. делают расточительное творчество Демьяна цветистым и ярким.

Рифмовка стиха тоже отличается разнообразием, она не затаскана. Пользуясь приемами Демьяна, легко впасть в однотонность, особенно в таких вещах, как «Царь Андрон», где первая строка обычно рифмуется только со второй, к чему Демьян прибегает постоянно. Избежать однотонности тут можно при тщательном соблюдении разнообразия в созвучии слогов на всем протяжении главы. Демьян Бедный соблюдает это правило вполне, он не повторяется. Беру наудачу главу пятую третьей части «Царя Андрона»: Коноваловы — Капиталовы, шут — зовут, Германией — манией, помешанные — бешеные, недосужно — ненужно, веялки — сеялки, косы — росы, поля — суля, бугров — паров, заказы — газы, мины — картины, помада — снаряды, иголок — двуколок, урону — оборону и т. д. Разнообразие в рифмовке соблюдено во всей главе, стих при всей своей простоте и несложности не утомляет слуха. Если бы Демьян отступил от этого правила, повторив несколько раз одно и то же созвучие, например, «аловы», «анией» и пр., эффект получился бы совсем иной.

Главная, однако, заслуга Демьяна в области формы не в этом. Демьян Бедный приблизил стих к простой разговорной речи. Демьян разговаривает, рассказывает, беседует с читателем. В этом огромную услугу оказывает ему умелое пользование диалогом и чистота языка. Стих его демократичен, как демократичен и словарь; — лишен вылощенности, манерности, иностранных слов, зауми. В годы декаданса у нас шло усиленное приспособление поэтов ко вкусам изнеженной и тронутой червоточиной общего упадка буржуазии. Стих уходил от пушкинской народной простоты к бальмонтовской обсахаренности, к северянинской изнеженности, к блоковской воздушности, прозрачности и символике. Революция должна была раскрепостить стих, лишить его аристократической обособленности от народных масс. И не случайно А. Блок в поэме «Двенадцать» обратился к частушке, к уличной песенке, к примитивному грубоватому стиху. Демьян Бедный боролся за это раскрепощение стиха с самого начала своей поэтической деятельности. Его басни в 1911—1914 г.г. звучали диссонансом в господствующем поэтическом хору, но лишь потому, что были в поэзии первым набатом надвигающейся новой революции. Их смысл и значение и с формальной стороны сводились к борьбе против «изысков» за демократизм стиха, за приближение его к трудовому народу, за освобождение его от упадочно-аристократических уз.

Отвернувшись от этих «изысков», от кружковщины наших литературных стойл, кабаков и направлений, Демьян Бедный остался с нашими классиками. В самом деле, Демьян Бедный—решительный и закоснелый старовер в поэзии и по своим приемам, и в значительной степени и по своему содержанию. Эзоп, Пушкин, Некрасов, Крылов — им Демьян сродни в такой же степени, как и народному коллективному безыменному творцу частушек, песен и сказок. Если дальше присмотреться к его излюбленным типам, то и здесь нетрудно установить зависимость от классиков. Все эти Сысои, Гордеичи, отцы Ипаты, Вани, Еремеи, кулаки, генералы, капиталисты хотя и действуют в новой обстановке, хотя у них и новая шкура, но сердце у них все то же. Мы их встречали у Некрасова, у Успенского, у Щедрина, у Короленко и др. Они — старые знакомцы наши по русской литературе. Народническая окраска стихов Демьяна Бедного — употребляя это слово в наилучшем смысле — тоже от старой литературы, от ее лучших традиций. Именно в силу этого благотворного влияния в поэзии Демьяна соблюдена здоровая соразмерность между старым и новым. Из-за нового поэт никогда не забывает недавнего прошлого: гнет царизма, всевластие капиталистов, помещиков и чиновников, безмерно тяжелая доля трудового человека никогда не забываются им. Он знает, как крепко еще старое, как судорожно бьется оно с новым и не устает вызывать призраки и тени его, дабы вновь и вновь запечатлеть их в памяти читателя. Для нового поколения, подраставшего в годы революции и не знающего на практике ни прежнего гнета, ни удавных петель Рябушинских, Колупаевых и Разуваевых, ни нашей подпольной борьбы, поэзия Демьяна Бедного является превосходным воспитательным средством. По стихам Демьяна наша молодежь узнает, как жилось на Руси раньше, когда не было республики Советов, перенесется воображением в страны, где старые порядки только еще расшатываются, но держатся подчас еще довольно прочно, будет уяснять, что ждет рабочего и крестьянина, если бы наша республика пала под ударами врага; с этими стихами она будет воспринимать лучшее, чем жила наша классическая литература, вдохнет в себя атмосферу нашего подполья, где сформировалась и окрепла наша старая большевистская гвардия.

Творческий путь Демьяна Бедного поучителен для нашей молодой советской литературы. Он показывает всю призрачность рассуждений о том, что старая классическая литература пригодна только для изучения в качестве исторического материала, что она лишена в нашу пору актуальности. Создавать новые формы в соответствии с новым содержанием — задача почтенная, но, прежде чем создавать, надо основательно усвоить лучшие образцы прошлого. У нас же пытаются создать новое сплошь и рядом вокруг пустого места. В самохвальстве и самоуверенности нашей часто нетрудно разглядеть невежество полузнайки: ценности прошлого легко выбрасываются за борт иногда лишь потому, что не научились их ценить. Результаты бывают не веселые: блуждает писатель в поисках читателя, блуждает читатель в поисках писателя. В перл создания возводятся вещи ученические. «А воз поныне там».

Не все, не всегда удачно у Демьяна. Он слишком расточителен. Есть у него написанное на-спех, не отстоявшееся; есть слишком злободневное, фельетонное, что не будет долго жить; есть риторическое и прозаическое; есть длинноты и повторения; есть излишняя иногда грубоватость языка. Тяжелое впечатление производит такая «игра» Демьяна, как речь его на литературном совещании 9 мая с. г., участие его в процессе С. Есенина, поход против попутчиков. Не след бы Демьяну заниматься такой игрой.

За всем тем, место, занятое им в литературе, прочно, крепко и почтенно, а его роль в приобщении массового нового читателя к пролетарской общественности и к поэзии совершенно исключительна.

Есть два пути, по которым идет поэт в зависимости от среды и духа эпохи. Первый путь — непосредственного художественного отражения эмоций и мыслей поэта, своего «я». Тогда личность поэта раскрывается легко и непосредственно; об этом заботится сам поэт; но тогда затрудняется восприятие мира, ибо он постигается посредственно. Личность поэта на первом плане, мир — на втором. Второй путь — когда поэт растворяет себя в окружающей действительности, в потоке быстро текущей жизни. Личность поэта тогда остается за кулисами: он, как режиссер, во время действия, его не видно на сцене. Мир, действительность постигается легче, личность поэта — труднее. Конечно, и в первом и во втором случаях поэтическая личная «призма» ни на минуту не изменяет своему предназначению и всегда налицо, но в первом в центре — поэт, во втором — мир. Иногда и тот и другой путь сливаются в одну дорогу. Так, например, было у Пушкина, в творчестве которого личность и мир находятся в состоянии гармонического равновесия.

Демьян Бедный пошел по второму пути. Он растворил свой талант в гуще жизни, свое узко-личное оттеснив на задний план. Тем не менее, поэтический индивидуальный облик поэта выразителен и четок пред читателем. Это — прежде всего наша русская революция, рабочая, но с крестьянским обличием: русская революция в ее национальном разрезе, с ее особенностями. Демьян Бедный — поэт национальный при всем своем интернационализме. Революция у него совершается не в междупланетном пространстве, а у нас, в России в 1917 — 1924 г.г. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Это «дальше» — наш русский большевик, со всей его классовой непримиримостью, гневом, ненавистью к врагам, со всей чуткостью и спаянностью с самыми бедняцкими слоями трудового народа, со всей насыщенностью социальной атмосферой наших дней, с упорством, волевым напором, напряженностью и уверенностью, что «наша возьмет». Вот облик Демьяна-поэта.

Создаст ли школу Демьян? В том смысле, в каком говорится о школах в наших кружках, он не создаст: он не школьный пророк и вещатель. Таких у нас и без него достаточно. Но школу без школы он уже создал и продолжает создавать — школу народного искусства, обращенного к массовому читателю, школу здорового классического реализма, в противовес замкнутому тепличному искусству предреволюционного прошлого. Писателю, который

чутко прислушивается к новому читателю, есть чему поучиться у Демьяна.

Думается, что Нэп и новая «передышка» создали некоторую «передышку» и в творчестве поэта. В этом нет ничего удивительного: новые времена, новые песни. Для того, чтобы перестроить «лиру», тоже нужно время:

Кто скажет, что я обманщик?
Я просто слишком был ретив.
Но я, однако, не шарманщик,
Чтоб сразу дать другой мотив.

Но так как «буржуазная Европа, хвативши нашего укропа, однако, все еще живет», то «ретивость» Демьяна еще очень и очень требуется.

Балаклава. Июнь.

'енденции современной русской живописи в свете социального анализа.

Федоров - Давыдов.

Прежде, нежели говорить о тенденциях современной русской живописи пытаться их анализировать, надлежит, разумеется, установить тот факт. го она существует и будет существовать.

Ведь говорят же наши конструктивисты—ныне «производственники»,— ю этот «больной человек» — уже умирает, что все, что им делается, проэдит под знаком старческого бессилия и что самым лучшим со стороны ıасть имущих было бы искусственно сократить его агонию. Каюсь, — вы'авки этого сезона в Москве и вся современная разноголосица в суждениях і искусстве хоть кого может ввергнуть в такое размышление. Но все это ільно некоторая «гипетрофия суждения», распространяющая неудовлетворенюсть сегодняшним днем и на все дни будущего, некоторая крайняя близоруюсть, не умеющая в сегодняшнем кризисе увидеть ничего другого, кроме предıертных метаний. Конструктивисты - «производственники», с самоуверенюстью новых пророков, заявляют нам, что искусство умерло раз и навсегда, 'о оно больше никому не нужно. Некоторые из них, как, например, Н. Чужак Б. Арватов, строят даже для доказательства этого псевдо - марксистские :емы исторической эволюции живописи. Здесь не место, конечно, критикоıть эти схемы вконец ложные и исходящие из явно неправильного пониıния термина искусства. Мы, марксисты, привыкли всегда считать искусство, в том числе и живопись, особым своеобразным видом идеологии, и для нас гверждение, что в будущем живописи не будет, может означать лишь то, 'о люди будущего социалистического общества обеднеют в какой-то части оей идеологии. А предполагать это мы едва ли имеем какое-либо основание, :орее, наоборот. Но дело даже не в этом; мы еще очень далеки от будущего склассового общества, и самое лучшее, что мы можем сейчас сделать — о не пускаться ни в какие псевдо-научные утопии по поводу него. Мы ивем сейчас в переходную эпоху, и если даже и допустить мысль, что в бущем живопись будет не нужна, то этого ни в коем случае нельзя сказать ю нашу современность. Кому не нужна? Может быть, пресыщенным интелігентам, но не нашим пролетарским массам, которые, собственно, ее еще не знают как следует. А может им ее и знать-то не надо? Нет, потому,

что как раз из их среды сейчас раздаются определенные требования: дайте нам художественный (и не «конструктивный», а «изобразительный») плакат, дайте нам портреты Ленина и Троцкого, да чтоб «попохожее» и т. д., и т. д.

Социальный заказ налицо и, как мы ниже увидим, именно настойчивость заказчика обусловливает многие неправильные суждения о современной живописи и появление всякого рода «фальсификатов».

На-ряду с этим, идущим, так сказать, из толщи, социальным заказом налицо и другой потребитель — образующаяся сейчас новая послереволюционная городская интеллигенция, та самая, которая является носительницей и продолжательницей высокой культуры как таковой. Она вовсе не обнаруживает полнейшего равнодушия к живописи, но скорее, наоборот, за что говорит ну, хотя бы, огромная посещаемость наших музеев, интерес молодежи ко всяким художественным выставкам, наличие почти во всех журналах статей по искусству и т. д.

Словом, говорить о живописи, о намечающихся в ней тенденциях мы можем с полным и законным правом. Этой основной тенденцией мы склонны считать стремление к реализму и отказ от всяких «левых упражнений». Занимаясь писанием художественных обозрений в одном из московских журналов, я был прямо-таки поражен той силой, с которой эта тенденция высказывалась на выставках этого сезона. Процесс совершается у нас на глазах, настоятельно требуя от нас социального его учета и социального его анализа. Отмечая в них эту тенденцию и до некоторой степени социально характеризуя отдельные художественные группировки, я был волею-неволею обязан там обращать главное внимание на характеристику самых выставлявшихся произведений, в силу чего общие суждения выходили неминуемо аподиктичными и бездоказательными. Здесь же мне хочется развить эти случайно брошенные мысли, приведя их в некоторую систему.

Повторяем, выставки последних лет с убедительностью доказывали наличие стремлений к нео-реализму. Для краткости ограничимся выставками только этого сезона. Лучшие вещи на «Маковце» — реалистические работы Герасимова, «Ассамблея» и «Жизнь — творчество» — наивный и немного детский реализм, АХРР — почти «передвижники», «26-ая товарищества русских художников» — в стиле всех 25-ти предыдущих, далеко не «левых». Старые русские сезаннисты из «Бубнового Валета», возродившись «под знаком креста» («Выставка, организованная Об-вом Красного Креста») в лице Машкова и Кончаловского явно говорят нам о своих устремлениях к нео-реализму. Стоит только сравнить выставленные Машковым натюр-морты с его прежними работами, или посмотреть «nues» Кончаловского с их явным уклоном к старым мастерам. Отколовшийся от них Фальк на своей индивидуальной выставке показал ту же эволюцию в портретах, датированных 1924-м годом. Та же история (и тоже портрет) и на выставке Шевченко, тоже московского сезанниста. «Жар-цвет» при всем своем «мирискусстничестве» тоже весьма и весьма убедительно говорила о некоем «нео-реализме».

Но, собственно, не об этих выставках и не об этих группировках будет итти речь ниже, так как нам кажется, что живопись всех этих выставок —

есть живопись вчерашнего дня, нам же интересна живопись завтрашнего. И если мы отмечаем уклон к реализму даже и у этих последних могикан, то это потому, что они со своим реализмом являются отголоском более значительного и более нового стремления к реализму в новой русской живописи завтрашнего дня. Первыми же ее проблесками были выставки вхутемасовцев нашей художественной молодежи, а именно «1-ая дискуссионная» и «Выставка культшефства».

Но если в достаточной мере очевидной является основная тенденция современной русской живописи, то, тем не менее, при констатировании ее возникает целый ряд большой важности и большой трудности вопросов социологического и методологического характера.

Первым из них является вопрос о наименовании этой тенденции. Несомненно, что термин «нео-реализм» здесь совершенно непригоден, отчасти в силу неопределенности вкладываемого в него содержания, а отчасти и потому, что при вложении уже определенного содержания он становится совершенно не адекватным той тенденции, о которой мы будем говорить ниже.

Это вообще, с моей точки зрения, совершенно искусственный, лишенный всякого содержания, термин. Реалистическим будет всякое произведение искусства, ибо это его основное свойство. Еще старик Кант сказал, что произведением искусства можно назвать лишь такое, которое воспринимается нами, как некоторая реальность. С тех пор эта точка зрения, в сущности, не опровергалась ни одним эстетиком, за исключением разве только К. Ланге с его теорией эстетического наслаждения как «сознательного самообмана». С другой стороны, всякое произведение искусства нереально, поскольку оно в своем изображении дает, в конце концов, идеи, а не конкретные вещи.

В самом деле, ведь все «левое» искусство началось с чисто «реалистических» исканий Сезанна, не удовлетворенного импрессионистским акцентом на цвет и свет и стремившимся передать вещь в ее пространственной об'емности. А разве не «реалистичны» с этой точки зрения произведения наших конструктивистов, где железо так и дается железом, а веревка — веревкой.

Но если так, то тогда как же назвать эту тенденцию в современной русской живописи? Я думаю, что всего лучше никак. Не будем торопиться наклеивать ярлыки, которые не только ничего не об'ясняют, но только вносят еще большую путаницу. Ведь определяя тенденцию современного русского искусства, как реализм, мы в сущности хотим сказать, что современное русское искусство, перешагнув через все хитроумные фокусы всяких «измов», стремится к более или менее простому, ясному и удобопонятному искусству, с некоторой, быть может, даже наивности выражения. Вот, по-моему, современная тенденция русского искусства и, если можно говорить о ней как о реалистической, то только в том смысле, какой придает этому термину Троцкий [1]).

Мы берем на себя смелость выставить как положительное утверждение, что современная нам молодая послереволюционная Россия требует и ищет

[1]) „Литература и революция“, М. 1923 г., статья „Искусство революции и социалистическое искусство“, стр. 174—175.

новой, простой и ясной живописи, и именно живописи, а не конструкции. Она хочет, чтобы мастер-живописец давал ей произведения, которые бы имели в своей основе единое и цельное идейное содержание, развитое с наибольшей простотой и четкостью, перед которыми могли бы не чувствовать себя одураченными не только специалисты - искусствоведы, но даже и простая публика. Даже больше, она требует такой живописи, которая была бы предназначена именно для нее, а не для специалистов. Ибо согласитесь сами, что живопись наших «левых», которые особенно много говорят о своей революционности и о своем коммунизме, предназначена как раз для специалиста. Их произведения более или менее понятны — насколько они вообще могут быть понятными — только после весьма большого знакомства с их историческими истоками и с задачами самих художников.

Мы сейчас все чрезвычайно много говорим о пролетарском искусстве. На это звание претендуют различные направления современной нам русской живописи. И «левые», и «АХРР», и такой же, очевидно, должна быть и та будущая русская живопись, о первичных зародышах которой мы здесь говорим. И поскольку это новое возрождение, с нашей точки зрения, будет лежать и не в плоскости левых и не в плоскости «реализма» АХРР'овцев, этих «передвижников» наших дней, поскольку нам требуется здесь путем социологического анализа установить, что ни одна из проявлявших себя за годы революции художественных группировок не даст возможности отнести себя к новому искусству новой России. Вполне понимая всю трудность, почти невозможность такого анализа современности, именно потому, что это — современность, мы заранее признаемся в его значительной поверхностности. Единственным оправданием нашей попытки такого анализа является все же слишком явно ощущаемая потребность как-то разобраться в современности. И именно как на такую попытку мы и просим смотреть на последующие строки.

В процессе этого анализа перед нами встает другой огромной важности и огромной трудности вопрос, а именно о том, как квалифицировать эту современную тенденцию к ясности и простоте? Не есть ли это некий шаг назад, не стоим ли мы перед фактом глубокого и длительного упадка живописной культуры.

Мне всегда памятны слова Троцкого о наступающей эпохе культурничества, когда приходится говорить не столько о дальнейшем развитии культуры, сколько о поднятии масс до той степени культуры, на которой находимся мы сами [1]).

На однажды бывшем открытом заседании Росс. Академии Худ. Наук, посвященном разбору проекта памятника «двадцати шести» в Баку, были разговоры о том, что наши теоретические рассуждения о памятниках героям Русской Революции очень часто и очень во многом не сходятся с требованиями как раз тех пролетарских масс, на которых мы все хотим сейчас базироваться. И еще очень и очень большой вопрос, не окажется ли новое

---

[1]) Л. Д. Троцкий, „Литература и революция", М. 1923, статья „Пролетарская культура и пролетарское искусство".

искусство, потребное для них, не искушенных в области эстетических восприятий, для нас, людей большой художественной культуры, очень и очень большим шагом назад. Для меня лично это далеко не решенный вопрос, хотя самому хочется думать, что это не так, и хотя уже мерещатся некоторые возможности, которые я ниже изложу, заранее оговариваясь в том, что эти выводы в значительной мере кажутся даже мне самому гипотетичными.

Живопись революционных лет вся прошла под левым, футуристическим флагом. В то время, как мы совершенно ничего не знали о том, что делают старые художники, порою даже не знали, где они находятся и живы ли они (многочисленные «смерти» Репина — яркий тому пример), футуристы были у всех на глазах. Они заседали во всех ИЗО, рисовали плакаты, строили памятники и украшали города в дни торжества. Революционный вихрь, сметавший старый уклад быта, оказался для них родной стихией. Им, мечтавшим в свое время и проповедывавшим низвержение всего и вся, было теперь полное раздолье. Их безудержное хулиганство и невоспитанность приняты были за революционность, и восставший пролетариат в этих циниках гибнущей буржуазии, в этих анархистах от искусства, не разобравшись, провозгласил своих товарищей. Но характерно и вполне естественно, что когда прошла эпоха ломки и разрушения, когда уже начались первые попытки созидания, эта ошибка начала осознаваться. Уже в 1920 году в «Творчестве» мы видим первые следы этого сознания, первые слова о том, что так называемые левые художники — менее всего левые и не только не революционеры, но даже и не попутчики революции. И чем дальше шла жизнь, чем больше выступали на первый план задачи строительства, тем все больше и больше осознавался этот факт, и ныне мы уже видим, как руководители художественной политики совершенно отвернулись от левых. Не им заказывают сейчас памятники, или росписи, не ими наполнены теперь такие полу-официозные и просто официозные журналы по искусству, как «Художественный Труд» или «Художник и Зритель».

Первое, что бросается в глаза при обзоре художественной жизни революционых лет — это полнейшая нёвозможность говорить о каких бы то ни было школах. Что ни художник — то школа, что ни живописец — то свое направление, свой «изм». И в сущности, когда мы говорим теперь о конструктивизме, то мы говорим о Татлине и Родченке, когда говорим о супрематизме, говорим о Кандинском. Этот расцвет индивидуализма, это искательство в одиночку — наиболее характерная черта левого искусства. И этот индивидуализм как раз больше всего и говорит за то, что левые художники — это типичные упадочники, последнее слово разлагающегося буржуазного общества, с его «борьбой всех против всех». Вот почему, анализируя ниже художественные достижения революционных лет, приведшие, в конце концов, к полному тупику и заставляющие новые нарождающиеся сейчас тенденции в русской живописи почти не считаться с ними, мы в сущности будем говорит не о школах, а об отдельных художниках.

Но если невозможно в плоскости чисто-живописных задач, говорить о школах, то, тем менее, в плоскости оценки идеологического значения рево-

люционной живописи и в плоскости анализа социальной сущности представителей «левого фронта» в живописи обо всех них можно говорить, как о большой и в значительной мере однородной группе. Нам кажется, что по своей классовой сущности все левое искусство есть последняя агония буржуазного искусства. Пресыщенная всеми благами жизни, всеми утонченностями культуры, усталая и дегенерирующая буржуазия требовала экстравагантности. Люди в желтых кофтах, с раскрашенными лицами, с заумным языком служили ей развлечением. Эстетство перешло в свою противоположность — грубость и цинизм, из шикарных и изящных отелей с толпою вышколенных слуг тянуло в кабачки, где прислуга нарочито дерзила, где пресыщенному лестью и повиновением буржуа щекотали нервы анархическими выкриками и руганью, где с ним не считались и его поносили за его же деньги. Футуристы даже не были теми находящимися в разрыве со своею средою индивидуалистами, романтиками, «представителями искусства для искусства», которым было душно в среде буржуазии с ее ретроградной идеологией. Те, хотя и путем отрицания, намечали новые пути. Нет, футуристы чувствовали себя там, как дома, они никогда не провозглашали ухода искусства от жизни, недаром же из них вырос конструктивизм, недаром же сейчас все Родченки и Малевичи говорят так много о художественном оформлении жизни, быта и производства. Эти-то их две черты, их упадочный анархизм, принятый за революционность, и их слова об оформлении жизни и смутили многих и позволили им до сих пор выдавать себя за созидателей нового искусства новой пролетарской России. Но когда на смену гнилой буржуазии встали новые и молодые силы, то вскоре оказалось, что все эти экстравагантности «измов» им не нужны. Эти «измы» были рассчитаны на ошарашивание публики, а пролетариату этого ошарашивания вовсе не было нужно; в жизни и так для него было слишком много нового и незнакомого, чтобы еще искать непонятного. Он, наоборот, стремился к учению и ему нужны были учебники всякого рода, а в том числе и живописные. Футуристам пришлось отбросить всякие чудачества и приняться за работу. Внешне она выражалась, как мы уже говорили, в создании всяких плакатов, памятников, в украшении городов в дни празднеств и т. д. А внутренне она должна была пойти по пути формальных, чисто живописных исканий. Обратимся же теперь к ним, и их анализ покажет нам тот тупик, в который пришли левые в результате этих своих исканий. Он заключается в том, что, во-первых, исходя из чисто формального понимания искусства, они дошли до потери «идеи формы», а во-вторых — в том, что «реалистические» устремления их духовных отцов Сезанна и Пикассо превратились у них в мистическое понимание мира.

Возьмем Татлина. Не удовлетворяясь чисто цветовым и световым разрешением проблемы вещей трехмерного мира, Сезанн, ища глубины и пространственности, свойственных реальным вещам, создал свое знаменитое учение о сведении всех реальных форм к геометрическим. Пикассо разорвал реальные вещи на их геометрические части и строил свои изображения реальных вещей, руководствуясь сочетанием и композицией этих самых геометрических тел. Изображение реального мира свелось к композиции

искусственно выделенных частей вещей. Так уже здесь стремление к реализму перешло в чисто формальные искания. Ими-то и занялся Татлин, обратив свое внимание на поверхности предметов, на их «фактуры». Его стал интересовать не реальный мир, а в голове выдумываемые новые сочетания взятых из мира кусков — форм и фактур. Отсюда был только один шаг до отрицания реальных вещей и противопоставления им вещей сделанных. Родченко, москвич, ученик петербуржца Татлина, несколько на свой манер продолжал эти искания. Здесь не время и не место отмечать особенности его исканий от Татлиновских, так как в общем они сводились к тому же, к созданию новых вещей взамен реальных. Тут-то и завершился тупик и выросла оканчивающая его стена. Живопись есть оформление реального мира, она помогает нам постигать его, как совокупность форм, линий и красок, она дает нам незамечаемые нами в жизни соотношения предметов. Здесь же взамен этого мы видим голую схему реально несуществующих предметов, сочиненную художником. Она нам ни к чему не нужна и абсолютно ни на что не пригодна. Прежние живописцы строили свои картины на известном формальном миропостижении, это и было их идеологией, именно живописной идеологией, отличной от «сюжета», от анекдота картины. Они показывали нам мир с какой-то неожиданной новой стороны. Здесь же получилось то, что, подходя к конструктивистскому произведению, мы сначала должны знать, какую живописную идею, какую эмоцию он хотел здесь выразить, и только зная ее, мы можем так или иначе судить о том, насколько она здесь передана. А это-то и делает, в конце концов, совершенно ненужным для нас такое произведение.

Татлин и Родченко пришли, в конце концов, к тому, что чисто формальный интерес к вещам реального мира выродился у них в пустое и никому не нужное занятие: созидание искусственно выдуманных вещей. Живопись из осознания мира превратилась у них в конструкцию еще новых, подлежащих постижению вещей. Постижение мира у Малевича свелось к другому тупику — к отрицанию вещей и замене их проблемами какого-то метафизического пространства, где конструктивные формы якобы дают нам возможность интуиции этого пространства. Послушаем, что говорит о нем теоретик левого фронта, Пунин, ибо ведь если же надо раз'яснять произведения конструктивистов, то кто же сможет их лучше раз'яснить, как не единомышленник. Пунин пишет: «как только Малевич вырвал пространство из системы кубистического построения, оно тотчас же получило смысл форм; но только не той интегрированной и заполненной живописным веществом формы, которая есть след пересечения материалов с пространством, а чистой формы пространства, мыслимой и познаваемой живописным разумом («Русское Искусство» № 1, стр. 22).

Было бы, разумеется, смешным даже и доказывать, что с подобным мистическим подходом к реальному миру нового искусства не создашь, что этот мистицизм только определяет место этого искусства в современности. И это место на заднем дворе, там, где долеживаются еще не погибшие окончательно остатки старого мира.

В. Гаузенштейн считает супрематизм и кубизм частными явлениями одного большого стиля — экспрессионизма. Отличительной чертой супрематизма и кубизма он устанавливает тот факт, что эта живопись от проблемы изображения вещей перешла к проблеме универсальной формы изображения как такового. Мистичность такой постановки проблемы открывала возможность для того, из глубины существа художника исходящего проникновения в изображаемую реальность, которая характерна для экспрессионизма. Экспрессионизм, по мнению Гаузенштейна, начало новой мистической религиозной эпохи развития человечества, диалектически сменяющей позитивную эпоху, ведшую свое начало от Ренессанса («Об экспрессионизме в живописи», сб. «Экспрессионизм». Гиз. 1923).

Будучи несогласным с такими общими выводами марксиста Гаузенштейна, провозглашающими, как положительный факт, наступление этой религиозной эпохи, и считая, что экспрессионизм, помимо мистических, таит в себе еще и другие возможности,—о чем ниже,—мы, тем не менее, должны согласиться с ним в правильности намеченной им линии генезиса современного, главным образом, немецкого экспрессионизма.

Видя в нем, в главных его проявлениях, типичный упадочный стиль, мы таким образом вполне определяем и место всего «левого» искусства, как моста между натурализмом импрессионизма и мистичностью экспрессионизма. Потеря «идеи художественной формы» и замена живописной организации мира фактическим «деланием вещей» с железной необходимостью должна была привести конструктивистов к художественному самоубийству. И оно случилось в теории «производственного» искусства, основным тезисом которой является утверждение, что живопись, как таковая, в наши дни умерла и кончена раз навсегда. Один из теоретиков этого направления Н. Тарабукин совершенно откровенно анализирует этот процесс. Борясь против старого эстетизма, конструктивисты в своем «делании вещей» сами впали в сугубый эстетизм стилизации машинных форм и инженерии. И единственным выходом из этого было отказаться от конструирования вещей и растворить себя целиком в производстве [1]). По существу с «левыми» случилось то же самое, что сейчас происходит с лучшими представителями разлагающейся буржуазной культуры (Шпенглер и К°). Сознание гибели буржуазной культуры, т.-е. той, в которой они выросли и которая в силу этого кажется им единственно возможной культурой, претворяется у них в гибель культуры вообще. Точно так же reductio ad absurdum формалистических исканий, доведшее Родченко до закрашенного сплошь красным полотна, а Малевича—до черного квадрата, гипертрофируется в смерть живописи вообще. Суб'ективное преподносится, как об'ективное [2]).

---

[1]) Н. Тарабукин, „От мольберта к машине", М. 1923 г.

[2]) Интересные параллели. Утверждение производственников о смерти искусства и его ненадобности в будущем, о необходимости растворения его в производстве, т.-е. делании материально полезных вещей, не напоминают ли нам утверждение Шпенглера о конце культуры и начале цивилизации, в которой место только технике и ничему иному (О. Шпенглер: „Закат Европы", см. также В. И. Лазарев, „Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство". М. 1922 г.). К тем же по существу выводам, правда, изложенным

Мы меньше всего хотим здесь громить и ругать наших «левых». Мы вполне согласны с тем, что они подошли к русской революции с открытой душой, хотели для нее работать, искренне, быть может, считали свое искусство пролетарским. Но, если не их лично вина в том, что они не смогли стать даже и «попутчиками», то все же это и не об'ективное оправдание их искусства. Анархисты от искусства, они восприняли революцию только с ее разрушительной стороной, и А. В. Луначарский, конечно, прав, когда он говорит: «Революция, как форма, поскольку в ней есть ломка, отсутствие отлившихся образов, максимум движения, — есть нечто глубоко родственное с новейшим (читай «левым». *Ф.-Д.)* искусством» [1].

Им нельзя также отказать и в той заслуге, что они выдвинули лозунг о связи искусства с производством, но и в этом отношении дело пойдет, разумеется, совсем не в той плоскости, как они думают. Здесь речь должна итти не о растворении искусства в производстве, а, с одной стороны, о новой художественной промышленности, а с другой — о проникновении «чистой» живописи индустриальным, городским мировоззрением и темами, любовью к городу и машине, художественным их претворением. И здесь первые ростки, конечно, будут в области художественной промышленности и того, что мы шире называем «культурничеством» в области искусства. В этом отношении очень показательна «Выставка культшефства ВХУТЕМАС'а» в его производственной части. Если обратиться только к живописи, то это выразилось в некоем «деловом конструктивизме» плакатов и расходные посуды. В таком конструктивизме, который действительно заслуживает этого названия, поскольку конструкция есть целесообразность, а не только какое-то отвлеченное конструирование живописных материалов.

Из всех художественных группировок, которые противостоят «левым», мы можем остановиться только на АХРР'е, как на другом претенденте уже справа на революционное искусство. Все же остальное — это типичное мелко-буржуазное интеллигентское искусство, воскресшее вместе с НЭП'ом. И если московские сезаннисты еще и являются какими-то претендентами на продолжение живописной культуры, то все остальные только повторяют старые зады до-революционной живописи, точно так же, как и современная мелкая нэповская буржуазия стремится подражать в своей жизни старой дореволюционной буржуазии. Малая живописная культурность этих группировок в точности соответствует малой культурности этой новой мелкой буржуазии; и поскольку ориентация этих группировок совершенно для всех ясна, постольку они здесь и не подлежат нашему анализу [2].

не столь научно, а беллетристически, приходит и Ил. Эренбург в книжке „А все-таки она вертится“. Анархист Эренбург—это сплошное „нет“, не имеющий никаких ценностей и идеалов, все отрицающий и все высмеивающий, „закятник“ Шпенглер и наши „революционеры в искусстве“ трогательно сходятся в суждениях об искусстве. Вывод из этого настолько ясен, что его можно и не делать.

[1]) А. В. Луначарский, „Искусство и револ.“, М. 1924 г., статья „Искусство“, стр. 26.

[2]) Столь же, конечно, ясна ориентация и сезаннистов, и близких к ним („Бубновый Валет“, Шевченко и др.). Это ориентация на „любителей“ и „ценителей“ прежнего типа или на искусствоведов, в большинстве всегда подходящих к живописи только со стороны формы.

Другое дело художники АХХР'а. Они очень громко кричат о своей рево люционности, выдают свою живопись за новое пролетарское искусство, сло вом старательно красят себя в красный цвет. И под давлением того социаль ного заказа, о котором мы говорили выше, очень и очень многие склонны видеть в них действительно новую революционную и т. д. живопись. Наш дело здесь — вскрыть сущность этой фальсификации революционного искус ства.

Бесконечные, чисто формальные искания последних лет, чуждые какой либо идеологии, какой-либо идеи, заставляют в силу реакции ставить акцен на «содержание». Отсюда очень свойственная многим из современных марк систов, пишущих об искусстве, переоценка «передвижников». И понятно что, когда АХХР воскрешает сейчас перед нами старую традицию передвижни чества с его «литературщиной» в живописи, то многими это воспринимается как положительный факт. Говоря все время о «единстве формы и содержа ния», мы очень часто на самом деле разрываем это единство, оценивая кар тину с точки зрения ее сюжета и совершенно забывая, что «сюжет» и «содер жание» — вещи разные. Художник может в любой, самый революционны сюжет, путем его трактовки, вложить самое контр-революционное содержа ние, и, наоборот, безразличный сюжет трактовать очень революционно АХРР'овцы поставили своей задачей отобразить русскую революцию и ее быт прославлять в живописи труд. Задача очень современная и очень почтенная но не можем же мы ограничиваться в наших суждениях о произведениях живо писи суждением о сюжете. Да, они взяли революционные темы, но трактую их, как жанр. Да, они изображают всякие заводы и фабрики. Но они поста вили акцент не на самый созидающий человеческий труд, не на его поэзи и величие, а на, так сказать, «производственную» сторону трудовых процес сов. И там, где они изображают трудовые сцены, не как жанр, там они ил рисуют нам тяжесть труда, или прославляют самую индустрию. В перво случае они подходят со стороны старого, интеллигентского «жаления» бед ного пролетариата, замученного непосильной работой. Во втором они следую традициям того буржуазно-угоднического отражения индустрии в живо писи Запада, которое в изображении гигантских фабрик и заводов просла вляло мощь и величие создателей индустрии — буржуазии, изображая рабо чего, как раба машины, как придаток к ней [1]).

Нам приходилось слышать от многих, зачастую очень крупных работни ков: «мы великолепно знаем, что АХРР'овцы не революционеры, но—како нам до этого дело? Нам нужны сейчас картины на революционные и трудовы темы, и если нам их дают — мы их берем. Мы можем здесь ругать АХРР'овце только за плохую живопись».

Это в корне неверный взгляд Беда не в том, что АХРР'овцы—плохи художники, и они не только потому плохие художники, что у них мал таланта, а потому, что они берутся за глубоко им чуждые и безразличны

[1]) Например, „Кузница" и „Рельсопрокатный завод" Менцеля, „Паровой молот Келлера, „Прокладка туннеля" Михалька, „Установка руля" Клейля и многие из карти Брегвина и т. д.

темы. Марксистский тезис единства формы и содержания в «идее художественного произведения» обозначает то, что мы всякое художественное произведение должны судить по тому, к а к оно сделано. Но для нас в этом к а к содержится не только чисто техническая сторона картины, но и ее идеология.

АХРР'овцы в своих плохих картинах не только плохо выразили современный социальный заказ, но они именно тем, что они «плохо сделали», исказили те самые темы, за которые они взялись.

Художнику мало взяться за известный сюжет, он должен его пережить, должен осознать его, как идею, должен претворить его в специфически живописную идею и только тогда его картина будет идентична его теме. Жанровое изображение событий революции в «безразличности», свойственной всякому жанру, есть искажение революции, художественная ложь о ней. Самый неумелый рисунок подлинного пролетария, революцию творившего, отобразит ее лучше, нежели десяток таких полотен. Мы не имеем права говорить, что нам безразлично внутреннее отношение художника к сюжету, ибо оно не может в данном случае быть безразличным, не будучи лживым, а это отзовется на живописной трактовке и в результате дает лживую идеологию.

Но здесь перед нами встает как раз тот вопрос, о котором мы говорили выше, а именно: вопрос о так называемом культурничестве. В самом деле не окажется ли это являющаяся для нас эстетическим шагом назад живопись «нео-передвижников» как раз тем, что нужно сейчас эстетически неискушенному пролетариату. Быть может, он не заметит этой эстетической лжи, видя только один сюжет. Но, во-первых, нам кажется, что даже совсем эстетически некультурный человек все же воспринимает живописную сторону картины. Здесь процесс идет бессознательно, бессознательно создается известное настроение, известный подход к теме. Т.-е. неверный подход бессознательно будет усвоен зрителем. Но если этого даже и не случится, если у рабочего или крестьянина от портрета вождя, изображения революционной сцены, или трудовой, и останется только голый сюжет, то в таком случае роль этих картин ни в какой мере не была бы художественной и они могли бы быть заменены хорошими фотографиями. Ведь живопись в сущности тем-то и отличается от фотографии, что она не механически передает об'ект, а его и н т е р п р е т и р у е т, что-то о нем рассказывает показывает его в каком-то новом, без нее не могущем быть воспринятом аспекте. В конденсированности живописного изображения она упорядочивает восприятие явления, дает его, как некое уже готовое о нем суждение.

Возьмем для примера портрет вождя - революционера. При одинаковом даже желании дать портрет наиболее схожий, остается огромное поле для совершенно различных трактовок. Можно изобразить его так, что будет чувствоваться, что это—не обыкновенный человек, что в нем есть нечто выходящее из ряда обыкновенного, что это именно вождь с его железной энергией, с его духовным величием. Портрет будет выражать подлинного вождя и будет внушать соответствующие идеи, будить сознание, звать вперед, рождать революционное настроение. И можно изобразить его, наоборот, подчеркнув все мелочное и случайное, взяв вялые линии и безразлично действующие краски,

и получается или карикатура, или нечто совершенно невыразительное, т.-е. ложное, и таковы именно портреты вождей у АХРР'овцев. Не в состоянии воспринять обуревающего их волнения, их внутренней динамики, они невольно обращают внимание на мелочи, на фотографический реализм, и получается сугубая ложь, которая именно и заключается в неумелом робком рисунке, в зализанности мазков, в убогости колорита. Вспомните только, как воспользовался такими чисто техническими приемами своего мастерства великий художник слова Толстой, когда в «Войне и Мире» он захотел развенчать Наполеона. Он достиг этого, взяв героя в будничной обстановке (описание туалета), показав героя, как обычно серого человека. Или возьмем картину АХРР'овцев «Транспорт налаживается». Не говоря уже о том, что изображение паровозного депо, расходящихся в разные стороны рельс и паровоза на них, просто не отвечают сюжету, обратим внимание на самую его трактовку. Что должен был сказать художник, чтобы передать идею хозяйственного воссоздания страны? Он должен был, гордый и обрадованный этим, увидеть здесь залог будущего счастья, увидеть в этом победу труда, создать ликующее и радостное произведение, мощное и бодрящее, пронизанное светом, кричащее мазками, так, чтобы в нем слышался гул и темп мощной работы. А что на самом деле? Серые безразличные краски, серое дождливое небо, мокрые рельсы, сюжет воспринят, как нечто обыденное—паровоз выходит из депо—жанровая картина, мелочный реализм, никому и ни на что не нужный. Ясно, что художник совершенно безразличен к своей теме, что он просто зарисовал то, что случайно на глаза попалось и потом уже сочинил подходящее (с его точки зрения) название, чтобы угодить социальному потребителю.

Но мы склонны высказать то предположение, что ей вовсе не суждено играть даже и такой «фотографической» роли. Наши современные реалисты-жанристы кажутся мне типичными русскими интеллигентами, подошедшими к русской революции со старой и типично интеллигентской «народнической» меркой. И она окажется столь же неподходящей для понимания жизни народных масс, сколь неподходящим было и подлинное народничество.

И подобно старым народникам-передвижникам они останутся в своей живописи столь же чуждыми народным массам, пролетариату и крестьянству, сколь чуждой для них была в свое время живопись передвижников.

Таким образом нам кажется, что как левое, так и правое искусство обречено в ближайшем будущем на более или менее быстрое умирание и с ними не приходится считаться, говоря о будущей новой русской живописи.

Но какою же будет она, какова будет ее роль и кого она будет обслуживать?

Мы живем в переходную эпоху,—в эпоху, когда говорить о пролетарской культуре и даже вообще о какой-то единой культуре для ближайшего будущего не приходится. И пути русской культуры рисуются нам приблизительно в нижеследующем виде. С одной стороны, идет усиленное культурничество в среде широких масс пролетариата и крестьянства. Для этого культурничества все современные культурные достижения, а в том числе и живопись, популяризуются, упрощаются до крайности, приводятся к известным простей-

шим, но всегда «живописным» схемам. С другой стороны, через рабфаки и вузы вырабатываются новые кадры пролетарской интеллигенции. Эта новая интеллигенция, здоровая и сильная, воспитанная в духе реальной борьбы, чуждая мистическим потусторонним исканиям, будет творить новую культуру на основе старых достижений, но взятых без их прежнего интеллигентского налета. На ряду с этим еще довольно продолжительное время будет существовать старая интеллигенция высоко-квалифицированных спецов.

Подобным этому будет в общих чертах и развитие нового искусства, а в частности и живописи. С одной стороны, будет происходить огромный процесс внедрения живописной культуры в массы, приобщение их к живописи, а, с другой стороны, создание новой живописи для новой интеллигенции пролетарского типа.

Приобщение широких масс к живописи пойдет, как нам кажется, главным образом через промышленность и производственную агитацию. Возможна, конечно, и чисто педагогическая образовательная работа путем организации музеев и т. д., но ближайшее время едва ли даст к тому большие возможности. Путь же через промышленность и производственную агитацию кажется весьма и весьма возможным. Здесь, конечно, немалую роль сыграют всякие листовки и плакаты как производственного, так и чисто рекламного характера. Они будут, конечно, приноравливаясь к культурному уровню масс, ясны и примитивны, быть может, даже и используют некоторые фактурные достижения левых, но все это в плоскости того реализма, о котором мы говорили выше.

Интересно отметить, что появляющиеся сейчас новые журналы по искусству, в противоположность старым снобическим журналам типа «Аполлона» или современного «Русского искусства», стремящиеся говорить об искусстве для широких масс, пропагандировать среди них искусство, тесно связывают себя с промышленностью. За это говорят даже и их названия: «Художественный труд» и «Искусство и промышленность». И характерно то, что оба они чрезвычайно интересуются искусством кустарей, а также фабричным производством. Они стремятся поддерживать и ставить на широкую ногу первое и пропагандировать внесение эстетических моментов во второе.

И на самом деле, какое огромное поле для развития живописи представляет освобожденный от прежней кабалы скупщиков труд кустарей. В их массе очень жизненны и сильны большие и прочные живописные традиции. В качестве примера мне хочется обратить внимание на работы бывших кустарей-иконописцев. Сейчас они расписывают всякие блюда, ларцы, укладки и т. п. Насколько нам удалось усмотреть из некоторых виденных нами образцов, а также из репродукций [1]), сюда в очень значительной мере проникают новые мотивы, рожденные революцией. Взамен старых, лубочных богатырей и мещанских «чаепитий», мы видим стилизованных красноармейцев, «Гуляние на Воробьевых Горах», многочисленные сцены из нового быта и т. п. И не-

---

[1]) См. репродукции в № 1 журнала „Искусство и промышленность". М. 1924 г.

сомненно, что это — более подлинное, пускай и наивное, отражение современности, чем АХРР или «лефовцы». И важно то, что происходит на почве понимания живописи, как ремесла, т.-е. того, отсутствием чего в значительной мере обусловлен весь кризис современной нам живописи.

С другой стороны, рисуется также широкое поле возможностей для живописи в промышленности. И это будет, конечно, не конструктивизм и не супрематизм. Они-то именно здесь и не пригодны, хотя больше всего и кричат о «производственности» своей «живописи». Она вся сплошь выдуманная и абсолютно не утилитарная. Конструктивисты очень часто в своих декларациях противоречат сами же себе и, крича на страницах «Лефа» о производстве, на страницах берлинского журнала «Вещь» всего год тому назад вещали: «Не следует полагать, что под вещами мы подразумеваем предметы обихода»... «примитивный утилитаризм чужд нам» и т. д. и т. п. Но дело, очевидно, не в том, что они пишут в своих бесчисленных декларациях, а в том, что они фактически делают. А их фактическое делание все проходит под сплошным знаком бесконечного и безудержного «изобретательства». Сначала изобретут вещь, а потом начинают думать об ее утилитарной значимости. И эту утилитарность всегда, разумеется, им приходится притягивать за волосы. Здесь же дело пойдет как раз наоборот: на первом плане будет стоять утилитарность вещи, на то это и промышленность, а уже на втором — ее эстетическое значение. Быть может, здесь и будет использовано кое-что из достижений левых, но совсем не в той плоскости и не таким образом, как они хотят.

И возможно, что этот путь, через промышленность фабричную и кустарную, создаст для живописи некоторые возможности для нового и монументального стиля, ясного и простого и реалистического в смысле отсутствия в нем мистичности и в смысле его привязанности к реальному миру и реальным вещам.

Но несомненно, конечно, что для нас значительно больший интерес имеют те пути, по которым пойдет чистая живопись в том случае, если такие пути есть, и если разговоры лефовцев о смерти живописи, как живописи, есть только разговоры и не больше.

Мы лично убеждены, что перед живописью лежит еще очень большая дорога и, наоборот, далеко не уверены в том, что даже в будущем бесклассовом обществе живопись, как таковая, перестанет существовать.

Какою же должна быть эта живопись? Ответ на это лежит в уяснении себе физиономии новой городской после - революционной интеллигенции. Эти новые зарождающиеся сейчас горожане отличаются в достаточной мере упрощенной, но зато очень ясной и здоровой психикой. Они выросли и вырастают в атмосфере напряженной борьбы за существование, — борьбы очень прозаичной и реальной. Они часто — выходцы с фабрик и заводов. Им не страшна «механизация» жизни, они, наоборот, ею воспитаны, их психика в значительной степени «индустриализованная» и урбанизованная. Все эти особенности их психики и определят особенности их нового искусства, а в том числе и живописи.

Эти новые люди, пускай даже и очень культурные, пускай даже и прошедшие через высшую школу, все же не будут чувствовать на своих плечах тот гнет вековых культурных традиций, ту тяжесть культурного багажа, которая была так невыносима нашей предреволюционной интеллигенции и которая заставляла футуристов кричать о необходимости разрушить все музеи и сжечь все библиотеки и под гнетом которой задыхается Гершензон. Он восклицает в «Переписке из двух углов»: «несметные знания, как миллионы неразрывных нитей, окутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса» (стр. 16). И он мечтал о том, как было бы радостно «выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки» (стр. 11). И эта мечта сбылась, и новые люди почти что нагие в смысле свободы их от душных и тяжелых одежд. И ясно, конечно, что их воззрение на мир будет в достаточной мере примитивным, наивно-реалистическим. Они будут любить явления, как явления, и не будут ощущать болезненной потребности в философствовании об их внутренней непроявляемой сущности.

Это — первая и основная черта нового искусства, новой живописи. Но этот наивный реализм не будет наивным реализмом дикаря, нет, он будет точкой зрения современного нам индустриального, урбанизованного человека, и его наивность есть наивность относительная по сравнению с запутанной утонченностью подхода к миру старого интеллигента.

И второй чертой новой живописи будет ее урбанизованность. Она будет изображать вещи реалистично, но этот реализм будет не прежний натуралистический, а новый — точка зрения горожанина, живущего быстрым темпом и в силу этого как-то схематизирующего явления, схватывая только их сущность. Явления существуют для него в их динамике, в их внутренней жизни. Для него не существует неподвижных вещей и неподвижного, медлительного ими любования. С точки зрения чисто живописной технической, эта новая живопись должна все же вырасти как-то на основе последний живописных исканий. Это вполне понятно, так как живописцы ближайших лет — это теперешние ученики Вхутемаса и других художественных вузов. Они проходили и проходят школы и кубизма, и супрематизма, и экспрессионизма и все это оставляет на них свой след. И это, с моей точки зрения, — положительное явление. Чуждые мистицизма этих художественных направлений, они возьмут и берут уже от них то чисто-живописно ценное, что в них есть. И это, прежде всего, большое внимание к живописному мастерству и к живописным материалам, — черты, в которых нельзя отказать левому искусству.

Еще более значительно будет на них влияние экспрессионизма, и поэтому мы остановимся на этом поподробнее.

Экспрессионизм в общем и целом—это, несомненно, упадочная живопись. Она является плодом потрясенной небывалой силы событиями и бедствиями войны и революции общественной психики. И в этом смысле совершенно естественно, что родиной его является Германия, перенесшая наибольшее крушение и наибольшие тягости. Германская интеллигенция увидела воочию гигант-

ское крушение всей своей империалистической идеологии. И так как эта идеология была тесно связана с заботами о развитии германской индустрии, то разочарование обратилось и против нее. Во всем обвинили индустриализм, механизацию жизни, убившую чувства, и стали провозглашать свободу этого чувства, культ живого непосредственного человека. В атмосфере промышленного и политического кризиса это естественно вылилось в форме мистики, бывшей всегда прибежищем для потрясенных умов.

Но, как марксисты, мы должны всякое явление, а тем более идеологическое, рассматривать в его диалектическом развитии, выискивая в нем самом его антитезу. И эту антитезу в экспрессионизме, делающую его возможной исходной точкой для новой русской живописи, очень нетрудно усмотреть.

Ведь чрезвычайно знаменателен тот факт, что Гросс, этот сатирик пролетариата, беспощадно высмеивающий разлагающийся буржуазный мир и своим острым и циничным карандашом, как скальпелем обнажающий все его язвы и гнойники, типичный экспрессионист—и в нем-то и выражается та особенность экспрессионизма, которая делает его пригодным для новой русской живописи. Эта особенность — его острота, неожиданность его подхода к явлениям, моментальность его взгляда и способность парой линий — ударов кисти, дать в явлении все его характерное, не касаясь и даже вовсе опуская все его детали.

Экспрессионистический художник порою дает нам только часть предмета, только схваченные на лету его бросающиеся в глаза характерные особенности. Он лаконичен до последней степени.

И вот эта его основная черта дает возможность ему превратиться у новых русских молодых живописцев в новое искусство.

Им не страшна мистичность экспрессионизма. Она им просто совершенно чужда и непонятна. Они подходят к вещам и явлениям чрезвычайно просто и пользуются экспрессионизмом, как методом схватывания на лету.

Я никогда не рискнул бы предложить вашему вниманию эти мои прогнозы относительно новой русской живописи, если бы они были только плодом моих личных отвлеченных соображений, и я бы не имел в виду подтверждающих их фактов. Но именно потому, что я нашел эти факты и нашел их именно там, где они наиболее убедительны, т.-е. в работах молодежи, оканчивающей сейчас Вхутемас, я и решился выставить эти мои утверждения.

Я лично присматривался к тому, что делает эта молодежь, очень внимательно и со многими из них неоднократно вел разговоры, стремясь узнать их собственные взгляды на искусство, и на основе этого строил свои прогнозы. Но недавно они устроили свою выставку, где все то, что я наблюдал, так сказать, частным порядком, является сейчас уже общим достоянием. Эта выставка, насящая название «1-й дискуссионной», с прямо-таки поразительной отчетливостью выявляет те тенденции, о которых я говорил. Поэтому следует остановиться на ней поподробнее. На ней выставлены, разумеется, и всякие «левые упражнения» всех сортов, но интересны не они, так как они, если что и могут доказать, то только полнейшее вымирание конструктивизма.

Основные черты живописных произведений этой молодежи можно было бы охарактеризовать, во-первых, как стремление к реализму в смысле любви к реальным об'ектам, стремление передать с наибольшей убедительностью их реальное бытие, но вместе с тем определенно экспрессионистический, динамический характер этого реализма, что в особенности сказывается в работах т. наз. «Группы трех» (Гончаров, Пименов и Дейнек). Второю чертою является углубленность формальных, но глубоко отличных, от старого формализма сезаннистов и левых, исканий и, наконец, явно ощутимая близость к современности, несмотря на почти полное отсутствие революционных сюжетов. Методы выражения этого экспрессионистического реализма очень различны у разных группировок этой выставки, но он налицо. В своеобразной форме он выражается в «Группе трех», как развертывание трехмерной формы на плоскости, сопоставления моделированной формы и силуэта, в опускании деталей. У них все это идет от их учителя Фаворского. Этот факт — влияние гравера и графика на живописца — не случаен, но имеет очень большие и серьезные основания. Ведь интересно, что годы революции, заведшие в тупик процветавшую ранее живопись, были так благоприятны для начавшегося перед революцией возрождения деревянной гравюры и молодой литогравюры. Вопрос о причинах этого явления слишком все же велик и сложен, как и вопрос о влиянии ксилографии на живопись и о новых, вытекающих отсюда, возможностях, чтобы касаться его здесь. Я просто только хочу отметить это здесь, как факт, который надлежит иметь в виду и который, несомненно, в дальнейшем найдет своего истолкователя.

Правда, этого влияния можно до некоторой степени опасаться, ибо оно исходит от идеалистической гильдебрандовщины. Но, конечно, одно дело теория — другое практика. Это, так сказать, еще следы переваривания и изживания старых традиций, и в том, что это—изживание, убеждает то, ради чего все это делается. А именно — некий своеобразный экспрессионистический реализм [1]). И вот здесь-то как раз и место обратить внимание на вторую черту — углубленность формальных исканий. Это нечто глубоко и принципиально отличное от старого формализма. Там он вытекал из отсутствия идейного содержания, от разобщенности художника с окружающей его жизнью; здесь же, наоборот, в формальных исканиях чувствуется желание найти новый живописный язык для выражения новых идей. Эта разница с наглядной убедительностью выясняется при сопоставлении различных группировок выставки. В то время, как «проекционисты» с головою погружены в так называемое изучение основных проблем живописного мастерства, сиречь в бесплодные алхимические кабинетные изыскания, схоластические и нежизненные, другие — «Группа трех», группа «Быт», а отчасти и «конкретивисты» ищут и находят именно в плоскости своего мастерства, в изображении реальных об'ектов. Новые люди с новым восприятием и новым мышле-

[1]) Кроме того, это только у „Группы трех", другие художники, как, например, Папков и Пархоменко (группа „Быт") или очень одаренные Н. Вильямс и К. Вялов („конкретивисты") исходят в своей убедительности реального из совершенно другого. Но об этом здесь не место подробно распространяться.

нием, они видят по-новому старые об'екты и стремятся их отобразить, их осознать и художественно интерпретировать. И вполне понятно, что, как и всякое новое воззрение на мир, оно пока еще в состоянии воспринимать только отдельные об'екты, как таковые, еще неспособно о них философствовать, осознать их в их социальной и философской сущности. Это начало процесса и, конечно, можно только радоваться, что он начинается не с бессильных потуг на выражение еще не могущего быть выраженным, а устремляется на более легкие и доступные об'екты. Этим об'ясняется «безразличие» (кажущееся) их сюжетов. И повторяем, в этом кажущемся безразличии, в этом отсутствии революционных и современных — по названию — тем они именно и близки и созвучны современности.

Эта современность вся проходит под знаком сплошного учения. Новые молодые силы, словно снова увидели мир совсем новым и еще подлежащим изучению и осознанию. Старые буржуазные методы именно в этой не строго научной, а, так сказать, художественно-философской стороне оказались для них совершенно непригодными, и они ищут своих новых методов.

Это наводит на любопытные исторические аналогии с другим, очень сходным моментом. С моментом тоже рождения совершенно нового воззрения на мир, точно так же обусловленного выступления на сцену нового молодого класса. Это — раннее итальянское возрождение, кватроченто в живописи. Как теперь пролетариат, так тогда буржуазия искала совершенно иных, нежели до нее бывшие, методов и живописной интерпретации мира. И точно так же там живописцы ушли в область формальных исканий, но таких, которые в отличие от того, что мы привыкли называть «формализмом» и считать признаком живописного упадка, можно было бы назвать «идейно-формальными» исканиями. «Идейно-формальными» потому, что они в изысканиях новых художественных форм творят новую живописную идеологию. В итальянском кватроченто зачинатели нового стиля продолжают изображать старые религиозные сюжеты, обратив все свое внимание на идейно-формальные искания — раккурс, перспектива, трехмерность и т. д. и т. д. Стоит только вспомнить такие имена, как Мозаччио, Паоло Учелли, наконец, даже Антонио Поллаполо или Ботичелли. Это гигантские имена, с которыми было бы смешно сравнивать наших вхутемасовцев, но разница здесь, во-первых, только в таланте, а не в принципе, а, во-вторых, следует помнить, что ведь эти гении были только лучшими выразителями и завершителями бесконечных исканий малых художников, чьи имена не дошли до нас сквозь толщу столетий.

Вспомним при этом, что они именно в этих своих формальных исканиях, а не в сюжетах выражали идеологию выступающего на сцену нового класса — буржуазии. В качестве примера ссылаюсь на Бакушинского, который выводит искания в области прямой перспективы в итальянском возрождении из классовых его основ [1]).

И это наводит на некоторые размышления по поводу возможности пред'являть сейчас к живописи требования непременного отражения револю-

[1]) Бакушинский, „Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии". Журнал Р. А. Х. Н. „Искусство" № 1, М. 1923 г.

ции. Надо признать—определенно детской наивностью усматривать созвучность современности, подходя со стороны сюжета. Ведь всякая живопись только тогда может носить это имя, если она разрешает какие-то чисто живописные проблемы. Это не есть отрицание содержания, а только утверждение, что оно раскрывается в живописи в специфической форме—в форме «живописной идеи».

Мы стоим сейчас у колыбели новой интеллигенции и, как счастливые, но малотерпеливые отцы, хотим сразу видеть младенца взрослым и даже сильно разочарованы, что он еще только испускает первые несвязные звуки, а не решает уже сложных уравнений высшей математики и не задается мыслью о смысле всего сущего.

Разве не похожи мы на этих немного смешных отцов, когда категорически пред'являем к живописцам требования: или ты отражай революцию, или ты ни к чему не годен, ретрограден, пережиток старой буржуазной культуры. Требования во что бы то ни стало революционного сюжета в живописи обусловливаются, в конце концов, просто политико-просветительными потребностями и тому подобными. Я ни в какой мере не отрицаю необходимости такого подхода к живописи, но только утверждаю, что помимо него должен быть еще и подход научно-эстетический.

Этому первому требованию будет, конечно, удовлетворять искусство, но нельзя расценивать всю живопись только с этой точки зрения. В применении к тому, что мы называем grand art она и очень близорука, и, может быть, даже очень вредна. Она близорука потому, что расценивает первые ростки будущего с точки зрения требований сегодняшнего дня. Вредна она потому, что под влиянием ее может быть принято за революционное только имитирующее революцию, а ложь в искусстве страшней и гибельнее, чем где бы то ни было, а, во-вторых, потому, что можно заставить художественную молодежь сойти с того правильного пути, по которому ее ведет безошибочность ее художественного инстинкта. Взявшись за задачу, еще слишком для них непосильную, они неминуемо извратят ее и по существу.

Мне возразят, пожалуй, на это: а как же литература? Отражает же она уже сейчас в достаточно художественных произведениях революцию. Но самое это возражение доказало бы только некую разницу в положении литературы и положении живописи. Ведь не можем же, на самом деле, мы, марксисты, об'яснять этот факт тем, что родились, дескать, талантливые литераторы, а живописцы не родились. Свойства, мол, русской революции таковы, что она породила литераторов и не может породить живописцев. Это была бы только тавтология и абсурд. Очевидно, здесь истинная причина кроется в некоей принципиальной разнице между этими двумя видами единого искусства. И эта разница количественная, т.-е. заключается в степени обусловленности выражения, а следовательно, и содержания данного вида искусства использованием формы. Эта обусловленность минимальна в литературе и максимальна в музыке. Живопись лежит посередине. Этим обусловливается продолжительность идейно-формальных исканий и значительность отводимого им места в различных видах искусства. Ведь надо же признаться, что ле-

вые так же, как и АХРР'овцы создадут ложное, а потому и нехудожественное произведение. Примеры этого были на той же выставке, например, в «Конных красноармейцах» Ю. Меркулова или «Милиционере» в общем весьма талантливого К. Вялова. Усатые, страшные фигуры в темно-зеленых шинелях, выезжающие на каких-то битюгах из тьмы, долженствовали изображать Буденного во главе красноармейцев. Получилась же какая-то иллюстрация к ура-патриотическим и националистическим романам Сенкевича, воспевавшего былую славу «Речи Посполитой». Конечно, хорошо, если у нас на углах есть хорошие идейные милиционеры, поддерживающие порядок движения на улицах, но символизировать милиционера в виде гигантской монументальной фигуры с поднятой кверху дубинкой едва ли следует. Это идеологически уже почти превознесение «предержащей власти» в лице нового Держиморды. Эта «художественная ложь» не искупается даже и достоинством исполнения: большим мастерством, монументальностью и убедительной реальностью изображения. И, конечно, глубоко прав П. Вильямс, когда, ища отражения современности, он исходит от плаката, создает такое по существу своему «культурническое» (в самом хорошем для него смысле употребляю это слово) произведение, как его картина «Монтаж О. Д. В. Ф.» или Ю. Меркулов, когда он рисует не своих «Конных красноармейцев», а «Вывеску для 1-й Московской Кав. Школы».

Резюмируем все вышесказанное. Годы революции были годами жесточайшего кризиса для живописи, но из него она выходит обновленной, первые проблески этого мы можем усмотреть в работах нашей художественной молодежи. Новая живопись будет ясной, простой и реалистичной, она выработает новые методы художественного оформления окружающей действительности. Ни «левые», ни «АХРР» неспособны дать эту новую живопись, так как они по существу—эпигоны отмирающего мира. В условиях нашей переходной эпохи, искусство, а в том числе и живопись пойдет двумя путями: путем «культурничества» среди широких масс пролетариата и крестьянства и путем созидания нового grand art для новой интеллигенции, носительницы новой культуры. Требования «революционности» (в смысле «сюжета» применимы только в первом плане, так как во втором они еще преждевременны Пройдут долгие годы, и новая живопись, сейчас еще только учащаяся ходить, развернется во-всю и тогда затронет огромные и безмерные социальные проблемы и, соединившись с «культурнической» на основе своих достижений и достижений непосредственно агитационного искусства, развернет величавую картину могучей и сильной живописи будущего.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Павел Дружинин. Соломенный шум. Стихи. Государственное Издательство. Москва. 1924 г. Стр. 87.

Павла Дружинина с бо́льшим основанием, чем кого-либо иного, можно причислить к подлинно-крестьянским (т.-е. не „мужиковствующим") поэтам.

Основная особенность народного поэта—огромная любовь к родной земле, любовь к „поэзии земледельческого труда", освещена у П. Дружинина светом особенной, проникновенной и мягкой ласковости.

На желтые дороги
И пот и слезы лью,
И твой простор убогий,
Как плоть свою, люблю.

Поэт по-мужицкому: органически и крепко любит полевые просторы, соломенные гребни деревень, сосново-смуглые, цыганско-растрепанные кудри леса, а вместе с ними—жемчужную пыль гумен, золото аржаных зерен, вечный шум шелковых, светозарных ржей.

Тук-тук-тук—стучат цепы,
Тук-тук-тук—цепы колотят.
Хлеба—золота снопы
Мужики с утра молотят.

Любовь к земле и труду—мудрая мать поэзии Павла Дружинина. Это сообщает особенную нежность его стихам. Его стихи неизменно легки и певучи, как берестяный рог пастуха. А часто—и непосредственно изящны, как девичий голос в хороводе. Непосредственность же, соединенная с неизменно художественной обработкой слова, выливается в особую, прекрасную простоту. П. Дружинин пишет очень просто („по-старинке"), но, вместе с тем, с удивительной слуховой и зрительной чуткостью. Он умеет видеть и слушать по-своему.

Зима, сутулясь виновато,
Остановила в поле бег,
И снова воздух пахнет мятой
И резедою—талый снег.
И нежной девушкой Ариной,
Сомлев от теплой плоти дня,
На пашне, мягкой, как перина,
Воркуют сладко зеленя.

Автор, конечно, не свободен от подражательности.

В таких стихах, как:

Осень в желтом сарафане
Лезет тихо на поветь...

сказывается влияние Есенина; в других:

И сядет вещая жар-птица
На желтой крыше мужика...

проглядывают узорные крылья Клюевской птицы-Сирина, но большой беды в этом нет: в них не теряется золотое зерно самобытности. Но опасность известного поэтического перерождения все же чувствуется в творчестве Дружинина. Несвойственная ему изысканность

По дороге, в снег жасминовый
Зацелованный пургой... и т. д.

вытекает как раз из подражательности, и притом... имажинизму. От этого надо освободиться.

Есть у Дружинина и другие, главным образом „технического порядка", промахи: композиционная неслаженность и частичная огрубленность стиха.

Что нам знатные, богатые,
Не в богатстве наша цель...

Последняя строчка безвкусна и деревянна. Совсем из плохой публицистической статьи.

Дальше:

В конопляннике рыщут синицы...

решительно неверный, грубый, искажающий стихотворение, образ. Со словом, и особенно поэтическим, надо обращаться вдумчиво и бережно. Небрежность- непростительный грех поэта.

Все это—там, где рожок поэта сбивается на незнакомый ему, извне приносимый, лад. Там, где рожок звучит по воле своего хозяина—сердца, подражая лишь сумеречным вздохам земли или шелесту болотных лилий, там он снова очаровывает.

Выходила Любочка
На тропинку павушкой,
Замочила юбочки
Об росу, о травушку.

Повторяем: Дружинин — поэт земляной радости, полевого труда и девичьих песен.

Но, как сын своих дней, поэт, разумеется, не мог пройти мимо революции. В его стихах не мало отзвуков тяжелой годины голода и — отблеска широких, как майские зори, знамен борьбы.

Вьется воронов черная стая
Над глазницами тонких застрех...

это о днях костлявого тифа и бесхлебицы. Но это—преходящее. Русь жива, над Русью вздрагивают тревожно-сладкие зарницы, за зарницами плывет золотой караван будущего.

Пляской, пеньем, буйным хмелем
Русь косматая пьяна.
Дымит горем и весельем
Эта дикая страна.

Весельем, в конце концов, дышат и стихи П. Дружинина. Жизне-любовь — спутница молодых поэтов,—тихая спутница и П. Дружинина,— поэта, поднявшего свой берестяный рожок вместе с Русью, протрубившей лебединую зорю славы.

В полях, на ниве благодатной,
И у гудящего станка—
Благословенна троекратно
В мозолях жесткая рука.

Тончайшее восчувствование труда, огромная жизне-любовь и мягкая песенность — выделяют скромную книжечку П. Дружинина, как явление настоящей поэтической самородности и самобытности.

Ник. С—ов.

К. Тренев. Пугачевщина. Картины народной трагедии. Издательство „Мосполиграф". 1924 г. Стр. 125.

Трагедия Тренева—вещь очень незаурядная. Четкость драматической характеристики, живость диалога, сила и меткость народной речи—уже одни эти достоинства с самого начала захватывают читателя—надо думать и зрителя — и заставляют, не отрываясь, следить за развитием действия. И все-таки, если мы попробуем проверить, насколько автору удалось выполнить это трудное задание, если мы подойдем к „Пугачевщине" с такой высокой меркой,— а она в данном случае единственно допустимая,— мы увидим, что в пьесе есть крупные недостатки.

Прежде всего ряд недоумений вызывает фигура самого Пугачева. В первых сценах пьесы это—хвастун, враль, бабник, человек, далеко не обладающий выдержкой, твердостью воли, настойчивостью. Он—марионетка в руках своих „енералов", в руках Чики и Чумакова, они его отыскивают, они его объявляют народу, они отдают распоряжения, руководят действиями. Пугачев—не более, как парадная фигура. Меньше всего в нем от вождя. Он легко падает духом, теряется в минуту опасности, думает только о собственном спасении. Он способен, увлекшись смазливой девушкой, поставить на карту успех своего дела. Даже его храбрость всего на всего только отчаянность сорви-головы. Вся первая сцена словно рассчитана автором на то, чтобы оставить у читателя комическое впечатление от Пугачева: он не во-время пробалтывается девушке, при чем за приставание его бьют пряжей по лицу и смеются над его худыми штанами: Чика орет на него, как старший; Чумаков, во время длинного издевательского разговора, выставляет напоказ его невежество, легкомыслие, безграмотность, завиранье. Наконец, в последнюю торжественную минуту, когда Пугачев должен объявиться народу, он запаздывает... из-за штанов.

Чика *(тихо)*. Ай, заснул?

Пугачев. Упреждал чорта про штаны!.. Покуль твои сыскал...

В треневском Пугачеве одновременно черты Хлестакова и Распутина. Конечно, комический элемент допустим, но Лир, теряющий панталоны—плохой сюжет для трагедии.

Не знаю, насколько такой Пугачев соответствует истории: для меня остается все же непонятным, как мог бы такой мелкий человек стать вождем большого народного движения. Несомненно, однако, что он очень мало соответствует трагедии. Можно себе представить подобный полу-комический персонаж в качестве второстепенного действующего лица, но отнюдь не как героя трагедии.

Но автор не придерживается до конца и такой трактовки Пугачева. Пугачев последних сцен не похож на Пугачева первых сцен. В разговоре с Паниным и Су-

норовым он вдруг вырастает, становясь тем Пугачевым, которым мы привыкли себе его представлять. Переход не мотивирован. Образ Пугачева остается противоречивым, двойственным.

Другой ряд недостатков пьесы Тренева кроется в ее конструкции. Один из них указан самим автором в подзаголовке: „Картины народной трагедии". Мы имеем в произведении Тренева действительно только ряд картин, а не трагедию, как конструктивное целое, имеющее свой центр тяжести, целое, в котором отдельные части неразрывно друг с другом связаны: нарастающим действием. Каждая сцена в отдельности — превосходна, драматична; в целом—законченного драматического действия нет. Далее, в то время как большинство сцен написано в широкой объективно-реалистической манере, в некоторых картинах: именины помещика, начало эпилога, сцена в скиту, на Узени (столкновение двух старцев)—уже имеется элемент гротеска. В пьесе таким образом нарушается единство тона.

Итак, народной трагедии Тренев не создал уже по одному тому, что не создал трагедии. Среди его драматических сцен есть несколько действительно народных, т.-е. таких, где действует народ, без каких-либо „героев" (если понимать „народность" трагедии именно в этом). Некоторые из них очень удачны, например, 6-я картина (расправа с восставшими крестьянами). Но народной трагедии это все-таки не составляет.

Таковы недостатки пьесы. На ряду с ними в „Пугачевщине" имеются несомненные и крупные художественные достоинства. О прекрасном языке я говорил уже выше. Диалог у Тренева драматичен, жив, реплика короткая, быстрая. Автор обладает большим мастерством: развертывает характер действующего лица не в рассказах о нем других персонажей или рассуждениях, а исключительно в действии. В этом смысле пьеса его насквозь активна, лишена созерцательного элемента и словесного балласта. Образы большинства действующих лиц вырисованы замечательно четко, ясно, закончено (Перфильев, Федосей, Чумаков). Пугачев — исключение из этого правила только в том отношении, что его образ в конце пьесы противоречит тому, который дан в начале. Но этот образ Пугачева первых сцен трагедии, при всей своей не-трагедийности, показан так убедительно, остроумно, с такой непринужденной легкостью мастерства, что некоторые сцены, где он главное действующее лицо, например, картины 4-я и 5-я, являются в своем роде настоящим шедевром. В своих характеристиках Тренев следует старому шекспировскому правилу: создавать не людей одной страсти, мономанов, психологические абстракции,—а людей живых, многосторонних, с разнообразными, часто противоречивыми страстями и наклонностями. Но есть у Тренева и фигуры неудачные: такова Устинья с ее книжным мистицизмом.

Подведем итоги сказанному: Тренев не создал „народной трагедии", но написал хорошую, умную, талантливую пьесу, в которой попытался, пройдя мимо героев, заставить действовать народ. Это ему не удалось в полной мере: герой „Пугачевщины" все-таки Пугачев. Во всяком случае, после „Капитанской Дочки" трагедия Тренева— единственное в русской литературе действительно художественное произведение, в котором показано то могучее народное движение, которое в старых учебниках истории принято было называть „Пугачевским бунтом".

А. Лежнев

Пантелеймон Романов. Русь. Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1923. Стр. 134.

Над каждой страницей этой повести реют тени глубокой старины. Фигуры, нравы, беседы, описания и даже отдельные словечки (щелкоперы и др.) поминутно воскрешают в памяти то бунинский „Суходол", то гончаровского „Обломова", то гоголевского Тентетникова, то чеховских Цыбукиных из „Оврага", то „После бала" Толстого, то бунинскую „Деревню", то тургеневского „Нахлебника" и Чулкатурина, и опять Гончарова и Гоголя, Гоголя и Гончарова. Но в этой архаичности нет ничего раздражающего. Повесть П. Романова не работа безграмотного подражателя, не любительская копия, а художественно сделанное полотно, где голоса и краски прошедшего крепко спаяны и неразрывно слиты с людьми живой современности. Перед нами сочный барский усадебный быт времен

маниловских и блаженной памяти Ильи Ильича Обломова, обнесенный высоким кладбищенским забором ветхозаветных помещичьих устоев. На первый взгляд здесь, как будто, все попрежнему: варенья, наливки, маринады, кладовые, набитые разной снедью, попойки, охотничьи рога. Среди тощих, покрытых промоинами мужицких полей, просторные помещичьи пашни, поемные луга, нарядные усадьбы, с рощами и парками, где шумно и широко пируют, пляшут и веселятся, где плотно и хорошо едят, где целые поколения растут и умирают в одном и том же доме. Но на этой архаической почве, в этих старых дворянских гнездах с облупившимися колоннами уже подвизаются совершенно новые люди.

„Среди обитателей родовых усадеб стали появляться такие, которые, вроде известного Митеньки Воейкова, вели странную обособленную жизнь. Или вроде еще более известного Валентина Елагина, человека совершенно нового, во многих отношениях странного и непонятного, имевшего удивительную способность влиять на людей и сбивать их с толку. Он, главным образом, отличился своей историей с баронессой Ниной Черкасской, женой почтенного и уважаемого профессора" (стр. 16).

Изображению этих новых усадебных владельцев и посвящена повесть П. Романова в напечатанной своей части. В центре повести — Митенька Воейков, обладатель тысячи десятин земли и „больной совести". Помесь Тентетникова и Обломова, Дмитрий Ильич Воейков, в качестве обломовского последыша, является упорным приверженцем беспорядка, грязи и ленивого равнодушия к жизни, а в качестве потомка Тентетникова представляет великолепный экземпляр „коптителя неба". Это не мешает, однако, Митеньке мучиться чувством „исторической вины своего привилегированного положения", изнывать от желания „хоть как-нибудь пострадать и что-то искупить" и быть вечно погруженным в мысли об угнетенных и эксплоатируемых масс: „Почему рабочие работают, как рабы, и живут в каких-то лачугах в то время, как фабриканты, ничего ровно не делающие, обитают в роскошных дворцах, которые они не сами строили? Почему крестьяне косны и не могут организовать себе получения предметов первой необходимости из первых рук и переплачивают торговцам? Почему допустили, чтобы Австрия захватила себе Боснию и Герцеговину? Почему евреям не дают равноправия?" (стр. 22).

Носит Митенька русскую рубашку с махровым поясом, а поверх рубашки студенческую тужурку, хотя давно уже бросил университет. А бросил он университет потому, что ему казалось преступлением „обжираться знанием, когда масса народа не знает даже азбуки". В праздничные дни Митенька обязательно работает, т. е. отдает всевозможные распоряжения Митрофану и Насте оттого, что, как человек с высшим сознанием, он чувствует одной из своих первых обязанностей „всячески разрушать религию и национальные обычаи". Валяясь по целым дням в своем занавоженном кабинете, Митенька с особенным удовольствием предается мечтательному раздумью, как он „землю бы всю свою нелепую даром отдал бы мужикам без всякого сожаления, потому что получать прибыли с нее было как-то стыдно перед народом". „Обуреваемый скорбью и муками" „кающегося дворянина", Митенька при всей своей истерзанной совести и любви к страдающему народу, при всей готовности искупить свою историческую вину, совсем, однако, лишен был случая близко соприкасаться с народом и ни разу не удосужился побеседовать с мужиками. Но случилось как-то однажды, что Митенька, возвращаясь с прогулки, усталый и весь погруженный в мысли о подвиге самоотречения, заметил небольшой амбарчик, построенный мужиками на его — господской — земле.

„Мгновенно упадок духа сменился необычайным взрывом энергии, и Митенька, сделав рукой и бровями жест человека, который сейчас распорядится по-своему, быстро вошел в дом.

„— Митрофан, лошадь мне!—крикнул он в окно. — Если эти дикари не понимают высших отношений, то они заслуживают самых низших. И они получат их" (стр. 26).

С этого момента и начинается развитие повести. Не пытаясь согласовать свои поступки усадебного собственника с принципами „кающегося дворянина", Митенька мчится во весь опор к богатому соседу Тутолмину и, придав своим жалобам чрез-

мерную рельефность, в гневе обрушивается на дерзость и своеволие мужиков. Потом вместе с Тутолминым едет на бал к предводителю Левашову, где знакомится с Валентином Елагиным, который берется доставить его в город и дать его жалобе скорейший ход. По пути Елагин и Митенька заезжают во все придорожные усадьбы,— к баронессе Нине Черкасской, к Авениру, к Федюкову и друг. Там объедаются, бражничают и ведут бесконечные дебаты о красоте, справедливости и жертвенных подвигах. Так раскрываются перед читателем живые сцены усадебного быта, полные иронии, фантазии и очаровательных красок и легко укладывающиеся в рамки этого чисто гоголевского сюжета. Сам Валентин Елагин — ницшеанец из ницшеанцев и лезет из кожи вон, чтобы заработать себе славу сверх-Санина, да еще с животностью каменного века. Но на деле оказывается очень несложным сочетанием из андреевского Тюхи и обыкновеннейшего приживальщика не без изрядной дозы чичиковского плутовства и похабия. Поселившись на ролях любовника и нахлебника в доме безвольной эротоманки баронессы Нины Черкасской, этот кривляющийся бездельник похваляется своим циничным штукарством и, под видом самой головокружительной выдумки, всем и каждому сообщает о своем бесповоротном решении поселиться на берегу уральского озера Тургояк для совращения молоденьких скитниц. Разумеется, все это вперемежку с жаркими разговорами о просторе, красоте, о женственности, о безоглядной готовности отречься от старого и переродиться в нового человека.

Еще колоритнее Авенир — пламенный и убежденный народник, который, ударяя кулаком по столу, с азартом превозносит все простецкое и безграмотное:

„— Вот, брат, как и... у меня учобой мозги не засорены, я все беру вдохновением, с налета. Русская душа этих намордников не признает... Мы, брат, сфинксы. Об этом даже пишут, ты почитай. И подожди — пробьет великий час, мы себя покажем, логику-то их перетряхнем...“ (стр. 113).

И тут же со страстной горячностью доказывает Митеньке, что ему необходимо подать в суд на мужиков: „Этот подлый народ стоит учить: мерзавец на мерзавце“...

Таковы все эти Авениры, Митеньки, Валентины. Жалкие выродки, безвольные, выболтавшиеся дурачки—в последнем градусе социально-психического вырождения. Даже патологической оригинальности в них нет. Потому что это даже не психопаты, а просто бездарные болтуны, старающиеся искусственно навязать себе черты интересного психопатства, но из этого ничего не выходит, кроме ноздревско-елагинского жульничества и скабрезного хулиганства. Только чувство священной собственности еще приводит в движение этот неизобретательный fin de classe и объединяет весь синклит кающихся и нераскаянных потомков в дружной, свирепо-наследственной ненависти к мужику: „подлый народ... мерзавец на мерзавце“.

Говорят, напечатанная повесть Романова только часть колоссальной эпопеи, охватывающей и годы европейской войны, и годы революции. Значительные отрывки этого всеобъемлющего романа были зачитаны в московских литературных кружках и, говорят, задевают самые трагические стороны наших дней. Монументальное заглавие повести и эпиграф („Писать картину Великой Революции, начиная с самой Революции, значит говорить о следствии, минуя причину“) подчеркивают грандиозные намерения автора и заставляют смотреть на эту незаконченную повесть, как на предисловие к чему-то обязывающему и большому. Во всяком случае это недоконченное вступление П. Романова надо признать более значительным и ценным, чем законченные творения многих других авторов. Слабой стороной его повести является чрезмерное обилие затертых эпитетов: синеватая дымка, голубоватые облака, румяное небо, седой туман, древние монастыри, широкие кресты, золотые искры, длинные тени, мягкая тишина, сизые дымки, расторопные торговцы и т. д., и т. д. К другим, гораздо более существенным недочетам, заставляющим не без тревоги дожидаться дальнейших частей романа, относится чисто оперная трактовка мужика. Как оперные хористы, мужики, по слову автора, гуртом появляются на сцене, гуртом мнут шапки, поглаживают бороды, гуртом крякают, хмыкают, скребут за пазухой и гуртом по знаку автора исчезают. Какое-то баранье стадо, неподвижное и глуповатое. В лучшем случае, это—мужики, на прокат взятые из бунинской „Деревни“, а не мужик послед-

ней войны, не мужики партизанства и повстанчества, не мужики Октября, которые тоже ведь не сразу с неба свалились, а насчитывают за спиной и на спине 20-летнюю практику карательной экспедиции и аграрных волнений. Если отбросить досадную манкенность мужика, которому отведено мало места в напечатанном отрывке, то повесть прекрасно удалась Романову. Вся ценность художественных образов зависит от ценности таланта, который их производит. И тут целиком проявилось пластическое дарование автора, выступающего во всем богатстве старой литературной речи и литературной композиции. Повесть ведется в тоне эпического изложения, с чуть заметной усмешкой. Отсюда—чувство покоя и давно отошедшей старины. Эти люди уже не злят нас и не оскорбляют своей полнозвучной тупостью. Ироническая усмешка автора и архаическая драпировка героев сопровождают каждую страницу повести прелестью чудесного комментария: история уже вышвырнула их в сорный ящик.

Л. Войтоловский.

Недра. Литературно - художественный сборник. Книга пятая. Издательство „Мосполиграф", 1924 г. Стр. 284.

Самой крупной вещью сборника является повесть Н. Ляшко „В разлом". Содержание ее, в общих чертах, таково: старый революционер, большую часть жизни проведший по тюрьмам и ссылкам, сын машиниста, сам работавший подростком в мастерских, врач Крымов находится в непримиримом разладе со своей семьей. Жена его в молодости как будто сочувствовала его стремлениям, его революционной деятельности, но очень скоро, с рождением первого ребенка, отошла от нее и выявила свою настоящую природу мещанки, деловитой, хозяйственной буржуазки, первая забота которой — устроить семейное гнездо и вывести в люди детей. Это ей удается почти в полной мере. Она не следует за мужем в ссылку, устраивается, проявив при этом много практического смысла, в одном из приволжских городов. Под ее влиянием и влиянием радушно принявшего ее „общества", сыновья ее вырастают ни в чем не напоминающими отца. Это — типичные отпрыски буржуазной семьи, — аккуратные, франтоватые, томные, ухаживающие за барышнями, посещающие вечера и бесконечно чуждые всяким „идейным" увлечениям. Только о младшего ребенка, о дочь Шуру, разбивается воздействие мещанского воспитания, гимназии, общества, с его приличиями, лицемерием, вечерами, выездами и т. д. Ее влечет к „простонародью", к людям не притворяющимся, сердечным и искренним. Настает революция. Возвращается из ссылки отец. Сразу дает себя чувствовать глубокая трещина, разделяющая его и семью. Для Крымова жена и сыновья — люди из чуждого мира. После Октября Крымов начинает работать с большевиками в Совете. Это еще больше отчуждает его от семьи. Старший сын его уходит к белым (и попадается); младший, Костя, начинает заниматься спекуляцией. От отца требуют, чтобы он выручил одного, помог другому. Он отказывается это делать. На его стороне только дочь Шура. Измученный болезнью, истерзанный домашним разладом, Крымов умирает.

Повесть написана в реалистических, бытовых тонах. Лучше всего те места, где автор не пытается мудрить: стилистические ухищрения ему плохо удаются. Хороши фигуры Шуры, Кости, хорошо показан город с его пересудами, сплетнями, анонимными письмами. К недостаткам повести надо отнести некоторую ее растянутость и проявляющуюся порою безвкусную вычурность („Глаза, не мигая, ловят звезды, купаются в россыпях, поют ширь и синь"). Читается повесть с интересом.

Рассказ Никандрова „Профессор Серебряков" интересен по своему бытовому материалу, но с художественной стороны оставляет желать многого. Это — история уездной волокиты, через которую приходится пройти старому голодающему ученому, застрявшему в маленьком городишке и получившему из центра охранную грамоту с правом на паек. Одно ведомство отсылает его к другому, нигде он не может добиться толку. Получить паек ему удается только нелегальным способом. Отдельные сцены очень хороши, — например, день в заготовительной конторе, но, в общем, повесть растянута, рыхла, язык тусклый.

„В поезде" Ив. Вольнова написано сильно, с правдивой простотой. Это, пожалуй, лучшая вещь сборника (общие контуры ее сюжета: возвращение солдат с фронта до-

мой, сцены самосуда, колебания настроений нервной, усталой массы).

Повесть А. Яковлева „Без берегов“ затрагивает интересный вопрос о соотношении личной (в частности, половой) жизни и общественной. Проблема в повести только поставлена, но не решена. В самой постановке уже есть — несмотря на искренность автора — некоторая фальшь, преувеличение. Истеричности Нади, не высвободившейся еще из тисков старой морали, противостоит мужской, грубый эгоизм Сергея: любовь — только физиологический акт, женщина—низшее существо, связывать себя лишнее, в случае „затруднений“—аборт. Хотя рассуждения Сергея и подаются какбудто под соусом морали завтрашнего дня (любви — минимум сил и затрат, все — для общественной работы), но на деле это есть всего лишь перекладывание тяжести с плеч мужчины целиком на плечи женщины, т.-е. худший вид той же старой морали. Конечно, автор не отвечает за непоследовательность Сергея, но что ему надо поставить в вину и что производит неприятное впечатление, это взвинченность, почти истеричность тона. С художественной стороны повесть Яковлева больших достоинств не обнаруживает. Отметим, кстати, не совсем удачные экскурсии автора в область истории литературы: выражение „миром правят голод и любовь“ принадлежит не Марксу, а Шиллеру; напутано немного и с лотофагами.

Стихи Кириллова, Герасимова, Волошина, Бернера, Туманного не слишком хороши. Некоторые, например, Туманного, даже просто плохи. Поэма Герасимова „О проститутке“, несмотря на отдельные сильные места, в целом неудачна: слишком длинна, часто сантиментальна, со спотыкающейся ритмикой, с провалами прозаизмов, с вычурностью пустых образов („какие буйные силы вырвало заревое знамя“).

Лучше других „Космос“ Волошина, род философии истории или, вернее, истории идеологий в стихах. Некоторые характеристики эпох великолепны,—например, характеристика средневековья. Что же касается нашей эпохи, то, по мнению поэта, наука, уничтожив ньютоно-лапласовскую картину мира, доказала, что

Все относительно:
И бред, и знание.
Срок жизни истин:
Двадцать, тридцать лет,—
Предельный возраст водовозной клячи
Мы ищем лишь удобство вычислений,
А в сущности не знаем ничего:
Ни емкости,
Ни смысла тяготенья,
Ни масс планет,
Ни формы их орбит,
На вызвездившем небе мы не можем
Различить глазом „завтра“ от „вчера“

И что—

Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнанья.

Это, конечно, не так. Утверждения М. Волошина сводятся к тому, что мир—только наше представление, или, если и существует,—непознаваем. Утверждения далеко не новые и высказывавшиеся именно в эпоху господства теорий Ньютона-Лапласа. Современная наука исключает такого рода философии.

А. Лежнев.

Новые берега. Сборник I. М. Гиз. 1924 г. Стр. 240.

Пожалуй, резоннее было бы назвать этот сборник „На рубль амбиции“, потому что у всех Колумбов и Язонов, ринувшихся на поиски новых берегов, едва ли наберется на грош аммуниции. Альманах составлен в духе сборных спектаклей на благотворительном вечере в Крутогорске: два действия из мелодрамы „Месть гетмана или таинственный монах“, отрывок из оперы „Русалка“, мелодекламация, романс „Борода ль моя, бородушка“, драматический отрывок „Парижская служанка из Бретани“ и в заключение — водевиль „Под гомерический хохот публики“. Больше всего места отведено в сборнике Як. Окуневу, давшему первую часть романа „Разлом“ под заглавием „Усадьбы“. Затем следуют пять глав из повести Вл. Лидина „Архипелаг“, первая часть романа К. Большакова „Сгоночь“, отрывок из книги „Народное гулянье“ А. Григоровича, несколько стихотворений и, наконец, в качестве водевильного чтения анекдотический рассказ Ю. Слезкина „Голый человек“. Меньше всего, конечно, связан с „Новыми берегами“ роман Я. Окунева. Он весь построен на готовом фундаменте.

Шаблонные лица и шаблонные фразы кладутся камень за камнем. Тут и военные „с усами штопором", и исправники, „сладострастно прожевывающие розовые ломтики семги", и француженки, „шуршащие юбками и сверкающие игрой камней", и эсаулы, у которых „сапоги брызжут веселым смехом солнечным". При этом, разумеется, кутежи, попойки, и колокольчики плачут под дугой, и предсмертный вечер в доме терпимости. Не обошлось и без тонких стилистических украшений: вместо неба — всюду „высокая синь", вместо звезд — „золотые слезы", вместо „резолюции" на сходках —„люзаруции". Роман охватывает и города, и деревни, и керенщину, и фронт, но автор не спешит поставить точку и намерен, повидимому, еще долго оставаться среди бурного движения идей и событий.

Пять глав Вл. Лидина—довольно искусное литературное описание Гамбурга, Эльбы, зверинца Гагенбека, пароходных машин, океанского шторма, похорон Ленина, деревенского исполкома на севере и десятка других картин, совершенно не связанных между собою.

Роман К. Большакова „Сгбночь" имеет неоспоримую ценность в качестве бытового материала, рисующего настроение белых армий. В особенности интересны места, изображающие контакт между двумя генералами — добровольческим и английским, контакт, направляемый главным образом бакинской нефтью и поднимающий волю английского генерала до экстаза всякий раз, когда доставке нефти угрожает задержка. К сожалению, автор перегрузил свой роман излишними мелочами и приключениями английских кокоток и машинисток, что заслоняет художественный горизонт этой вещи, суживая его до пределов кинематографической панорамы.

Водевильный анекдот Ю. Слезкина — сплошной кинематографический трюк с погонями, обысками, агентами уголовного розыска, утопающими, подложными письмами, похождениями на пляже и прочими аксессуарами кино-фильмы, рассчитанной на „гомерический хохот" почтеннейшей публики. Есть, разумеется, и голые комсомольцы, и физкультура, и исполком, и начгуброзыска, и комсомолка в трусиках, и даже Подвойский.

Единственное приятное исключение альманаха (кроме стихотворений В. Ильиной) — небольшой рассказ П. Низового „Золотое озеро", написанный тепло и красиво, в образах мечтательных и полных значения. Но и этому небольшому очерку не дано спасти обитателей ковчега, которым не суждено добраться до „новых берегов", ибо весь ковчег, увы, обречен на крушение.

П. Войтоловский.

Георгий Горбачев. Очерки современной русской литературы. Гиз. Ленинград 1924 г. Стр. 180.

Автор начинает свои очерки издалека: с общего обзора русской литературы прошлого века. Отправляясь от реалистической литературы сороковых годов, Г. Горбачев рядом кратких, но цельных марксистских характеристик приводит читателя к литературе предвоенной эпохи, эпохи великого духовного разброда и упадка. Представителям отдельных литературных течений этой эпохи, творчески умерших на тяжелых перевалах революции, в книге уделена особая глава („Пережившие себя"). В этой главе анализируется разложение символизма и акмеизма — в поэзии, и „знаньевского" неореализма—в литературе. Здесь, как, впрочем, и многое в книге, кое-что устарело, а кое-что нуждается в коррективах и оговорках. Например, строчки о Горьком: „остановился в художественном развитии", после удивительных, подлинно классических „Автобиографических рассказов" и „Заметок из дневника", — звучат определенно анахронически. Дальше — о Бор. Зайцеве и Ив. Шмелеве.

„Зайцев пишет о старой Италии — очень печальный факт для одного из талантливых художников современной ему России XX века". Следует оговориться, что Зайцев, даже для предвоенной эпохи, был вне-временным писателем; и необходимо признать, что рассказы о старой Италии — лучшее в его творчестве: проникновенная лиричность и ласковость доведены в них до высших ступеней художественного изящества.

Говоря об Ив. Шмелеве, Г. Горбачев надеется: „Может быть, лет через пять, Шмелев доберется и до февраля, а через десять—

и до Октября". Это было написано в то время, когда Ив. Шмелев был еще в Советской России и печатался в советских изданиях. Ныне это — „беспочвенные ожидадания". Шмелев очень быстро, вместе с переездом советского пограничного столба, „добрался" до Октябрьской революции. Его повесть „Солнце мертвых", напечатанная в парижском сборнике „Окно", как и позднейший рассказ „Ленькин дар", принадлежат к возмутительнейшим, исключительным даже для белогвардейской литературы произведениям.

Устарело кое-что и в характеристиках Бунина и Куприна наших дней. Куприн, кроме сотрудничества с Юденичем, на которое опирается Г. Горбачев, „проявил себя", как автор монархически-лирических сказок, а Бунин—не только псалмом в честь воинственного галла, но и памфлетами на революционную Россию.

Следующая глава книги посвящена И. Эренбургу и А. Н. Толстому („Сменовеховская идеология в художественной литературе"). Зарисовка Эренбурга хороша: автор, справедливо и хладнокровно отделяя от свежих колосьев творчества его плевелы, и остро исследуя социальную сущность писателя, приходит к верным марксистским выводам. К сожалению, последние произведения Эренбурга еще не были известны автору, а эти произведения („Д. Е." и „Любовь Жанны Ней") являются для писателя переломными. Эренбург заметно бледнеет: его, унаследованная от Ан. Франса, ирония (Ирония—с прописной буквы) заменяется развязным смешком, а социальная острота—пресной и довольно сомнительной сентиментальностью.

Значительно слабее у Горбачева очерк об А. Н. Толстом. Автор отделался трафаретным „эскизом", упустив основные черты писателя: тончайшую прелесть рисунка, умение несколькими штрихами создать *живую* и часто незабываемую фигуру и пьянящую солнечность, вечно сопутствующую творчеству А. Н. Толстого. К несомненному промаху Г. Горбачева относится уже одно то, что он совершенно упустил из виду „Детство Никиты", где основные черты Толстого-художника сказались наиболее сгущенно, ярко и полно. Что же касается *языка* Толстого, то это действительно тот „великий, прекрасный, русский язык", о котором говорил когда-то И. С. Тургенев. И потому утверждение Г. Горбачева — „форма романов А. Н. Толстого остается прежней: рыхлой, страшно растянутой, а *язык—старым, скучным, тусклым*" (курсив мой. *Н. С.*) — кажется странным, непонятным и удивительным. Также непонятным кажется и последующее: „поэтому говорить стоит и можно только о содержании, об идеях его произведений". Мы, наоборот, думаем, что форма (как и язык) А. Н. Толстого — нисколько, между прочим, не каноничные — служат *образцом* для молодой литературы. Не обязательно подражать им, но необходимо учиться на них.

Но, за исключением этих неточностей, очерк Толстого, данный Горбачевым, не лишен известной ценности: социальная подпочва толстовского творчества вскрыта верной, крепко-заточенной киркой.

Не случайно, вслед за Эренбургом и Толстым, автор останавливается на Бор. Пильняке: Пильняк, в своем идеологическом преломлении, близок (условно, конечно) именно к литературному сменовехизму. Но сменовехизм Пильняка, приятие пролетарской революции в архи-национальном разрезе—органичней и целостней. Пильняк останется в русской литературе, как первый писатель-интеллигент, отразивший (как?—вопрос иного порядка) первичную эпоху великой революционной ломки. Талантлив ли Пильняк? Безусловно, так или иначе, творчество Пильняка заслуживает спокойного и серьезного исследования. Так и делает Г. Горбачев. Его очерк, посвященный Пильняку,—наиболее серьезный и обоснованный в книге. Из „частностей" очерка отметим положение автора о формальной реакционности Пильняка. „Пильняк—писатель несомненно изысканный. Это, конечно, по существу не порок, но непосильно для современного массового читателя. Кроме того, слишком часто изысканность Пильняка переходит в манерность, любовь к слову — в чрезмерную любовь к „словечкам", оригинальность — в изломанность". Мы, вместе с автором, готовы настойчиво протестовать против формальной „красивости", изысканности и изломанности (в которые переходит *всякая* чрезмерная оригинальность), но в таком случае обвинение А. Н. Толстого, вынесенное Гор-

бачевым, теряет всякий смысл. В смысле языка и формы мы должны звать молодую литературу к заветам классицизма. Критик путается.

„Серапионовы братья" (Никитин, Слонимский, Зощенко и др.), в большинстве представляющие производные дробные от творчества Пильняка, также подробно рассмотрены Г. Горбачевым. „Серапионовцы анекдотичны, не любят героической психологии и предпочитают беспсихологичного обывателя". Отсюда — их психологическая суть, характеристика их как мелко-буржуазных интеллигентов, не связанных крепкими социальными корнями ни с уходящим миром, ни с миром грядущим. Соглашаясь в основном с автором, надеемся, однако, что тот кризис, который переживают ныне серапионовцы, приведет их к оздоровлению. „Серапионовцы", во всяком случае, серьезно работают над собой.

Литература наших дней, вообще—литература кризисов. В состоянии затяжного кризиса находится, например, близкий к „серапионовскому" лагерю, один из наиболее даровитых молодых поэтов — Николай Тихонов, справедливо оцениваемый Горбачевым как поэт, рожденный сабельными ударами гражданской войны.

Из поэтов наиболее полно и объемлюще разобран в книге Владимир Маяковский.

Недостаточно уделяя место общей обрисовке футуризма, как индивидуалистически бунтарского разбега, и Маяковского, как стальной головы футуризма, автор главное свое внимание обратил на формальную сущность поэта. Он подробно проследил творческий путь Маяковского, особенно упирая на „150.000 000" и считая эту поэму „синтезом всех художественных достижений поэта, добытых ко времени ее написания". Это — гипербола: „150.000.000" — далеко не лучшая вещь Маяковского. Наоборот, по сравнению с „Мистерией - Буфф", она — знаменатель временной застылости Маяковского. Поэма „150 000.000" создана из перепевов. Из перепевов, может быть, создана и лучшая среди позднейших поэма Маяковского „Про это", но она изумительно оживлена и приведена в безостановочное движение настоящей, крепкой художественностью. Горбачев как раз проходит мимо художественности этого изумительного по силе заложенного в нем заряда энергической талантливости поэта. „Талантливый, добросовестный барабанщик пролетарской революции и борец на фронте культурном и бытовом с засильем старья" — слишком упрощенное и „популяризованное" понимание Маяковского. И именно в этом смысле, в смысле художественного восприятия, необходимо учиться у Маяковского молодым, часто не переступающим границ агитки поэтам. Что же касается „преодоления Маяковского", о котором упоминает в конце своей статьи Г. Горбачев, то оно — мы говорим о приемах и форме — лежит опять-таки в плоскости классицизма, под знаменем которого и растет большинство поэтической молодежи.

Заключительная глава книги Горбачева („Рожденные в грозе и буре") содержит обзор „революционной художественной прозы" — Буданцева, Либединского, Лидина, Малышкина, Н. Огнева, Л. Сейфуллиной, С. Семенова и Тарасова-Родионова.

Мы склонны особенно выделить из этой группы прозаиков Л. Сейфуллину. Л. Сейфуллина — наиболее крупное явление современной русской литературы. Позднейшая ее повесть („Виринея") доказала это с непререкаемой ясностью. „Виринея" — одна из лучших вещей пооктябрьской литературы. Сейфуллина — одна из наиболее ярких, сильных и прекрасных в пооктябрьской литературе талантов.

Нельзя согласиться с Горбачевым и в оценке других писателей, в частности Лидина.

Основная ошибка Горбачева в оценке им Лидина та, что он рассматривает этого писателя вне его связи с до-революционной литературой. А Лидин, прежде всего, представитель именно предреволюционной литературной полосы (первые его книги: „Трын-трава" и „Полая вода" вышли в 1915—1916 г.г.). Но Лидин прошел чрезвычайно любопытный путь: выступив, как эпигон Бунина и Зайцева (в их усадебной трактовке), он самобытно оформился лишь в процессе революции, в процессе тесного и искреннего слияния с ней. А что он стал писателем самобытно оформленным и органичным, подтверждают его последние рассказы: „Земля" — в „Красной Нови" (№ 5),

„Жизнь зацветает“ — в „Звезде“ (№ 4) и „Архипелаг“ — в „Новых берегах“ (№ 1). Лидин, немного изысканный и пряный писатель-интеллигент, может дать многое. Он вдумчивый и тонкий писатель, но, к сожалению, не тот писатель, который „с большой чуткостью видит остро и зорко страдания самых забытых слоев городской бедноты“, как и говорит о нем Г. Горбачев. Лидин — увы! — не от станка и не от столярного рубанка.

Вот, в основном, содержание книги Г. Горбачева. К недостаткам ее, помимо уже отмеченных, принадлежит отсутствие характеристики Вс. Иванова и пролетарского крыла современной литературы и поэзии (особенно поэзии, ибо литература представлена Либединским), но, как отмечает автор в предисловии, им, на-ряду с нео-крестьянской поэзией, будет посвящена отдельная книга. Пожелаем ее выхода в свет, ибо книга, только что рассмотренная нами, — нужная книга: в ней подкупает, главным образом, верный подход к явлениям литературной современности.

Реализм, как знамя литературной современности, „попутчики“, как наиболее весомый и значимый элемент с е г о д н я ш н е г о литературного дня, пролетарские писатели, как б а з а литературного будущего, — идеологическая основа книги Г. Горбачева.

Рекомендуем ее широким читательским кругам.

Ник. Смирнов.

Н. Бухарин. А т а к а. Сборник теоретических статей. Гос. Издательство. Москва 1924 г. Стр. 303.

Новый сборник статей Н. И. Бухарина не содержит новых статей. Все они, за исключением одной, уже были где-нибудь напечатаны, а иные и по нескольку раз („Ечмениада“).

Тем не менее, получилась очень интересная книга, которая, несмотря на разнородность тем, которым посвящены статьи, и различие эпох, в которые они написаны (от 1913 г. до 1924 г.), объединена единством настроения и устремления.

Это именно „Атака“ —блестящий теоретический поход воинствующего марксизма против ученых врагов и глубокомысленных критиков.

Реферат о „Ленине как марксисте“ и „Проект программы Коммунистического Интернационала“, замыкающие книгу, да, пожалуй, статья о „буржуазной революции и революции пролетарской“, стоят несколько особняком от этой воинственной рати полемических этюдов и очерков. Но по духу и они родственны всему остальному сборнику.

„Атака“ Н. И. Бухарина напоминает по духу и по стилю сборники боевых статей Г. В. Плеханова — „Критику наших критиков“ и „От обороны к нападению“,—сборники, увы, уже недоступные современному читателю, который читает Плеханова в академическом собрании сочинений, изданном по всем правилам, установленным для издания „классиков“.

Когда-нибудь и Н. И. Бухарин будет у нас в прекрасном многотомном издании, где, конечно, его первые экономические этюды об „австрийской школе“ и „политической экономии без ценности“ не попадут в один том с работами 1922 — 1924 годов, посвященными основным проблемам мировой революции.

Но пока что мы имеем в изящном томике „Атаки“ историю десяти лет теоретических битв автора под знаменем революционного социализма.

Конечно, не все статьи сборника имеют одинаковую ценность. Но весь он вместе—ценный подарок тем читателям, которые умеют ценить остроту и яркость мысли и блеск чеканного, но легкого стиля.

С. Членов.

В мастерской марксизма. А р х и в К. М а р к с а и Ф. Э н г е л ь с а. Под редакцией Д. Рязанова. Книга первая. Госиздат. М. 1924 г. Стр. 487 (тираж 5.000).

Первый отдел 1-й книги исторического журнала Института Маркса и Энгельса открывается статьей А. М. Деборина „Диалектика у Канта“. Автор устанавливает тот факт,—широкой читательской аудитории мало известный,—что уже у Иммануила Канта имеется ряд элементов диалектики. Диалектический принцип выступает у Канта с полной определенностью.

Восстановив Канта в „правах владения“ на отчужденные у него по долгому недоразумению некоторые философско-познава-

тельные построения, т. Деборин не указал, однако, на те различия, которые все же существуют между диалектической концепцией Гегеля и элементами таковой у Канта. Получается у читателя неправильное представление, будто Гегелю и делать-то ничего не оставалось, кроме как перенести на страницы своих произведений элементы философии Канта. Надо думать, что в дальнейших своих очерках по истории диалектики т. Деборин искоренит это ошибочное представление и установит правильную перспективу в вопросе о преемственности, развитии и совершенствовании диалектики от Канта через Гегеля к Марксу.

Особое внимание товарищей обращаем на помещенную в 1-м отделе работу Д. Б. Рязанова о возникновении I Интернационала.

28 сентября этого года исполнилось 60-летие с основания Интернационала. Ни один докладчик, ни один партработник не может пройти мимо упомянутой работы т. Рязанова.

В результате спокойного научного исследования т. Рязанова читатель, как бы ненароком, но с неотразимой силой подводится — мы в этом уверены — к неизбежному сопоставлению рабочего движения 60-х годов прошлого столетия с тем, что совершается на наших глазах, через сравнительно короткий исторический период.

Тогда, на учредительном собрании I Интернационала, самые передовые по тому времени рабочие—французы и англичане—не развивали никакой социалистической программы. Поляки же, итальянцы и ирландцы говорили не столько о классовых требованиях, сколько о национальных. Организационное же интернациональное рабочее объединение представляло собою дискуссионный клуб. А теперь!..

Такое сопоставление будет чрезвычайно плодотворным, внушая читателю здоровый оптимизм и бодрую уверенность на основе наглядных исторических фактов.

„Гвоздь“ книги надо видеть во II отделе, где впервые опубликовываются добытые т. Рязановым, спасенные от „критики мышей“, рукописи Маркса и Энгельса. Отметим из них наиболее на наш взгляд значительное.

Обычно у нас принято думать, что формулировка Марксом исторического материализма впервые дана им в 1859 году в знаменитом предисловии к „Zur Kritik“. Из опубликованных т. Рязановым рукописей читатель узнает, что в 1845—1846 г.г. Маркс был уже „марксистом“. Уже в 1845—1846 г.г. провозглашается Марксом, в не оставляющей сомнений формулировке, диктатура бытия над сознанием (215 стр.).

И, как бы гвоздями вбивая в наше сознание основное положение исторического материализма, Маркс говорит:

„Мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания утрачивают свою видимость самостоятельности. У них нет вовсе истории, у них нет развития: только люди, развивающие свое материальное производство и свои материальные сношения, изменяют в этой своей деятельности также свое мышление и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание“ (Курсив мой. *Г. Д.* Стр. 216).

Я всюду здесь говорил о Марксе, а не Энгельсе оттого, что, как сам Энгельс свидетельствовал, концепция исторического материализма есть открытие Маркса.

Далее. Ревизионисты в конце 90-х годов распространяли мнение, будто Энгельс в конце жизни „поправел“ и стал притуплять прежнюю Марксову формулировку исторической концепции новой вставкой о взаимодействии между базисом и надстройкой.

Опубликовываемые ныне рукописи эту легенду разрушают. Мы в ней читаем, рукою Маркса написанную, вставку, гласящую о взаимодействии всей совокупности жизненного процесса (стр. 227).

Приковывает далее к себе внимание следующее место из рукописи:

„Изобретение в Англии машины, обездоливающей в Индии и Китае бесчисленное множество рабочих и революционирующей форму существования этих государств, становится всемирно-историческим фактом“ (стр. 225).

Сопоставьте устанавливаемую здесь связь революции в отсталой стране с высоким развитием производительных сил в индустриальной стране с тем, что обнаружила наша Октябрьская революция, и вам станет

ясно, что еще в 1845—1846 г.г. Маркс и Энгельс были... большевиками.

Они уже тогда мыслили революцию обездоленных в Индии и Китае, производственные причины которой надо искать в индустриальной Англии. Меньшевистский марксизм, исходящий из того, что революцию делать надо предоставить высоко-промышленным странам, а не таким отсталым государствам, как Россия, Индия или Китай, здесь получает теоретический удар от основоположников марксизма. Маркс и Энгельс, подобно большевикам, вовсе не устанавливали очередной записи, какому государству полагается по штату произвести очередную революцию, а прекрасно понимали, что и в отсталой Индии и в Китае может вспыхнуть революция, но что причины ее надо видеть в той же Англии, ибо каждая из стран ныне составляет звено в общей капиталистической цепи, нами именуемой империализмом.

Во II же отделе есть статья т. Рязанова „Введение Энгельса к «Классовой борьбе»", в которой основательно опровергается возведенная реформистами на Энгельса напраслина, будто он в конце жизни отверг классические методы гражданской войны, баррикадную борьбу.

В III отделе с глубоким интересом читаем все пять вариантов письма К. Маркса к Вере Засулич в ответ на ее запрос, как он смотрит на русскую общину и ее судьбы. Мы видим, как Маркс с каждым последующим вариантом все сдержаннее, суше говорит об общине и ее перспективах. Каждый черновик короче предыдущего, доходя в окончательной редакции до коротенького письма.

Предстоит выяснить, на основании других рукописей Маркса, есть *ли* это обычная манера письма Маркса или здесь играла роль сугубая осторожность, с которой Маркс подходил к жгучей проблеме общины—краеугольному камню в системе народнической идеологии. Быть может, Маркс в разгаре героической деятельности Народной Воли (письма относятся к 8 марта 1881 г.) по тактическим соображениям бережно относился к святыне народничества. Далеко не исключена возможность, что и здесь сказался революционный „радикализм" Маркса, который уже тогда представлял себе ход и исход русской революции не по западно-европейскому образцу. Во всяком случае этот вопрос нуждается в особом исследовании и освещении. В материалах этого исследования обнаруженные т. Рязановым черновики Маркса займут выдающееся место. В этом нет никакого сомнения.

Далее следуют 78 писем Энгельса к Бернштейну за период времени с 1881 г. до самой смерти Энгельса (1895 г.).

Остановимся на более интересных местах этих писем.

Отношение Энгельса к интеллигенции в партии поразительно сходно с отношением тов. Ленина: „...Поскольку они на что-нибудь годны, (они) сами приходят к нам, но поскольку нам приходится их привлекать, могут быть нам вредны остатками своей старой закваски" (294 стр.).

О вожаках с.-д.: „Я никогда не скрывал того, что, по-моему мнению, массы в Германии гораздо лучше господ вожаков, в особенности с тех пор, как партия посредством печати и агитации стала дойной коровой, которая *снабжала их маслом*" (303).

О русской революции: „Начало революции (в России) есть вопрос месяцев. Наши товарищи в России почти что взяли в плен царя, дезорганизовали правительство, разрушили народные традиции... Теперь такое прекрасное революционное положение, какого никогда еще не бывало... Война исправит все то, что сделали царизму наши товарищи, жертвуя своей жизнью..." (стр. 309).

Письмо это датировано: 22 февраля *1882* г.

К сведению собирающих материал для монографии о Лассале к столетию его рождения (осталось меньше года)—пусть прочитают письма Энгельса к Бернштейну на стр. 322, 323, 324, 327 и 373.

IV отдел посвящен критике и библиографии. Отдел весьма солиден.

Исчерпать в рецензии богатое содержание „Архива" представляется совершенно невозможным. Мы указали наиболее связанные с современностью ответы на жгучие проблемы теоретического и практического характера. Эта связанность делает „Архив" отнюдь не архивным материалом, а сообщает ему подчас чуть *ли* не злободневный интерес.

Чрезвычайно много сделано т. Рязановым, нашим „Нестором марксизма", для „Архива". Кроме доставленных им трех четвертей опубликовываемого впервые материала, он снабдил его предисловиями, ценными примечаниями и разъяснениями.

Издан журнал хорошо, тщательно, на хорошей бумаге, четким шрифтом, почти без опечаток. Только изредка встречаются небрежности (на 9 и 258 стр.).

„Архив" должен стать достоянием всех сознательных товарищей. Доступен он в значительной своей части передовому рабочему и рабфаковцу. Ни один марксист не может обойтись ныне без „Архива Маркса и Энгельса".

Г. Даян.

А. А. Поливанов. Из дневника и воспоминаний по должности военного министра и его помощника 1907—1911 г.г. Под ред. А. М. Зайончковского, с предисловием М. Павловича, т. I. Высш. Воен. Рев. Совет. М. 1924 г. Стр. 240. Ц. 1 р. 40 к.

Воспоминания Поливанова имеют совершенно особый пикантный интерес. В течение многих лет он был на чрезвычайно хорошем счету у наших либералов (особенно у ка-де), считался прогрессистом, вынужденным даже вследствие этого покинуть свой пост помощника военного министра. Опубликованные ВВРС воспоминания и дневники целиком разрушают эту легенду. Они дают яркий образ угодливого царедворца, считающего, сколько раз он поцеловал руку у царицы, по какую руку он сидел от Николая и т. п. „На Крещенском параде в Царском, государь, проходя мимо Палицына и меня, подал нам руку" — вот заметка, характерная для Поливанова. Участвуя в правительстве, он всей душой стоял на стороне Столыпина, поддерживал его во всех реакционных мероприятиях. Чего стоит, напр., совет Поливанова — перенести Варшавский университет не в Саратов, а в Нижний-Новгород, „так как там более войск для усмирения беспорядков, чем в Саратове". Якшание Поливанова с Дубровиным, снабжающим его своим шпионом, и с распутинцем авантюристом кн. Андрониковым дополняет портрет этого „прогрессивного сановника".

Историческая ценность книги гораздо менее значительна, нежели бытовая. Книга распадается на две части: первую составляют выдержки из памятных книжек, обнимающих 1907—1913 г.г. Все сведения, которые мы находим здесь, носят чересчур отрывочный эпизодический характер. Автор сообщает кое-что интересного, напр., о приготовлениях военной клики к войне с Турцией в 1908 г., вернее, о подготовке „к возможности прийти в Турцию, не объявляя ей войны", — но все это носит чересчур лаконический характер и почти не может быть использовано в качестве исторического материала. Более интересна вторая часть книги, озаглавленная „Девять месяцев во главе военного министерства (13/VI 1915—13/III 1916)", причем рецензируемый том дает описание лишь первых двух месяцев. Наибольший интерес эти материалы представляют для специалистов, интересующихся вопросами снабжения русской армии во время мировой войны. Поливанов дает здесь подробные сведения об особых комиссиях и пр. организациях по снабжению, о мобилизации промышленности, создании военно-промышленных комитетов и т. д. Но есть в этих мемуарах места, имеющие и общее значение и интерес.

Прежде всего мы находим здесь беспощадную характеристику всей царской армии. „Наша высшая военная власть, очень скоро забыв тяжелые уроки русско-японской войны и увлекаясь все более и более декоративной стороной жизни войск в мирное время, не давала себе отчета в истинных задачах подготовки к большой войне. Именно она подталкивала многих „забыть о войне и помнить о параде". „Не было хороших руководителей и не было твердого сознания, что это необходимо, коль скоро для подготовки корпуса к бою оценки не существует, а награды и продвижения по службе зависят от успеха представления части на параде".

Как мы видим, получается чрезвычайно мрачная картина, но редакция справедливо замечает, что ответственность за нее лежит в значительной степени на самом Поливанове, который в течение 6-ти лет боевой подготовки армии (1903—1912) занимал ответственные посты в военном министерстве.

Меньший интерес представляет политическая сторона воспоминаний. Поливанов, так же, как и Щербатов, а позже Самарин получили свои посты в результате „уступки общественному мнению страны", возбужденному военными неудачами. Однако „прогрессивный военный министр" не дает каких-либо новых материалов, характеризующих этот период жизни высшей бюрократии. Наиболее ценным представляется описание эпизода с протестом почти всего кабинета (по инициативе Кривошеина) против отъезда Николая II в ставку в качестве верховного главнокомандующего и попутно с этим возникшего плана назначить Поливанова премьер-министром.

Вступительная статья М. Павловича дает интересный анализ материалов Поливанова, причин поражения русской армии и характер снабжения ее.

В. Гурко-Кряжин.

Редакционная коллегия: А. Воронский. Ф. Раскольников. Вл. Сорин.

Издатель—Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка. Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 19-82.

СОДЕРЖАНИЕ